

Юлиан Семёнов

АЛЬТЕРНАТИВА (ВЕСНА 1941)

1. ОБО ВСЕМ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ

Начальник генерального штаба вермахта Гальдер, будучи человеком педантичным, делал записи в своем дневнике каждый день. В тот мартовский вечер он вывел каллиграфическим почерком следующее:

«19 III 1941 г.

Совещание: Югославия присоединяется к Тройственному пакту.

Топпе (до сих пор 1-й обер-квартирмейстер во Франции) доложил о своем назначении на должность уполномоченного генерал-квартирмейстера при группе армий «Север», развернутой для операции «Барбаросса».

На пресс-конференции, которые проводил каждую среду в МИДе, на Вильгельмштрассе, шеф отдела печати Шмит, журналисты собирались загодя. Молчаливые официанты с солдатской выправкой обносили гостей пивом и горячими сосисками, а в Берлине весной сорок первого года продукты эти жестко нормировались карточной системой; деловитые журналисты из-за океана, скандинавы, испанцы и швейцарцы экономили карточки на пиво и мясные продукты, совмещая работу с сытным обедом. Поодаль, возле больших итальянских окон, стояли арабы и японцы; арабы морщились от запаха свиных сосисок – коран есть коран, а японцы «сохраняли лицо» – негоже сынам Страны восходящего солнца отталкивать соседей, вырывая себе сосиску пожирнее и поприжаристей, и жевать ее лихорадочно, перебрасывая шипучее мясо языком, чтобы не обжечь нёбо.

Штирлиц с любопытством наблюдал за двумя корреспондентами из Москвы, которые старались быть незаметными в толпе своих американско-европейских коллег, но из-за того, что они не хватали, подобно остальным, сосиски, не уплетали их с цирковой быстротой, не глотали жадно пиво, чтобы успеть выпить кружку ко второму подходу официантов и запастись следующей, они в толпе выделялись – словно одетые стояли на пляже.

«Проинструктировали, видно, ребят, – подумал Штирлиц, – не выделяться. Но при этом сказали: «Достоинство прежде всего». Поди-ка, совмести здесь! Чтобы не выделяться, надо толкать соседей, хватать сосиски, капать пивной пеной на спины коллег и пробиваться сквозь толпу поближе к Остеру, который знает больше остальных журналистов, ибо он близок к Геббельсу».

Шмит появлялся из боковой двери; журналисты, сшибая друг друга, бросались к длинному столу, норовя занять место рядом с шефом прессы, и только американские асы отходили к окнам, чтобы видеть всех собравшихся в зале. Американцы научились получать самую важную информацию после выступления Шмита, когда он начинал отвечать на вопросы: как правило, два или три немецких журналиста спрашивали Шмита по шпаргалке. Соотнося поставленные вопросы с заранее подготовленными ответами Шмита, ребята из Ассошиэйтед Пресс делали более или менее верные прогнозы по поводу очередной внешнеполитической акции Гитлера.

Всякий раз, когда Шелленберг поручал Штирлицу присутствовать на этих пресс-конференциях, чтобы поддерживать контакты с журналистами, которыми интересовалась разведка, Штирлиц прежде всего впивался взглядом в карту на стене, которую открывал помощник Шмита перед началом собеседования. Карта эта была страшная. Коричневое пятно Германии властвовало в Европе. Территории Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции были заштрихованы резкими коричневыми линиями; Венгрия, Румыния и Болгария, как страны, присоединившиеся к «антикоминтерновскому пакту», были окрашены в светло-коричневые цвета. Резкие черно-коричневые пятна уродовали территории Албании и Греции: там вела войну Италия.

Карта была сделана так, что доминирующая роль гитлеровской Европы подчеркивалась махонькой Англией, нарисованной художником жалостно и одиноко, и далекой Россией, причем, в отличие от Англии, где были обозначены города и дороги, Россия представлялась белым, бездорожным пространством с маленькой точкой посередине – Москвой.

Шмит, не отрывая глаз от текста, подготовленного его сотрудниками, прочитал последние известия:

– «Сражения против английского империализма идут по всему фронту. Недалек тот день, когда надменный Альбион будет выбит из всех своих колоний. В недалеком будущем Суэцкий канал – пуповина, связывающая Лондон с Индией, – будет перерезан, и, таким образом, Англия останется без сырья, без резервов, без продуктов питания. Вопрос падения островитян – вопрос решенный, все дело в сроках. Весна или лето этого года будут означать начало европейского мира, после того как Лондон подпишет условия капитуляции, которые мы ему продиктуем. Сражение в Греции и Албании отмечено победоносным наступлением войск великого дуче».

Штирлиц знал, что Шмит сейчас станет говорить, какой монолитной стала Европа после того, как фюрер заставил мир считаться с откровением двадцатого века – с идеями национал-социализма. Он знал, что после «общетеоретического пассажа» Шмит обрушится на Америку, не называя, естественно, ни Рузвельта, ни Белый дом. Он будет говорить о «силах империализма, которые действуют в угоду финансовому капиталу с целью задушить великую европейскую цивилизацию». Все это Штирлиц слышал уже много раз, и поэтому он поглядывал на Джеймса Килсби из Чикаго: служба гестапо позавчера записала беседу, которую он вел с русским корреспондентом. Килсби – он жил в рейхе недолго и не научился еще осторожности – говорил русскому, что, видимо, следующим ударом, который Гитлер готовит, будет удар по России; он ссылался при этом на своих друзей из вермахта, и, Штирлиц знал, гестапо сейчас наблюдало за всеми контактами Килсби. Русский журналист вел с ним беседу умно и весело. Он говорил Килсби, что в России существует известное агентство ОГГ, но к его сообщениям надо относиться с осторожностью. Американец сказал, что, кроме ТАСС, никакого другого русского агентства он не знает, и полез было за книжечкой, чтобы занести в нее новость. Русский журналист посмеялся: ОГГ расшифровывается как «одна гражданка говорила». Новость только тогда становится новостью, закончил он, когда есть ссылка на серьезный источник информации. Естественно, официальный. Наш парень жил в Германии уже третий год и вел себя точно и выверенно – даже в интонациях.

– Господин Шмит, – поднялся журналист из Лос-Анджелеса, – в центре Европы, помимо Швейцарии, осталась лишь одна страна, сохраняющая нейтралитет: я имею в виду Югославию. Предстоят ли переговоры на высшем уровне между Берлином и Белградом?

– Мне о факте таких переговоров ничего не известно, – ответил Шмит. – Наши отношения с Югославией строятся на взаимном уважении и полном доверии.

– Можно считать, что нейтралитет Югославии устраивает Берлин? – продолжал допытываться американец.

– Берлин устраивает нейтралитет Швеции и Швейцарии, – ответил Шмит, – мы никому не навязываем своей дружбы.

– Можно ли считать, – негромко спросил Килсби, – что нейтралитет Югославии является следствием ноты Молотова по поводу введения германских войск в Румынию и Болгарию?

– Я давно замечаю, Килсби, – ответил Шмит, – что вы пытаетесь проводить в рейхе пропагандистскую работу, рассчитывая на неустойчивых и политически не подготовленных людей!

«Мое ведомство дало ему инструкции, – понял Штирлиц, – Килсби – кандидат на выдворение».

– Господин Шмит, я пользуюсь официальными документами, – ответил Килсби. – Некоторые швейцарские газеты утверждают, что нейтралитет Югославии стал возможен после обмена нотами между рейхсканцелярией и Кремлем.

– Наши отношения с Россией, – ответил Шмит, – отличаются истинным добрососедством. Введение наших войск в Болгарию и Румынию произошло по просьбе монархов этих стран – они нуждаются в защите от английских посягательств. Еще вопросы, пожалуйста!

«Когда же они начнут? – подумал Штирлиц. – Они должны начать этой весной. Почему наши молчат? Почему мы не предпринимаем никаких шагов? Если Югославия откажется от нейтралитета, значит, весь фронт от Балтики до Черного моря окажется в руках Гитлера. Почему же мы молчим, боже ты мой?»

Но по укоренившейся в нем многолетней привычке беседовать с самим собой, отвечать на вопросы, поставленные однозначно и бескомпромиссно, Штирлиц сказал себе, что ситуация, сложившаяся в мире весной сорок первого года, такова, что всякое действие, а тем более открытая внешнеполитическая акция, направленная против Германии, невозможна, ибо она будет свидетельствовать о том, что «нервы не выдержали», поскольку открытого нарушения условий договора о ненападении со стороны рейха не было. Понимая, что Гитлер рано или поздно нападет на его родину, Штирлиц тем не менее отдавал себе отчет в том, что всякое «поздно», всякая, даже самая минимальная, оттяжка конфликта на руку Советскому Союзу. Это была аксиома, ибо успех в будущей войне во многом складывался из цифр, которые печатали статистические ведомства в Москве и Берлине, сообщая данные выполнения планов – выплавку стали, чугуна, добычу нефти и угля, – эти сухие цифры и определяли будущего победителя, а они, цифры эти, пока были в пользу Германии, а не Союза. Но Штирлиц понимал, что резервы его страны неизмеримо больше резервов рейха, а исход будущей битвы в конечном итоге определяли резервы. Штирлица не пугало то, что вся Европа сейчас была под контролем Берлина. Это только на первый взгляд было страшно. Если не поддаваться первичному чувству и заставить себя неторопливо, как бы со стороны анализировать ситуацию, то вывод напрашивался сам собой: конгломерат народов, отвергавших идеи национал-социализма, сражавшихся – в меру своих сил – против вермахта, будучи оккупированными, чем дальше, тем активнее станет оказывать сопротивление немцам; сначала, видимо, пассивно, но потом – Штирлиц не сомневался в этом – все более активно, то есть с оружием в руках. Значит, Гитлеру придется удерживать свои резервы с помощью армии; значит, считал Штирлиц, тылы рейха будут зыбкими, ненадежными, враждебными духу и практике нацизма.

Он все это понимал умом, заставляя себя анализировать ситуацию, проверяя и перепроверяя свои посылы, дискутируя сам с собой, но когда хоть на минуту душа его выходила из-под контроля разума, как сейчас, когда он снова увидел эту проклятую коричневую карту и маленькую точку Москвы на белой пустыне России, становилось ему страшно, и пропадали все звуки окрест, и слышал он только свой немой вопрос, обращенный не к себе, нет, обращенный к дому, к своим: «Ну что же вы там?! Делайте же хоть что-нибудь!»

Понимаете ли вы, что война вот-вот начнется?! Готовитесь ли вы к ней?! Ждете ли вы ее?! Или верите тишине на наших границах?!»

...Выйдя из ампириного, с купидончиками, выкрашенными голубой краской, здания министерства иностранных дел, он сел в свой «хорьх» с форсированным двигателем, резко взял с места и поехал в маленькое кафе «Грубый Готлиб». Там никто не обратит внимания на то, что он выпьет не двойной «якоби», как это было принято в Германии – стране устойчивых традиций, тут уж ничего не поделаешь, – а подряд три двойные рюмочки сладковатого коньяка.

Американские журналисты учили его веселой медицинской истине «релакса и рефлекса» – расслабления и отдыха: двадцать дней в горах, одному, без единого слова, – тишина и одиночество. Он, увы, не мог себе позволить этого. Но он мог пойти к «Грубому Готлибу», выпить коньяку, закрыть глаза и посидеть возле окна, среди пьяного рева, грустной мелодии аккордеона и скрипки, и почувствовать, как тепло разливается по телу и как кончики пальцев снова становятся живыми из онемевших, чужих и холодных.

Корреспондент ТАСС по Югославии Андрей Потапенко боялся только одного человека на земле: своей жены. Ревнивая до невероятия, она устраивала ему сцены, включив предварительно радио, когда он возвращался домой под утро – с синяками под глазами, едва держась на ногах от усталости.

– Но пойми, – молил он, – я же был на встрече...

– Мог позвонить!

– Не мог я позвонить! Как мне сказать помощнику министра: «Одну минуточку, сейчас я позвоню Ирочке, а то она решит, что я у дам»?! Или что? Посоветуй, как мне поступать, посоветуй! Ты же все знаешь!

– Костюков возвращается домой в семь!

– Костюков бездельник и трус! Он отсиживает на работе, а я работаю! Я не умею отсиживать. Мне платят за статьи, а не за сидение в офисе!

– В офисе! А почему от тебя духами пахнет?!

– Так с ним женщина была.

– С кем?

– Я же сказал: с помощником!

– С ним?

– Ну не со мной же...

– Хороши дела – с бабой!

– Как раз с бабой и делаются все дела!

– Я завтра же пойду к поверенному и расскажу, что ты...

Этого Потапенко слушать не мог; он уходил в кабинет, запирает дверь и садился к столу, уставившись в одну точку перед собой – эта точка была для него, словно буй во время шторма, некий символ спокойствия, за который он должен держаться.

Последние дни он спал по пять часов от силы. Ситуация обострялась с каждым днем: либо Югославия присоединится к англо-греческим войскам, либо Белград станет союзником Гитлера. О нейтралитете мечтали наивные политические идеалисты – балканский стратегический узел, южное подбрюшье рейха и северное предмостье британского Суэца, должен быть разрублен. Жестокая римская формула «третьего не дано» стала руководством в дипломатической практике весной сорок первого года.

Сегодняшний разговор с помощником министра просвещения, воспитанным в Сорбонне, был важным, особенно важным: казалось, что собеседник Потапенко лихорадочно взывает о помощи.

Естественно, ни о чем впрямую собеседник не говорил; манера его поведения была безукоризненна – веселая рассеянность, добрая монтеневская афористичность, щедро

пересыпаемая грубоватыми марсельскими шутками; неторопливая и чуть скептическая оценка всего и вся; подтрунивание над собой и своими шефами, что, естественно, позволяло ему в такой же мере подтрунивать над Потапенко и его шефами, но среди мишуры этих изящных, ни к чему не обязывающих умностей помощник министра несколько раз **так** глянул на Потапенко и **так** произнес несколько фраз о судьбе несчастных Балкан, обреченных на заклятие, особенно теперь, «когда традиционный защитник моей родины вынужден сохранять улыбку на лице, в то время как его возлюбленную раздевает донага насильник и вот-вот опоганит», что только полный болван не понял бы истинной цели всей этой шестичасовой встречи, на которую был приглашен Потапенко.

Они сидели в маленьком кафе около «Српского Краля», неподалеку от Калемегдана, тянули «турску кафу», запивая попеременно то холодной «киселой водой», то чуть подогретым виньяком с виноградников Босны, и со стороны казалось, что беседуют обо всякой безделице стародавние друзья, стараясь к тому же понравиться красивой женщине, лениво разглядывавшей собиравшуюся в этом кафе белградскую богему, куда как более вызывающую, чем французская: уж если богема, так чтоб во сто крат богемистее французской. Приморские славяне, спустившиеся к Адриатике из черногорских ущелий и с дымных, заоблачных вершин, любят быть во всем первыми и достоинство свое чтят превыше всего – даже в том, чтобы у маленького «Актера Актеровича» из «Балаганчика» рубаха была более цветастой и вызывающей, чем у самого знатного парижского шансонье...

*«Заместителю народного комиссара иностранных дел
тов. Вышинскому А. Я.*

Уважаемый Андрей Януарьевич!

Обстоятельства вынуждают меня обратиться непосредственно к Вам, поскольку ситуация, сложившаяся в Белграде, приобрела характер критический. Однако именно сейчас, с моей точки зрения, эта ситуация может способствовать реальному и деловому налаживанию дружественных взаимоотношений между нашими странами, народы которых – я убежден в этом – являются братскими.

Когда НКВД определенно и резко высказался против введения германских войск в Болгарию, сообщения об этом были напечатаны здесь на первых полосах газет как событие первостепенной важности. А сразу же после того как английские и американские журналисты, аккредитованные при здешнем МИДе, первыми дали в своих газетах сообщения о готовности Советского правительства гарантировать нейтралитет Турции и о том, что мы относимся с пониманием к ее проблемам, здешние дипломатические работники, близкие к тем кругам, которые выступают против капитулянтской линии премьера Цветковича и министра иностранных дел Цинцар-Марковича, подчеркивают в доверительных беседах необходимость заключения пакта о дружбе с Москвой, который может быть единственной гарантией против требования Гитлера о присоединении Югославии к Тройственному пакту.

По слухам, Н. Рибар, возглавляющий «левицу», имел встречу с хорватским лидером, первым заместителем премьера доктором В. Мачеком. Тот в ответ на просьбу Рибара противостоять нажиму Берлина заключением пакта о дружбе с СССР сказал, что лишь договор с Гитлером может дать стране мир.

В правительстве существует сильная оппозиция намерениям Рибара и других левобуржуазных лидеров искать выход из дипломатического тупика в немедленных переговорах с Москвой. Цинцар-Маркович, как утверждают журналисты из газеты «Време» (издается ставленником Гитлера Грегоришем), говорил недавно о том, что «интерес к нам России не должен дойти до общестности, а особенно не должно созреть впечатление, будто мы в союзе с Россией могли бы прийти к более благоприятному положению. Необходимо иметь в виду, что Россия является нашим

самым большим врагом. Мы должны лишь время от времени считаться с Советским Союзом вследствие его к нам близости и величия».

Однако эта точка зрения, типическая для Цинцар-Марковича и князя-регента Павла, не находит широкой поддержки. (Недавно один из левобуржуазных лидеров, Драгомир Йованович, заявил на митинге: «Мы – страна чужаков; мы сотканы из взаимоисключающих противоречий: наша власть выступает за Германию, наша армия тяготеет к Англии, а все население страны не скрывает своей любви к Советскому Союзу!»)

Целый ряд высших военных, по слухам, поддерживает постоянные негласные контакты с миссией Антони Идена, находящегося по поручению Черчилля в Греции, и с фельдмаршалом Диллом, представляющим британский генеральный штаб. Эти военные, стоящие в оппозиции к Цветковичу (среди них наиболее мобильными фигурами здесь считают начальника ВВС генерала Душана Симовича и танкиста Борю Мирковича), по словам людей, близких к ним, готовы предпринять любые шаги, только бы не позволить Югославии стать официальной союзницей Гитлера. Эти люди настаивают на заключении с Гитлером лишь договора о ненападении. Риббентроп категорически отвергает эту идею. Как сообщил мне болгарский журналист П. Неделков, в беседе с болгарским посланником в Берлине Драгановым Риббентроп заявил, что рейху необходим монолитный балканский тыл, поскольку именно здесь закончится превращение Европы в зону, подвластную – в той или иной мере – практике национал-социализма.

Народ не скрывает антипатии к Гитлеру и открыто выражает свои искренние чувства традиционной любви к нашей стране – об этом громко говорят на улицах, в театрах, кафе, в учреждениях. Правительству будет трудно, почти невозможно объяснить народу присоединение страны к гитлеровскому блоку. Здесь высказывают мнение, что Цветкович не решится пойти на этот шаг. Во всяком случае, он понимает, что этот шаг чреват для него серьезными последствиями.

...Югославия осталась единственной балканской страной, которая не участвует в войне и пока еще сохраняет нейтралитет. От ее позиции, видимо, будет зависеть многое. Поэтому, уважаемый Андрей Януарьевич, я и обращаюсь к Вам с этим письмом: сейчас самый подходящий (и, по моему мнению, последний) момент, когда мы можем путем дипломатического демарша остановить продвижение Германии на Балканах, наладив контакт и оказав поддержку тем силам в Белграде, которые думают о будущем их родины. Меня даже не смущают контакты здешней оппозиции с англичанами – другой силы, которая поддерживала бы антигитлеровские элементы в правительстве, в настоящий момент не существует. Если бы мы более четко высказали свою позицию в связи с требованиями Гитлера о присоединении Югославии к пакту, мы бы нашли в Белграде много серьезных и сильных политиков, готовых установить с нами прочные контакты.

С уважением
А. Потапенко, корр. ТАСС,
n/б № 654921.
20 III 1941».

Вышинский подчеркнул все местоимения «я», «по-моему», «с моей точки зрения» и, сняв трубку «вертушки», позвонил начальнику ТАССа.

– Послушайте, Хавинсон, – сказал он, – у вас, как я погляжу, в Белграде сидят не журналисты, а прямо-таки теневые послы, такие эмиссары центра.

– Кого вы имеете в виду, товарищ Вышинский?

– Потапенко я имею в виду, – ответил Вышинский и положил трубку.

Вышинский раздумывал, стоит ли сообщить Сталину о том, что среди белградских военных существует «мобильная личность», стоящая в оппозиции к режиму Цветковича, но, зная, как крут бывает Сталин, когда важная информация приходит к нему без достаточно авторитетной проверки, решил поначалу сказать об этом нарком.

Молотов выслушал Вышинского и спросил:

– От кого эти сведения?

Мгновение поколебавшись, Вышинский передал Молотову письмо Потапенко. Нарком прочитал письмо сначала бегло, потом – второй раз – внимательно и цепко, водя остро отточенным красным карандашом по машинописным ровным строчкам, спотыкаясь в тех лишь местах, которые были жирно подчеркнуты Вышинским: «я», «по-моему», «с моей точки зрения».

– Думающий человек писал, – заметил Молотов, мельком взглянув на Вышинского.

Тот чуть улыбнулся:

– Я уже поздравил ТАСС с тем, что у них работают такие инициативные люди.

«Теневые послы» – совсем, по-моему, неплохое определение для такого рода журналистов.

– Ну, это зависит от интонации, – сразу же поняв Вышинского, сказал нарком. –

Попросите размножить это письмо, я думаю, его стоит показать товарищу Сталину и членам Политбюро. И вызовите Гавриловича. Он ведь не просто посол, он один из лидеров оппозиции в Белграде. Задайте ему вопрос в лоб: нужен им договор с нами или нет?

– Позавчера Гаврилович сказал, что этот вопрос зависит от того, как будут развиваться отношения между Белградом и Лондоном.

– Позавчера у нас не было этой информации, – сказал Молотов и тронул рукой письмо Потапенко. – Перед тем как мы будем докладывать этот вопрос товарищу Сталину, прощупайте Гавриловича: кто такой Рибар? Мера весомости Симовича? И – главное: сломает Гитлер Цветковича или тот сможет устоять и не пойти на требование Берлина?

Цветкович почувствовал, как у него занемела рука в локте. «Видимо, растянул сухожилие, когда играл с Миланом, – подумал он. – Если все это кончится, я уеду в Дубровник и полежу на солнце, и все пройдет – без массажей и утомительного лечения токами высокой частоты».

Он надел очки, пробежал текст, напечатанный на немецком, итальянском, японском и сербском языках, быстро подписал все четыре экземпляра документа и, дожидаясь, пока Риббентроп, Чиано и адмирал Ошима так же молча, как и он, подписывают протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту, внимательно осмотрел большой зал и, встретившись взглядом с пустыми глазами купидонов, глазевших на него с высокого лепного потолка, снова вспомнил пятилетнего племянника Милана – драчуна, который так любил возиться с ним на широкой тахте, застланной волосатым крестьянским ковром, присланным в подарок болгарским премьером Георгиевым.

«Господи, о чем я? – вдруг ужаснулся Цветкович и быстро глянул вокруг себя, словно испугавшись, что мысли его могут быть услышаны. – Как же я могу об этом в такой момент?!»

Он вспомнил – со стремительной четкостью – весь этот март; встречу князя-регента с Гитлером, когда тот терзал свою левую руку, то и дело ударяя по ней белыми пальцами правой, словно проверяя, чувствует ли кожа боль, и, глядя поверх голов югославских представителей, громко отчеканил: «Мы можем ждать еще две недели! Либо – либо! Если Югославия присоединится к пакту, война обойдет ее границы; если же Югославия решит остаться в стороне – я умою руки. Ваше предложение о договоре дружбы – неприемлемо».

Он вспомнил, как после этого разговора в Брехтесгадене германские танки вошли в Болгарию и устремились к югославским границам и как болгарский посол путано и унижительно объяснял ему вынужденность этого шага Софии.

Цветкович вспомнил и то, как представитель Рузвельта полковник Донован, прибывший из Афин, грохотал в его кабинете: «Одумайтесь! Присоединение к Тройственному пакту запятнает вас позором! Мы не останемся равнодушными к этому шагу!» Он ясно увидел лицо британского министра Антони Идена, который прилетел в Белград в те же дни: «Лучше война, чем позор сговора с Гитлером! Мы победим Гитлера – рано или поздно. Мощь Соединенных Штатов и наша воля к победе одержат верх над кровавым фанатиком! Как вы тогда сможете смотреть в глаза европейцам, господин премьер?!»

Все эти видения пронеслись перед глазами Цветковича, и он с трудом подавил вздох и постарался настроиться на происходящее здесь событие, долженствующее изменить ситуацию на Балканах, но с отчетливой ясностью, словно бы отстраненно наблюдая себя со стороны, услышал свои мысли, а думал он о том, что левый ботинок жмет в пятке и что надо бы успеть вовремя принять чесночный отвар после обеда для профилактики желчных протоков, а от этих желчных протоков мысль его легко и странно перепорхнула на проливы, и он вспомнил, как князь-регент Павел рассказывал ему о последней встрече с Милюковым, когда русский изгнанник горько и умно говорил о том, что нерешенная проблема Босфора и Дарданелл еще долго будет маячить общеевропейской угрозой, а потом мысль, не подвластная уже Цветковичу, перенеслась к Иоганну Штраусу, и Цветкович нахмурился, стараясь понять, отчего именно Штрауса вспомнил он сейчас, и он понял, что лицо венского композитора так явственно стало перед ним оттого, что пять дней назад в американском посольстве показывали новый голливудский фильм «Большой вальс» с Граусом в главной роли; именно в этот момент церемония подписания кончилась, и фотокорреспондент «Фёлькишер Беобахтер» Отто Кастенер сделал первый снимок, а скорые на предположения лондонские журналисты прокомментировали морщину на лбу Цветковича как знак трагических переживаний югославского премьера, загнанного в угол «жесткой» дипломатией Берлина.

Под этой же фотографией, перепечатанной в нью-йоркской «Таймс», стояли жирно набранные слова Риббентропа, произнесенные им после подписания протокола: «Отныне на Балканах нет больше нейтральных государств».

«Сандей телеграф» прокомментировал это событие шире: «Итак, 25 марта 1941 года совершился исторический парадокс: Гитлер сделал славянскую страну участницей антиславянского по сути и лишь по форме антикоминтерновского пакта, обращенного прежде всего против колыбели славянства – России».

Через сорок минут после подписания венского протокола, сделавшего Югославию союзницей Гитлера, старомодный «роллс-ройс» английского посла сэра Кемпбелла медленно остановился около белградского министерства иностранных дел, и сухопарый, в традиционном черном смокинге и серых полосатых брюках, Кемпбелл вручил заместителю министра протест Даунинг-стрит против присоединения Югославии к странам оси.

Через полтора часа после подписания венского документа помощник государственного секретаря США С. Уэллес вызвал югославского посла Фотича и вручил ему послание президента Рузвельта: «Если югославское правительство подпишет с Германией соглашение, противоречащее интересам Англии и Греции, которые борются за всеобщую свободу, то я буду вынужден заморозить все югославские активы и вместе с тем пересмотреть американскую политику в отношении Югославии».

– Америка далеко, – ответил посол, – а Германия рядом, мистер Уэллес. Ваши гарантии – это слово; гарантии мистера Гитлера обрели форму сапога: сие реальность. И соглашение уже подписано.

Сообщение из Вены Черчилль принял спокойно, с ироничной улыбкой на похудевшем лице, сделавшемся из-за этого более молодым и здоровым – не было обычной отечности, – и сказал секретарю:

– Чем хуже – тем лучше. Не всегда, естественно, но в данном случае бесспорно. Скажите постоянному заместителю министра иностранных дел, что именно сейчас пора действовать. Он ведь держит руку на пульсе белградской жизни... Пусть его люди помогут нашим югославским друзьям, пусть помогут.

Премьер поднялся из-за стола и валко прошелся по кабинету, поправляя широкий пояс брюк.

– Как всякий немец, Гитлер хочет **порядок** выразить в протокольной форме. Просто симпатизирующий ему Цветкович не годен; нужен такой Цветкович, который подпишет договор, расстелившись перед Гитлером-политиком. Фюрер не учел балканской амбиции, и на этом мы щелкнем его по носу...

Шеф управления социальных служб Хью Дальтон через полчаса отправил шифровку секретарю посольства в Белграде Тому Мастерсону: «Время работы!» В тот же день генерал Боря Миркович встретился с англичанами.

Гитлер не дослушал Риббентропа. Он поднялся, отошел к карте и сказал:

– Теперь мы готовы к последнему сражению: после того как наши войска в течение первых недель апреля сметут английское сопротивление в Греции, мы выйдем всей нашей мощью на рубежи России; дни Сталина сочтены, потому что отныне Европа от Адриатики до Балтики подчинена воле национал-социализма, моей воле. Риббентроп, я поздравляю вас с победой. Я понимаю, как было трудно поставить на колени Югославию, – тем выше успех. Точно организованный вами нажим на сербских гегемонов Белграда угрозой акций хорватских сепаратистов-ушастей, готовых на отторжение Загреба и создание независимой Хорватии, сыграл свою роль! Это прекрасно: сталкивать лбами славянские племена – таков путь к разгрому русского гиганта!

Гитлер налил себе воды, сделал маленький глоток, на мгновение закрыл глаза, и странная улыбка тронула его лицо. Эта странная его улыбка много раз дискутировалась в западной прессе, и Гитлер, читая выдержки из этих статей, приготовленные для него секретариатом на маленьких листах мелованной бумаги, презрительно фыркал: «смех тирана», «игра в апостольскую доброту», «гримасы политического актера». Он-то знал, когда и почему рождалась эта странная, не зависевшая от его воли или желания улыбка. В минуты высшего успеха его захлестывала огромная, горячая, возвышенная любовь к тому человеку, имя которого было Гитлер. Он чувствовал себя со стороны не таким совсем, каким он представлялся миллионам в кадрах хроники и на тысячах портретов, вывешенных в родильных домах, канцеляриях, спортивных обществах, спальнях и пивных залах. Нет, он видел себя голодным, в мятом сером пиджаке, тогда, давно, когда он впервые встретился с Хаусхофером: тот только что вернулся из Тибета, где он провел годы в поисках таинственной шимбалы, – страны «концентрации духа», страны, где живут боги арианы, увидеть которых и понять может лишь избранный. Хаусхофер сказал тогда молодому фюреру национал-социализма, что лишь мессия может стать мессией, и что человек есть не что иное, как выразитель духа, заданного извне, и лишь тот человек, который отринет «прогнившую мораль буржуа» и осмелится выразить свое изначалие, не оглядываясь на предрассудки; лишь человек, который будет говорить то, что является ему, что он чувствует и что вливает в него волнение и азарт; лишь тот, кто скажет открыто: «Жестокость в пути – счастье на привале»; лишь тот, кто поймет высшее, угодное высшим, кто разобьет правду на малую – доступную толпе – и великую – достойную избранных, лишь тот победит в этом мире, раскачавшем свою сущность порядком, который чужд духу разрушения, заложенному в двуногом звере, ибо он призван осознанно служить неосознанной, но постоянной идее

величия расы арийцев. И вот он, Гитлер, достиг великой правды, он, которого избивали на улицах, он, на которого рисовали карикатуры, которого сажали в тюрьму, кормили капустными котлетами и вонючим бульоном из протухших костей, – он достиг всего; а может быть, это уж вовсе и не он, а тот отделившийся от него символ, который несет миру неведомое новое, построенное на подчинении порядку, идее и силе, именно силе, ибо ничто так не организует разум, деяние, идею, как точное осознание собственной силы. Лишь осознание великой сущности силы заставит слабого ощутить свою слабость, а сильного сделает еще более сильным. Но примат силы расе арийцев может принести только особая сильная личность. Человек силы станет религией силы, а эта религия, в свою очередь, родит новую нацию – нацию силы. Мессия лишь угадывает то, что ему предписано высшим разумом, саккумулированным в шимбале, а не в детских сказках Ветхого завета. Прежние мессии приходили со словами всеобщего добра и – гибли на кострах или в катакомбах. Изменить раздираемый противоречиями мир и остаться в веках может лишь тот мессия, который подчинит его высшей логике: «Пусть победит сильный». Лишь мессия силы смог сегодня связать воедино, в один лагерь, арийца, венгра, француза, норвежца и болгарина. Этот конгломерат неравенств подчинен догмату будущей победы сильного. Иерархия целей позволяет жертвовать буквой доктрины – не духом. Придет время, и серб отправится к Ледовитому океану, француз – в Африку, чех – на Камчатку. Но это потом; сейчас все пальцы должны быть собраны в кулак силы – его силы, силы Гитлера, того, который стеснялся своей худобы, желтых угрей на лбу и грязной рубашки с пристегнутым целлулоидным воротничком. Как же ему не обожать человека, который привел свою идею послеверсальского реванша, припудренную догмами национал-социализма, к господству?! Как же не любить ему тот далекий образ, который ныне стал богом Германии?! Как же не преклоняться ему перед Гитлером, поставившим на колени всю Западную Европу?! Кому же любить его особой, трепетной любовью, как не ему?!

*«Загреб. Первому заместителю премьер-министра
Хорватского банства
г-ну доктору Мачеку,
председателю Крестьянской партии Хорватии.
Бану Хорватии д-ру Шубашичу,
заместителю председателя Крестьянской
партии Хорватии*

Сводка первого отдела королевской полиции

Реакция коммунистов на присоединение Югославии к Тройственному пакту яснее всего просматривается на основании данных, полученных путем оперативных мероприятий. Сектор «б» смог установить аппаратуру звукозаписи на квартире профессора Огнена Прицы в то время, когда у него собрались его коммунистические единомышленники: писатель Август Цесарец (хорват), журналист Божидар Аджия (хорват), журналист, редактор «Израза» Отокар Кершовани (хорват). Единственным сербом является Прица. Все четверо отвечают за идеологическую работу в партии. Все, кроме Цесарца, отбывали десятилетнее тюремное заключение за коммунистическую агитацию. Цесарец неоднократно бывал в СССР, где выпустил ряд книг, изданных потом в Югославии, Франции, Болгарии. В 1938 году вернулся из Испании, где находился в рядах интернациональных бригад.

Обсуждая создавшуюся ситуацию, Цесарец заявил, что «присоединение Югославии к Тройственному пакту стало возможно лишь потому, что в стране отсутствует демократия». По его словам, «отсутствие демократии неминуемо подводит к блоку с фашизмом». Цесарец предложил связаться с низовыми партийными организациями для того, чтобы вывести на улицы рабочих и

студенчество. Прица сказал, что «демонстрации должны показать Цветковичу и Мачеку неприятие широкими слоями общественности политики национального предательства. Народ поддержит лозунги о расторжении договора с Гитлером и о немедленном заключении пакта дружбы с Советским Союзом».

К сожалению, Кершовани, Аджия и Цесарец смогли разойтись по городу, поскольку данные звукозаписи были расшифрованы лишь через пятнадцать минут после того, как они покинули квартиру профессора Прицы.

Считаю необходимым задержать означенных членов нелегальной КПЮ, весьма близких к секретарю ЦК Иосипу Броз (Тито).

Генерал-майор Я. Викерт ».

Резолюция доктора Мачека:

«Задержать – целесообразно, но при условии, если подобраны материалы, дающие основание на арест. Суд должен быть демократическим, с привлечением прессы. Клеветников надо карать по закону».

Резолюция доктора Шубашича:

«Считаю представленную запись достаточным основанием для ареста».

После того как этот документ с резолюциями Мачека и Шубашича ушел обратно в жандармерию, к генералу Викерту, Мачек попросил своего секретаря Ивана Шоха вызвать чиновника из тайной полиции, который непосредственно курировал «германскую референтуру». Этим человеком оказался полковник Петар Везич.

Внимательно оглядев ладную фигуру полковника, его красивое, словно бы чеканное, лицо, Мачек предложил Везичу сесть, вышел из-за своего большого стола и удобно устроился в кресле напротив контрразведчика.

– Мне говорили о вас как о талантливом работнике, господин полковник, – сказал он, – и мне хотелось бы побеседовать с вами доверительно, с глазу на глаз.

– Благодарю вас...

– Вам, вероятно, известно, что мы подписали документ о присоединении к Тройственному пакту?

– Да. Такое сообщение только что пришло из Вены.

– Официальное сообщение?

– Нет. Но у меня есть надежные информаторы в рейхе.

– Эти надежные информаторы, надеюсь, не представляют тамошнюю оппозицию?

Чуть помедлив, Везич ответил:

– Нет. Мои информаторы – люди вполне уважаемые и сохраняют лояльность по отношению к режиму фюрера.

– Ответ ваш слишком точно сформулирован, – заметил Мачек, – для того, чтобы быть абсолютно искренним.

– Я готов написать справку о моих информаторах, – сказал Везич. – Судя по всему, мне предстоит порвать с ними все связи – в свете нашего присоединения к Тройственному пакту...

– Вы сами этот вопрос продумайте, сами, – быстро сказал Мачек, – не мне учить вас разведке и межгосударственному такту... Я пригласил вас по другому поводу.

– Слушаю, господин Мачек.

– В Загребе – не знаю, как в Белграде, – заметно оживились коммунистические элементы... Вам что-либо говорят фамилии Кершовани, Аджии, Цесарца?

– Эти имена общеизвестны: хорваты любят свою литературу.

Мачек еще раз оглядел лицо Везича – большие немигающие черные глаза, сильный подбородок, мелкие морщинки у висков, казавшиеся на молодом лице полковника противоестественными, – и тихо спросил:

– Скажите, как с этими людьми поступили бы в Германии?

– В Германии этих людей скорее всего расстреляли бы – «при попытке к бегству». Сначала, естественно, их постарались бы склонить к отступничеству.

– Вы заранее убеждены, что этих людей нельзя склонить к сотрудничеству?

– К сотрудничеству с кем?

– С нами.

– Я такую возможность исключаю, господин Мачек.

– Жаль. Я думал, что вы, зная германские формы работы с инакомыслящими, попытаете спасти для хорватов их запутавшихся литераторов.

– Господин Мачек, я благодарен за столь высокое доверие, но мне бы не хотелось обманывать вас: эти люди умеют стоять за свои убеждения.

– Я рад, что в нашей секретной полиции люди умеют исповедовать принцип и не подстраиваются под сильного, – сказал Мачек поднимаясь, – рад знакомству с вами, господин Везич.

Везич ощутил мягкие, слабые пальцы хорватского лидера в своей сухой ладони, осторожно пожал эти слабые пальцы и пошел к тяжелой дубовой двери, чувствуя на спине своей взгляд широко поставленных, близоруких глаз доктора Влатко Мачека.

– Добрый день, мне хотелось бы видеть шеф-редактора.

– Господина Взика нет и сегодня не будет.

– Ай-яй-яй, – покачал головой Везич. – Где же он?

– Я не знаю. Он очень занят сегодня.

– Можно позвонить от вас домой?

– К себе или к господину Взику?

– Господину Взику.

– Госпожи Ганны Взик нет дома, – снова улыбнулась секретарша и тронула длинными пальцами свои округлые колени, – нет смысла звонить к ним домой.

«Гибель Помпеи, – горестно подумал Везич. – Или пир во время чумы. Не люди – зверушки. Живут – поврозь, погибают – стадом».

– Я не буду звонить домой, я не стану дожидаться господина Взика – видимо, это дело безнадежное, но вам я оставлю вот это, – сказал Везич, положив на столик возле большого «ундервуда» шоколадную конфету в целлофановой сине-красной обертке...

Взик был единственный человек в Загребе, с которым полковнику Везичу надо было увидеться и поговорить. Его не оказалось, и Везич только сейчас ощутил усталость, которая появилась у него сразу же, как он покинул кабинет доктора Мачека.

Из редакции Везич зашел в кафе – позвонить.

– Ладица, – сказал он тихо и подумал о телефонной трубке как о чуде – говоришь в черные дырочки, а на другом конце провода, километра за три отсюда, тебя слышит самая прекрасная женщина, какая только есть, самая честная и добрая, – слушай, Ладица, я что-то захотел повидать тебя.

– Куда мне прийти?

– Вот я и сам думаю, куда бы тебе прийти.

– Ты меня хочешь видеть в городе, дома или в кафе?

– Когда слишком много предложений, трудно остановиться на одном: человек жаден.

Ему никогда не надо давать право выбора.

– По-моему, тебе хочется не столь видеть меня, как поговорить. Ты чем-то расстроен, и надо отвести душу.

– Тоже верно. Выходи на улицу и жди меня. Я сейчас буду.

Везич увидел Ладу издали: рыжая голова ее казалась маленьким стогом сена, окруженным черным, намокшим под дождем кустарником, – хорваты темноволосы, блондины здесь редкость, рыжие – тем более.

Он взял ее за руку – ладонь женщины была мягкой и податливой – и повел за собой, вышагивая быстро и широко; Ладе приходилось порой бежать, и это могло бы казаться смешным, если бы не были они так разно красивы, что рядом они являли собой гармонию, а в мире все может – в тот или иной момент – казаться смешным, гармония – никогда, ибо она редкостна.

Везич и Лада пришли на базар, что расположен под старым городом, возле Каптола, и затерялись в толпе – она поглотила их, приняла в себя, оглушила и завертела.

– Хочешь цветы? – спросил Везич.

– Хочу, только это к расставанью.

– Почему?

– Не знаю. Так считается.

– Чепуха. – Везич купил огромный букет красных и белых гвоздик, отметив машинально, что «товар» этот явно контрабандный, привезли на фелюгах из Италии ночью, и Везич даже услышал шуршание гальки под острым носом лодки и приглушенные рассветным весенним туманом тихие голоса далматинцев. – Не верь идиотским приметам, цветы – это всегда хорошо.

– Ладно. Никогда не буду верить идиотским приметам.

– Пойдем пить кофе?

– Пойдем пить кофе, – согласилась Лада.

– Господи, когда же мы с тобой поскандалим?

– Очень хочется?

– Скандал – это форма утверждения владения. Форма собственности, – усмехнулся Везич и провел своей большой рукой по мягким, рыжим, цвета сена – раннего, чуть только тронутого утренним солнцем, – волосам Лады.

– Где ты хочешь пить кофе?

– А ты где?

– Там, где ты.

– Сплошные поддавки, а не роман.

– Пойдем куда-нибудь подальше, – сказала Лада, – я человек вольный, а господину полковнику надо соблюдать осторожность – во избежание ненужных сплетен.

– Сплетня нужна. Особенно для людей моей профессии. Для нас сплетня – форма товара, имеющего ценность, объем и вес.

– Вот именно, – сказала Лада. – Нагнись, пожалуйста.

Везич нагнулся, и она коснулась его щеки своими губами, и они были такие же мягкие, как ладони ее и как вся она – Лада, Ладушка, Ладица.

Цветкович вернулся в Белград в десять часов утра.

Его поезд остановился не на центральном вокзале, а на платформе Топчидера, в белградском пригороде. Возвращаясь из Вены, Цветкович на час задержался в Будапеште. Чуть не оттолкнув встречавших его послов «антикоминтерновского пакта» – Югославия стала теперь официальным союзником рейха, – он подбежал к своему посланнику и, взяв его под руку, тихо спросил:

– Что дома? Какие новости? В поезде я сходил с ума...

– Дома все в порядке. Вас ждет премьер Телеки, господин Цветкович.

– Нет, нет, пусть с ним встретится Цинцар-Маркович. Я сейчас ни с кем не могу говорить. Ни с кем.

– Премьер Телеки устраивает прием в вашу честь...

– Извинитесь за меня. Я должен быть в Белграде. Меня мучают предчувствия...

В Топчидере Цветкович не сел в свой «роллс-ройс», а устроился в одной из машин охраны и попросил шофера перед тем, как ехать во дворец князя-регента Бели Двор, провезти его по центру города.

На улицах, возле кафе и кинотеатров, толпились люди. Цветкович жадно вглядывался в лица: многие улыбались, о чем-то быстро и беззаботно говорили друг с другом; юноши вели своих подруг, обняв их за ломкие мальчишеские плечи; первая листва, в отличие от осторожных венских почек на деревьях, казалась на ярком солнце сине-черной.

«В конце концов, – облегченно думал Цветкович, – в политике важно лишь деяние; эмоции умрут за неделю, от силы в течение месяца. Сейчас важно удержать толпу, ибо толпа – аккумулятор эмоций. История простит мне вынужденный шаг, а народ будет благодарен за то, что война обойдет наши границы. Политик должен уметь прощать обиду во имя того, чтобы войти в память поколений, – а это в конечном счете и есть бессмертие, к которому стремится каждый, отмеченный печатью таланта».

Министр внутренних дел, который ждал премьера в резиденции князя-регента, молча положил на стол данные, поступившие за последние два часа в управление политической полиции: несколько раз встречались генералы, стоящие в оппозиции; активизировались подпольные организации компартии; около площади Александра была разогнана толпа, требовавшая расторгнуть договор о присоединении к пакту; усилили свои личные контакты с командованием югославских ВВС те сотрудники британского посольства, которые, по данным наблюдений, были связаны с Интеллидженс сервис.

– Ну и что? – спросил Цветкович. – Я проехал по городу; люди заняты весной. Если бы мы присоединились к пакту осенью, когда в парках холодно и молодежи негде заниматься любовью, тогда бы я разделил ваши страхи. Бунты происходят осенью или ранней весной – сейчас март, и в Дубровнике можно загорать в тех местах, где нет ветра.

Пискнул зуммер правительственного телефона, который связывал Цветковича с его первым заместителем Мачеком, хорватским лидером, одним из главных инициаторов югославо-германского сближения.

– Добрый день, мой дорогой друг, – пророкотал Цветкович в трубку, – рад слышать ваш голос...

– Поздравляю с возвращением, господин премьер. Как вы себя чувствуете после всей этой нервозности?

– Чувствую себя помолодевшим на десять лет.

– Завидую: в моем возрасте предел такого рода мечтаний – год...

– Как ситуация у вас в Загребе?

– Я определяю ее одним словом: ликование. Люди наконец получили гарантию мира.

– А меня здесь пугают наши скептики, – облегченно сказал Цветкович, глянув на министра внутренних дел. – Пугают недовольством.

– Назовите мне хотя бы одного политика, поступки которого устраивают всех, – ответил Мачек. – Сейчас я прочту вам заголовки газет, которые выйдут завтра. Одну минуту, пожалуйста. – Мачек нажал звонок, и на пороге кабинета появился его секретарь Иван Шох. Прикрыв трубку, Мачек попросил: – Давайте-ка быстренько ваши комментарии, я с Белградом говорю.

Он надел очки, достал из кармана перо, чтобы удобнее было следить за строками и не терять их – Мачек страдал прогрессирующим астигматизмом, – и повторил в трубку:

– Сейчас я прочту вам заголовки, сейчас...

Иван Шох появился через мгновение: он отвечал за связь с прессой и выполнял наиболее деликатные поручения хорватского лидера, носившие подчас личный характер.

– «Победа мира на Балканах, – Мачек читал медленно и торжественно, – только так можно определить исторический день двадцать пятого марта. Рукопожатие, которым скреплено присоединение Югославии к Тройственному пакту, это дружественное

рукопожатие рейха и королевства, центра и юга Европы!» Это пойдет в «Хорватском дневнике», – пояснил Мачек, – а в «Обзоре» шапка будет звучать так: «Сербы, хорваты и словены от всего сердца благодарят премьера Цветковича за его мужественное решение. Мощь великой Германии надежно гарантирует нашу свободу и независимость – отныне и навсегда!»

– Спасибо, – глухо сказал Цветкович, почувствовав, как запершило в горле, – спасибо вам, друг мой. Я жду вас в Белграде: князь-регент придает огромное значение тому, в какой обстановке пройдет ратификация. Если бы вы, как вождь хорватов, выступили в Скупщине...

– Я выступлю первым, господин премьер. Я не отношу себя к числу скептиков. От всего сердца еще раз поздравляю вас.

– До свидания, мой друг.

– До встречи.

Цветкович медленно опустил трубку и вопросительно посмотрел на министра внутренних дел.

Тот упрямо повторил:

– Загреб – это Загреб, господин премьер, но мы живем в Белграде.

Тихий секретарь неслышно появился на пороге кабинета:

– Звонит посол Германии фон Хеерен...

– Соедините, пожалуйста.

Министр уверенно сказал:

– Он будет спрашивать вас о ситуации в столице.

– А разве возникла ситуация? – удивился Цветкович. – Я ее не видел. Впрочем, министр внутренних дел по праву должен называться министром государственной тревоги.

Как все слабые люди, сделавшие головокружительную карьеру – семь лет назад Цветкович ходил в драном пальто и друзья собирали ему деньги на ботинки (сейчас он был миллионером, ибо здесь, на Балканах, человек, имеющий власть, становился богатым, тогда как на Западе властвуют люди, имеющие деньги), – югославский премьер видел в очевидном лишь очевидное, и явное для него не таило в себе возможного второго и третьего смысла. Поэтому сейчас, проехав по городу и не увидев там баррикад, – а это ему предрекали перед поездкой к Риббентропу, – Цветкович испытал огромное, счастливое, как в детстве, облегчение. А то, что где-то кто-то шумит и выступает против пакта, – это частности; армия и полиция на то и существуют, чтобы навести порядок...

«Премьер Цветкович заверил меня, что правительство удерживает контроль над положением в стране. Незначительные выступления большевистских и хулиганствующих элементов пресечены. Князь-регент Павел, приняв Цветковича, отправился в свою загородную резиденцию Блед. Беседа с итальянским и венгерским послами дает основание предполагать, что ситуация в Загребе также контролируется силами правительства, находя поддержку в кругах хорватских лидеров, особенно председателя партии ХСС Мачека и губернатора (бана) Шубашича.

Хеерен».

Позвонив в ТАСС, Вышинский сказал:

– Вызовите в Москву вашего Потапенко, и пусть он объяснит свое поведение. Его сигнал, который мы получили, крепко смахивает на злостную дезинформацию. Либо он мальчишка, самовлюбленный мальчишка, либо он стал объектом игры наших врагов, либо он враг – сам по себе, вне чужой воли...

2. ПУСТЬ КОНСУЛЫ ПОЗАБОТЯТСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ РЕСПУБЛИКА НЕ ПОНЕСЛА НИКАКОГО УЩЕРБА

В два часа ночи, через день после присоединения Югославии к странам оси, войска главкома ВВС генерала Душана Симовича с помощью инструкторов Интеллидженс сервис, руководимых генералом Мирковичем, захватили дворец князя-регента Павла, радиостанцию, телеграф, канцелярию премьера Цветковича и привели на трон молодого короля Петра II...

В шесть часов утра в помещении генерального штаба собрались все лидеры переворота. Бессонная ночь высинила лица, глаза заговорщиков запали и блестели тем особым лихорадочным блеском, который проявляется на рассвете, в серых сумерках, после часов любви или творческой удачи.

Симович медленно обвел взглядом лица своих сподвижников: Слободана Йовановича, профессора белградского университета, идеолога великосербской философии, яростного, несмотря на свой возраст, спорщика, известного всей стране председателя Сербского клуба, Бранко Чубриловича и Милоша Тупанянина, Милана Грола и Божидара Владича, Мишу Трифуновича и Мирко Костича. Он переводил взгляд с одного лица на другое медленно, словно наново оценивая своих друзей, представляющих разные партии, разные общественные интересы, разные возрасты, но одну народность – сербскую.

Разглядывая лица своих товарищей по перевороту, Симович думал о том, что самое трудное, видимо, должно начаться сейчас, когда предстоит сформировать кабинет, распределить портфели и определить политику на ближайшие недели – не месяцы даже и уж тем более не годы. Сейчас, когда власть в Белграде перешла в его руки, когда офицеры ВВС заняли все ключевые посты в Сараеве и Скопле, ситуация в Загребе продолжала быть неясной: лидер Хорватской крестьянской партии Влатко Мачек, являвшийся первым заместителем премьера Цветковича, активный сторонник Берлина, хранил молчание, к телефону не подходил, предоставив право вести переговоры своему заместителю Ивану Шубашичу, хорватскому губернатору.

От позиции Мачека зависело многое: он был неким буфером между королевским двором и хорватскими националистами – усташами, требовавшими безоговорочного отделения Загреба от Сербии. Впрочем, являясь убежденным монархистом, Мачек, как думал Симович, не решится выступить против нового короля, обратившегося к народу с речью по радио: Петр II много говорил о единстве сербов и хорватов... Без согласия Мачека генерал Симович пошел на решительный шаг – он принял это решение сразу же, как только регент Павел уехал из королевского дворца: новый премьер решил объявить Мачека своим первым заместителем, не получив даже его формального на то согласия. Сейчас это его решение должно быть утверждено, а уж будучи утвержденным – проведено в жизнь любыми способами. Мачек был нужен в прежнем кабинете, как символ верности хорватов югославскому королю; еще более нужен он сейчас, из-за давних своих связей с Берлином.

– Господа... Друзья мои, – глухо сказал Симович. Он хотел откашляться, потому что голос сел во время ночных бесконечных разговоров по телефону с командирами воинских частей, которые занимали узловые коммуникации, но ему показалось, что кашель этот будет дисгармонировать с той торжественной тишиной, которая стояла в прокуренном зале. – Господа, – повторил он и напряг горло, чтобы голос звучал ниже и значительней, – князь-регент отстранен от власти... Здесь, в этом здании... Два часа назад... Правительство Цветковича низложено... Со всех концов страны приходят вести о том, что армия берет власть в руки, не встречая сопротивления. Его величество король Петр Второй поручил мне сформировать кабинет. Однако, поскольку здесь собрались представители разных партий, я хочу, чтобы не монарх, а вы назвали имя кандидата на пост премьера...

– Симович!

- Душан Симович!
- Генерал Симович!
- Симович!

Почувствовав холодок в груди, высокий холодок счастья, Симович закрыл на мгновение глаза, прикоснулся пальцами левой руки к переносью, словно надевал пенсне или вытирал слезы – точно и не поймешь. Все события сегодняшней ночи ушли в прошлое. Они, эти события, имели две стороны – одну, которая будет принадлежать истории, и вторую, которая обязана быть забытой, когда Симович, услышав от своего друга Бори Мирковича это короткое и страшное «пора!», побелел, сел в кресло и тихо сказал: «А может быть, рано?»

Никто не имеет права знать, как Боря Миркович кричал на него всего шесть часов назад: «Тюфяк! Трус! Баба! Ложись в постель и жди, когда я позвоню тебе и поздравлю с победой! Иди, спрячься у жены под юбкой!» Никто не имеет права знать, что он ощутил паралич воли, страшное состояние отсутствия самого себя.

История обязана помнить, что он, именно он, а не Боря Миркович сказал по телефону – срывающимся шепотом – дежурному по гарнизону: «Выполняйте приказы, которые вам передают от моего имени».

Больше он не мог произнести ни слова – начался приступ стенокардии, и он просидел всю ночь в кресле, пока Миркович «валил» премьера Цветковича.

Но все знают, что приказ отдал он, Симович, все знают, что из его кабинета прозвучал приказ и было сказано первое слово. А первое слово остается в истории.

Поэтому-то Боря Миркович сейчас наводит порядок на улицах, а он, Симович, формирует кабинет. Генерал еще раз оглядел собравшихся и тихо сказал:

– Прошу голосовать, господа... Единогласно. Благодарю вас. Позвольте мне предложить кандидатуры военного министра и министра внутренних дел: господа Илич и Будиславлевич... Нет возражений? Единогласно. Благодарю вас. Теперь вопрос о моем первом заместителе... Я думаю, не будет возражений, если этот пост будет предложен Влатко Мачеку?

– С ним уже был разговор об этом? – спросил Чубрилевич.

– С ним поддерживается постоянная связь, – солгал Симович и вдруг ощутил, каждой своей клеточкой почувствовал гордость за то, что он, именно он, вправе давать такие тонкие ответы, которые могут вызвать лишь молчаливое несогласие, но которые, в силу того, что произошло здесь только что, не подлежат обсуждению, а уж тем более не могут быть подвергнуты открытой обструкции.

И, будто поняв это свершившееся, министры быстро переглянулись, но слова более об этом не произнес никто: премьер ответил исчерпывающе ясно. Протокольная авторитарность, заложенная в сознании высших правительственных чиновников, являясь фактом типическим, хотя и загадочным (объяснить это можно лишь тем, пожалуй, что каждый из них готовит себя к замещению лидера и «проигрывает» в сознании возможность того или иного допуска в поведении, проецируя этот допуск на себя), помогла Симовичу в первый же момент, и он посчитал это победой, тогда как на самом деле это было поражение. Когда у лидера появляется уверенность «это мое мнение, а любое иное – неверно», тогда на смену дискуссии приходит директива, а еще хуже – приказ, который хорош лишь в армии, да и то в определенные моменты...

– Господин премьер, – сказал Милан Грол, – к нам звонили из семи посольств. Осаждают журналисты, аккредитованные в Белграде. Главный вопрос, который всех волнует, это вопрос о будущем министре иностранных дел. Я хочу предложить кандидатуру нынешнего посла в Москве Милана Гавриловича. Думаю, что назначение министром человека, успешно работающего в Москве, старого друга Великобритании, внесет определенное равновесие в баланс политических сил – как в стране, так и за ее рубежами...

– Гаврилович отсутствует. А новый министр должен сейчас, немедленно объявить миру, куда он поведет внешнюю политику страны: по дороге войны или по дороге мира, – сказал Тупанянин.

– Конечно, по дороге мира, – сказал Симович, – если только эта дорога не перегорожена сегодняшней ночью...

– Какой мир! – Тупанянин ударил костяшками пальцев по столу. – О каком мире идет речь?! Это глупость – надо смотреть правде в глаза! Мы были участниками национальной революции, а за ней обязана последовать национальная война!

– Я предлагаю голосовать, – сказал Симович. – Кто за то, чтобы наш кабинет сейчас же, из этого зала, не медля ни минуты, провозгласил политику мира? Против двое. Большинство – за.

– Немцы верят лишь одному Цинцар-Марковичу, – сказал Костич. – Ради сохранения мира, ради того, чтобы договориться с Берлином, я бы считал целесообразным предложить Цинцар-Марковичу портфель министра иностранных дел.

– Тогда давайте вернем и Цветковича! – воскликнул Тупанянин. – И скажем немцам, что мы сегодняшней ночью просто пошутили... Это их вполне устроит...

– Профессор Нинчич – великолепный специалист в области международного права, – сказал Слободан Йованович. – Он вне блоков, и немцы ни в коем случае не заподозрят его в коалиции с левыми силами. Я считаю, что его кандидатура будет самой приемлемой на пост министра. В такие сложные моменты, какой сейчас переживает наша родина, чем спокойнее имя внешнеполитического лидера, чем, если хотите, безличностней он – тем лучше для дела, ибо наши контрагенты будут относиться к его позиции как к общей позиции кабинета...

Посол фон Хеерен принял Нинчича, который прибыл к нему в десять часов утра, через три часа после того, как был сформирован кабинет, и через два часа после того, как он узнал (его разбудил адъютант премьера) о своем назначении на пост министра иностранных дел.

Нарушив все нормы, выработанные дипломатической практикой, министр не стал вызывать к себе посла, а отправился к нему сам; последний раз они встречались, когда германское посольство устраивало прием в честь делегации берлинских академиков, прибывших в Белград с официально именуемым в прессе «визитом дружбы и доброй воли». Тогда посол рассыпался перед Нинчичем в любезностях, много говорил о его великолепных лекциях в университете и, почтительно держа под локоток, обходил берлинских гостей, представляя им «выдающегося югославского ученого, большого и давнего друга рейха». Однако сейчас, не протянув даже руки, презрительно и тяжело разглядывая лицо нежданного визитера, фон Хеерен принял Нинчича в большом зале, где не было стульев.

– Переворот, совершившийся по воле народа и во имя народа, – говорил Нинчич, – явился следствием той порочной внутренней политики, которую проводило руководство Цветковича. Однако что касается внешнеполитических дел, наше правительство намерено неукоснительно соблюдать все принятые прошлым режимом обязательства. Я хочу, чтобы вы, господин посол, сообщили вашему правительству, что Цветкович довел Югославию до такого предела, когда в любую минуту мог произойти неуправляемый взрыв, инспирируемый экстремистскими элементами. Новый кабинет, возглавляемый генералом Симовичем, представляет интересы тех сил в стране, которые понимают всю меру ответственности, возложенную на себя нашей страной не только на Балканах, но и в Европе.

– Меня и мое правительство интересует конкретный вопрос, – сказал фон Хеерен, лениво растягивая слова. – Каково отношение нового режима к Тройственному пакту?

Нинчич ждал этого вопроса. Он, впрочем, думал, что этот вопрос последует не сразу, не в лоб, а после долгого, осторожного разговора. Правда, он не представлял себе, что его примут в зале, откуда вынесены все стулья. Положение спасло то, что Нинчич не успел еще

ощутить всю меру своей значимости: он пока еще думал о престиже родины отдельно от своего собственного престижа – в этом были одновременно заложены и выгода и проигрыш.

– Мое правительство не собирается расторгать пакт, господин посол, однако мы настаиваем на том, чтобы нас ознакомили с теми тайными статьями, которые были подписаны в Вене Цветковичем.

Фон Хеерен улыбнулся, глядя в окно. Нинчич проследил за взглядом посла – тот разглядывал воробьев, занимавшихся яростной и быстрой любовью.

– Хорошо, – сказал Хеерен, – я сообщу моему правительству о нашей беседе. – И, поклонившись, вытянул левую руку, показывая министру на дверь, дав понять этим, что время его истекло.

Какое-то мгновение Нинчич раздумывал, как ему следует себя вести в этой ситуации, но все нормы международного протокола вылетели у него из головы, потому что только сейчас он ощутил всю ту громадную меру ответственности, которая на него обрушилась столь неожиданно.

Молча поклонившись послу, он медленно пошел к большой белой двери, чувствуя на спине тяжелый взгляд немецкого дипломата.

Выслушав Нинчича, премьер Симович сразу же поехал к американскому послу Лэйн. Тот встретил его широкой улыбкой, долго тряс руку, повторяя:

– Мы восхищены вашим мужеством, генерал, мы восхищены... Это первая пощечина в Европе, которую так звонко на весь мир отвесили мистеру Гитлеру! Мы восхищены! Думаю, что сегодня вечером я смогу проинформировать ваш МИД о той реакции, которая разразится в Берлине. Я представляю себе, как озверевает Гитлер!

– И повернет против нас свои танки...

– Не думаю... Но в случае начала военных действий правительство королевской Югославии может надеяться на самую широкую помощь моей родины...

– Какую именно, господин посол?

– И моральную и материальную, мистер Симович. Во всяком случае, могу заверить вас, что замораживание югославского золотого фонда в Соединенных Штатах будет сегодня же отменено.

– Какова может быть материальная помощь?

– Самая широкая.

– Меня интересуют точные данные. На что нам рассчитывать? Что я могу обещать генеральному штабу?

– Мистер Симович, я запрошу государственный департамент немедленно. Я дам вам ответ, самый точный и обстоятельный.

– А если все-таки война начнется в ближайшие дни? И помощь не поспеет?

– Вряд ли, – после короткого раздумья ответил Лэйн. – Я имел несколько бесед с военными специалистами. Все в один голос говорят, что Гитлер должен много дней думать, прежде чем решиться на войну. Во Франции были дороги, по которым могли идти его танки. Во Франции не было гор. А войска фельдмаршала Листа, сосредоточенные в Болгарии, могут сейчас рассчитывать лишь на одну дорогу в горах. На одну очень плохую брусчатую дорогу в высоких горах. Значит, возможности для танкового маневра у Гитлера отсутствуют... В Словении – то же самое. Немцы привыкли к равнинам. Югославы живут в горах. С нашей точки зрения, он не пойдет на войну... Преимущество на вашей стороне, генерал.

– Это слова логика, – задумчиво ответил Симович. – А Гитлер далек от логики. Он первая женщина среди главнокомандующих. Он истерик. Он может ударить, не думая о последствиях.

– Вот и прекрасно, – заметил Лэйн. – Это прекрасно, когда лидер не думает о последствиях! Кстати, как думает о будущем ваш лидер?

Симович посмотрел на посла непонимающе.

– Я имею в виду его величество Петра Второго, – сказал Лэйн.

– Его величество – юноша, – несколько раздраженно ответил Симович. – Он – символ нации. Лидер, истинный лидер – моя армия...

– Великолепный ответ, – сразу посерьезнев лицом, сказал Лэйн. – Такой ответ пришелся бы не по душе Гитлеру.

– Значит, с вашей точки зрения, Гитлер не начнет войну, – задумчиво повторил Симович. – Это ваше предположение подтверждено какими-то данными?

– Нет. Данных у меня нет. Но, мне кажется, Гитлер отдает себе отчет в том, что, начини он против вас военные действия, ему придется столкнуться с объединенным фронтом греков и англичан. По нашим сведениям, Гитлер планирует ударить по России – так стоит ли ему завязывать дополнительную операцию на Балканах?

– Объединенный фронт... – задумчиво повторил Симович. – Но ведь этот объединенный фронт надо создать. А если он будет создан, мы дадим Гитлеру повод начать военные действия. Может быть, именно этого он и ждет?

Подобно тем государственным деятелям, которые приходят в политику для того лишь, чтобы заниматься политикой, Симович действовал как шахматист, дающий сеанс одновременной игры, но при этом все внимание его было сосредоточено на той доске, где расставлены фигуры одних лишь королей и офицеров. Он разыгрывал партию на одной доске, забыв, что одновременный сеанс предполагает максимум внимания ко всем доскам. Он играл свою наивную игру в королей, тогда как пешки – его сограждане – продолжали сидеть в концентрационных лагерях и тюрьмах за левые убеждения; тогда как народ продолжал соблюдать два обязательных постных дня в неделю: цены на мясо поднялись за последний месяц еще больше; тогда как в министерствах продолжали править те же люди, которые служили Цветковичу и видели гарантию своего личного благополучия в дружбе с гитлеровской Германией; тогда как коммунисты, которые могли бы широко включиться в общенародную борьбу, продолжали существовать в условиях подполья и полицейской слежки.

Аберрация представлений, неверно понятая «категория уровней», уверенность в том, что все происходящее внутри страны может быть урегулировано силами полиции, сыграли с Симовичем злую шутку: он счел себя человеком, облеченным правом переставлять королей на шахматном поле, но он забыл, что короли – и в шахматах и в жизни – играют роль символа и являются последней надеждой гроссмейстера, тогда как всю мощь атаки или надежность обороны решают в конечном-то счете не «офицеры» и не «слоны», а фигуры, которые снисходительно именуется «пешками».

И если в дни мира эта профессиональная отрешенность политика от будничных дел в какой-то мере оправдана или, точнее, легко поправима, то накануне войны такая позиция может обернуться катастрофой. Не для лидера – для народа.

«Сегодня в Загребе, в центральном кинотеатре «Унион», открылся фестиваль германского кинематографа. Присутствовавший на церемонии открытия германский генеральный консул Фрейндт заявил, что это культурное событие является вкладом в традиционную германо-югославскую дружбу».

«Утрени лист».

Как большинство людей, пришедших к власти не демократическим путем – через парламентские выборы, в обстановке гласности, разоблачений, подкупов, интриг, закулисных межпартийных коалиций, – а после кровавого путча, Муссолини ко всякого рода террористам и политэмигрантам, покушавшимся на власть в другой стране, относился со смешанным

чувством страха и восхищения. Страх был обусловлен тем, что, став диктатором, Муссолини забыл те свои лозунги, с которыми он рвался к владычеству: «Работа – рабочим, земля – бедным крестьянам, торговля – мелким предпринимателям»; «Долой прогнившую идею парламентаризма!»; «Нам, фашистам, не нужна власть, нам нужно лишь одно – свобода, счастье народа!»

Эти лозунги теперь, после того как он стал диктатором, были запрещены; требование свободы рассматривалось как государственное преступление в «народных трибуналах», и прокуроры вопрошали обвиняемых: «О какой еще свободе вы мечтаете? Дуче уже дал свободу народу! Иной свободы и не может быть!»

Павелич, представляя в Италии националистическую эмиграцию хорватских усташей, в своих листовках, книгах и публичных выступлениях говорил:

«Правители Югославии обманывают хорватов на каждом шагу. Они даруют свободу для того, чтобы надругаться над ней и запретить ее! Они объявляют амнистию, чтобы заманить в страну изгнанников и затем казнить доверчивых! Они кричат, что служат крестьянам, а сами выжимают из земледельцев последние соки, лишая их куска хлеба и глотка вина! Белградские правители протитутуируют понятие свободы, они не могут дать свободу, ибо они боятся ее; им неведомо, что это такое – свобода! Это знает лишь одна сила в Югославии – мы, усташа!»

Муссолини, слушая речи Анте Павелича по радио и читая переводы его выступлений, думал о том, что в стране живет человек, произносящий такие слова, за которые – поменяй лишь «Югославию» на «Италию» – его надо было бы немедленно заточить в каземат.

Восхищался же Павеличем он потому, что, слушая его, вспоминал свою молодость, свое начало, когда он исповедовал идеи социализма и свято мечтал о будущем, которое рисовалось ему чистым и прекрасным. В Павеличе он видел себя молодого, а может быть, придумывал себе самого же себя.

Однако, став государственным деятелем, Муссолини обязан был подавлять эмоции, и к каждому, кто жил на его субсидии, он относился, словно математик, выверяя на счетах выгоду и проигрыш – как в настоящем, так и в будущем. Он вынужден был терпеть выступления Павелича, поскольку напряженные отношения с Югославией требовали иметь человека, который в нужный момент мог бы оказаться лидером этого соседнего государства, точнее – Хорватии, ибо Павелич не считал нужным скрывать своей ненависти к сербам.

Когда к власти в Белграде пришел человек германской ориентации, выразивший при этом восхищение и практикой дуче, Муссолини интернировал Павелича, испытывая некую мстительную радость: он поступил так не потому, что выступления главы усташей могли быть расценены внутренней оппозицией как скрытая критика режима, но лишь поскольку югославский премьер приехал в Рим и подписал с ним соглашение, которое учитывало аннексионистские интересы фашистской Италии – албанские и эфиопские в том числе. Дуче, однако, не выдал Белграду Павелича, приговоренного там заочно к смертной казни, а лишь запретил ему публичные выступления, поселив поглавника усташей в маленькой вилле неподалеку от Венеции. Он мог бы выдать его Белграду, и в тот момент это не противоречило бы интересам Италии, но та скрытая симпатия, которую он испытывал к хорвату, угадывая в нем самого себя – только молодого и наивного еще, не позволила ему отдать Павелича на заклятие. Этот свой шаг он объяснил, выступая на высшем совете партии, тем, что ненадежность положения в Белграде «обязывает иметь в резерве личность оппозиционера, чтобы в случае каких-либо изменений на Балканах мы не бегали высунув язык по Европе и не выпрашивали себе усташей в Берлине, а оказались бы хозяевами положения, имея подконтрольного хорватского лидера в своем доме».

Через три часа после переворота в Белграде начальник личной канцелярии дуче Филиппо Анфуссо забрал Павелича с его виллы и, посадив в звероподобный «линкольн»

(точно ягуар перед прыжком), повез в Торлиньо, где Муссолини иногда принимал своих друзей в неофициальной обстановке.

Это была первая встреча Муссолини с Павеличем, и он ждал этой встречи с интересом, с опасливым интересом. Лицо Павелича ему понравилось: квадратный подбородок, подрагивающие ноздри боксерского носа, горящие глаза-буравчики, сильная шея на квадратных, налитых силой плечах.

«Он чем-то похож на меня, – подумал дуче, – особенно если его одеть в нашу партийную форму...»

Они обменялись сдержанным рукопожатием; Муссолини цепко вглядывался в хорвата, надеясь увидеть в нем нечто особенное, отмеченное печатью рока, ибо террорист и бунтарь, по его мнению, должен заметно отличаться от остальных людей, особенно пока он еще не стал вождем государства, а продолжал быть лишь носителем нематериализованной идеи. Однако он не заметил чего-либо особенного в лице Павелича, кроме той внутренней силы и фанатизма, которые угадывались в неестественно горящих глазах и в том, как поглавник то и дело сжимал короткие свои пальцы в кулаки, и при этом костяшки его рук белели, словно он готовился ударить – хрустко и быстро.

«А ведь это – минута его торжества, – подумал Муссолини, – он ждал этой минуты двадцать лет. И если сейчас я не сломаю его, если он не поймет, что от меня зависит его судьба, – с ним потом будет трудно ладить».

Муссолини, по-прежнему не произнося ни слова, указал Павеличу на кресло возле большого стола. Тот молча поклонился и сел, сложив руки на коленях. Пальцы его продолжали то и дело сжиматься в кулак, и костяшки становились белыми, и Муссолини подумал опасливо: «Видимо, истерик...»

– Далмация? – после продолжительного молчания, которое стало тяжелым и неестественным, полувопросительно и негромко произнес дуче.

– Хорватская, – сразу же, словно ожидая этого вопроса, ответил Павелич, и голос его показался Муссолини другим, отличным от того, когда поглавник выступал по радио.

– Далмация, – снова повторил Муссолини, но теперь еще тише и раздельнее.

– Хорватская, – ответил Павелич, негромко кашлянув при этом, и то, как он быстро прикрыл рот ладонью, многое прояснило в нем Муссолини.

Посмотрев понимающе и грустно на Филиппо Анфуссо, дуче скорбно сказал:

– Благодарю вас, мой друг. Беседа не получилась...

Он медленно поднялся и пошел к двери. Павелич, сорвавшись с кресла, прижал кулаки к груди.

– Хорошо, дуче! – сказал он быстро. – Я согласен! Только пусть Далмация будет районом, находящимся под властью итало-хорватской унии.

– Унии? – переспросил Муссолини. – А что это такое – уния?

– Я не смогу объяснить моему народу, отчего Далмация переходит под власть Италии, дуче! Я не смогу объяснить хорватам, почему Шибеник и Дубровник, исконные хорватские земли, должны стать итальянской территорией!

– А кто сказал, что именно вам предстоит объяснять что-либо хорватам? – лениво ударил Муссолини. – Почему вы убеждены, что именно вам предстоит взять на себя эту миссию?

– Потому что в Хорватии вам больше не на кого опереться.

– Вы убеждены, что мне надо там на кого-то опираться?

– Убежден.

– Ну я и обопрюсь на мои гарнизоны, которые станут во всех крупных городах Хорватии.

– Во время войны с Албанией и с Грецией в тылу лучше иметь друзей, чем оккупированных недругов, дуче!

– Спасибо. Это разумный совет. Я учту его. Итак, Далмация?
– Итальянская, – глухо ответил Павелич, опустившись в кресло.
– Продумайте, как это объяснить хорватам убедительнее, – сказал Муссолини, заметив, что только сейчас он выдохнул до конца воздух, – все остальное время дуче говорил вполголоса, сдерживая себя. – Продумайте, как вы объясните хорватам, что лишь Италия была их всегдашним другом и сейчас лишь Италия принесла им свободу.

– Свободу хорватам несут в равной мере и дуче и фюрер...

– Вы вправе дружить с кем угодно, но знайте, что судьбой Хорватии в первую очередь интересуется Италия, и рейх понимает нашу заинтересованность, как и мы понимаем заинтересованность рейха в Любляне и Мариборе. Текст вашего выступления – если, впрочем, оно понадобится – приготовьте сегодня же и покажите Анфуссо: он внесет наши коррективы. Литературу об исторической принадлежности Далмации к Италии вам приготовят через два часа.

И, не попрощавшись с Павеличем, дуче вышел.

Муссолини думал, что поединок будет сложным и трудным, – именно поэтому он попросил присутствовать при разговоре Филиппо, рассчитывая, что эта победа не будет забыта, а занесется в анналы истории его секретарем и другом. Однако перед ним был не террорист и национальный фанатик, а политикан, легко отдавший Италии исконные хорватские земли на Адриатике за то лишь только, чтобы самому сделаться поглавником, фюрером, дуче нового националистического государства...

«Какой ужас! – подумал вдруг Муссолини, испугавшись чего-то такого, что мелькнуло в его сознании и сразу же исчезло, словно испугавшись самого своего появления. – Какое падение нравов и чести!»

*«Первому заместителю премьер-министра
доктору Мачеку.*

Бану Хорватии доктору Шубашичу.

**Сводка первого отдела королевской полиции
в Загребе, экз. № 2
№ 92/а – 18741**

Сразу после событий 27 III Прица, Аджия, Кершовани и Цесарец собрались в помещении редакции журнала «Израз» (Франкопанская ул.). Пользуясь объявленной амнистией, эти члены нелегальной КПЮ разрабатывали план работы на ближайшие дни. «Видимо, – сказал Кершовани, – главное внимание сейчас следует сосредоточить на «национальном моменте». Назвав имена хорватских руководителей, употребив при этом недостойные сравнения, Кершовани продолжал: «Они будут, видимо, занимать выжидательную политику, поскольку их личные интересы, базирующиеся на спекуляции интересами хорватского народа, зависят от удержания ключевых постов. То, что Мачек не вошел – во всяком случае, официально не объявил об этом – в состав кабинета Симовича, свидетельствует о существовании какой-то иной возможности удержаться у власти. Я допускаю мысль, что Мачек начнет тур сепаратных тайных переговоров с Берлином или Римом». Цесарец возразил ему: «С Римом Мачек вряд ли пойдет на переговоры, потому что Анте Павелич сидит у Муссолини. Скорее всего, он будет искать контакты с Гитлером, чтобы под эгидой Берлина отстаивать идею автономной Хорватии». Прица выразил убежденность, что если Мачек и войдет в кабинет – не на словах, а на деле, – то он будет самым решительным противником как сближения с Москвой, так и либерализации внутренней жизни страны. В правительство он может согласиться войти лишь на том условии, если Симович подтвердит верность курсу держав оси. Аджия сказал, что главная задача коммунистов на современном этапе – «ударить по национализму», «поскольку на горе хорватского крестьянина греет руки губернатор Шубашич, который не

подумает решить социальную проблему, передав безземельным пролетариям села земли, принадлежащие хорватским помещикам». Он продолжал развивать свою мысль о необходимости «борьбы с буржуазным национализмом», потому что «эта ржа будет поедать Югославию изнутри и Гитлер наверняка не преминет воспользоваться этим, играя между Мачеком и Павеличем, шантажируя при этом Белград угрозой отделения Хорватии». Прица выразил сомнение урвать максимум благ для хорватской буржуазии и чиновничества. «Вряд ли, – продолжал он, – Мачек решится на сепаратные переговоры с Берлином, ибо он потребует гарантий против Анте Павелича, называющего его, Мачека, «сербской марионеткой», а Муссолини не отдаст своего человека Гитлеру». Цесарец сказал, что их спор носит «теоретический и предположительный характер, тогда как сейчас такой момент, когда надо принудить белградское правительство к действиям – решительным и недвусмысленным – против всякого рода сепаратизма, против паники, слухов, действий «пятой колонны», особенно мощной здесь, в Хорватии, где позиции немцев традиционно сильны». Он подробно остановился на необходимости разъяснительной работы в армии, «поскольку в случае если Гитлер начнет войну, то на первых порах, пока не будет вооружен весь народ, именно солдаты будут сдерживать нацистское вторжение». Прица спросил Цесарца, уверен ли он в том, что начнется война. Цесарец ответил утвердительно. Аджия, однако, высказал предположение, что «Мачек, вероятно, решит поставить себе памятник при жизни, сделав ставку на то, чтобы вывести Хорватию из-под удара, вплоть до того, что именно он решится на провозглашение независимости». «Он не сможет этого сделать, – возразил Кершовани, – потому что армия в Хорватии не поддержит его, ибо она верна Симовичу. До тех пор пока армия стоит на стороне Белграда, – заключил он, – пока Мачек не имеет опоры в армии, ни о каком отделении Хорватии не может быть и речи. Лишь только если войска Гитлера и Муссолини придут сюда, можно считать отделение Хорватии свершившимся фактом. И провозглашать это отделение будет не Мачек, а Павелич. Поэтому: борьба на два фронта, связь с армией, самое активное участие в митингах и демонстрациях, ежедневные выступления в нашей прессе, организация студенческих и рабочих сходок, на которых мы должны проводить разъяснительную работу». Следует указать на то, что в Загребе распространяется огромное количество коммунистической литературы, подготовленной руководством КПЮ во главе с И. Броз (Тито). Прица, Кершовани, Цесарец и Аджия, а также примыкающие к ним Крайский и Черногорец редко покидают помещение типографии на Франкопанской, где некоторые из них и ночуют. Зафиксировано 16 выступлений одного только Кершовани в университете и 14 выступлений Аджии среди загребской интеллигенции.

Генерал-майор Я. Викерт».

Мачек осторожно отодвинул от себя листочки голубоватой бумаги, на которых был напечатан этот текст, и вызвал Ивана Шоха, личного секретаря.

– Слушайте, Иван... Поезжайте к начальнику «сельской стражи». А еще лучше и в «городскую стражу». Жандармерия жандармерией, полиция полицией, а эти – наши, хорватские. Скажите им, что в Загребе, на Франкопанской улице, в типографии журнала «Израз», засела банда иностранных агентов, продающих нашу родину. Скажите, что у них под носом ходят враги. Скажите, что я могу это стерпеть – я и не то терпел, – но как они терпят преступников, вот этого я понять не могу!

– Показывать им что-нибудь надо? – осторожно спросил Шох, глянув на голубые странички.

Мачек мгновение раздумывал, а потом, спрятав донесение в стол, ответил:

– Ничего им показывать не надо. Им надо сказать, что белградская жандармерия собирает обо мне сплетни! И рассылает их черт-те куда!

– Доктор, может, порекомендовать «страже»...

Мачек перебил Шоха:

– Я не знаю, что надо рекомендовать «страже», Иван. Я достаточно знаю вас как умного и дельного помощника моего. Пусть сделают, сначала надо сделать! Оправдание сделанному всегда найти можно! При желании и минимуме здравого смысла. Ситуация такова, что Белград закроет глаза на любую нашу резкость – только б я приехал к ним! Но если «страже» нужно такое объяснение, то их всех надо гнать оттуда взашей! Если им недостаточно того, что я сказал вначале, – им тогда мух бить, а не врагов.

Шох давно не видел шефа таким раздраженным: шея его покраснела, седина поэтому казалась особенно красивой, благородной.

– Доктор, поскольку речь идет об «Изразе», а это Цесарец, Прица, Кершовани и остальная банда, – может, через пятые руки туда подтолкнуть усташей?

– Незаконные действия вы станете предпринимать, когда я перестану быть руководителем хорватской партии! – Мачек даже пальцами ударил по столу. – Я в своем доме, и я не хочу, чтобы от бандитов меня защищали бандиты! Ясно вам?!

– Мне ясно, – тихо ответил Иван Шох и неслышно вышел из кабинета.

Какое-то время Мачек был в яростной и жестокой задумчивости, потом снял трубку телефона и соединился с шефом жандармерии.

– Доброе утро, генерал, я благодарю вас за работу: сводки о коммунистах своевременны и подробны. Как мне – лично мне, а не лидеру партии – ни обидно было читать эти сводки, но вы наблюдение за ними прекратите, генерал, прекратите. Ситуация не та, чтобы следить за словом. Вы за усташами активнее следите, за делом смотрите, генерал. Коммунисты говорят, а усташаи – стреляют.

– Может быть, наблюдение-то продолжить, – удивленно сказал генерал и добавил с обезоруживающей прямоотой: – Только сводки не составлять?

– Нет. Не надо относиться к ним как к преступникам: мы живем в демократической стране, где каждый волен говорить все, что хочет. А вот делать противозаконное – это мы не позволим никому, не так ли?

«Начальник генерального штаба

Гальдер.

Вызов в имперскую канцелярию для совещания в связи с государственным переворотом в Югославии, фюрер требует быстрее вступления в Югославию».

3. ГЛАВНОЕ – ВКЛЮЧИТЬ СЧЕТЧИК

– Господин посол, по нашим сведениям, войска германской армии начали передвижение вдоль югославских границ. – Генерал Боря Миркович, друг премьера, поправил ремень, скрипуче перетягивавший его талию. – Как военный человек, я отдаю себе отчет в том, что означают мероприятия подобного рода.

– Господин генерал, я получил сообщение от рейхсминистра Риббентропа: информация, которой пользуются ваши коллеги, сфабрикована в Лондоне. Германия относится с пониманием к трудностям, возникшим в Югославии. Мое правительство считает возникшие трудности внутренним делом Югославии и не намерено вмешиваться в решение тех проблем, которые являются прерогативой дружественного рейху государства.

Миркович снова оправил ремень и, повертев шей, словно мягкий воротник кителя натер ему кожу, настойчиво повторил:

– Господин посол, ваш ответ не может удовлетворить наше правительство: на границах началась массивная концентрация германских войск.

– Если вы выдвигаете обвинения против моего правительства, господин генерал, я вынужден буду просить Вильгельмштрассе прислать мне официальный ответ на ваш протест.

Какое-то мгновение Миркович и Хеерен неотрывно смотрели друг на друга: в глазах посла металась быстрая смешинка, и он, догадываясь, что собеседник видит это, не считал даже долгом своим скрывать снисходительное презрение. В свою очередь, помощник югославского премьера испытывал тяжелое чувство унижительного гнева; это ощущение было похоже на бессилие во время операции, когда наркоз отошел, но хирург еще продолжает свою работу, и хочется закричать, но сил нет, да и в подсознании сидит мысль: «Зачем быть смешным, и так каюк, брат, полный каюк».

– Речь идет не о протесте, господин посол. Я думаю, что два цивилизованных государства могут решить все возникшие между ними вопросы за столом переговоров, а не в окопах.

– Окопная война не очень-то популярна в середине двадцатого века, господин генерал. Вам, как военному человеку, известно, видимо, что после молниеносных побед армий Германии доктрина позиционной войны ушла в небытие. А что касается переговоров, то, очевидно, нет нужды ставить вопрос о новом раунде межгосударственных встреч, ибо только что ваш предшественник провел блистательные беседы с рейхсминистром Риббентропом. Я не думаю, что смена руководства приведет к изменению внешнеполитического курса вашей страны: правительства могут меняться, но тенденция обязана оставаться неизменной – не так ли?

– Это зависит от обеих сторон.

– Бесспорно.

– Ревность обоюдно опасна и в любви и в политике, господин посол, и, я думаю, Белград поступал бы неразумно, если не сказать смешно, ревнуй он Берлин к Риму – к тому Риму, который стал открыто поддерживать хорватских эмигрантов, совершающих из Италии разбойничьи набеги на нашу территорию. Думаю, что и Берлину грешно ревновать Белград к Москве или Лондону, ибо моя страна преследует интересы мира, который – в силу того хотя бы, что мир – это мир, – не может быть направлен против какой-либо третьей державы.

– Я думаю, что такая постановка вопроса звучит несколько странно, поскольку Югославия является членом Тройственного пакта, который четко определил свои внешнеполитические цели. Или Югославия собирается предпринять какие-то акции, входящие в противоречие с идеей Тройственного пакта?

– Югославия собирается защищать свои границы, откуда бы ни исходила угроза: это, я думаю, не противоречит и не может противоречить международному праву – именно тому, которое определяло присоединение Югославии к Тройственному пакту.

– Следовательно, слухи о том, что Югославия предпринимает шаги для заключения военного пакта с Лондоном, не лишены основания?

– Чьими слухами вы пользуетесь, господин посол?

– Я живу в Белграде, следовательно, слухами меня питает здешняя среда. Впрочем, как я мог понять вас, договор с Россией не будет направлен против третьей стороны?

– Вы дискутируете эту проблему не со мной, а со слухами. Я же вам не дал ответа на ваш вопрос – как, впрочем, и вы на мой.

– На какой именно?

– На первый, господин посол, на первый...

Рейхслейтер Альфред Розенберг думал по-русски, когда читал русскую классику, московские газеты или встречался с советскими дипломатами на приемах. Говорил он по-русски без акцента, потому что до двадцати лет учился в Иваново-Вознесенске и отец, желая дать ему второе образование, «языковое», требовал, чтобы дома он говорил словами «добрых и тупых варваров», без которых европейская будущность невозможна, ибо никто, кроме них,

не сможет править десятитысячекилометровыми просторами этой нелепой державы, которая тем не менее должна быть включена в орбиту практического европейского разума. «Безумцами, – любил повторять старший Розенберг, – могут править только безумцы, но лишь такие, которые легко поддаются внушению мудрых психиатров, понимающих болезнь и умеющих влиять на ее течение».

Какое-то время по возвращении на родину отцов Розенберг ощущал на себе любопытные взгляды собеседников: их шокировал его язык, слишком правильный, четкий, словно бы законсервированный на два столетия, с манерными носовыми дифтонгами и желанием произнести слово округло и протяжно, как эллипс. Розенберг уехал в Баварию и там подолгу сидел в маленьких пивных, прислушиваясь к говору посетителей. Он рассчитал, что баварская манера, положенная на его «консервный» язык, родит некую новую форму, чем-то похожую на речение австрийцев, живущих возле границ Южной Германии.

Единственный человек, который понял два истока его «нового» языка, был Гиммлер. Во время их первой встречи в маленькой комнатке партийной канцелярии молодой рейхсфюрер СС после получасовой беседы с Розенбергом сказал:

– Вы стараетесь подчеркивать свое южное происхождение. Стоит ли? Когда мы придем к власти, о каждом из борцов напишут биографические справки и опубликуют их в «народной энциклопедии», выкинув оттуда имена марксистов, веймарских бюрократов и еврейских живчиков от финансов, литературы и искусства. Люди узнают, что вы были рождены в России и там получили образование. Человек, который смог в окружении враждебной национальной среды сохранить старый язык Германии, будет еще больше импонировать массе. Ваш нынешний язык слишком конструктивен. Моя слабость – скандинавские руны, поэтому я довольно тщательно изучил языковой конструктивизм. Я увидел в скандинавских сказаниях попытку примирить язык «земляных» германцев с «морскими» саксами. Самое высокое наслаждение я испытываю, когда мне удастся найти в словарях немецкое изначалие шведского или норвежского слова. Это позволяет мне видеть родство с нордами и считать их нашими младшими братьями, которых на протяжении веков дурманили хитрые английские бестии. Ваш пример – великолепный пример арийского мужества, которое может противостоять натиску и в одиночестве, один на один с тьмой.

С одной стороны, Розенбергу был приятен этот комплимент начальника охранных отрядов партии, но с другой – ему показалось, что в словах этого веснушчатого юноши с близорукими, чуть навывкате (как у всех, кто в детстве стеснялся носить очки) глазами было скрыто определенное превосходство, сознание первородного преимущества.

«Впрочем, – подумал тогда Розенберг, – это прекрасно в конечном-то счете, если только подавить в себе самолюбие и посмотреть на этого юношу как на эталон будущего арийца. Он смеет так говорить со мной, со своим старшим товарищем, лишь потому, что больше меня ощущает свое могучее сообщество с миллионами немцев. Я слишком любил Германию – несколько даже истерично, как любят мать, которую никогда не видели. Он же к категории любви относится как щенок, равный другим щенкам, своим братьям, которые требовательно и жадно сосут мать, еще не открыв глаз, еще не понимая сути «принадлежности», движимые лишь высшей правдой инстинкта: это мое, это для меня, я хозяин этому».

Розенберг тогда мгновение раздумывал, стоит ли ответить Гиммлеру так, чтобы поставить его на место, но потом он решил, что в конце концов делают они одно общее дело и считаться честолюбием им, борцам фюрера, никак не пристало. Тем более, что, видимо, Гиммлер не сможет понять его, Розенберга, внезапно вспыхнувшую обиду, как сильный мальчик никогда не поймет обиду заморыша, когда он станет демонстрировать ему свою мускульную силу, приглашая к совместной радости по поводу совершенства торса, мощи мышц и атлетической законченности фигуры.

«Слабый должен быть умнее сильного, – подумал тогда Розенберг, – он должен обратить его силу на службу своей идее».

...И сейчас, пригласив к себе Гейдриха, быстро просматривая документы по Югославии, которые передавал ему шеф имперского управления безопасности, Розенберг ловил себя на мысли, что славянские имена, написанные в немецкой транскрипции, он сначала воспринимает через русское звучание, а уже потом осознает их истинный немецкий смысл.

Гейдрих докладывал, как всегда, четко, убедительно и резко.

– Наша агентура в Белграде, Загребе и Любляне, – говорил он, – передает, что экстремистская часть правительства Симовича, одержимая славянской идеей, ставит вопрос – и в столице и на местах – о блоке всех сил, противостоящих идее Тройственного пакта. Следовательно, к этому блоку может примкнуть и большевистская фракция, которой будет санкционирован выход из подполья. Если борьба против демократического режима Белграда не составляет особой трудности вследствие национальной проблемы, раздирающей южных славян, то механизм большевизма может внести элемент единства и порядок, подчиненные доктрине тотального противостояния нашему удару. Поэтому я приказал создать оперативную группу во главе со штандартенфюрером Риче. В тот момент, когда генеральный штаб Гальдера начнет операции, наши люди возглавят ударные группы СС, которые будут сброшены с самолетов во все провинции Югославии.

– Ни в коем случае, – сказал Розенберг. – Южные славяне должны уверовать в то, что политика и практика сербского режима привела их к катастрофе. Они должны почувствовать примат усташей, и мы позволим сепаратистам устроить «день ножей» по всей стране. Когда в Югославии родится массовый страх, когда сербы, черногорцы и боснийцы поймут, что села их будут сожжены Павеличем, а города вырезаны, тогда взоры их обратятся к немцам, которые смогут навести в стране порядок и стать гарантами их безопасности.

– «Щегол весной улетит в лес, даже если зимой он ел из рук хозяина» – так говорила в детстве моя няня.

– По-русски это звучит более категорично: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит», – улыбнулся Розенберг. – Нет смысла перескакивать ступени, которые сложены в лестницу; зачем тогда строить лестницы, Гейдрих? Наша теория рас – не химический эксперимент на вольную тему, а доктрина, рассчитанная на века. Мы отвергаем опыт Британии – «разделяй и властвуй» – лишь в официальной пропаганде Геббельса, называя Лондон колониальным спрутом, но ведь мы-то с вами должны думать о государстве германцев, а не о преходящих пропагандистских эмоциях! Оставим эмоции нашему талантливому Геббельсу, давайте думать о математике национальных структур! А тут эмоции мешают. Нам с вами мешают, – поправил себя Розенберг, – но в то же время без эмоций, особенно национальных, мы не в силах построить макет будущего мира. Если мне скажут, что для нашей победы надо войти в союз со всемирной ассоциацией растлителей малолетних, – я войду с ними в союз, чтобы, используя их в своих интересах, уничтожить потом, опираясь на целенаправленные эмоции народа, которые быстро и легко создаст аппарат Геббельса. Как зовут человека из ведомства Риббентропа, который привел к власти Тиссо в Словакии?

– Веезенмайер, – ответил Гейдрих, прекрасно понимая, что Розенберг хорошо знает эту фамилию.

– Тогда зачем парашютисты Риче? Почему, – Розенберг усмехнулся, – не дипломат Веезенмайер, который знает славянский мир и может работать в контакте с сепаратистами? К чему афишировать нашу расовую непреклонность? Давайте научимся афишировать свою терпимость – хотя бы на определенном этапе. Путь к конечной цели никогда не бывает прямым, Гейдрих, не вам это мне говорить.

– Хорошо, рейхслейтер, – ответил Гейдрих после короткого раздумья, – я отменю приказ о назначении Риче. Однако не могу не поделиться сомнениями: если определенную национальную терпимость к латинянам Франции я понимаю, то в отношении славянского стада – простите меня – понять не могу.

– Я отвечу вам вопросом, который только поначалу может показаться странным: сколько русских эмигрантов, по вашему мнению, живет в Югославии?

– У меня нет под рукой точных цифр, рейхслейтер.

– У меня есть точные цифры. Их там более трехсот тысяч. Из них примерно тридцать тысяч представляют для нас – в свете будущей кампании на Востоке – очевидный интерес. Эти люди должны стать объектом самого пристального вашего внимания. Они должны извлечь для себя урок из нашей национальной политики в Югославии: ставка на хорватов, террор и акции устрашения против сербов. Мы должны не только сами экспериментировать; мы обязаны также присмотреться к тем русским, которые будут вывезены сюда, в ваш «советский» институт на Ванзее, чтобы нам иметь в резерве славянскую силу, которая сможет проводить в России «теорию ампутации», отдав Украину и Белоруссию нашим колонистам. Именно поэтому вы должны понять мою «национальную терпимость» по отношению к славянскому стаду. Оттесненные за Урал, славяне-русы станут объектом уничтожения со стороны Китая или Японии. Но это уже третий этап, и успех этого третьего этапа будет определен нами, когда мы решим, на кого следует делать окончательную ставку: на утонченный дух Японии или на желтую массу Китая.

Вызвав Шелленберга, начальник РСХА Гейдрих собрал со стола бумаги, сложил их в папки, запер их в тяжелый, старинной работы сейф и сказал:

– Серьезные вопросы надо обсуждать во время хорошего обеда, Вальтер. Я просил приготовить нам хагепетер, суп из бычьих хвостов и крольчатину. И велел заморозить бутылку старого рейнского. Вы не возражаете?

– Категорически возражаю, – ответил Шелленберг, улыбнувшись. – Сейчас именно тот случай, когда я лишней раз могу утвердиться в самоуважении: «Я смею спорить с шефом, вот какой я смелый, особенно если речь идет не о деле, а об обеде...» С начальством надо спорить по поводу приятного и молниеносно выполнять – без раздумий – его приказы по неприятному, то есть главному.

– Спорить вообще никогда и ни с кем не надо, – заметил Гейдрих, выходя из кабинета, – спор – категория неравенства, ибо, если ты умен, но слаб, ты не станешь спорить, а найдешь путь к достижению своего, задуманного, нажав другие кнопки, обойдя очевидную преграду, использовав новые возможности. Если же ты умен и силен – ты не станешь тратить времени на споры, а попросту заменишь такого единомышленника на другого, отличающегося от первого одним лишь качеством: умением ценить время шефа. Спор – это пустая трата времени.

– А дискуссия? Раньше вы любили дискутировать со мной, – осторожно напомнил Шелленберг.

– Вы учились праву у еврея, Вальтер. Старайтесь выжимать яд, заложенный в вас представителем племени спорщиков. Паразитизм – это одна из форм спора. Самоутверждение для толпы – в следовании предначертаниям гения; самоутверждение солдата – в беспрекословности выполнения приказа офицера; самоутверждение Шелленберга, если он в нем нуждается, – в рождении идей, угодных его старшему партайгеноссе Гейдриху.

Шелленберг открыл дверь, пропуская Гейдриха в зал, где шеф имперского управления безопасности обедал с друзьями, когда не было времени ехать в ресторан, и подумал, что все-таки шутить на Принц-Альбрехтштрассе нельзя ни с кем – даже с таким умным человеком, как группенфюрер.

«Неужели я стану подобным ему? – подумал Шелленберг, садясь в кресло с высокой резной спинкой. – Неужели проклятие профессии рано или поздно перемалывает человека, делая его своим рабом, добровольным рабом?! Наверное, да. Когда Гейдрих пригласил меня в политическую разведку, я думал, что буду заниматься чистым ремеслом и влиять на политику, не пачкая манжет. Я считал, что получать показания у арестованного будет гестапо, а мне останется лишь просмотреть страницы, напечатанные на машинке и подписанные тем человеком, который меня интересовал. Черта с два! Я должен присутствовать на допросах, чтобы решить, в какой мере этот человек стоек и, если он дал согласие на провербровку, добровольно ли он пошел на это, от страха или он разыгрывает комбинацию, придуманную его шефами, чтобы затянуть меня в их игру, а затянув в эту игру – победить и прижать к ногтю. Быть побежденным в разведке означает либо предательство, либо смерть. А кто же хочет погибнуть? Инстинкт млекопитающего оказывается сильнее логики хомо сапиенс. Победить любым путем, победить, чтобы выжить... Конечно, здесь уж не до шуток».

– Как вам хагепетер? – спросил Гейдрих.

– Прекрасная говядина.

– Я попросил привезти эту вырезку из Брауншвейга – там особые травы, запах полей передается мясу. В Берлине такого мяса нет и не может быть: заводские трубы разносят промышленный яд на многие десятки километров окрест столицы, отравляя поля, воздух и воду.

«Не в трубах здесь дело, – подумал Шелленберг, приперчивая сырое мясо, – разве заводские трубы виноваты в том, что мясо выдают по карточкам? Фюрер хочет выйти из экономических трудностей путем войны. Он не подготовлен к экономической деятельности, базирующейся на соблюдении объективных законов. Он хочет накормить немцев французским сыром, украинским салом и русским мясом до того, как они восстанут против голода. Немцы верят пока, что экономические трудности и карточная система вызваны происками Черчилля, евреями и большевиками. Другой бы на его месте не торопился с войной, используя темную веру народа в то, что всегда и во всем виноваты внешние и внутренние враги... Он великий фантазер, наш фюрер, но ведь все великие фантазеры, мечтавшие о глобальной перестройке мира, основываясь лишь на мощи своего государства, оказывались у разбитого корыта... Александр Македонский разве не пример тому?»

Почувствовав на себе пристальный взгляд Гейдриха, Шелленберг ощутил в желудке тянущее чувство холода: ему показалось, что он не уследил за собой и сказал вслух то, о чем ему сейчас так отчетливо и безысходно-горестно подумалось. Шелленберг положил вилку, все звуки мира вдруг на какое-то мгновение исчезли, настала ватная, огромная тишина. Он угадал по артикуляции рта Гейдриха слова, которые тот произносил, – поначалу он не слышал группенфюрера. И лишь когда он осознал, что именно говорит Гейдрих, тишина в ушах сменилась бульканьем вина, которое официант цедил в бокал шефа из высокой темно-зеленой бутылки, щебетаньем птиц за окном, лязгом посуды в соседней комнате и тихим шепотом поваров, которые разливали по тарелкам густой бульон, сваренный из бычьих хвостов.

– ...Об этом вы мне никогда не говорили, Вальтер, – продолжал Гейдрих, – а, видимо, подобный вопрос будет серьезно занимать нас будущей весной, когда кампания на Востоке закончится. И тогда китайцы понадобятся нам.

– У нас были контакты с китайской секретной службой, – ответил Шелленберг, – но они носили спорадический характер – я опасался всезнающего японского союзника...

– Где и с кем у вас были контакты?

– В Виши и Цюрихе. Там довольно сильные китайские резидентуры, и, судя по всему, не контролируемые службами Токио. Должен признаться, я не считал целесообразным расширение этих контактов.

– Вы правильно считали. Тогда это не было целесообразно, а сейчас надо поискать в Китае надежных людей, с которыми есть смысл подружиться. Идеалом такого рода человека я бы считал интеллигента, специализировавшегося по истории Китая – предпочтительно по истории Северного Китая. Еще точнее: человека, который увлечен идеей великого Китайского государства.

Шелленберг сразу же прикинул, с кем Гейдрих виделся за последние дни. Он знал, что такого рода глобальные идеи Гейдрих сам никогда не выдвигал, одержимый лишь еврейским и славянским вопросами. Значит, эта неожиданная идея пришла к нему сверху.

«Он был у Розенберга, – вспомнил Шелленберг, – он просил подготовить ему досье на ударную группу Риче, а потом он вызвал доктора Веезенмайера, которому Риббентроп поручил югославскую операцию. Значит, эта затея пришла к нему от Розенберга, который сейчас не в фаворе, значит, Гейдрих с помощью Гимmlера хочет обойти на повороте и Риббентропа и Розенберга, а в деталях это обязан сделать для него я».

– Если позволите, группенфюрер, – сказал Шелленберг, – я сегодня же отправлю в наши французские и швейцарские резидентуры приказ наладить более надежные контакты с китайцами.

– Не торопитесь, – подумав, ответил Гейдрих, – в этом деле нельзя торопиться, чтобы не поставить в неловкое положение Риббентропа, если ему придется выслушивать жалобы адмирала Ошимы... Вы правы, японцы великолепно работают, и они могут засечь ваши контакты с китайцами. Попробуйте посмотреть китайцев в Париже, Швейцарии или Берлине, которые бы не были связаны с разведкой генералиссимуса. Поищите среди китайской эмиграции... Это только нам представляется, что азиаты не обидчивы. Мне кажется, комплекс самоутверждения, – Гейдрих внезапно улыбнулся, глянув на Шелленберга, – присущ им больше, чем европейцам.

Когда подали чай, Гейдрих, внезапно изменив тему разговора, сказал:

– Хорошо бы к концу сегодняшнего дня укомплектовать группу Веезенмайера вашими людьми. Вероятно, Веезенмайер потащит с собой идеологов из ведомства Розенберга, а нам это невыгодно. Подберите ему тройку ваших надежных людей – совершенно необязательно, чтобы они были из славянского сектора. В Загребе понадобятся сильные люди, которые смогут отстаивать нашу точку зрения, а не утопии Розенберга или Риббентропа, которым Веезенмайер служит более преданно, чем нам.

Через два часа после того, как у Гейдриха кончился обед, оберштурмбанфюрер Штирлиц из шестого отдела политической разведки был вызван к своему непосредственному шефу Вальтеру Шелленбергу и получил приказ явиться в распоряжение доктора Веезенмайера. Напутствуя Штирлица, Шелленберг сказал:

– Штандартенфюрер Веезенмайер великолепный дипломат и блистательный ученый. Как дипломат, он может оказаться недостаточно решительным в критической ситуации. Вам надлежит всячески помогать ему. Если доктор Веезенмайер поддастся колебаниям, окружите его товарищеской заботой и немедленно снесите со мной – я скажу, как следует действовать. Вам все ясно?

– Мне все ясно, – ответил Штирлиц. – Мне ясно, штандартенфюрер.

– Ну и хорошо, – улыбнулся Шелленберг, – я знаю, что вы меня хорошо понимаете даже в интонации.

Шелленберг мог говорить так с офицером низшего ранга о штандартенфюрере СС Веезенмайере, чиновнике для особых поручений при рейхсминистре Риббентропе, потому, что тот не был сотрудником разведки, а являлся лишь агентом, завербованным несколько лет назад, в то время как Штирлиц был его, Шелленберга, офицером, состоящим в штате шестого отдела СД. То, что Веезенмайер имел звание, соответствовавшее чину полковника генерального штаба, особого значения не имело, ибо каждый мало-мальски ответственный

чиновник в министерствах рейха был пожалован тем или иным титулом СС. Не мешало ведь фюреру относиться с подозрением к тем генералам, которые имели золотой значок почетных членов партии, не являясь в то же время членами НСДАП. Тоталитаризм предполагает вертикальность во всем – в подражательстве также. Шелленберг подражал фюреру. Штирлиц не должен чувствовать этого. Он должен лишь ощущать ту меру доверия, которую ему оказывает руководитель; он обязан относиться к категории тех людей, которые умеют понимать и доверие и ответственность в равной мере.

Помощником Веезенмайера оказался высокий, постоянно улыбающийся Йорген Диц из гестапо. Он несколько раз встречался со Штирлицем на совещаниях, где планировались заграничные операции, начатые по инициативе гестапо, когда люди Мюллера брали под колпак немцев, работавших за кордоном, подозревая их в измене.

– Здравствуйте, дорогой Штирлиц! – приветствовал он оберштурмбанфюрера, обнажив свои великолепные зубы. – Я очень рад, что нам предстоит работать вместе. Думаю, трений у нас никаких не возникнет, потому что минус на минус дает плюс.

– Я не считаю себя минусом, – ответил Штирлиц.

– Не могу же я сказать, что плюс на плюс дает минус!

– А почему бы нет? В нашей работе минус ценнее, чем плюс. Минус – это значит меньше. Нет? Минус одним врагом лучше, чем плюс еще один враг.

– Что вы такой злой? Больны?

– Я не болен и не зол.

– Как дома дела?

– У меня нет дома.

– То есть?

– Я одинок.

– А родители?

– Слушайте, дружище, вы наверняка уже успели поглядеть в мое досье, нет? Зачем эти вопросы?

– Экий вы хмурый.

– Я не хмурый, и вообще у меня все в порядке. Просто я не люблю пустых разговоров. А вы со мной беседуете как с агентом, которого готовите к операции. Думаете, беседа – главное? Поговорите полчаса и можете дать гарантию, как человек поведет себя в сложной ситуации? Или на меня поступили сигналы?

– Нет, вы явно не в духе, – сказал Диц, перестав на мгновение улыбаться. – Садитесь, я вам покажу документы, которые пригодятся в нашей работе.

По тому, как лицо Дица застыло, Штирлиц понял, что его будущий коллега по операции обиделся.

«Не надо бы его обижать, – подумал Штирлиц, усаживаясь в кресло около окна. Он положил папку с документами на подоконник и начал разбирать бумаги, пожелтевшие от времени. – Зря я так. Мне с ним работать. Я иногда начинаю думать о них как о коллегах, забывая, что каждый из них – мой враг. Но, видимо, именно это и спасало меня до сих пор. Если бы я постоянно относился к ним как к врагам, я бы наверняка провалился. А я должен быть подобен бегуну на короткую дистанцию: месяцы тренировок и двенадцать секунд рекорда. Впрочем, видимо, эта моя манера быть самим собой в конечном-то счете импонирует им: дворняжки испытывают почтение к породистым. Только у нас дома дворняжки задирают борзых и бьются с ними насмерть, но это ведь дома».

– Когда выезжаем, дружище? – спросил Штирлиц.

– Вылет сегодня ночью.

– Вы меня потом проинструктируйте пошире, – попросил Штирлиц, – вы ведь, наверное, уже несколько дней сидите в материалах. А то не напортить бы мне чего ненароком.

Он подставился Дицу и сразу понял, что подставился он точно – Диц снова заулыбался, но теперь не механически, не так, как их учили в школе гестапо: «постоянная улыбка свидетельствует о вашей силе и уверенности в успехе, и смена улыбки на тяжелое молчание в равной мере сильно воздействует и на врага, и на того человека, которого вы хотите обратить в друга рейха».

– Конечно, Штирлиц. Я с удовольствием расскажу вам кое-что.

– Ну и спасибо.

Штирлиц снова начал перебирать бумажки, не вчитываясь поначалу в текст, – он собирался перед каждой новой операцией, как спортсмен собирается в день соревнований, – не зря он подумал о спринтере, когда разбирал свою ошибку с Дицем.

Штирлиц подстраховал эту свою манеру ворчливой грубоватости давним разговором с Шелленбергом, когда вернулся из Испании, где в течение года работал в резидентуре СС в Бургосе, при штабе Франко. Разбирая провал двух работников гестапо в Испании, Штирлиц сказал тогда Шелленбергу, что пришло время брать в аппарат разведки психологов, людей тонкой структуры, а не костоломов, которых приучили к слепому подчинению приказу и постоянной оглядке на мнение центра. Штирлиц понимал, что он наступает на большую мозоль Шелленберга, который был бессилён в подборе кадров, ибо те люди, которых он хотел пригласить в свой отдел, проходили скрупулезную проверку в гестапо – ведомстве Мюллера. А там сидели типы совершенно определенного склада: туповатые, маленькие люди, приведенные к власти из нищеты; люди, относившиеся к науке с той опасливой подозрительностью, которая свойственна тем, кто более всего на свете страшится потерять место под солнцем. Эти «маленькие люди большого гестапо» славились в РСХА как отменные отцы семейств, замкнутые в двух сферах: с утра и до вечера работа, с вечера и до утра – дом. Все иное, выходявшее за рамки этих двух сфер, людей гестапо не интересовало и страшило. Многие из них знакомились с новшествами этого мира, общаясь с детьми, которые задавали им вопросы, вернувшись из школы или университета, и эти вопросы казались отцам подозрительными, чуждыми той доктрине, которой они служили и которая обеспечивала их домом, машиной, бензином и двойным карточным пайком на мясо, маргарин и колбасу.

«Что вы хотите, – сказал тогда Шелленберг, – в конце концов разведка сейчас подобна металлической сетке возле парадного, об которую политики вытирают ноги, отправляясь за стол переговоров. В нашей системе разведка занимает низшее место: идеолог, политик, дипломат и уж потом разведчик. Впрочем, я не вижу выхода из этого положения, потому что руководство любит читать наши данные вместо детективных романов – на сон грядущий, в то время как Цицерона они читают утром, ибо это – основополагающая классика».

Беседуя потом с Шелленбергом, Штирлиц все больше убеждался в том, что люди СД ничего не могут сделать у него на родине, ибо они строили свою работу, исходя из посылов собственного превосходства и неизбежности покорения России военной машиной рейха. Они служили политической доктрине, стараясь таким образом обработать полученные данные, чтобы никоим образом не входить в противоречие с теми установками, которые давал фюрер во время своих тафельрунде¹ или на совещаниях в ставке.

– Кто такой Евген Дидо Кватерник? – спросил Штирлиц, остановившись взглядом на бланке «Особо ценен». – И какие у нас появились интересы на Балканах?

– Думаю, стратегические.

Диц быстро взглянул на Штирлица и закурил, пустив к потолку упругую струйку синего дыма.

«Он любит показывать свою начальственную осведомленность, – машинально отметил Штирлиц. – На этом когда-нибудь сгорит, болтнув лишнего своему же человеку,

¹ Тафельрунде — «застольные беседы» (нем.).

перед которым он разыгрывает роль большого руководителя. Хорошо еще – сотруднику гестапо. А если это в нем разгадает агент – тогда с него сорвут погоны».

– Вот, ознакомьтесь, – сказал Диц, протягивая Штирлицу папку с чуть пожелтевшими от времени страницами. – Это было составлено в тридцать четвертом году, но факты хорошо систематизированы, и ничего особого с тех пор не произошло.

– Вообще ничего не изменилось? – усмехнулся Штирлиц. – С тридцать четвертого?

– Я завидую вам, Штирлиц. У вас есть в запасе вторая профессия: когда вас прогонят из разведки, станете работать в кабаре или цирке, там хорошо платят за юмор.

– Диц, мне жаль вас, потому что вы доверчивы, как лань, и так же добры. Неужели вы думаете, нам позволят работать, прогнав из разведки? Неужели вы и впрямь так думаете? Мне почему-то всегда казалось, что из разведки не прогоняют. Из разведки убирают. И чтоб памяти не осталось – не то что слова.

– Память устранить невозможно. Вы спрашивали о Евгене Дидо Кватернике? Прочитайте папочку. Кватерник – внук Иосипа Франка. Кватерник – наш большой друг, Штирлиц. Его любит доктор Веезенмайер, они когда-то работали над одним делом вместе. Почитайте, почитайте, я вам не зря ответил по поводу памяти...

«Лидером хорватских сепаратистов следует считать Иосипа Франка, завербованного венским разведуправлением генерального штаба Австро-Венгрии в 1876 году, когда этот молодой юрист из Загреба начал свою деятельность с оказания помощи венским властям в разгроме «Народной партии», с тем чтобы в 1880 году стать лидером крайне экстремистских националистических организаций хорватов, которые были в конце XIX века оформлены им в «Чистую партию права», требовавшую создания «великого хорватского государства» с включением в него Герцеговины и Боснии под эгидой австро-венгерской монархии. (Эта идея была высказана Франку в Вене, в генеральном штабе, который отвечал перед Габсбургами за проведение политики на Балканах.) По указанию Франка был создан «Хорватский легион», выполнявший прямые указания Вены, маскируемые лозунгами создания хорватского государства, свободного от засилья «сербских владык».

Вопрос о Франке, умершем в 1911 году и передавшем бразды политического руководства хорватским сепаратистским движением молодому Анте Павеличу, отличается серьезной сложностью, которая заключается в том, что по крови Франк – хорватский еврей. Эта проблема обсуждалась нашими сотрудниками с представителями расовой комиссии отдела рейхслейтера Розенберга. Сначала было принято решение вывести имя Франка из истории хорватского сепаратизма, однако специалисты из европейского отдела МИДа, занимающиеся проблемой южных славян, утверждают, что этот акт невозможен в силу общеизвестности имени Франка – до сих пор сепаратисты в Югославии называют себя франковцами.

Путем проведенных разведмероприятий, организованных нашей загребской резидентурой, нам удалось получить копии документов о рождении не только Франка, но и его предков во втором колене. После консультации с научными работниками отдела чистоты расы и нации в РСХА была выдвинута версия, позволявшая не считать Франка евреем. Дело в том, что его бабка была полукровка, хорватско-еврейка, а если исключить ее половую связь с дедом Франка, можно сделать вывод, что отец Франка практически лишен еврейской крови. Нами была подготовлена медицинская справка из Вены, которая свидетельствовала о том, что дед Франка лечился в Вене по поводу полового бессилия. Таким образом, отец Иосипа Франка родился от полукровки, из-за импотенции мужа вступившей в сожителство с хорватом (имена кандидатур варьируются до сих пор в ведомстве д-ра Розенберга), от которого и родился Иосип Франк, не несущий, таким образом, в

своей крови прямого проклятия еврейского семени. Франк связал свою жизнь с семьей хорватского бунтаря XIX века Кватерника: это придало ему огромный вес.

После смерти Франка признанными вождями сепаратистов стали молодой юрист Анте Павелич и Миле Будак, известный ныне писатель. Павелич был создателем партии «Хорватского государственного права». Однако в течение 1918 – 1929 гг. ситуация в Хорватии заметным образом изменилась, ибо Хорватская крестьянская партия, возглавляемая Степаном Радичем, стала главным выразителем недовольства хорватов против засилья великосербской идеи, и экстремистские лозунги Павелича оказались в изоляции. Можно было предполагать распадение группы Павелича, однако после известного инцидента в Скупщине (парламенте), когда великосербский националист депутат Пуниша Рачич убил во время заседания всех (!) лидеров крестьянско-демократической коалиции во главе со Степаном Радичем (вместе с ним были убиты депутат Басаричек и депутат Радич, брат лидера), акции Павелича возросли.

Павелич становится выразителем экстремистски настроенной части интеллигенции и во время разразившегося кризиса начинает подготовку к восстанию сепаратистов, после разгрома которого эмигрирует в Италию и налаживает контакт с начальником политической разведки дуче полковником Конти.

Устахам Павелича, эмигрировавшим из страны, были предоставлены в Италии три лагеря, где они проходили военную и специальную подготовку, приняв перед началом занятий клятву на верность поглавнику и «Великой Хорватии».

Нами предпринимались две попытки установить непосредственный контакт с поглавником А. Павеличем, однако руководство внешнеполитического отдела НСДАП посчитало нецелесообразным отлаживание прямых отношений с устахами, поскольку представитель отдела д-р Веезенмайер имеет достаточные связи с Евгеном Дидо Кватерником, внуком Иосипа Франка, который является руководителем разведки и контрразведки Павелича. Именно Кватерник осуществляет всю практическую работу по борьбе против Белграда и д-ра Мачека, который стал в начале тридцатых годов легальным хорватским лидером, вождем Крестьянской хорватской партии, признанной в Югославии и имеющей своих представителей не только в Скупщине, но и в правительстве королевства. Что касается Мачека, то он представляется нам отнюдь не таким открытым и ясным, как д-ру Веезенмайеру, ибо славянская идея слишком сильна в нем и все контакты с рейхом он подчиняет торжеству этой идеи.

*Начальник Особой канцелярии РСХА
штандартенфюрер СС Г. Дорнфельд».*

Штирлиц, пока читал справку, мучительно вспоминал, где, когда и при каких обстоятельствах он встречал фамилию Кватерник. А потом четко и точно увидел фотографии в газетах, посвященных убийству югославского короля Александра вместе с французским министром иностранных дел Барту, активным сторонником сближения Франции и Малой Антанты (Югославии, Румынии и Чехословакии) с Советской Россией.

Именно Евген Дидо Кватерник, молодой юрист, внук легендарного Иосипа Франка, привез в Марсель усташей, которые совершили покушение. Именно он сделал так, что французская полиция арестовала усташей – слишком легко и быстро арестовала их.

«Каким же образом Веезенмайер наладил с ним контакт? – подумал Штирлиц. – Неужели мои шефы имели отношение к убийству в Марселе? Неужели усташи были третьей картой, которую разыграл Берлин в борьбе против Барту? А ведь похоже: преемником убитого Барту оказался Пьер Лаваль».

– А здесь, – сказал Диц, – кое-что на доктора Мачека. Судя по всему, нам придется работать и с ним, и с людьми Павелича. Примирить их невозможно, но пугать Мачека

устахами, а усташей – мачековцами стоит; видимо, нам и предстоит этим заниматься в ближайшие дни.

– Значит, война?

– Войну можно выиграть и не начиная ее, Штирлиц.

Диц передал Штирлицу лишь те папки, в которых были собраны материалы на Евгена Дидо Кватерника и писателя Миле Будака, касающиеся их роли в сепаратистском движении, направленном на отделение Хорватии. Диц ознакомил его с этими материалами РСХА потому, что ему, оберштурмбанфюреру СС Штирлицу, поручался дублирующий контакт с Евгеном Дидо Кватерником – в том лишь случае и тогда, если эти контакты будут признаны необходимыми. Право же направлять практическую работу Штирлица, как и всех остальных сотрудников СД, откомандированных в Загреб, было предоставлено Веезенмайеру.

«Центр.

Завтра вылетаю Загреб составе группы Веезенмайера. Обеспечьте связь по обычному методу.

Юстас».

«Москва, ТАСС, принято по телефону стенографисткой М. В. Тюриной в 21.00 из Белграда.

Костюков болен. В корпункте больше никого нет. Подтвердите указание срочно уехать в Москву. Но тогда никто не сможет передавать последние новости. Впредь до повторного указания покинуть Югославию передаю сводку важнейших новостей, составленную по материалам белградской прессы, ибо в Загреб выезд запрещен. Почти все газеты на первых полосах печатают сообщения с англо-германских фронтов, причем тон сообщений после прихода к власти Симовича не изменился, линия освещения битвы в Африке, Греции и Албании нейтральная, печатаются сообщения как английского, так и германо-итальянского командования. О событиях в стране печать дает материалы в строго отредактированной форме: не говорится, что улицы городов патрулирует армия, не сообщается о снятии бывшего шефа жандармерии, ничего не пишется о дебатах в столице по поводу необходимости немедленных демократических преобразований в стране.

Англо-американские журналисты передают в свои газеты, что Лондон и Вашингтон готовы поддержать Белград в его «сопротивлении возможной агрессии», но какие формы может принять эта поддержка, в сообщениях не указывается.

Тон югославской печати таков, что можно сделать вывод, будто новое правительство смотрит сквозь пальцы на целый ряд тревожных симптомов в стране: взвинтились цены на мясо и крупы; ходят слухи о действиях «пятой колонны» в районе Далматинского побережья; в журналистских кругах утверждают, что хорватский лидер Мачек проводит в Загребе «особую» линию.

В то же время немецкие журналисты уже пять раз заявляли официальные протесты в здешний МИД по поводу того, что власти якобы чинят препятствия в объективном «освещении тревожной ситуации после прихода правительства, проводящего ярко выраженную проанглийскую политику».

Немецкие газеты, не имеющие своих постоянных корреспондентов в Белграде, но распространяемые через представителей местной немецкой организации «культурбунд», печатают сообщения о том, что югославская армия проводит мобилизацию и стягивает войска к венгерской и германской границам: «Это, естественно, не может не вызывать серьезного беспокойства в Берлине, поскольку речь идет о жизни немцев, проживающих в пограничных районах». В столице Хорватии прошлой ночью были распространены листовки усташей, которые призывают всех хорватов «объединиться против режима Симовича, продавшего англо-американскому капиталу и московскому Интернационалу».

Прошу доложить руководству, что я готов подчиниться приказу и уехать, но тогда ТАСС останется без корреспондента – у Костюкова открылась язва. Привет всем. Позвоните маме, скажите, что все хорошо.

Потапенко».

4. ЗА СУМАСБРОДСТВА ЦАРЕЙ СТРАДАЮТ АХЕЙЦЫ – I

Анка провела кистью еще раз, и нечто, казавшееся желто-серым, сделалось низкой чесноком. Эта чесночная низка лежала возле темной бутылки с оливковым маслом, куском хлеба и двумя яблоками. Анка тронула кистью несколько разных красок, выдавленных на картон, служивший ей палитрой, потом легко прикоснулась к толстому ватману, и левое яблоко на рисунке чуть не покатилося – так неожиданно в нем угадалось движение, как и в том, которое лежало на столе. Улыбнувшись, Анка быстро оглянулась: ей показалось, что в комнату вошла мать – девочка не могла работать, если кто-либо стоял у нее за спиной; она сразу же поднималась и закрывала рисунок.

«Капризы это, – говорила мать, – что я, сглажу, что ли? Может, я ей еще лучше подскажу, где чего дорисовать».

Отец привел учителя живописи из гимназии; он циклевал полы в доме, где жил старик, и вместо платы попросил его посмотреть работы дочери: стоит ли деньги на краски переводить, может, лучше пусть вяжет, как мать?

Учитель пришел в дом Иосифа сердитый и раздраженный: на педагогическом совете директор гимназии выговаривал ему за то, что ученики разбегаются с его уроков.

«В конце концов я не могу заставить рисовать того, кто не хочет рисовать! – отвечал учитель. – Нельзя привить навык к творчеству! Можно привить навык к физике или зоологии, потому что это дисциплины! А рисование – это не дисциплина! Это – рисование!»

Директор ответил, что ему надоело постоянное жонглирование термином «творчество», и что гимназия – не ателье импрессионистов, и если «господин Воячич не может заставить учеников выполнять его предписания, то гимназия будет вынуждена отказаться от услуг уважаемого живописца». Учитель сник, начал лепетать что-то о необходимости помощи со стороны коллег и ненавидел себя за эту ложь; хотелось послать все к черту, но он понимал, что если он лишится заработка в гимназии, то снова начнется голод и жена будет пилить его за то, что детям надо купить новую обувь, «а на твои рисунки можно приобрести бутылку воды и ящик воздуха».

– Ну, – сказал учитель, – где работы?

Мать и отец засуетились, начали доставать рисунки из комода, а девочка стояла около окна, и щеки ее жег стыд – и за свои работы, и за то, как суетливо отец раскладывал рисунки на столе, но внезапно все это исчезло, потому что Анка вспомнила, как однажды пошла с матерью на базар помочь ей нести сумки, и увидела сейчас – явственно и близко – желтый медовый прилавок и старуху с длинными зубами, прикрывавшую лицо черной шалью, которая то и дело сползала на спину; старуха раскладывала перед покупателями облитые керамические тарелки – сине-красные, черно-желтые, красно-голубые. Анка вспомнила сейчас, что среди всех этих тарелок ее поразили две – со странным, диковинным рисунком: петухи с распущенными хвостами, с неестественно длинными лапами и с когтями, украшенными синим маникюром. Анка тогда прищурилась, и петухи исчезли – осталось лишь точное сочетание красок, которые поймали форму – законченную, литую, и если долго смотреть на этот рисунок, то могло показаться, что здесь и не петух вовсе, а июльское желтое поле и голубые васильки в нем или предгрозовое небо поздним майским вечером, когда черная туча кажется фиолетовой, а в провалах белого неба горят зеленые, холодные звезды...

– Тебя спрашивают! – услышала Анка голос отца. – Не слышишь, что ли?

– А? Чего? – спросила девочка, покраснев.

– Это она, значит, витала, – виновато объяснила мать учителю. – Разинет рот и глядит мимо.

– Что ж ты линию горизонта заваливаешь? – повторил учитель. – Нельзя так. И проекцию совершенно неверно пишешь... У тебя ведь яблоко меньше перца.

– Отвечай, когда спрашивают! – сказал отец. – Что молчишь?

– Я не знаю, – ответила девочка, – оно так лежало.

– При чем здесь «лежало»? – поморщился учитель. – Есть законы живописи, которым подвластны все... Кроме гениев, впрочем, – добавил он, скорее для себя, чем для этой туповатой, то и дело краснеющей девочки в уродливом платье, перешитом, видимо, из материнского. – Ты у кого училась?

– Ни у кого она не училась, – ответил отец. – У кого ж ей учиться?

– В гимназии ведь проходят рисование.

– Так то в гимназии, господин Воячич, а откуда у нас на гимназию деньги-то? Она семь классов походила в обычную, а теперь матери по хозяйству помогает.

– Нельзя так писать бутылку, – снова поморщился учитель, – стекло ты по фактуре угадала верно, но цвета смешаны: мягкий должен быть разлит в центре, а на стыках тени и света следует подчеркнуть цветовую жесткость... Нельзя же так: что вижу, то и рисую... Нет, ей надо как следует учиться.

Учитель сказал еще что-то и ушел, отказавшись от приглашения к обеду, который со вчерашнего дня готовила мать, купив на базаре курицу. Она еще утром накричала на Анку, когда девочка просила подождать, пока она напишет оципанную птицу, лежавшую на грубо сбитом кухонном столе. Ей очень хотелось написать желтизну куриного тела, бессилие свесившейся шеи в контрасте с устойчивой жесткостью стола, но мать, запарившись, бросила птицу в кастрюлю и Анку из кухни прогнала.

Учитель вернулся домой, продолжая свой мысленный язвительный спор с директором гимназии, лег на софу, которая стояла возле окна, и вдруг увидел два яблока, бутылку с оливковым маслом и низку чеснока. Он сначала не понял, откуда это, и решил было, что вспомнился ему кто-то из французов позднего импрессионизма, но вдруг он увидел лицо дочери этого полотера, и мучительный стыд ожег его. Не ответив жене, которая спрашивала, когда он будет обедать, учитель выбежал на улицу, чтобы вернуться в дом полотера и сказать девочке, что у нее божий дар, и что не надо ей слушать его слов о проекции и законах света, и что пусть она приходит к нему в мастерскую, но он остановился, поняв, что не сможет найти дом, где он был только что, – он шел оттуда быстро, сняв очки, смотрел себе под ноги и жил своей обидой.

«И нечего винить всех вокруг в том, что ты неудачлив, – сказал он себе. – Разве истинный творец переживал бы так, как я, склоку в учительской? Истинный творец даже и не услышал бы ничего, как не слышала меня та девочка в нелепом платье, перешитом из материнского. А я и это подметил, вместо того чтобы заплакать при виде ее картин...»

...А отец отнес все картины на чердак, сказав:

– Ну, Анка, хватит баклуши бить: побаловалась – и будет. Помогай матери хлеб зарабатывать, большая уже.

– Ладно, – сказала девочка и, раскатав в пальцах хлебный мякиш, быстро слепила фигурку – учитель, упершись руками в бока, откинул голову, словно норовистый конь, и смотрит, насупившись.

– Ишь, – усмехнулся отец, – похоже...

А мать отчего-то заплакала и ушла на кухню.

*Ай люли, люли, люли,
К нам Душана привезли,*

*Душан мальчик-краса,
Он не плачет никогда.*

Бабка раскачивала внука на левой ноге, отодвинув от себя, чтобы видеть лицо младенца: очки она надевать не научилась, но могла четко различить буквы и лица, когда отходила в сторону. Старшая внучка, дочь Младены, смеялась над старухой во время прогулок по Загребу: «Бабушка, ты говоришь: «Ну-ка посмотрим, что это за магазин», – и хозяин, услышав тебя, бежит открывать дверь, а ты отскакиваешь от него на другую сторону улицы, чтобы прочесть вывеску – чем здесь торгуют».

*Наш Душан похож на маму,
Ротик, будто вишенка,
А кричит, как старый дед,
Наверное, описался...*

Иво слушал, как мать укачивала внука, и огромное спокойствие было в нем. Все в мире было иначе, пока не родился Душан: и синие горы были другими, и серый туман в лощинах, и шум ручья, стеклянно бьющийся о серый гранит в урочище Медвешака, – все это раньше существовало отдельно, жестоко пугая своей красотой, которая исчезнет вместе с ним, с Иво. А теперь красота мира продлится еще на пятьдесят лет, на жизнь сына, а потом она перейдет к сыновьям его сыновей и – останется навечно принадлежащей людям.

«Когда я пишу репортажи, – подумал Иво, – я не нуждаюсь в читателе, потому что стараюсь выразить свое «я». И лишь колыбельная невозможна без слушателя. Сейчас маленькому не нужны слова, сейчас еще бабка поет для себя – от радости, что у нее такой внук, а потом она сделается творцом, когда ей надо будет придумать особые слова, чтобы мальчик внимал им и засыпал без плача. Высшая правда искусства – колыбельная: если младенец заинтересуется и поверит – он уснет, и автор слов и музыки испытает высшее счастье... При чем здесь гонорар за строчку? Искусство, если оно истинно, меряется лишь наслаждением, которое испытал тот, кто отдал».

Бабка пела тихо, и младенец спал, и спала мать младенца, и Иво почувствовал, как у него закрываются глаза, словно подчиняясь словам старухи, и тому однообразному, как извечное спокойствие, ритму, рожденному высшей гармонией, словно серые клочья тумана в урочищах или постоянный шум воды на порогах, где по утрам, в водяной пыли, устойчиво стоит мост сине-желто-красной радуги – пройди сквозь нее, и на всю жизнь будешь счастливым...

Стружка вилась, как волосы кудрявого младенца, мягко и ниспадающе. Ладони Мирко ощущали гладкую тяжесть рубанка, вобравшего в себя резкую остроту стали. Ощущавший боль дерева в лесу, во время рубки, сейчас, обстругивая ствол сосны, Мирко не чувствовал боли, рождаемой каждым ударом топора – звонким, протяженным в тяжелом хвойном воздухе, резким, словно удар колокола по усопшим.

«Никогда не бьют в колокол по тем, кого убивают, – всегда звонят по умершим, – подумал он, наблюдая, как плавно ложится стружка на пушистый ковер таких же бело-желтых, пахучих стружек. – Только в лесу каждый удар топора, словно колокол, предупреждает о грядущей смерти, когда дерево застонет, начнет раскачиваться, будто человек, раненный в сердце пулей на излете, а потом закричит, падёт на землю и по-человечьи, словно волосы, разметает крону по траве и пням».

– Ну как, Мирко? – спросил Степан, брат Елены, его невесты, для которой он рубил новый дом. – Начнем крепить?

Мирко вытер со лба пот и посмотрел на дом: осталось связать последний венец, и тогда завтра можно приглашать мастеров – стелить крышу. А когда будет крыша, он положит пол из толстого дубового бруса, сложенного прошлой осенью под толем на дворе, и Елена войдет в их дом, и это будет его первый дом, потому что раньше он жил в горах, у дядьки, и это был не дом, а длинный унылый сарай с узкими щелями вместо окон, а стены были сложены из камня, и поэтому там всегда было сыро и пахло болотом, а когда шел дождь, крыша протекала и на глиняном полу появлялись лужицы.

– Мирко, – окликнул его Степан, – хоть Елена и моя сестра, а я все же не уразумею: зачем ты женишься? Ты ведь жизни не видел: то в горах рубил, то здесь стругаешь... А женщина, какая-никакая распрекрасная, – все равно словно жандарм: ни тебе выпить, ни к друзьям пойти; паши, как конь, и радуйся, что сенца подбрасывают.

– Так-то оно так, – согласился Мирко, – только одному на свете страшно, Степан. Если б я в горах всю жизнь прожил – тогда другое дело, там, в горах, чего ж бояться-то? Там бояться нечего. Бояться надо людей в городах, где каждый норовит к себе оттянуть, оттого и страшен делается.

– Ты не оттянешь – у тебя оттянут.

– Не по-божески это. Нельзя так жить.

Степан усмехнулся:

– Ты зачем дом строишь, Мирко? Ты ходи по дорогам и проповедуй.

– Каждый должен своей проповедью жить – тогда юродивого будут жалеть и кормить, а слушать не станут. Сейчас отчего люди слова ждут? Оттого, что погрязли в нечестности и корысти. А если чисто жить – зачем тогда церковь? Туда за отпущением грехов ходят, страх свой утешить туда идут.

– Мирко, а у тебя до Елены бабы были?

– Мне Елена не баба, Степан; она – человек мне. Ну, давай, бери бревнышко, пойдем вязать...

– Божий ты человек, Мирко... Тебе в глаза плюнь – утрешься.

– А ты чего меня цепляешь? Еленка просила испытать перед свадьбой – какой я, да? То-то она мне говорит: «Тихий ты слишком, таких пчелы жалят». Разве пчела жалит? Она лечит. Она только дурня ожалит, который боится, а тот, кто смысл хочет найти вокруг себя, – тот понимает, что это работа у пчелы такая – жало свое отдать, и сердиться на нее за это нельзя. На снег ведь ты не сердишься? Или на ливень?

– Не надо выключать свет, Милица.

– Надо.

– Я прошу тебя, сербочка.

– И я прошу тебя, хорватик.

– Но я больше тебя прошу.

– Нет, я больше, Светозар.

– Ты стыдишься себя?

– Тебя.

– Чего ж меня стыдиться, маленькая? Ведь я люблю тебя...

– Я знаю.

– Включи свет, я хочу видеть тебя.

– Нет.

– Почему?

– Потому.

– Иди ко мне.

Он обнял ее и почувствовал ее острые груди у себя на груди. Он улыбнулся в темноте, потому что соски у нее были холодные и шершавые.

– Что ты? – спросила Милица, отстраняясь.
 – Ничего. Я просто радуюсь.
 – Ты не радуешься. Ты смеешься.
 – Когда радуются – обязательно смеются.
 – А я плачу, когда радуюсь.
 – Что ж ты не плакала, когда я подарил тебе сандалии?
 – Так разве то радость? То просто так – сандалии.
 – А что такое радость?
 – Это когда ты рядом, совсем близко, и у меня глаза закрываются, и голова начинает кружиться, и кажется, будто я падаю в колодец с теплой водой, падаю, падаю, и никак не могу упасть, и так боюсь упасть, и так не хочу упасть, и когда я чувствую всего тебя, даже если руки мои лежат вдоль тела, а я все равно чувствую твою ложбинку на спине, и шею, и шрам на локте – вот тогда радость, и тогда я плачу.
 – У мужчины и женщины радость разная.
 – Наверное.
 – Почему?
 – Потому что мужчины слабее. Не смейся. Это правда. Женщина любит сильнее, мужчина не может любить так, как женщина. Поэтому женщина всегда должна жалеть любимого; это и есть любовь. Все остальное – неправда. Надо очень жалеть мужчину, только тогда он будет счастлив, а если он будет счастлив, он станет смелым, и женщина будет любить его еще больше.
 – Дай я обниму тебя... Так больно?
 – Нет.
 – А так?
 – Нет. Только еще приятней.
 – А так?
 – Ой, так приятно, что прямо сказать нельзя!
 – Тебе ведь больно.
 – Чем сильнее мужчина, тем он приятней делает.
 – Когда я стану старым, я не смогу делать тебе так приятно. Ничего не боюсь, только старым боюсь стать.
 – Это страшно, когда ты один. Вдвоем старости нет.
 – А что есть?
 – Не знаю... Жизнь, наверное, есть. Уйдет сила, придет что-нибудь другое взамен.
 – А что может взамен прийти? Ум? Зачем он нужен, если силы нет? Ум надо защищать силой.

Он почувствовал на своем лице губы Милицы – шершавые и маленькие, как ее соски, и такие же нежные, беззащитные, доверчивые, стыдящиеся света. Светозар обнял Милицу так сильно, как только мог, и почувствовал на ее лице странную, блаженную, как у святой, улыбку.

– Ох как хорошо мне, – сказал он, – сербочка, как же мне хорошо с тобой!..

Дед Александр, потерявший на войне левую ногу и в позапрошлом году оставшийся сиротой – семья его сгорела в доме, когда вспыхнул керосин, неловко пролитый золовкой, – ушел с пепелища, как успел выскочить из огня: в длинной белой рубахе и кожаных штанах, босой. Он жил эти два года христовой милостью, пел в шинкарнях странные песни – про мурашей и букашек, которые просыпаются по весне и радуются тому, что с первыми холодами умрут и не будут страдать в стужу, когда люди насмерть леденеют – не то что букашки, божьи твари. И еще он пел о том, как в больших городах готовят еду: на больших плитах, в которых нет огня, а лишь один жар, который может обжечь, но это будет ожог

летним теплом, а не пламенем смерти, которое заставляет плясать покойников и скалить зубы, будто в последней насмешке над теми, кто остался на земле – допивать свою чашу горя.

Рожденный в Герцеговине, дед Александр знал тайну ганги – песни-плача, который только и умеют петь в горах, у Чаплины: словно бы перебивая друг друга в жалобах, чабаны редко говорили друг с другом – все больше изъяснялись гангой.

Раньше, когда была жива семья, Александр пел на два голоса с сыном: сначала тот жаловался ему на плохую погоду, и на ранний снег в горах, и на то, что реки рано стали, и овцы бьют копыта и хромо валяются в обрывы, а потом старик отвечал ему – но не впрямую, а как бы издалека, жалуясь на войну, когда сам себе не волен и когда не свободы жаждешь, а команды, потому что только в ней и есть надежда на спасение: офицеру-то свыше все виднее да умней, а уж если сейчас снег ранний, так это плохо, но не совсем плохо, потому что надо обратить гангу к господу – тот уберезет от горя...

Теперь же старик пел песни странные, по форме вроде бы плач-жалоба, древняя и единственная ганга, да только не жаловался он, а все больше задираал кого-то, неведомого, но могучего, будто дразнил его, мстительно, хотя и опасливо:

*Люди слушают весну, люди осень слушают,
Люди думают о лете и зимы боятся,
Только что же им мечтать и зачем стараться,
Если волк сильней овцы, а злодей – святого...*

– Мийо, Мийо, ты слышишь меня, родной?!

– Я слышу, Ганна!

– Я тебя ужасно плохо слышу!

– А я тебя слышу великолепно.

– Мийо, я больше так не могу! Прилетай ко мне!

– У вас сейчас солнце?

– Что ты говоришь?

– Я спрашиваю – у вас сейчас солнце?

– Скажи по буквам, Мийо!

– Соль, Ольгица, Лев, Никола, Цезарь, Евгений.

– Солнце? – не поняла Ганна. – Какое солнце?

– Ты мое солнце. Я сейчас пойду в университет и возьму отпуск. А потом закажу билет.

Я не знаю только, откуда мне лучше лететь – из Лозанны или из Цюриха.

– Ты никогда не называл меня солнцем, любимый.

– Я сказал, что у нас здесь выглянуло солнце, когда ты сказала, чтобы я прилетел за тобой. Ты говорила с Взиком?

– Нет. То есть да. Но это неважно, Мийо. Я хочу, чтобы ты прилетел, а отсюда мы уедем вместе.

– Он отдаст тебе сына?

– Я заберу. Я не буду спрашивать. Когда тебя встречать?

– Дня через два. Я пришлю телеграмму. Или позвоню. Я позвоню.

– Что?

– Я позвоню!

– Позвонишь?

– Да.

– Я тебя еле слышу. Ты позвонишь мне?

– Да.

– Звони днем, когда Взик в редакции. Он приходит домой в час ночи.

– Хорошо.

- Ты очень хочешь меня видеть?
- А я тебя вижу.
- Что?
- Я вижу тебя. Я все время тебя вижу. Ты ведь со мной. Ты со мной всегда.
- Что ты говоришь?
- Жди звонка. Я скажу номер рейса. Может быть, я полечу через Германию. Чтобы скорей быть в Загребе. Тогда я пришлю телеграмму.
- Целую тебя, родной!
- Целую, Ганна!

Начальник генерального штаба

Гальдер

«Италия. Письмо фюрера к дуче. В нем говорится о серьезном, но не катастрофическом положении и о решении разгромить Югославию. Фюрер требует прекращения наступления в Албании, прикрытия северного фланга албанского фронта и подготовки к наступлению в Истрии.

Письмо дуче к фюреру. Обещает прекратить наступление в Албании, прикрыть три прохода с севера к флангу итальянской армии в Албании и перебросить на северо-восток Италии шесть дивизий в дополнение к имеющимся там семи дивизиям (кроме того, там есть около 15 тыс. пограничников). Ожидается также поддержка со стороны хорватских сепаратистов.

Турция. Если турки введут войска в выступ в районе Эдирне, Лист должен об этом доложить. Вероятность этого небольшая. Фюрер весьма оптимистически оценивает позицию Турции. Он сообщил турецкому послу (Герече), что Россия осталась в стороне от Тройственного пакта, так как он (фюрер) не дал своего согласия на приобретение Россией опорных пунктов в проливах.

Кроме того, фюреру было доложено:

Не следует ограничивать действия Листа линией Олимпа.

Расчет времени: Наступление армии Листа начать как можно скорее; наступление на Скопле – по возможности одновременно с наступлением Листа.

Провести подготовку для ремонта и восстановления танков и автомашин в соединениях, участвовавших в операциях против Греции и Югославии.

Рациональное использование времени ввиду отсрочки операции «Барбаросса», задерживающейся по крайней мере на четыре недели...»

5. РАБОТА ПО СПЕКТРАЛЬНОМУ МЕТОДУ

Риббентроп не любил Розенбергов по двум причинам. Во-первых, потому, что они, по отзывам зарубежных журналистов, были «эталоном истинных арийцев» (подразумевалась их внешность) среди всего партийного и государственного руководства рейха: голубоглазые, высоколобые, с крепкими подбородками и «хотя бы остаточко, – как шутил Риббентроп в домашнем кругу, – но все-таки блондины». Во-вторых, и это было главное в объяснении его неприязни к рейхслейтеру, они исповедовали два совершенно различных начала в подходе к одной и той же проблеме, за которую отвечали перед фюрером, – внешней политике рейха.

Розенберга Риббентроп не называл иначе, как «теоретик», вкладывая в это определение все то презрение, которое плохо образованный, но сильный практик испытывает к тому, что руководствуется созданными им же самим канонами, кто каждый свой шаг соотносит с цитатами из своей же книги «Миф XX века» и кто хоть и не прямо, но, в соответствии с иерархической лестницей НСДАП, косвенно мог принимать или отвергать акции рейхсминистра иностранных дел.

Риббентроп сделал карьеру на Британии. Он сделал то, во что никто не верил: он подписал с Чемберленом морской договор, и это можно было считать прелюдией к выполнению стратегического плана фюрера: «Единственным союзником Германии в Европе может быть Англия, и никто больше».

То, что не удавалось сделать традиционной германской дипломатии, чинному министру фон Нейрату, то, что до тошноты порядочный посол рейха в Лондоне Хеш называл идиотизмом, то, что подвергал ироническому осмеянию Розенберг во время обсуждения в рейхсканцелярии плана поездки Риббентропа, стало свершившимся фактом: Чемберлен протянул свою джентльменскую суховатую руку быстрой и потной руке Гитлера.

Эта победа Риббентропа оказалась главным поражением Розенберга: у всех была на памяти его ирония по поводу «новой дипломатии национал-социализма», предложенной Риббентропом. Она, эта новая дипломатия, должна была, взяв как изначальную основу наступления «Мою борьбу» фюрера (а никак не «Миф XX века» Розенберга), действовать в духе этой «великой книги, открывшей германской расе путь в светозарное будущее» – то есть смело, напористо, убежденно, без обязательных для прежней дипломатии лавирований, недоговорок и компромиссов. И главное – смело, главное – не подстраиваясь под хорошо изученного партнера в переговорах, а, наоборот, заставляя партнера принять тебя таким, каков ты есть. Это дает огромный выигрыш в темпе и в качестве, ибо западноевропейский партнер, который исповедует, естественно, консервативный, веками рождавшийся традиционализм, столкнувшись с новой манерой вести переговоры, с новым качеством дипломатии, созданной идеями национал-социализма, будет озабочен уже не столько тем, чтобы **победить**, но тем, как бы не **потерять**, поскольку «дело приходится иметь с хамами, а им лучше отдать малость, пока они сами не отхватили по-хамски главное».

Розенберг старался везде и всюду подчеркивать «гуманизм» и «интеллигентность» учения Гитлера; Риббентроп – в противовес ему – об учении фюрера ничего не говорил, но действовал отнюдь не как интеллигент и гуманист; он сразу же заявлял в переговорах свой новый стиль, стиль открытого удара и угрозы: «Если сами добром не дадите – возьмем силой. Вы нас вынудите к этому, и вся ответственность за последствия этого вынужденного вами шага ляжет на вас, и история вам этого не простит». Западная дипломатия, «отягощенная, – как сказал Риббентроп, – чрезмерным знанием мировой истории», старалась подверстать новое движение, родившееся в Германии, под свои представления о политике, заставить Гитлера принять их манеру поведения; они считали, что путь этот, видимо, будет длительным и сложным, но идти на открытую конфронтацию с великим народом через шестнадцать лет после окончания мировой войны – не гуманно и жестоко. В конце концов, считалось в западных кругах, Гитлер – европеец, с ним надо вести себя так, как это принято в Европе. Не замечать его так, как можно позволить себе не замечать Россию, – немыслимо, ибо Россия – отсталая азиатская держава, которая сама по себе изрыгнет большевизм, оставшись один на один со своими экономическими трудностями, окруженная на востоке алчными азиатскими государствами, а на западе – стеной холодного и надменного непризнания. Гитлер же представляет Германию, без которой европейская, да и мировая цивилизация – невозможна.

Ребенок, угадав, что взрослые, побеседовав с врачами-педиатрами, пришли к выводу, что наказание может лишь травмировать слабую душу и подвигнуть дитя на еще большие грубости и шалости, становится домашним сатрапом; ему все позволено, все прощается, и всем его шалостям находят объяснение: «Повзрослеет – поймет и изменится».

Риббентроп исходил именно из этого простого житейского правила, забываемого умными дипломатами, когда они садятся за стол переговоров со взрослым контрагентом. И он одержал победу, он вернулся в Берлин победителем, и он, а не Розенберг стал рейхсминистром иностранных дел, когда фюрер приказал либо разогнать беспартийных аристократов, засевших в МИДе, либо принудить их служить не традициям, а новому – его, фюрера, идее.

В общении с подчиненными Риббентроп выработал такую же манеру, как и в переговорах с противником: краткость, сухость, четкость.

– Я рад, – сказал он Веезенмайеру, – что именно вам вменено в обязанность вписать еще одну страницу нашего дипломатического подвига в летопись истории национал-социализма. Я убежден, что вы победите в Югославии так же легко, как вы победили в Словакии. Я даю вам санкцию на контакты со всеми оппозиционными и сепаратистскими силами в Загребе и вне его. Я договорился с хорватским лидером Влатко Мачеком о том, что ваша миссия пройдет вне поля зрения Белграда. Вы должны подготовить правительство Хорватии, которое будет встречать наши войска по старому славянскому обычаю: хлебом и солью. Вы должны сделать так, чтобы это новое правительство было нашим карманным правительством и чтобы оно позаботилось о том, как объяснить миру необходимость ввода наших войск в Югославию, проведя точный водораздел между политическим **качеством** ввода наших войск в Хорватию и в Сербию. В остальном я полагаюсь на ваш опыт. Это все. Хайль Гитлер!

Гейдрих, пригласив для беседы Веезенмайера, мучительно долго буравил красивое и сильное лицо штандартенфюрера своими маленькими раскосыми голубыми глазами, а потом неожиданно спросил:

– Скажите откровенно: ваша детская, самая первая мечта о будущем рисовалась вам в образе офицера, или все-таки вас с самого начала тянуло в дипломатию?

Зная, что РСХА не то место, где надо развешивать слюни по веткам, а Гейдрих не тот человек, который просто так задает отвлеченные вопросы, Веезенмайер ответил так, как, ему казалось, следовало ответить этому холодному и властному человеку.

– Будущее рисовалось мне, группенфюрер, – сказал он, – в солдатском служении идеям Адольфа Гитлера...

Гейдрих заметил:

– В дни вашего детства идей Адольфа Гитлера как таковых не было. В дни вашего детства Адольф Шикльгрубер учился рисованию в Вене и зарабатывал себе на хлеб, нанимаясь чернорабочим на строительство банковских зданий. Я ждал вашего конкретного ответа потому, что думал подсказать вам кое-какие детали, и касались бы они дипломатии и армии – нам все-таки известно то, что неизвестно ни МИДу, ни внешнеполитическому отделу партии. Нам вменено в обязанность подсматривать в замочные скважины спален – как это ни противно... Но поскольку вас интересует служение чистой идее, то я не вправе давать вам конкретные советы. Я ограничусь просьбой: думайте о кадрах, Веезенмайер, о славянских кадрах. Думайте о том, чтобы циклопы убивали циклопов. Думайте о том, чтобы славянское племя хорватских циклопов стало штурмовым отрядом, послушным нашей с вами воле в борьбе против всех иных славянских циклопов: сербов, поляков, украинцев, русских. Ищите людей, которые хоть как-то соответствуют по уровню своего интеллекта нам с вами, арийцам. Вот, собственно, и все. Нас интересуют люди – самые разные, в самых разных областях; без этих людей, которых мы с вами условились называть циклопами, нет будущего Европы. Я говорю не слишком грубо? Ваш ученый слух не коробит моя манера выражать мысль, не заворачивая ее в цветную бумажку, как на рождественских распродажах?

– Меня восхищает ваше умение честно говорить о главном, – ответил Веезенмайер, испытывая горькую брезгливость: мир, увы, устроен таким образом, что все в нем взаимосвязано, и вне этой взаимосвязанности он существовать не может – чистота и грязь, нежность и скотство, ум и сила, он и Гейдрих – одна монета, как ни крути, только разные символы отчеканены на двух сторонах, и которая важнее – не поймешь: реальная стоимость или всеохватная государственная эмблема.

В этот же день Гесс вызвал в партийную канцелярию Риббентропа и Розенберга. Он закончил работу над тремя документами. Первый документ должен быть опубликован МИДом в тот момент, когда это будет признано целесообразным армией – в случае непредвиденной задержки в передислокации частей к югославским границам; второй документ должен быть опубликован за день до появления документа мидовского, и, наконец, третий документ, перечеркивающий два предыдущих, – речь Гитлера – станет известен миру в тот час, когда начнется «Операция-25».

Первый документ – в редакции Гесса – звучал следующим образом:

«Германское министерство иностранных дел уполномочено заявить, что внутренние дела Югославии не могут явиться поводом ни для протестов со стороны Берлина, ни тем более для интервенции. Все слухи о подготовке войны против Югославии являются злостным вымыслом английской империалистической пропаганды. Германия всегда и всюду проводит политику мира и добрососедства и никогда первой не давала и не будет давать впредь каких-либо поводов для конфликта».

Риббентроп согласился с проектом заявления МИДа, предложенным Гессом, однако попросил заранее подготовить для опубликования в газетах текст интервью с шефом отдела печати МИДа Шмитом – на случай каких-либо непредвиденных акций Белграда.

– Что вы имеете в виду? – спросил Гесс. – Какие акции Белграда?

– Договор с Москвой, например.

– Это нереально, – заметил Розенберг. – Москва не решится на такой шаг.

– Пусть Шмит заготовит текст интервью, – задумчиво сказал Гесс, – которое должно звучать так, что Берлин возлагает всю ответственность за ухудшение отношений между нашими странами на Белград. Не больше. Теперь о документах по вашему ведомству, – обратился он к Розенбергу. – Я прочту проект корреспонденций, которые будет публиковать Геббельс, а вы внесите коррективы, если мои сотрудники ошиблись в мелочах: «Из Граца сообщают, что сюда прибывают поезда с немецкими беженцами из Югославии. При отправлении поездов сербы кричали: «Уезжайте, германские свиньи!»

– «Немецкие колбасники», – сразу же поправил Розенберг, – славяне называют нас «колбасниками».

Гесс сделал быструю пометку, поблагодарил его кивком головы и продолжал читать текст:

– «Скажите вашему фюреру, что мы хотим войны и вашей крови! Теперь мы будем мучить швабов и изрежем их на куски!»

– «На маленькие кусочки», – вставил Розенберг. – Славяне любят конкретность в метафорах.

– Хорошо, спасибо, – чуть раздраженно ответил Гесс. – «Мы будем мостить улицы вашими телами! Ваши трупы поплывут по нашим рекам! Вена станет сербским городом! Мы повесим тамошних швабов на фонарях, головой вниз!»

– Лучше – «за ноги», – снова поправил Гесса рейхслейтер. – «Головой вниз» имеет несколько юмористическое звучание.

– Так это же они пишут, а не мы, – улыбнулся Гесс. – Пусть это и выглядит смехотворно! Итак, сначала мы печатаем в газетах материалы о зверстве сербов по отношению к немецкому меньшинству, потом Риббентроп выступает с заявлением о нашей позиции, а в речи фюрера, с которой он просил меня вас ознакомить, будет подведена черта под всем этим так называемым югославским вопросом. – Гесс открыл папку и начал читать:

– «С тех пор как английский империализм стал завоевывать мир, он стремится толкать Европу во все новые и новые войны. Британии интересна Европа, ослабленная конфликтами. Только в условиях слабой и истощенной Европы она может достигнуть своих гегемонистских выгод. Именно Англия

принудила старую Германию к прошлой битве. Но сейчас времена изменились. Да, времена изменились, но Англия осталась прежней. Она нашла подкупленных наймитов в Польше, которые – без всякого на то повода – начали против нас войну. Удар Польши был отражен. Тогда Англия предприняла попытку ударить по рейху из Норвегии, расчленив наш северный фланг. И этот вероломный удар был сокрушен нашей мощью. Это поражение вынудило Черчилля искать новые возможности, и он решил напасть на рейх через Голландию, Бельгию и Францию. Мы сбросили англичан в море. Отвергая наши неоднократные мирные предложения, Черчилль решил направить мощь империи против Италии, и прежде всего против Северо-Африканского побережья. Не удалось! Итало-германское братство по оружию разрушило коварный замысел англичан. Теперь выбор Англии пал на Грецию и Югославию. Я сознательно закрывал глаза на наши прошлые отношения с Сербией. Я и весь германский народ были счастливы, когда Югославия присоединилась к Тройственному пакту. Но оплаченная англичанами клика свергла правительство Цветковича. Избиениям подвергаются наши братья по крови! Толпой разъяренных сербов ранен помощник нашего военного атташе. Разграблены и сожжены немецкие магазины, фирмы и конторы. Клику сербов оплачивает английская тайная разведка. Германский народ тем не менее не видит никакого повода для борьбы против хорватов. Мы вступаем в войну против разнузданной клики сербов с ясным сознанием того, что Германия предприняла все, чтобы избежать конфликта. Мы будем просить провидение об одном лишь: охранить, как и прежде, и благословить путь наших солдат!»

Гесс на мгновение закрыл глаза, спрятал проект речи Гитлера в сафьяновую папку и спросил:

– У вас есть какие-нибудь замечания по тексту?

Последним, кто принял Веезенмайера перед вылетом в Загреб, был Розенберг.

После «марсельской операции» по убийству Барту и Александра Веезенмайер был отмечен наградой, но в дальнейшем Геринг, лично руководивший этой акцией «Тевтонский меч», от прямых связей с ним отказался – государственный деятель его масштаба не вправе «знать» тех, кто организует «акции правонарушения» – а тем более по его, рейхсмаршала, указанию.

Веезенмайеру дали понять, что все стратегические вопросы он впредь должен решать с Розенбергом. Геринг и этой мелочью хотел сохранить «разность сил»: держать в аппарате Риббентропа и Гимmlера человека, которого всегда можно использовать в своих интересах, а все остальное время он будет являться невольным эмбрионом склоки, столь необходимой в аппарате силы...

Выслушав штандартенфюрера, который так великолепно провел операцию в Словакии – по его, Розенберга (а никак не Риббентропа), методу, делая ставку не на силу или понуждение, а, наоборот, на «понимание» интересов «национального словацкого меньшинства», – рейхслейтер дал Веезенмайеру последние инструкции.

...Фюрер построил свою государственную машину по некоему образу «хищнического рыболовства». Если представить себе его правительство и партийный аппарат в виде реки, то он, как главный «рыбак», перекрывал все течение сетями разного размера и ячеистости. Ни одна «рыба» не могла прорваться сквозь этот кордон сетей. Партийная канцелярия Гесса визировала назначения министров, их заместителей и руководителей наиболее важных департаментов; аппарат рейхсфюрера СС давал характеристики кандидатам, поскольку все мало-мальски ответственные работники рейха являлись офицерами и генералами СС (начальник департамента изобразительных искусств в министерстве пропаганды, например, имел титул группенфюрера – один из высших в СС, но это объяснялось тем, что Гитлер,

занимавшийся в молодости живописью, постоянно интересовался работами художников рейха); часть министров по роду работы тесно сотрудничала с армией; все наиболее важные мероприятия, назначения и перемещения не проходили мимо генерального штаба и абвера адмирала Канариса. Любая мало-мальски серьезная акция МИДа должна была согласовываться с министерством обороны, с ведомством Гимmlера, с партийной канцелярией Гесса, а потом уже утверждаться аппаратом Гитлера.

Поэтому Розенберг, считая себя теоретиком внешнеполитического курса, отвечавшим за соответствующий отдел НСДАП, был вправе вносить свои коррективы в работу МИДа и СД – в определенных, естественно, пределах...

– Я считаю, – сказал Розенберг, – что выполнение задач, порученных вам Риббентропом и Гейдрихом, принесет огромную пользу рейху. Я молю провидение, чтобы оно даровало вам удачу. Но фюрер учит, что умение отделять злаки от плевел присуще лишь избранным, кому провидение даровало редкостное призвание быть арбитром...

Розенберг часто ловил себя на мысли, что он подражает фюреру не только фразеологически, но даже интонационно. Он гордился этим своим умением и не мог понять, что именно это постепенно отодвигало его на третий и пятый план, ибо и Геринг, и Гесс, и Гимmlер выделялись своей ярко выраженной индивидуальностью, которая импонировала Гитлеру, любившему цветовую множественность – это родила в нем венская школа живописи. Слушая Розенберга, фюрер подчас улыбался, потому что, если закрыть глаза, можно было принять слова сподвижника за свои собственные. Видимо, это и послужило лишним поводом к тому, что на пост имперского министра иностранных дел был назначен Риббентроп, отличавшийся собственной манерой говорить и мыслить. Гитлеру была нужна ступень: через дипломата – к лидеру. Переговоры, которые вел Риббентроп, подлежали утверждению Гитлером. А Розенберга, поскольку он говорил и мыслил точно как фюрер, нельзя было поправлять, ибо это значило поправлять или отвергать самого себя.

Розенберг же считал, что его отход на пятый план в партийной иерархии является следствием интриг и борьбы тщеславий. Поэтому он прилагал максимум усилий для того, чтобы вернуть себе утерянное ныне положение ближайшего друга фюрера. А вернуть это положение можно лишь одним: работой более результативной, чем работа других членов руководства НСДАП. Везенмайер поможет ему в этом. Он, конечно, будет выполнять то, что ему предписано Риббентропом и Гейдрихом. Но главным он станет считать то, о чем ему сейчас скажет он, Розенберг. Выполнение этого замысла докажет фюреру, что именно он, Розенберг, должен быть единственным авторитетом в решении стратегических, межгосударственных проблем, поскольку только он знает, как надо использовать могучий инструмент национализма в интересах победы идеи фюрера.

– Я читал справки, приготовленные для меня Гейдрихом по поводу ситуации в Хорватии. Он делает упор на то, что сепаратистские лидеры с готовностью провозгласят создание независимой Хорватии. Но он не учел, что Павелич больше сориентирован на Муссолини, чем на нас, тогда как в Загребе есть человек, на которого стоит сделать ставку. Я имею в виду доктора Мачека, заместителя прошлого югославского премьера и легального хорватского лидера, автора «Хорватской автономии». Если бы вы смогли сделать Мачека нашим другом, если бы он занял бескомпромиссную позицию по отношению к правительству генерала Симовича, отказавшись занять пост заместителя премьера, мы бы избежали чрезмерного кровопролития, во-первых, и, во-вторых, имели бы в Загребе нашего человека, а не итальянского ставленника. Так что, выполняя задачи, возложенные на вас Риббентропом и Гейдрихом, помните о главном – при этом, естественно, я не зову вас считать плевелами то, с чем вам надлежит заниматься по ведомству МИДа. Разобраться с истинными плевелами помогут вам эксперты узкого профиля, люди Гейдриха. Вам ведь выделили таких экспертов, не правда ли? Воспользуйтесь услугами сотрудника моего отдела в Югославии – оберштурмбанфюрера Фохта: он поможет вам освободиться от мелочей. Вы должны

сосредоточить свое внимание на самых главных задачах – лишь главные задачи определяют конечный успех дела, лишь основное звено тащит за собой последующие звенья. Получив от Мачека согласие на введение наших войск, мы докажем некоторым горе-дипломатам, как надлежит работать по-настоящему.

Поблагодарив рейхслейтера за столь ценные советы, Веезенмайер снова поехал в РСХА. Здесь он узнал, что Розенберг еще вчера отправил к Мачеку своего непосредственного подчиненного – референта внешнеполитического отдела НСДАП Вольфа Малетке.

Риббентроп, инструктируя Веезенмайера, наоборот, считал, что ставка на одного Мачека нецелесообразна, а думать надо о том, чтобы и усташей превратить в послушных сателлитов Германии.

Поэтому Веезенмайер оказался в сложном положении: и Гейдрих и Риббентроп ждали от него работы со всеми оппозиционерами, в том числе с усташами, а Розенберг настаивал на контактах с Мачеком – противником усташей и их поглавника Павелича. Поскольку работа на трех хозяев чревата крахом, Веезенмайер принял решение работать на одного хозяина – на себя. Он будет бить по всем направлениям: он станет работать и с Мачеком, и с усташами. Он знает правду с «обеих сторон». Это облегчает ему задачу и усложняет жизнь. Ну что ж... Он привык к этому. Он не боится риска. Он будет рисковать...

На вид Веезенмайеру было еще меньше лет, чем по паспорту. Он казался юношей, только-только кончившим университет, хотя ему уже исполнилось тридцать пять. Вел он себя удивительно застенчиво, и казалось, не он руководит операцией в Загребе, а его помощник Диц. Нескладный, несколько странный, казавшийся рассеянным, он говорил негромко, улыбочиво, словно бы опасаясь, что его могут перебить люди старше его по возрасту и званию. Штирлиц обратил внимание на его руки: сильные, большие, суховатые, они, казалось, по какому-то нелепому случаю были приданы этому человеку с умными, искрящимися юмором, пронзительно-черными глазами, со лбом мыслителя (прыщи на висках он запудривал) и четко очерченным ртом актера.

– Я очень рад, друзья, – сказал Веезенмайер, пригласив в роскошный ресторан «Эдем» на Курфюрстендам членов своей группы – Дица, Штирлица и Зонненброка. – Я рад, что мне предстоит работать с вами, асами политической разведки. Думаю, вы окажете мне всестороннюю помощь в том деле, которое нам предстоит выполнить. Перед тем как мы начнем пьянствовать, – он посмотрел на две бутылки бордо, поданные на стол, и Штирлиц заметил, как при этом быстро переглянулись Диц и Зонненброк, – стоит еще раз обговорить в общих чертах план нашей работы.

Диц, извинившись, поднялся из-за стола и вышел из кабины, чтобы внимательно посмотреть, кто сидит в зале. Веезенмайер посмотрел на него с улыбкой и сказал:

– Я всегда считал, что чрезмерная конспирация мешает делу больше, чем полное ее отсутствие... Наверное, я сильно ошибался... Неудивительно – я ведь совсем недавно работаю в разведке.

Вернувшись, Диц сказал:

– Там сидит девка из венгерского посольства с испанским журналистом – кажется, из «Пуэбло»...

– Мы им не помешаем? – спросил Веезенмайер, и Штирлиц рассмеялся, положив свою руку на руку Дица, удивленно переводившего взгляд с Веезенмайера на Зонненброка.

– Нет, тут есть нюанс, – сказал Диц, перейдя на шепот, – мы пытались вербовать эту девку через мужчин, но она...

– Не будем отвлекаться, – так же улыбочиво перебил Дица Веезенмайер, – у нас очень мало времени, и если мы будем бояться венгерских девок в своем немецком доме, то лучше тогда распустить гестапо... Не завербованные на мужиках девки – не наша забота, мой

дорогой Диц. У нас серьезные задачи, и давайте на них сосредоточимся. Вы провели в Чехии три месяца, Зонненброк?

– Да.

– В Праге?

– Да.

– Вы владеете чешским и русским?

– Русским больше, чем чешским.

– А славянские былины знаете? – спросил Веезенмайер.

Штирлиц напрягся, потому что штандартенфюрер сказал эту фразу по-русски.

– Русише зкаски знайт ошень маль, – ответил Зонненброк, – больше знайт анекдотен...

– В послужном листе вы указали на свое абсолютное знание русского языка... –

заметил Веезенмайер.

– Да.

– Рискованно. Вы очень дурно говорите по-русски. Очень. Где вы учились?

– Я жиль в России пять месисев...

– Говорите по-немецки, пожалуйста.

– Пять месяцев я работал в представительстве «Люфтганзы» в Москве,

штандартенфюрер.

– Вам понравились русские?

– Мне нравится свинья, лишь когда из нее сделан айсбан.

Веезенмайер поморщился.

– Знаете что, – сказал он, – врага нельзя победить, если изначально не испытывать к нему почтения, таинственного непонимания и любви. Да, да, я говорю именно то, что хочу сказать, – любви. Презрение – далеко не тот импульс, который родит ощущение собственной мощи... Презрительно можно смахнуть таракана со стола... Диц?

– Да.

– Вы работали в Венгрии, Праге и Софии?

– Я-то как раз болгар люблю.

– Почему именно болгар?

– Ну как... Там было легко: или он с нами, и тогда он по-настоящему нам верен, или он против, и тогда уж он по-настоящему против. Французских штучек – сегодня друг, а завтра враг – там не бывает.

– Но вы знаете, что Болгария – мать славянского языка?

– Да.

– А язык – это инструмент национальной идеи.

– Понятно.

– А национальная болгарская идея замыкается на Москву. И то, что болгары были с нами, есть проявление исторического парадокса. Они внутренне очень не любят нас, Диц.

– Но вы же говорили, что врага надо почитать...

– Я говорю то, что думаю, а вам не обязательно думать так, как я говорю, Диц. Я привык, что мои сотрудники оспаривают мою точку зрения. Я люблю иметь дело с друзьями – а это всегда открытый и доверительный спор, когда каждый отстаивает свою точку зрения. Вы согласны со мной, Штирлиц?

– Нет, штандартенфюрер.

– Почему?

– Потому что вы старший по званию и по опыту работы в славянских странах. Или уж станьте таким начальником, чтобы провести закон об отмене повиновения приказу вышестоящего руководителя.

– А разве я отдавал приказы?

– Нет. Вы поучали нас.

– Вас? Я поучал Зонненброка.

– Мы в разведке не научены отделяться друг от друга, если оказались в одной упряжке.

– Вам придется работать соло. Я буду курсировать между Загребом и Марибором, вы – тоже, Дицу предстоит заниматься армией, а Зонненброк, видимо, сосредоточит свое внимание на русской эмиграции – кому, как не ему, поработать с ними? Русская эмиграция имеет широкие выходы на двор монарха, так что Зонненброк может внести свой серьезный вклад в наше общее дело. Вы не сердитесь на меня, друзья? Бога ради, не сердитесь! Я теряюсь, когда на меня сердятся коллеги. Пожалуйста, считайте меня вашим товарищем, я ненавижу иерархические чиновничества. Вы что-то хотели сказать, Диц?

– Нет, нет, ничего, штандартенфюрер.

– Я хочу кое-что сказать...

– Пожалуйста, Штирлиц... Впрочем, что это я?! – Веезенмайер рассмеялся: мягкое лицо его стало открыто-нежным, как будто он приготовился слушать таинственную историю про карибских пиратов... – Почему я должен давать вам разрешение? Мы же уговорились: без всяких чиновничеств...

– Я думаю, что Зонненброку будет трудно.

– Вы говорите по-русски?

– Очень слабо. Я посещал курсы, – ответил Штирлиц. – Очень слабо...

– Почему вам кажется, что Зонненброку будет труднее, чем нам?

– Не зная в совершенстве языка...

– Видите ли, русские, особенно в эмиграции, обостренно чутки к вниманию германских, английских и американских представителей. Впрочем, у себя на родине они тоже испытывают гипертрофированное почтение к иностранцам. Если вы хотите вкусно поесть в московском или петербургском ресторанах, никогда не говорите по-русски. Обязательно на своем языке. Но вот если вы поблагодарите русского после вкусного обеда или скажете ему: «Как вы поживаете?» – но обязательно с акцентом, – он будет в восторге... Что делать – каждая нация имеет свои странности. Я думаю, что русская эмиграция пойдет на контакты с немецким инженером Зонненброком, который к тому же что-то понимает по-славянски. Причем начинать разговоры с подобранными кандидатами Зонненброк станет с вопроса: «Чем можно помочь русским изгнанникам? Какая форма материальной, то есть финансовой, и духовной помощи необходима сейчас пострадавшим эмигрантам?» Слух о таком немце разнесется немедленно. И мы сможем, как химики по лакмусовой бумаге, определить, кто из эмигрантов станет помогать нам в будущем, а кто окажется нашим противником.

– Зачем они нам? – поморщился Штирлиц. – Мы же едем не в связи с кампанией против Москвы...

– Вы так думаете? – улыбнулся Веезенмайер. – А каковы соображения нашего дорогого Дица?

– Я думаю, что вы правы, штандартенфюрер... Не считайте, что я так говорю из желания угодить вам... Просто ваша мысль кажется мне очень ловкой.

– Ловкой? – Веезенмайер снова улыбнулся своей обезоруживающей, внезапной улыбкой...

– Нет, я хотел сказать – умной.

– А почему? «Ловкой» – это, пожалуй, точнее, чем «умной», – заметил Веезенмайер. – Вам, Диц, между прочим, придется работать ловко, именно ловко. Поймите, друзья, Югославия – страна поразительная, это капля воды, в которой собран весь славянский мир. Мы – экспериментаторы будущего. Нам предстоит постичь, как себя поведут славянские племена, населяющие Югославию; где истоки центробежных и в чем секрет центростремительных сил. А именно эти силы, точнее преобладание одной из них, разваливают большое государство на маленькие княжества, лидеры которых смотрят в рот

большому хозяину. Вот что в конечном счете нам предстоит понять, друзья. Вам ясна задача, Штирлиц?

– Нет.

– То есть?

– Я должен получить приказ: встретиться с тем-то, провести беседу там-то, остановиться на вопросах таких-то. Я не тщеславен, просто я люблю выполнять задуманное мудрыми начальниками – такой уж я тип, штандартенфюрер.

– Фу как скучно! – сказал Веезенмайер, и Штирлиц почувствовал, что его ответ пришелся штандартенфюреру по душе.

Они вылетели в Загреб около полуночи. Диц не успел попрощаться с женой, которая уехала к матери в Веймар, и поэтому сидел в хвосте самолета злой, грыз ноготь на мизинце, и его постоянная улыбка казалась гримасой боли на лице смелого человека, который боится стоматологов. Зонненброк старался уснуть, чтобы не слышать нудного жужжания Веезенмайера, рассказывавшего Штирлицу историю написания оперы «Царская невеста». Зонненброку хотелось поскорее остаться одному, чтобы не видеть этого Веезенмайера, который умел так утонченно унижать и, не скрывая, радоваться, что он может унижать людей старше себя и опытней...

Когда летчик сказал, что самолет через десять минут прибывает в Загреб, Веезенмайер внимательно оглядел своих спутников и сказал:

– Итак, друзья, давайте прощаться... Со мной контакт вам поддерживать нет смысла. Я займусь своими делами, а вы своими. На аэродроме нас встретит оберштурмбанфюрер Фохт. Он будет руководить вашей работой. Только через него выходите на связь со мной, только через него. Связь с центром – также через Фохта.

Это было полной неожиданностью для всех – каждый в той или иной мере был проинструктирован своим руководством смотреть за Веезенмайером. И он понимал это. Он не хотел ни с кем делить лавры победы. У него свой замысел, и он будет работать так, как он считает нужным, не оглядываясь на самых ближних. Время – за него, а победителя не судят. Гиммлер, Риббентроп и Розенберг оценят его работу потом, а пока его помощники ничего не успеют сообщить в Берлин и никто не сможет ему помешать. А уж на самый крайний случай он знает, к кому обратиться за помощью: советник фюрера по вопросам мировой экономики Вильгельм Кеплер сможет выйти с его вопросом к фюреру – напрямую, поверх всех и всяческих ведомственных барьеров.

...Мийо и Ганна шли по мягкому полю аэродрома, и рев моторов в темноте, и перемигивание фонариков на крыльях, и запах набухающих почек, и прогорклый вкус синего дыма, доносившегося с выхлопами уставших моторов, – все это исчезло для мужчины, потому что Ганна сказала:

– Нет.

– Почему?

– Нельзя быть жестоким, Мийо.

– Но мы же любим с тобой друг друга... Когда ты позвонила мне, я бросил все и понесся к тебе...

– Прости меня, милый... Пожалуйста, если только можешь, прости меня... Я отправила тебе потом две телеграммы...

– Я сразу полетел к тебе... Что случилось? Почему ты говоришь «нет»?

– Потому что я прожила с ним десять лет, потому что у меня есть сын... У нас есть сын, который любит отца... Потому что у нас есть дом, потому что мальчик любит свой дом и делается будто маленький мышонок, когда видит, как мы ссоримся...

– Он же не любит тебя. Взик живет только собой и своей газетой... Ты же говорила мне, что все эти десять лет были для тебя годами унижений и мук...

– Я представила себе, как мы улетим, и как будем жить с тобой в Лозанне, и как мальчик будет спрашивать, где отец, и как ему называть тебя, и как я буду вспоминать наш с Звонимиром первый год, когда я была счастлива... Мийо, родной, это так трудно – отрешиться от лет, прожитых вместе с человеком, когда его привычки делаются твоими, когда ты смеешься его шуткам, когда ты ненавидишь его и вдруг чувствуешь, что ненависть эта рождена любовью...

– Зачем ты позвонила мне, чтобы я приехал?

– Прости меня...

Он остановился, поставил возле ног плоский чемоданчик, закурил.

– Что же, улетать обратно?

– Зачем ты любишь меня, Мийо?

– Мне улететь?

– Ох, да откуда я знаю, как надо поступать? Я ничего не знаю. Я привыкла идти туда, куда ведут... Понимаешь? Я думаю, готовлюсь, принимаю решение, а потом сажусь на стул и снимаю пальто...

Он обнял Ганну, повернул к себе ее осунувшееся за эти месяцы лицо и приблизил к себе. Она закрыла глаза и потянулась к нему – любяще и безвольно.

– Я останусь с тобой. Как ты пришла на аэродром? Что ты сказала ему?

– Он сейчас сидит в газете. Они все сошли с ума со своей политикой. Он вообще почти не бывает дома.

– Хочешь, я сам поговорю с ним?

– Ты не знаешь Взика.

– Я его очень хорошо знаю.

– Мне тоже казалось, что я его знаю. Мне казалось, что он слабовольный человек, без второго дна – плывет по жизни, пока плывется...

– Ты любишь его?

– Не знаю. Нет. Хотя... я привыкла. Понимаешь? Я привыкла.

– К нему или к его деньгам?

– И к тому и к другому.

– Ты говоришь совсем не то, что думаешь. Просто ты приняла решение, а потом испугалась. Это реакция, понимаешь? Ты готовилась к своему решению, нет, к нашему решению, а теперь наступила разрядка. Ганка, любимая, нежная моя, нам же так хорошо с тобой... Ну, что ты? Ты не рада мне?

– Господи, если б ты знал, как я тебе рада... Только я совсем не знаю, что мне делать, Мийо.

– Ты можешь ему сказать: «Звонимир, я ухожу от тебя. Наверное, так будет лучше и для тебя. Если ты сможешь помогать чем-то сыну – помоги. Нет – мы проживем и так». Можешь? Или нет?

– Я ему столько всякого говорила, Мийо... Я могу ему сказать все. А он позавчера приехал из редакции белый, с синяками, глаза ввалились... Лег на тахту и уснул. Он спал минут пятнадцать, а потом пошел к мальчику, стоял над его кроватью и смотрел на него, так смотрел, Мийо, так страшно смотрел. А потом сказал, что мне надо будет увезти сына в горы, потому что может начаться война.

– Какая война?! Что за глупости! Здесь Гитлер не начнет войну. Ему хватает дел и без Югославии. А Звонимир просто пугает тебя. Он игрок. Артист. Почувствовал, что ты стала иной, что тебе плохо с ним, и стал играть...

– Нет. Взик артист – это верно, но только он очень любит сына.

– Когда любят сына, тогда не унижают его мать. Едем в город. Завтра утром ты соберешься, и я закажу билеты в Лозанну. Едем...

Огромная машина бесшумно вынырнула из рассветных облаков и пошла на посадку. Стремительная тень накрыла Мийо и Ганну, и женщина в страхе прижалась к Мийо.

– Что ты, глупенькая? Мы ведь не на посадочной площадке... Не бойся.

Она не могла объяснить, отчего она так испугалась. Но она верно почувствовала опасность, и не потому, что в этом самолете прилетел Веезенмайер; именно с такого «юнкерса» через десять дней нацисты сбросят бомбы, которые убьют и ее, и ее сына...

– Знакомьтесь, друзья, это ваш непосредственный руководитель оберштурмбанфюрер Фохт.

– Очень приятно. Диц.

– Фохт.

– Очень рад. Зонненброк.

– Я много слышал о вас. Фохт.

– Штирлиц.

– Фохт. Прошу в мою машину, господа. Вторая – за вами, штандартенфюрер. И это вам. – Он передал Веезенмайеру конверт.

– Что такое?

– Шифровка.

– Уже? – усмехнулся Веезенмайер. – Когда пришла?

– Только что. Сегодня утром министр Нинчич терзал нашего посла, и, я слышал, тот срочно снесся с Берлином.

Веезенмайер сунул шифровку в карман и молча попрощался. В машине он прочитал шифровку дважды, а потом сжег ее и пепел выбросил в окно. «Хорьх» Фохта отстал; шоссе в серых рассветных сумерках было пустынно. В горах, сквозь которые шла серпантинная дорога с аэродрома в Загреб, стоял туман и угадывалась талая вода – пахло снегом.

– Куда вы меня везете? – спросил Веезенмайер шофера.

– Вам забронированы апартаменты в «Эспланаде».

– Потом. Сначала поезжайте к Фридриху Корфу.

Корф был помощником Янка Зеппа – лидера «культурбунда» югославских немцев. В Белграде его знали как преуспевающего инженера, в Берлине – как штурмбанфюрера СС, личного представителя доктора Боле, шефа заграничных организаций НСДАП. В шифровке, полученной от Риббентропа, предписывалось немедленно войти в контакт с людьми Зеппа и сегодняшней ночью, в крайнем случае – завтрашней, организовать «экссесс»: нападение толпы фанатичных сербов на здания, принадлежащие немцам. Об этом, видимо, просил Геббельс: пропагандистскую кампанию всегда надо опереть на что-то.

Корф спал. Он вышел к Веезенмайеру в халате, потный, видимо, спал он под периной, несмотря на теплую, не по-апрельски, ночь. Узнав Веезенмайера, Корф обрадовался, ринулся было поднимать кухарку, но Веезенмайер поблагодарил его, включил – от греха – радио и сказал:

– Если у вас есть кодированная связь с Белградом, немедленно свяжитесь с Янком Зеппом. У Янка Зеппа должны быть под рукой верные люди, пусть он немедленно отправит их в дело. Они должны прихватить с собой керосин или динамит: объекты – дома немцев. Будут жертвы – родина простит. Хорошо бы организовать нападение на наше посольство – пусть лупят дипломатов, но не попадают в руки полиции. Это директива центра. Можете начать действовать сразу? Сейчас же?

– Попробуем. У нас для подобных целей уже подобраны люди – в основном полукровки с сербскими фамилиями – на случай провала и ареста. Светает чертовски быстро – весна, будь она проклята. – Корф вдруг рассмеялся: – Господи, неужели скоро придут наши? Сколько лет этому отдано, сколько лет! Хорошо, господин Веезенмайер, я сейчас же снесусь с Белградом.

... Через два часа в Белграде запылали три магазина, принадлежащие немцам. Злоумышленники скрылись. Приехали немецкие журналисты, обснимали пылающие дома, перепуганных, полуодетых жильцов и бросились на телеграф – передавать срочные сообщения в Берлин.

Через двадцать минут после того, как эти сообщения пришли в Берлин, посол Хеерен получил предписание Риббентропа начать эвакуацию сотрудников посольства и самому выехать с первым же поездом, передав дела временному поверенному. Это предписание было приготовлено уже вчера днем – ждали сигнала из Белграда.

Утренние передачи берлинского радио начались траурной музыкой. Потом диктор прочитал сообщение:

«Акты разбоя по отношению к мирному немецкому населению вызвали волну негодования по всему рейху. Распоясавшиеся сербские хулиганы жгут дома мирных граждан только за то, что люди эти – наши с вами братья по крови, немцы».

Официальное извинение, привезенное в германское посольство заместителем министра иностранных дел, фон Хеерен не принял, сославшись на занятость. В связи с эвакуацией семей дипломатов, жизнь «коих в опасности», югославского дипломата встретил второй секретарь посольства – говорить с ним по серьезным вопросам было бесполезно.

Второй визит, нанесенный Веезенмайером, озадачил агентов службы наружного наблюдения, которые «поймали» машину штандартенфюрера уже в центре города, когда он покинул Корфа. Это был, пожалуй, единственный визит Веезенмайера, который попал в поле зрения контрразведки, ибо сам факт его прилета в Загреб был согласован и с Мачеком, как лидером партии, и с Шубашичем, губернатором Хорватии.

Служба контрразведки в данном случае проявила инициативу, которая была, впрочем, на следующий же день пресечена указанием сверху. От кого пришло указание – понять было невозможно, но то, что оно шло от руководителей Хорватской бановины – в этом сомневаться не приходилось: либо бан (губернатор), либо шеф секретной полиции отдали приказ: «Не мешать деятельности торговой миссии г-на Веезенмайера, чтобы не осложнять и без того натянутые отношения с Берлином».

Однако в то первое утро, когда еще не было «отбоя», агентам контрразведки удалось выяснить, что Веезенмайер встретился не с хорватскими националистическими лидерами, не с людьми из окружения Цинцар-Марковича, известного своими прогерманскими настроениями, а с незаметным учителем сербского языка из третьей гимназии Йованом Йовановичем. Прослушать беседу не удалось, поскольку к визиту Веезенмайера агенты тайной полиции готовы не были. А беседа эта заслуживала того, чтобы ее содержание стало известно Белграду.

Веезенмайер дал инструкции Йовановичу, давнему другу Германии, и эти инструкции могли показаться странными – при первом, естественно, их анализе.

– Надо немедленно, сегодня же, – сказал Веезенмайер, – начать исподволь готовить умную схватку с режимом Симовича. Он предает интересы сербов английскому банковскому капиталу и кремлевскому Коминтерну. Вы должны встретиться с друзьями и обдумать вопрос о выступлениях на широких уличных манифестациях. Выступления ваших друзей, людей, пользующихся авторитетом в народе, должны быть обращены к введенному в заблуждение сербскому духу. Речь идет о существовании Югославии. Мы – друзья Югославии, и мы заинтересованы в том, чтобы ваша страна была оплотом мира на Балканах, но если позиция Белграда станет угрожать нашим национальным интересам, мы будем действовать. Итак, лозунг: «Сербы, поддерживайте правительство Симовича, но требуйте от генерала жесткой линии против хорватов, которые готовы идти на сговор с Берлином! Хорваты всегда смотрели на север! Бойтесь хорватов!» Вы понимаете меня?

– Я вас понимаю, – ответил Йованович, – но боюсь, что вы предлагаете рискованный ход: трудно управлять джином, выпущенным из бутылки. Мы потом можем не сдержать великосербские настроения...

– Ну и что? Мы же с вами не в покер играем. Может быть, эта «неуправляемость» заставит Симовича предпринять более четкие шаги и делом подтвердить свою верность Тройственному пакту?

– Не надо считать меня наивным ребенком, господин Веезенмайер. Я же понимаю, в чью пользу можно обратить неуправляемые акции сербского населения...

– Вы думаете, мы нуждаемся в предлоге? – спросил Веезенмайер.

– Думаю, что нуждаетесь.

– Ошибаетесь. Мы ни в чем не нуждаемся. А вот вы нуждаетесь в наших гарантиях. Лично вы. И те ваши друзья, которые позволяют себе колебания в этот самый сложный момент.

Йованович от слезки оторвался и с первым же поездом уехал в Белград. Там он пришел в Сербский клуб, встретился с рядом профессоров, потом поехал в университет и в редакции трех газет, побеседовал с политическими обозревателями, а назавтра на улицах городов стали слышны лозунги:

– Хорваты – предатели!

– Почему Мачек не едет в Белград? Боится Гитлера?

– К стенке хорватских квислингов – цепных псов Гитлера!

– Слава сербам, единственному верному оплоту Югославии!

– Бей хорватских католиков!

– Да здравствует правительство сербов!

Страсти нагнетались. Армия, вместо того чтобы активно готовиться к вторжению извне, патрулировала города и села, чтобы не дать вспыхнуть межнациональной резне.

Загреб остро прореагировал на новую ситуацию: Мачек несколько раз связывался с Белградом. Его заверили, что провокации будут пресечены. Мачек тем не менее дал негласное указание хорватским газетам сообщить в завуалированной, правда, форме о том, что происходит в Сербии. Газеты с этими сообщениями в Белграде были конфискованы, в Загребе же они разошлись громадными тиражами. На тех хорватских домах, где были вывешены югославские флаги в день прихода к власти Симовича, после того как слухи о великосербских устремлениях Белграда докатились до Загреба, флаги были сняты. Дом серба можно было узнать по флагу, дом хорвата узнавался по тому, что национальный флаг вывешен не был.

Мачек до сих пор не дал ответа, согласен он войти в правительство Симовича или нет, хотя сообщение о том, что он является его первым заместителем, было опубликовано через два часа после переворота...

Получив задание Фохта встретиться с представителями германских фирм, работающими в Загребе, Штирлиц, отказавшись от предложенной ему машины, отправился в город. Он шел по Загребу, любуясь этим странным, двуединым – славянским и одновременно европейским – городом, и вдыхал всей грудью сладкий воздух, в котором гулко слышались удары колокола на громадном средневековом храме, и жадно слушал славянскую речь, читая вывески у подъездов: «Ключничар», «Лекар», «Столар», – и вспоминал, как всего неделю назад он был в генерал-губернаторстве, в тех землях, которые раньше были польскими, а теперь принадлежали Германии и заселялись немцами. Командировка была краткой и пустынной: Шелленберг поручил ему просмотреть личные библиотеки в фольварках, оставленных польскими магнатами, – шеф шестого отдела РСХА мечтал собрать библиотеку для ведомства внешнеполитической разведки, чтобы сотрудники могли изучать противника – и настоящего и гипотетического – по «первоисточникам».

Сделав все дела, Штирлиц поехал на вокзал.

В станционном буфете он заказал пива. Окна были затемнены, хотя эту польскую станцию ни разу не бомбили, да и вообще англичане ни разу не бомбили территорию рейха восточнее Берлина.

Кафельная печка была жарко натоплена, гудели, маневрируя на путях, паровозы, и Штирлиц думал о том, что люди – сгусток непонятных странностей: во время океанских путешествий, когда кругом лишь вода и небо, они ведут ежедневный журнал и заносят в него самые, казалось бы, незначительные малости, а странствуя по суше, только избранные, только те, кто **умеет** путешествовать, делают дневниковые записи. Штирлиц часто вспоминал Альфонса Доде: веселый и мудрый француз описывал некоего мсье, который вернулся из Австралии и на просьбу рассказать что-нибудь об этой диковинной стране всех огорошивал: «А вы ни за что не угадаете, почему там картофель!»

Штирлиц вдруг явственно увидел лицо отца. Он сначала не понял, отчего это, а потом вспомнил, что именно отец учил его преклонению перед музой дальних странствий, когда они в сибирской ссылке ходили к железной дороге – затаенно любоваться проходившими поездами.

Когда объявили посадку на поезд, следовавший из Москвы в Берлин, Штирлиц допил пиво, дал буфетчице на чай так, чтобы это было не очень заметно остальным офицерам, и отправился к своему вагону. Как оберштурмбанфюреру СС, ему полагался первый класс, и место его было в том купе, где ехала женщина с сыном, белобрысым, в веснушках мальчуганом лет пяти.

«Русские, – сразу же определил Штирлиц. – Господи боже ты мой, русские! Наверное, из торгпредства».

Он поклонился женщине, которая, застегнув длинную шерстяную кофту, торопливо убрала со столика два больших свертка («Я по этим сверткам определил, что они русские. Только наши возят в таких бумажных свертках еду: сало, черный хлеб, яйца, сваренные вкрутую, и плавленые сырки») и, посадив сына на колени, начала читать ему стихи про дядю Степу.

Штирлиц повесил свой плащ, еще раз поклонился женщине и, сев к окну, достал из кармана газеты.

– «В доме восемь дробь один у заставы Ильича, – читала женщина шепотом, – жил огромный гражданин по прозванию Каланча...»

– Мам, а это фашист? – спросил мальчик, задумчиво разглядывая Штирлица.

– Тише, – испуганно сказала женщина, – я что тебе дома говорила?!

Осторожно взглянув на Штирлица, она как-то жалко улыбнулась ему и начала было дальше читать про дядю Степу, но сын не унимался.

– Мам, – сиплым шепотом спросил мальчик, – а правда, Витька говорил, что у Гитлера один глаз фарфоровый и нога костяная?

– Пойдем в уборную, – сказала женщина и, быстро поднявшись, потянула мальчика за руку.

– А я не хочу, – сказал он, – ты ж меня недавно водила...

– Я что говорю?!

– Едете в Берлин? – спросил Штирлиц, поняв – до горькой теплоты в груди – волнение женщины.

– Ich verstehe nicht. Mein Mann arbeitet in Berlin, ich fahre zu ihm²... – ответила она заученно.

– Чего ты фашисту сказала? – по-прежнему шепотом спросил мальчик, но женщина, рванув его за руку, вывела в коридор.

2 «Не понимаю. Мой муж работает в Берлине, я еду к нему» (нем.).

«Сейчас достанется, бедненькому, – подумал Штирлиц, – с ним трудно, как его проинструктируешь?»

В дверь постучали: буфетчик развозил по вагонам пиво, воду, сосиски и шоколад.

– Шоколад, пожалуйста. Две плитки, – попросил Штирлиц.

– Кофе?

– Нет, благодарю вас.

– Бельгийские кексы?

– Покажите.

– Пожалуйста.

Обертка была красива, и Штирлиц купил две пачки.

Когда женщина с мальчиком вернулась, Штирлиц протянул малышу шоколад.

– Пожалуйста, – сказал он, – это тебе.

Мальчик вопросительно посмотрел на мать.

– Спасибо, – быстро ответила женщина, – он только что ел.

– Пожалуйста, – повторил Штирлиц, – это хороший шоколад. И кекс.

– Мам, а в «Докторе Мамлоке» такие же фашисты были? – спросил мальчик, замороженно глядя на шоколад.

Женщина больно сжала его маленькую руку, и мальчик заплакал.

– Вот, вы лучше угощайтесь, – громко заговорила она, считая, видимо, что чем громче она будет говорить, тем понятнее будет иностранцу, и стала суетливо разворачивать снедь, завернутую в трескучую, шершавую, русскую оберточную бумагу. – Чем богаты, тем и рады.

Она положила на бумажную салфетку крутые яйца, сало, кусок черного хлеба и половину круга копченой колбасы.

– Спасибо, – ответил Штирлиц и впервые за много лет ощутил запах дома: черный хлеб пекут только в России – заварной, бородинский, с тмином, с прижаристой коричневой корочкой снизу и с черной, пригоревшей – поверху. Он отрезал кусок черного хлеба и начал медленно есть его, откусывая по маленькому кусочку, как дорогое лакомство.

– Нравится? – удивленно спросила женщина.

Штирлиц должен был сыграть непонимание; он обязан был жить по легенде человека, не знающего русского языка, но он не стал играть непонимание, а молча кивнул головой.

– Мам, а Витька говорил, что у Гитлера один глаз фарфоровый, а нога костяная...

Женщина снова сжала руку мальчику, и он закричал:

– Больно же! Ну чего я сделал-то, чего?!

Штирлиц хотел погладить малыша по голове, но тот отшатнулся от его руки и прижался к матери, и та испуганно – не смогла скрыть – обняла его, словно защищая от прикосновения немецкого офицера в черной форме.

Вернувшись тогда в Берлин, Штирлиц поехал к себе домой, достал из бара бутылку можжевелевой водки, налил полный стакан и выпил – медленно, словно бы вбирая в себя этот тяжелый, с лесным запахом, крепкий, нелюбимый им напиток.

«Как же хорошо, что этот малыш так ненавидит фашиста! – подумал Штирлиц. – Как хорошо, что в глазах у него столько неприязни и страха! Только б дома не успокоились, только б не верили моим здешним шефам... Неужели верят, а?»

Он налил себе еще один стакан можжевелевой водки и подумал: «Этот стакан я выпью за малыша. Я выпью за него этот стакан водки, которую приходится хлестать только потому, что ее любит Гейдрих, а я должен всегда делать то, что может понравиться группенфюреру. Я выпью за маленького человека, который не научился еще скрывать ненависть к фашисту Штирлицу. Спасибо тебе, человек. Пожалуйста, всегда ненавидь меня так, как ты меня сейчас ненавидишь. Страх в тебе пройдет: возраст должен убивать страх, иначе люди выродились бы в зайцев... Только, пожалуйста, не считай меня своим союзником – даже

временно. Считай, что ты пока не воюешь со мной – этого хватит. Будь здоров, малыш, спасибо тебе!»

Каждому человеку отпущена своя мера трудностей в жизни; преодоление этих трудностей во многом и формирует характер. Чем тяжелее груз ответственности, тем больше, естественно, приходится преодолевать трудностей тому или иному человеку. Но особо трудно разведчику, внедренному в стан врага, ибо его деятельность постоянно контролируется Сциллой закона и Харибдой морали. Как совместить служение идее **добра** с работой в штаб-квартире **зла** – разведке Гимmlера? Как, работая с палачами, не стать палачом? Уступка хоть в мелочи, в самой незначительной мелочи, нормам морали и закона наверняка перечеркнет все то реальное добро, которое несет труд разведчика. Соучастие в злодействе – даже во имя конечного торжества добра – невозможно, аморально и противозаконно.

Именно этот вопрос постоянно мучил Штирлица, ибо он отдавал себе отчет в том, что, надевая черную форму СС – охранных отрядов партии Гитлера, он автоматически становится членом «ордена преступников».

Он нашел для себя спасение, и спасение это было сокрыто в **знании**. Окруженный людьми интеллектуально недостаточно развитыми, хотя и обладавшими хитростью, изворотливостью, навыками быстрого мышления, Штирлиц понял – в самом еще начале, – что спасением для него будут **знания**, и Шелленберг действительно держал его за некую «свежую голову» – редакционный термин применительно к политической разведке оправдан и целесообразен. Шелленберг имел возможность убедиться, что Штирлиц может доказательно разбить идею, выдвинутую МИДом или гестапо, то есть его, Шелленберга, конкурентами. То, что он использовал Штирлица как своего личного консультанта, позволило Штирлицу довольно ясно дать понять помощнику Гейдриха, что ему интересно делать, а что в тягость, в чем он силен, а в чем – значительно слабее других сослуживцев по шестому отделу СД. Он был незаменим, когда речь шла о серьезной и долгосрочной политической акции: знание английского, французского и японского языков, личная картотека на ведущих разведчиков, дипломатов и военных, смелость и широта мышления позволяли Штирлицу оказываться у самого начала работы. И, безусловно, с самого начала акция Шелленберга находилась под контролем советской разведки, и **злу** противостояла **правда**.

Таким образом, именно **знание** помогло Штирлицу остаться человеком морали и закона среди рабов и слепых исполнителей чужой злодейской воли. Но это был очень тяжелый труд: все время все **знать**; все время быть в состоянии подготовить справку, все время быть в состоянии ответить на все вопросы Шелленберга и понять истинный смысл, сокрытый в этих его быстрых и разных вопросах.

Чтобы смотреть на свое отражение в зеркале без содрогания, чтобы рука не тянулась к пистолету – люди совестливые даже вынужденное свое злодейство долго выносить не могут, – чтобы с радостью думать о победе и знать, что встретишь ее как солдат, Штирлиц работал, когда другие отдыхали, уезжая в горы, на рыбалку или на кабанью охоту за Дрезден. Когда другие отдыхали, он работал в архивах и библиотеках, составлял досье, раскладывал по аккуратным папочкам вырезки, и это спасало его от практики каждодневной работы СД – его ценили за самостоятельность мышления и за то, что он экономит для всех время: можно не лезть за справками – Штирлиц знает; если говорит, то он знает.

«Много будешь знать – рано состаришься».

Он много знал. Он состарился в тридцать один год. Он чувствовал себя древним и больным стариком. Только он не имел права умирать до тех пор, пока жил нацизм. Он обязан был смеяться, делать утомительную гимнастику, говорить ворчливые колкости начальству, пить любимые вина Гейдриха, не спать ночами, побеждать на теннисных кортах, нравиться

женщинам, учить арабский язык – словом, он обязан был работать. По законам морали. И никак иначе.

«Москва, ТАСС, принято по телефону стенографисткой М. В. Тюриной в 22.20 из Белграда.

Выполняя ваше повторное указание, взял билет на послезавтра – другой возможности не было. Всем этим удивлен. Костюков лежит в больнице.

Передаю последнее сообщение, завтра должен закончить с визовыми формальностями: венгры в визе отказали, ехать придется через Болгарию, хотя консульский отдел не убежден, что я получу визу там. Будут запрашивать Берлин, чтобы ехать через Вену. Подтвердите ваше «добро».

Ситуация в Белграде, судя по глубинным процессам, происходящим здесь, крайне сложная. Местная пресса по-прежнему хранит молчание, отводя большую часть места на газетных полосах сообщениям с фронтов в Африке, последним футбольным матчам, кинокартинам и премьерам в театрах.

Впрочем, впервые за последние дни здесь была опубликована небольшая статья в «Обзоре» о том, что собираются проводить в ближайшие месяцы деятели местного немецкого культурбунда, – фестиваль народной немецкой песни и танца, а также фестиваль немецких видовых фильмов. Это здесь расценивается как ответ на ту кампанию, которую начала германская пресса, печатая материалы о массовых гонениях, которым подвергаются в Сербии немецкие граждане, подданные Югославии. Впервые немецкая пресса выделила Сербию как район, где немецкое нацменьшинство подвергается якобы нападкам со стороны властей и населения. О положении в Хорватии немецкая печать ничего не дает.

Англо-американские журналисты, аккредитованные при здешнем МИДе, утверждают, что в ближайшие дни с правительственным заявлением выступит генерал Симович. В ответ на вопрос швейцарского корреспондента («Трибюн де Лозанн») заведующий отделом прессы МИДа г-н Растич заявил, что лично ему «ничего не известно о подготовке такого рода заявления и что положение в стране не вынуждает кабинет к принятию каких-либо экстренных мер. Контакты с Берлином поддерживаются по-прежнему», хотя всем известно, что фон Хеерен, германский посол в Югославии, или уже покинул, или собирается покинуть Белград в связи с «нецелесообразностью дальнейшей работы, ибо правительство не контролирует положение в стране».

Заметно усилился авторитет компартии. Требование немедленного заключения пакта о мире с СССР стало основным лозунгом демонстрантов, которым все труднее выходить на улицы, ибо армия сдерживает проявление антинемецких и просоветских выступлений. Мария Васильевна, передайте, пожалуйста, руководству, что ни я, ни кто иной из наших не сможет получить визу сюда, поскольку ситуация крайне сложная в городе и чувствуется во всем нервозность. Пусть доложат еще раз: Костюков в больнице, я уеду, кто будет передавать обзор информации из Белграда?

Потапенко».

– Я благодарен за то, – сказал Август Цесарец, оглядев главную университетскую аудиторию, заполненную студентами, – что профессор Мандич смог организовать нашу встречу: я понимаю как это трудно – пригласить в храм науки опального югославского писателя... Я хочу остановиться на одной общей проблеме, особенно важной для нас сейчас, в дни, полные тревог и надежд, в дни, когда определяется будущее нашей родины, страны южных славян, великолепной нашей страны – Югославии...

Август Цесарец отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Он не хотел пить, и горло у него никогда не пересыхало, но он нуждался в паузе, потому что в зале сидели не

только его поклонники и друзья; здесь были и те, кто при упоминании Югославии начинал кашлять, возиться, пересмеиваться. Мальчики из подпольных организаций, связанных с усташескими группами, не хотели слышать «Югославия»; они требовали, чтобы слово «родина» определялось лишь как «Хорватия».

Зал сейчас хранил молчание, и Цесарец видел сотни глаз – внимательных, настороженных, ждущих от него слова правды, ибо разобраться в ошибке разных мнений, выявить истину в газетных статьях, часть которых ратовала за «тесный союз с Европой», другая часть настаивала на «немедленном союзе со славянской матерью, Москвой», третья часть предлагала проводить особую политику «балансировки на разностях европейских тенденций», – было довольно трудно не то что студенту, но даже человеку с определенным житейским опытом.

– Я хочу остановиться сейчас на некоторых отправных пунктах национализма, то есть того идейного течения, которое может быть источником высокого подъема нации, но одновременно может оказаться причиной крушения государства, деградации национального духа, причиной крови и слез ни в чем не повинных людей, караемых лишь за то, что их родители говорили на языке отцов, не понимая языка соседей. Я хорват, патриот югославского государства, как, я надеюсь, и все вы, но о национализме я начну говорить, исследуя поначалу становление национальной идеологии в Германии. Считается, что «доказательство от финала» больше подходит изящной словесности, но если мы обратимся к Геродоту, Цицерону или Криспу и вспомним великолепные слова древнего историка: «Прекрасно приносить пользу государству; неплохо также уметь хорошо говорить; прославиться можно и в мирное и в военное время; часто отзываются с похвалой как о тех, кто совершал подвиги, так и о тех, кто сумел описать подвиги других. А мне, хотя совсем неравная слава окружает того, кто пишет историю, и того, кто ее творит, представляется особенно трудной работа историка: ведь прежде всего словесное выражение должно стоять на равной высоте с описываемыми событиями, а кроме того, если автору случится с неодобрением отозваться о заведомой ошибке, большая часть читателей склонна видеть в этом недоброжелательство и зависть; при упоминании же писателя о великих заслугах и славе доблестных людей всякий с полным равнодушием воспринимает то, к чему считает себя способным, ко всему же, превышающему его силы, относится как к ложному вымыслу...», – то мы, видимо, утвердимся в том мнении, что приемы литературы отнюдь не чужды истории, если только относиться к этому предмету не как к музейной окаменелости, но как к скальпелю в руках хирурга, лечащего недуги будущего: лишь в этом случае и при таком условии литература и история окажутся неразделимыми, но не по принципу неразделимости добра и зла, а по высшему принципу единства честного и прекрасного...

Я начну с талантливого Фихте, который предвосхитил рождение национальной идеологии в Германии, который во время становления нации, **то есть размежевания с наиболее близкими**, угадал будущее, угадал тенденцию германского духа, приспособленную к экономическому развитию середины прошлого века. Он первым ощутил неприятие германской нацией романского мира, то есть самого ближнего, наиболее могущественного, и предвосхитил гимн того времени, «Вахту на Рейне». Континентальная Европа того периода, сложного и наполненного ожиданием, неясным и тревожным, Европа, пережившая взлет Наполеона, была похожа на весы, которые лишь ожидали руки, долженствующей поставить гирю на ту или иную чашу. Именно тогда в Германии – подспудно и осторожно – зрел процесс, видимый только на временном отдалении, сложный и непонятный во многом процесс выбора врага – гипотетического или реального. Выбор врага всегда происходит, одновременно с выбором союзника, ибо человечество, увы, как правило, объединяется не во имя чего-то, но против. Лозунг объединения, рожденный экономическим развитием немцев, естественно и неизбежно породил вопрос: «В каких границах?» Историческое право становится уличной девкой, которую пользуют прохвосты, удовлетворяя

честолюбивую похоть. Ясно, что любой национализм цепляется в своих отправных постулатах за тот пик истории, когда народ достигал наивысшего успеха в государственном развитии. Политики обратились к историкам за справкой, и те напомнили им, что наивысшего пика немцы достигли во времена Священной римской империи германской нации. А вы знаете, какие земли входили в состав лоскутной, пронизанной ущемленным честолюбием Священной империи; Австро-Венгрия, которую Берлин всегда считал своей неотъемлемой частью, захватила исконные земли славян. Чтобы утвердить себя, надо победить врага. Если врага нет, его следует создать. Была создана «угроза панславизма», но в Берлине отдавали себе отчет в том, что угроза эта нереальная, гипотетическая. Эту угрозу надо было сделать реальной, близкой, понятной каждому бюргеру, для того чтобы, используя угрозу этой «опасности», выдвинуть лозунг объединения, который оказался бы панацеей от всех бед. Именно в ту пору оформилась в Германии вражда к славянам, и особенно к матери славян, России.

Национализм, если он не несет на себе печати откровенного идиотизма, неминуемо рождает свою концепцию. На смену «Вахте на Рейне», когда романский мир после Седана был поставлен на колени и единственным преемником великого Цезаря оказалась, по мысли Бисмарка, германская государственность, родился новый гимн: «Германия – превыше всего!» Не идея, не человек, не мечта, но государственность, определяемая национальной принадлежностью ее подданных. Национализм прозорлив: на смену концепции «Германия – великая держава» пришел термин «мировая держава». Категория духа – сгусток национализма. Категория духа того периода – я имею в виду конец прошлого века – была обращена на развитие германской экономики, подчиненной задачам «мировой державы». А целям Германии «мирового уровня» противостояла тогда Англия с ее флотом, колониями и банками. Англия стала тем «близким», которое в силу этого делается самым ненавистным. И ненавистное сделалось геополитическим образцом мировой нации, к которому так стремилась Германия. Занятая ситуация, не правда ли? Идеалом стал враг, против которого обращена пропагандистская машина кайзера, которому противостоят родившиеся Круппы и Тиссенсы. Стоит только посмотреть, какой ненавистью окружено в немецкой историографии имя Алексиса де Токвиля, министра иностранных дел в революционном правительстве Франции, созданном на гребне событий сороковых годов, когда этот прозорливый аристократ выдвинул идею биполярности мира, утверждая, что через сто лет, то есть в наши годы, будущее планеты будет определяться противостоянием двух гигантов – России и Северо-Американских Штатов. «Как? Россия и Америка?! А где великая Германия?! Французишка гадит! Ущербная нация прелюбодеев, завидующая величию немецкого духа!» Тем не менее открытая ненависть к Токвилю не помешала берлинским политикам весьма серьезно, но столь же постепенно пересматривать свою доктрину, обращенную в будущее. Именно тогда, в конце прошлого и начале нынешнего века, историки подошли к вопросу о теоретическом обосновании системы международных отношений как науки, а не прихоти того или иного лидера. Поэтому с начала нашего века, когда Германия добилась могущества в центре Европы, взоры ее руководителей все больше обращаются на восток, на главного врага – славян, на родину славянства – Россию. Все осторожнее высказывается германская пресса против надменного Альбиона, все более определенным становится отношение кайзера к Лондону – «мы, германцы и англосаксы, отвечаем за будущее Европы». Курт Рислер, советник канцлера Бетман-Гольвега, выдвинул теорию «скалькулированного риска». Каждый блок – и Антанта, и Тройственный союз – имеет свои отличительные особенности: в Антанте главными силами являются Англия и Россия, причем всем в мире понятно, что Россия – это развивающийся колосс, особенно когда идеи промышленного прогресса, трансформированные Марксом в «откровение от революции», все больше и больше проникали в Москву, Петроград и Киев. В то же время в системе германо-австро-венгерского блока Австро-Венгрия являла собой раковую опухоль: национальные противоречия

подтачивали монархию Габсбургов изнутри. Между Берлином и Веной никаких противоречий гегемонистского плана не было – Берлин был над Веной, – в то время как конкуренция Петербурга и Лондона не составляла секрета. Где противоречия Англии и России наиболее очевидны? На Балканах. Следовательно, идея превентивной войны, целью которой было бы внести раскол в Антанту, отторгнуть от России Англию, включить Австро-Венгрию в битву за свои балканские интересы, стать, таким образом, европейским арбитром, была, по словам Мольтке, «богом данной идеей». Следовательно, сараевский выстрел оказался «божьем знамением» для Берлина в его последовательном пути к мировому владычеству через владычество европейское. Итак, неким пробным камнем германского национализма в его борьбе за свою «мировую идею» оказались Балканы, конкретнее – наша с вами родина, страна сербов, хорватов, словенцев, боснийцев и македонцев. Каким же образом оказалось, что не Голландия с ее колониями, банками, флотом и портами, не Скандинавия, почитаемая германскими националистами истинно германской землей, не Италия, присвоившая лавры Цезаря, а земля южных славян оказалась тем кровавым полем, на котором начался похоронный звон по миллионам убитых более двадцати лет назад? Отчего и сейчас мы с вами являемся свидетелями трагедийной прелюдии? Обратимся к наполеоновским завоеваниям, которые в силу своей неприкрытой личностной агрессивности вызвали возмущение всех национальностей, оказавшихся под пятой парижского диктатора. Впрочем, мы могли бы начать с иного, обратившись к перечислению имен, ставших синонимом гениальности; я имею в виду Коперника, Сквороду, Толстого, Достоевского, Глинку, Сеченова, Менделеева, Теслу, Репина, Марию Склодовскую-Кюри, Сметану, Дворжака, Чапека, Шевченко, Шаляпина, – и уподобиться, таким образом, ребенку, который играет в дворовые игры «чей папа сильнее», но мы, увы, не дети, и такого рода игры взрослых людей приводят к гибели младенцев и женщин под бомбами, которые кидают с аэропланов мужчины, получившие образование в лицеях и университетах! Оставим упражнения в национальном чванстве тем, кто тщится доказать примат своей силы, пользуясь кровью соотечественников. Я не скрывал и не считаю возможным ныне скрывать, что всякого рода национальная исключительность продиктована узко классовыми интересами определенных слоев общества: в этом смысле гениальный славянин Ленин дал программу миру на многие века вперед!

Август Цесарец не ожидал, что овация будет такой шквальной, неожиданной.

– Я думаю, – продолжал он, не дав стихнуть аплодисментам, – что правительство немедленно должно объявить амнистию, и демократы, патриоты нашей славянской – не сербской или хорватской, но югославской – родины, должны выйти из тюрем! А следующим актом правительства обязана быть легализация партии коммунистов!

Он поднял руку, приглашая студентов к тишине, но овация шла, словно прибой, волнами: сверху вниз, снизу вверх, будто жила она сама по себе, отдельная от этих молодых людей, и от их рук, и от их глаз, устремленных на него, побледневшего от волнения, с багровыми пятнами, выступившими на лбу и на шее, – так с ним бывало всегда в минуты особенно сильного нервного напряжения.

– Итак, – продолжал Цесарец, – обратимся к периоду, следовавшему за наполеоновским нашествием, когда завоевателем были созданы «иллирийские» провинции, само название которых должно было убить в нас наше славянское существо и напомнить, что мы возвращены к тому статусу, который выделил нам в свое время Рим. Нет нужды сейчас проследить генезис славянской идеи, и уж совсем наивно проследить свое величие, сиюсь доказать то, что мы, славяне, являемся преемниками эллинского духа, – оставим в покое прах великого Македонского, поговорим о более близком. Нашествие агрессора, если использовать физическую формулу, подобно той силе, которая неминуемо родит антисилу, причем эта антисила тем могущественнее, чем неоправданнее гнет агрессора, чем возмутительнее его логика и практика его поведения. Именно тогда, во время борьбы против

диктатора, хорваты и сербы были под одними знаменами. Они стали «иллирийцами» для того, чтобы утвердить себя славянами! Однако потом, после победы, пути хорватов и сербов начали расходиться, и это тем более парадоксально, что два наших славянских племени говорят на одном языке, поют одни и те же песни, наши матери рассказывают внукам одни и те же сказки, а наши юноши говорят своим подругам одни и те же слова любви. Что же разделяет нас, сербов и хорватов? Что же сеет между нами семена тяжелой ненависти? Девятьсот лет назад племя хорватов вошло в королевство Венгрии. С тех пор в нашем племени зрела ненависть к государственной власти, ибо власть эта была чужезычной, инокультурной по отношению к нашему народу. Впрочем, венгры не вырезали наше дворянство, уповая на то, что против каждого носителя славянской идеи, имевшего возможность обратиться к массе хорватских крестьян со словом гнева и свободы, они могут выставить по крайней мере трех перекупленных ими, воспитанных в Вене хорватских дворян, которые столь же талантливо запугают мужика турецкой или русской угрозой. Пять веков назад наши сербские братья были завоеваны турками; сербское дворянство было вырезано, и с тех пор у сербов зрела национальная идея, противоположная нашей, – идея славянской государственности, которая сможет защитить славянский язык, славянскую культуру, славянский дух, рожденный гением Кирилла и Мефодия, от византийской великодержавной доктрины. Следовательно, главное, что определяет расхождение между двумя братскими славянскими племенами, – это исторически сложившееся отношение к институту государственной власти. Второе противоречие между нашими племенами – противоречие религий, ибо сербское православие разнится от хорватского католицизма. И, наконец, третий пункт расхождений – это культурно-психологические устремленности наших народов: хорватское тяготение к венской, сиречь западной, культуре и сербское – к русской. Эта разность устремленностей наносит удар по идее славянской общности и служит тем, кто ищет повода для решения геополитических проблем. И как легко это делать искусным пианистам от дипломатии! Стоит лишь нажать на тот или иной клавиш в тот или иной момент – и готова реакция, пользуйся ею, поворачивай к своей выгоде! Как же юмористически – да простится мне кощунственность этого слова в данном контексте! – выглядят «великие национальные идеи», за которые вынуждают проливать кровь несчастных горцев и пахарей! Троньте струну «короны Томислава», и хорват начинает раздувать грудь и требовать сербского погрома. Скажите-ка сербу о «великой идее короля Стефана Душана», и он точит нож, требуя сатисфакции у хорватов! Я напомнил вам об этом сейчас, когда германский национализм, считавший и считающий ныне славян своими исконными врагами в Европе, начинает играть на педалях хорватского национализма, противопоставляя одно славянское племя другому, вытаскивая пропахший нафталином франковский лозунг – «Мала домовина, але своя!». Я напоминаю вам об этом потому, что примат национального момента над моментом классовым всегда приводит к крови и к гибели государства. Мечта о своем, «маленьком» хорватском государстве не столько наивна, сколько преступна, ибо, отклонившись от лагеря славянской общности, мы неминуемо обречем себя на роль полицейских ищек, провокаторствующих в интересах третьей, мощной державы. На определенных этапах истории человечества высшим проявлением патриотизма является пораженчество. Но сейчас, перед лицом нацистской угрозы, пораженчество может быть расценено как измена делу славян, как предательство по отношению к той великой культуре, под шатром которой жить и жить еще нашим внукам и правнукам! Я напоминаю вам об этом, потому что наше югославское отечество в опасности!

Через тридцать минут после окончания этой лекции Август Цесарец был арестован на улице – кто-то сообщил в полицию, что он вышел из университета.

6. ОПАСНОСТЬ ЗАПОЗДАЛЫХ РЕШЕНИЙ

Душан Симович, премьер Югославии, встретился с послом Великобритании сэром Кэмпбеллом после того, как просмотрел все новые сообщения от послов в Москве, Берлине и Вашингтоне. Он также внимательно ознакомился с данными, которые подготовил политический отдел министерства внутренних дел. В сводках, в частности, сообщалось, что коммунисты провели митинги на заводах, призывая народ к бдительности; левые газеты прозрачно намекают на необходимость немедленного заключения пакта с Москвой; английские дипломаты почти ежедневно встречаются с представителями «Сербского клуба»; Малетке и Веезенмайер, прибывший в Югославию с группой «экономических» советников, установили контакты с лидером Хорватской крестьянской партии Мачеком, который до сих пор не дал согласия занять пост заместителя премьера; германские дипломаты провели встречи с руководителями Словенской национальной организации, а также с тремя представителями русской военной эмиграции во главе с генералом Штейфоном; предпринято несколько попыток побеседовать с офицерами генерального штаба, но в силу того, что министерство обороны перешло на полужакарменное положение, офицерам было предписано от встреч уклониться.

Перед беседой с англичанином Симович принял заместителя начальника генерального штаба, который снова настаивал на немедленной мобилизации, утверждая, что каждый час промедления грозит катастрофой.

– Погодите, – с досадой возразил премьер, – погодите, генерал. Готовьтесь к мобилизации, но оставьте нам шанс на мир путем переговоров.

– Господин премьер-министр, вы военный, и вы прекрасно понимаете, что тайно готовиться к мобилизации невозможно: либо мобилизацию объявляют – и мы развертываем двадцать две дивизии вдоль границ, либо мобилизацию не объявляют – и мы беззащитны перед нападением с трех сторон.

– Когда я входил в этот кабинет, – заметил Симович, – мне казалось, что главное сделано, Цветкович убран, осталось лишь занять твердую позицию, остальное приложится. Ничего не прикладывается. Ничего. Из тех сорока восьми часов, что я у власти, по крайней мере, двенадцать отдано на размышления, не уйти ли в отставку.

– И вернуть Цветковича?

– Снятый политик – конченный политик. Нет, если передавать власть, то либо германофилам, которые сразу же договорятся с Гитлером, либо коммунистам во главе с Тито, которые незамедлительно, уверяю вас, объявят мобилизацию и заключат пакт с Москвой.

– И вы думаете, я подчинюсь коммунистам?

– Именно об этом я и думаю, генерал. Именно об этом. И о том также, подчинитесь ли вы диктату Берлина. Может быть, сегодня днем кое-что прояснится...

Сэр Кэмпбелл принадлежал к числу дипломатов старой имперской школы: все может кругом трещать и рушиться, но манера поведения неизменна. Когда обозреватель «Таймс», которого он пригласил на ленч, с горечью рассказывал послу о том, что губернатор Ямайки продолжает устраивать званые обеды, на которые не допускают без смокинга, Кэмпбелл удивился:

– А что, собственно, здесь плохого? По-моему, наоборот, это великолепно. Следование традициям вселяет уверенность в подданных. Не надевать же губернатору хаки только потому, что на материке стреляют...

– На материке стреляют в английских солдат, – заметил его собеседник. – И, может быть, именно во время этих званых обедов.

– На то и война, чтобы стреляли, – спокойно сказал посол. – Но и в дни войны нельзя забывать о мире, а мир, который неминуем, много потеряет, если мы позволим себе изменить – хоть в мелочах – наши традиции: они создавались веками.

Поэтому, встречаясь и с югославским министром иностранных дел и с премьером, сэром Кэмпбелл оставался таким, каким, он считал, обязан быть посол империи, джентльменом, который не лжет, и спортсменом, который выигрывает потому, что никогда не торопится.

– Господин посол, – повторил Симович, – мы продержимся лишь в том случае, если вы завтра же, самое позднее послезавтра, высадите войска в Югославии.

– Правительство его величества изучает этот вопрос, господин премьер-министр, но ведь высадка наших войск будет автоматически означать для вас начало войны с Германией. Видимо, с точки зрения общеевропейских интересов, оптимальным выходом из положения было бы заключение с Гитлером пакта о ненападении при условии, что он не станет требовать пропуска войск в Грецию через вашу территорию.

– Это утопия. Гитлер потребует пропуска войск, особенно теперь, после того, как свергнут Цветкович. Он не остановится на полумерах. Я слежу за германской прессой, тон ее чудовищен.

– Мы тоже следим за германской прессой. Нам кажется, что все это форма политического давления на ваш кабинет, не более того.

Слушая неторопливую речь посла, Симович особенно остро ощущал, как уходит время – сыпучее, словно песок, и такое же неостанавливаемое.

«Зачем все это? – вдруг горестно подумал Симович. – Зачем было двадцать седьмое марта, и войска на улицах, и счастливые толпы, и знамена? Неужели только для того, чтобы я пересел из одного кабинета в другой? Неужели я не представлял себе, что все обернется именно так? Неужели я не представлял себе, что Гитлер придет в бешенство? Неужели я думал в ту ночь о себе, а не о стране?»

Симовичу вдруг стало жарко, и на висках его, чуть запавших, с желтинкой, как у всех язвенников, выступили капельки пота. Он хрустнул пальцами, и Кэмпбелл чуть прищурился, глядя на его сухие руки.

«Но раз случилось, надо что-то делать! Надо делать хоть что-то! Ну, хорошо, я не могу, я не смею сейчас обратиться к Москве, но можно что-то предпринять здесь!»

Симович словно бы уговаривал себя, жалел, как ребенка.

«Неважно, сколько мне отпущено быть у власти, – четко, словно отбросив все предыдущие сомнения, решил он, – пока я лидер, надо сделать все, чтобы остаться. Не в резиденции – в истории. Работая на себя, я буду работать на историю. А она над нами, она чтит поступок, а не болтовню».

– Нам нужны самолеты, танки, орудия, господин посол, – медленно сказал Симович.

– Мы получили от ваших военных документы и сейчас изучаем их.

– Как долго вы будете рассматривать наши просьбы?

– Это зависит не от меня одного.

– У нас есть еще один выход, – скрипуче усмехнулся Симович. – Создать коалицию левых сил и объявить отечество в опасности.

– Этот французский лозунг, я думаю, вызовет шоковую реакцию в Берлине и весьма одобрительную в Москве.

– А в Лондоне?

– Я сегодня же снесусь по этому вопросу с правительством его величества...

– Меня интересует ваша точка зрения.

– Я бы хотел обсудить эту препозицию с моими коллегами, господин премьер-министр.

Когда вы советовались с нами накануне переворота, такого рода шаги вами не планировались.

– Мы не планировали ту реакцию Берлина, которую сейчас Риббентроп не скрывает. Мы наивно верили в то, что состав правительства – это наше внутреннее дело.

Взглянув на Симовича, Кэмпбелл подумал: «Я бы посоветовал вам не терять голову, генерал, но я не вправе этого делать, пока вы остаетесь премьером. И я не могу открыто приветствовать высказанную вами «угрозу» о контактах с Москвой – это будет нашей победой, ибо, возможно, такой шаг лишь ускорит события на востоке. Я не могу сказать, что Югославия интересует нас постольку, поскольку вы в конфликте с Германией, нашим врагом. Вам следовало бы понять, что балканское предмостье имперских колоний в Азии может оказаться линией фронта или, если Гитлер повернет на восток, остаться глубоким европейским тылом. Этот вопрос решит время. Поэтому я ничего сейчас не могу вам ответить, я должен лишь выслушать вас. Мы сказали свое слово тем, что помогли в перевороте. Дальше решайте сами, генерал, и не смотрите на меня с такой скорбью и ожиданием...»

Посол пододвинулся к Симовичу и сказал, как мог, мягко:

– Я думаю, что на днях Вашингтон объявит о своих поставках Югославии по ленд-лизу. Мы готовы в счет этих поставок передать вам в течение ближайших недель те стратегические материалы, в которых вы более всего заинтересованы. Важно другое – готовы ли югославы умереть в борьбе за свободу?

– Вы ведь готовы умереть в борьбе за свободу Британии, господин посол?

– Бесспорно.

– Мы тоже. Только мертвым свобода не нужна, господин посол; свобода нужна живым. Готовы ли вы на деле содействовать немедленному объединению Югославии, Греции и Турции в их борьбе против агрессии и как именно? Готовы ли вы высадить корпус в Югославии? Если да, то когда? Готовы ли вы вместе с правительством Соединенных Штатов дать нам гарантии? Если готовы, то какие? Эти вопросы ждут своего немедленного решения.

Кэмпбелл пожевал губами, вздохнул, посмотрел в окно.

– Я запрошу правительство его величества и завтра же проинформирую вас о полученном мной ответе.

Через час после окончания беседы с Кэмпбеллом премьер Симович встретился на квартире одного из своих помощников с человеком, подлинное имя которого было ему неизвестно.

Элегантно одетый, цитировавший Платона и Кромвеля, человек этот представлял югославских коммунистов. Симович был удивлен и не сумел скрыть удивления – его собеседник понял это. Премьер полагал, что посланец, прибывший от Броз Тито, будет рабочим, в черном костюме без галстука (он смотрел советские фильмы, и стереотип революционера представлялся ему только таким), однако человек, который говорил о необходимости амнистии политическим заключенным и о готовности ЦК компартии включиться в общенациональную борьбу, был блистательно эрудирован и тактичен, особенно в вопросе, касающемся освобождения из тюрем коммунистов, арестованных прежним режимом. Посланец Тито заметил – никак не педалируя, – что «общественность мира внимательно изучает внутривнутриполитические шаги вашего правительства, господин генерал, и, я думаю, последующие внешнеполитические акции великих держав будут во многом определены тем, как себя поведет новая администрация». Симович хотел было уточнить, что говорить следовало не обо всех великих державах, а лишь об одной, о России, однако ничего не сказал, ибо собеседник его задал такую форму беседе, которая предполагала лишь обмен мнениями, а никак не принятие немедленных и категоричных решений.

«А ведь с Цветковичем они бы не стали встречаться, – с неожиданной, поначалу непонятной ему радостью подумал Симович. – И Гитлер бы иначе себя вел с любым другим человеком, оказавшимся на моем месте, и Черчилль, и Рузвельт... Мой звездный час, – вспомнил он чью-то фразу, – мой час. Я уже не принадлежу себе, меня ведет. И я должен

подчиниться тому, что меня ведет. Я должен все время помнить свое новое качество. Оно теперь всегда будет со мной, что бы ни случилось. Значит, я был прав, когда думал об этом. Армейский закон: все, подчиненные одному, добудут себе вечную славу, а тому, кто поставлен вести, бессмертие».

Дослушав посланца ЦК, Симович дружески улыбнулся ему – только сейчас он понял высшую сладость «игры разностей», механику противопоставления или блокировки чужеродных сил – и мгновенно соображал, как следует ему отвечать.

Симович решил, что сейчас нецелесообразно обещать что-либо конкретно, но, вернувшись к себе в кабинет, он попросил заготовить два приказа: первый – о запрещении демонстраций и соблюдении порядка на улицах (об этом документе он просил сообщить через печать по возможности широко) и второй – негласный – об освобождении из тюрем тех левых, которые признают его режим. О содержании второго приказа он – опять-таки через третьих лиц – сообщил человеку, с которым встречался. Тот, ознакомившись с документом, обещал передать его содержание своим друзьям – он не сказал «товарищам», соблюдая такт даже в такой, казалось бы, фразеологической мелочи.

Первый приказ Симовича был опубликован в югославских газетах на первых полосах под броскими заголовками: «Мы будем карать всех, кто нарушает общественный порядок и организует митинги без соответствующего разрешения властей!» Второй приказ был «спущен» тихо по инстанциям, и рассчитан он был на то, что ушлые чиновники прочтут не столько строку, сколько между строк: в стране, где много лет царствовала монархо-фашистская диктатура, люди были приучены понимать не только слово, но и молчание.

Если в Сербии этот негласный приказ Симовича был в какой-то мере выполнен, то в Хорватии обстоятельства сложились по-другому. Был поднят на щит первый приказ премьер-министра, и под него, под это напечатанное в газетах предписание центрального правительства, совершилось злодеяние: руководство Мачека – Шубашича, формально выполняя волю Симовича, предписало немедленно арестовать в Хорватии всех тех, кто «организовывал или же мог организовать» всякого рода митинги и демонстрации.

«Мы уполномочены заявить, что с сего дня объявляем голодовку и будем держать ее до тех пор, пока нас не освободят из заключения. Мы требуем подчинения загребских властей указанию нового правительства и рассматриваем наш арест как вопиющее нарушение всех и всяческих конституционных норм.

О. Прица,

Б. Аджия,

О. Кершовани».

Начальник тюрьмы, человек новый здесь, присланный «досидеть до пенсии», прочитал письмо, посидел в задумчивости, а потом спросил майора Ковалича, заместителя по работе среди политических и одновременно особоуполномоченного секретного отдела полиции:

– Они хорваты?

– Хорваты. Кроме Прицы, все хорваты.

– Будь моя воля, я бы посадил к ним в камеру кое-кого из нового правительства.

– Будь ваша воля.

– Хорошо... Воли нашей теперь нет. Готовьте приказ на освобождение этой троицы.

– Я такой приказ готовить не буду.

– Что же вы предлагаете?

– Я ничего не могу предложить, господин полковник. Я знаю только одно: если врагу дать в руки оружие, он обратит его против тебя. Их оружие сейчас – это свобода. А я не хочу быть убитым.

– Можно подумать, что я жажду этого. Умереть я захочу в тот день, когда узнаю, что у меня рак. Только перед тем, как умереть, застрелю нескольких своих врагов, так что пусть они молятся о моем здоровье.

– Пусть...

– Я не могу не подчиниться приказу Белграда, майор, и вы это прекрасно понимаете.

– Понимаю. Только я спрашиваю себя: сколько времени Берлин будет терпеть безумство Белграда? Сколько времени Гитлер отпустил Симовичу на его игры? Считается, что тюремщики служат тому режиму, который сейчас правит. Но это неверно: тюремщик служит идее независимо от того, кто царствует в настоящий момент.

Полковник поморщился.

– Вы на меня интеллектом не давите, Ковалич! Я вам не политический, которого вы стараетесь завлечь своим умом. Я, знаете ли, жандарм, служака. Без фокусов. Между прочим, те, кого вы вербуете во время душеспасительных бесед, идут на сотрудничество только для того, чтоб выбраться отсюда, а потом наверняка информируют «товарищей», как они «согласились» на ваши предложения.

– Пусть. Картотека останется. Согласие, занесенное в картотеку, переживет нас. А будущие историки станут пользоваться данными карточек, ибо это документ, а все остальное – слухи.

– Снова теория. Победи они, все картотеки уничтожат.

– Разве бы вы стали уничтожать картотеки? Уж что-что, а картотеки вы бы сохранили. Победители – они тоже разного возраста, интеллекта и темперамента. Среди них будут обиженные, и несправедливо вознесенные, дураки и гении, подозрительные аскеты и жизнелюбы, так что картотека, господин полковник, подобна апостольской книге: каждый может трактовать любую строчку по-своему.

– Эка вы нас увели от дела, – заметил начальник тюрьмы, с любопытством разглядывая непропорционально большое лицо майора.

Ковалич работал в V отделе секретной полиции и считался растущим специалистом по делам, связанным с деятельностью коммунистов. Но неожиданно для всех он попросил о переводе в тюремное управление, и просьбу его удовлетворили, потому что помощник начальника V отдела опасался конкуренции: шеф несколько раз говорил о Коваличе в превосходной степени, как о вдумчивом и талантливом психологе. Поэтому недруг майора оказался самым рьяным защитником его интересов в кадровом департаменте. Человек недалекий, он считал, что серьезному контрразведчику в тюрьме делать нечего. Он любил встречи с информаторами в ресторанах и отелях, подолгу мотал агента, расспрашивая его о друзьях, любовницах, деньгах, демонстрируя свою власть и осведомленность, и не понимал, что именно эта его манера вести беседу оттолкнула многих честолюбцев, решивших было сделать карьеру на сотрудничестве с тайной полицией. Ему казалось, что он знает агента, ибо он готовился к каждой встрече, внимательно просматривал донесения, справки, данные телефонных прослушиваний и сведения, собранные через других осведомителей, но забывал при этом, что агент – личность ранимая: он должен ощущать постоянное участливое доверие и свою особую, что ли, роль в жизни общества. А когда помощник шефа отдела унижительно расспрашивал, назойливо советовал и начальственно требовал, это отталкивало, напоминало агенту, что он просто-напросто предатель, пешка в неведомой ему игре, подчиненной воле и замыслу людей, вроде его собеседника – недалекого, но облеченного властью и правом, то есть тем, чего лишен он сам.

Майор Ковалич понял, что проявить себя он сможет в ситуации критической, когда выдвижение будет зависеть не от количества лет, отсиженных в канцелярии. Именно поэтому он ушел в тюрьму и здесь начал собирать досье на коммунистов, либералов, националистов. Он считал, что в тюрьме значительно легче заполучить серьезную агентуру, потому что на воле он должен пробивать для интересующего его человека всякого рода льготы, денежные

вознаграждения, повышение по службе, «выемку» из тех или иных грязных дел, тратя на все это огромное количество времени и нервов. Здесь же, в тюрьме, он был хозяином положения, да и поблажки, которые давал заключенному, входившему в сферу его интересов, кардинальным образом отличались от тех, которых надо было добиваться «там». Увеличил срок прогулки, дал внеочередное свидание, устроил выезд в город, изменил режим питания – вот и благодарен человек, вот и помнит добро, сделанное интеллигентным и сердечным («Даже полицейские не все одинаковы! Среди них тоже есть люди!») майором Коваличем, который не требует взамен ничего такого, что унижает достоинство. А если уж хочет искренности, так он и сам режим критикует, – да еще как! – всегда, впрочем, подчеркивая, что его критика носит позитивный характер. «Именно поэтому, – любил добавлять Ковалич, – я прихожу в тюрьму утром и ухожу вечером, а вас привозят сюда, как правило, ночью и освобождают по прошествии многих лет – утром». Собирая информацию по крупнякам, он не торопился, справедливо считая, что атака понадобится в решающий момент, только тогда она сможет дать результаты и вытолкнуть его, Ковалича, в первый ряд борцов против крамолы, и оценят это не полицейские служаки, а идеологи и политики.

– Я не увел вас от дела, – сказал Ковалич. – Наоборот, я довольно точно сформулировал свою позицию: нельзя выпускать коммунистических цекистов. Нельзя. В настоящий момент они могут стать лидерами всенародного движения против Германии.

– Что вы предлагаете?

– Заразить кого-нибудь брюшным тифом. Или дизентерией. Мы бы подписали приказ об освобождении коммунистов, но карантин, по крайней мере двадцатидневный, они обязаны будут пройти в тюрьме. Таким образом, выполним оба указания: Загреба – об аресте и Белграда – об амнистии.

Начальник тюрьмы деланно зевнул, потянулся.

– Вы сегодня без меня кухню проверьте, милый, а то я занемог что-то, с утра кости ломит. Как весна, так аллергия мучает, кашель – аж в ушах звенит. Если что особо важное, звоните, а я недельку вылежу, от греха.

Ковалич понял, старик решил выйти из игры.

– Вас они повесят первым, – усмехнулся Ковалич, поднимаясь. – Меня-то пощадят, потому что именно я выговаривал для них поблажки, арестанты этого не забывают.

– По мне одинаково, повесят или снимут погоны, дружочек. Если с меня погоны эта власть снимет – конец. Новая – тоже конец. Кроме как запоры проверять, что я умею? То-то и оно, ничего. А ведь власть пока что эта. Эта, дорогой. Вы молодой, вам и сражаться.

Звонимир Взик долго не поднимал трубку телефона, потому что не мог оторваться от гранки: в номере шла статья профессора Ричича, который исследовал правомочность правительства-преемника расторгать заключенные ранее договоры, основываясь на нормах международного права. Белград решил опубликовать эту статью именно в Загребе, чтобы продемонстрировать Берлину общенациональное единство взглядов на сложившуюся ситуацию. Это мероприятие было задумано в отделе печати министерства иностранных дел и, как большинство подобного рода действий, являло собой некую игру в «жмурки», ибо и югославское и германское правительства знали истинное положение вещей в Загребе, знали, что в Хорватии зашевелилось усташеское подполье, а два эмиссара поглавника Павелича вылетели в Берлин и были встречены там представителями СС и вермахта. Однако в любой государственной машине существуют разные ведомственные интересы, и в тот момент, когда военные планируют нападение, дипломаты обязаны крепить дружеские контакты и – хотя бы внешне – предпринимать все возможные шаги, чтобы избежать вооруженного конфликта, добиваясь своих целей, не «вынимая шпаги из ножен».

Звонимир Взик подумал было, что звонит Ганна, она обычно в это время интересовалась, придет ли он к обеду. В первые годы Взик приглашал жену пообедать вместе

с его друзьями, но Ганна всегда отказывалась: «Не люблю незнакомых людей». Как-то раз Звонимир сказал, что ему нужно, чтобы она поехала вместе с ним, когда он принимал полковника из албанского генерального штаба – тот слыл женским угодником. Ганна ответила: «Ляпну что-нибудь не то и спугну твоего вояку. Я ведь не понимаю, как проводить ваши «деловые» встречи». Звонимир хотел поправить ее: «Наши встречи», – но решил, что не стоит. Характер – это такая данность, которую можно сломать, но нельзя изменить. Он пригласил на обед свою стенографистку. Девушка была влюблена в него, и он, ничуть не смущаясь, как это было бы с Ганной, объяснил ей, что с полковником надо в меру пококетничать, проявить особенное внимание, намекнув при этом, что любит-то она его, шеф-редактора, но при случае не прочь встретиться и с албанцем. Обед прошел великолепно, полковник цокал языком и говорил, какое это счастье, когда мужчину любит такая прелестная девушка, находил в ней сходство с дочерью, рассказывал о том, какая у него умница жена, а когда девушка – ее звали Лиляна – отлучилась, чтобы вызвать машину, спросил Взика, где в Загребе надежный «дом любви».

Продолжая читать гранку, Взик снял трубку.

– Слушаю, – сказал он, завидуя настойчивости человека, который так упорно звонит. («Это, конечно, не Ганна. При том, что она ленива, нетерпеливость у нее чисто горская».) – Взик слушает.

– Здравствуй, Звонимир, как поживаешь?

– Боже мой! Господин полковник! Петар! Чем обязан?

– Событиям, – ответил полковник. – Мы все обязаны в жизни событиям, которые подвластны року, не людям. Ты где обедаешь сегодня?

– Я не обедаю сегодня, Петар! У меня полная запарка.

– Жаль. Я хотел пригласить тебя в славную харчевню. Заказал молодую косулю...

Петар Везич учился со Звонимиром в университете, но потом пути их разошлись. Везич сказал Звонимиру на выпускной пирушке: «Мир все более тяготеет к силе, и государственные идеологи будут формировать подданных «под себя». Однако вечно так быть не может. Югославия дождетс своего часа, когда на сцену выйдет тот, который предложит программу действий, а не прозябания. Я буду ждать этого часа. Не фыркай, когда узнаешь, где я решил пройти школу «силы». Не уподобляйся либералам, которые оценивают лишь очевидное, забывая про компоненты, из коих это очевидное слагается».

Они встречались на приемах, театральных премьерах, но не так часто, как в студенческие годы. Звонимир признавался себе в том, что отнесся к странному решению Петара именно как либерал, считающий, что брезгливость по отношению к человеку, решившему служить силе – то есть полиции, – главное чувство, отличающее его от остальных.

– Может, перенесем на завтра?

– Ладно, – согласился Везич, – у меня к тебе ничего срочного, просто захотелось увидеться. И потом, что может быть срочного в эти дни? Они сами по себе так стремительны, так быстролетны, что любая срочность в сравнении с ними подобна черепахе.

Звонимир угадал в голосе своего студенческого приятеля что-то такое, что заставило его сказать:

– Знаешь, все-таки я отложу свои бумаги и приеду. Мы и так слишком редко видимся, чтобы терять шальной шанс на встречу. Говори адрес.

Они выпили по стакану сухого вина, которое им налили из бурдюка, пахнувшего козьей шкурой.

– Рад тебя видеть, – сказал Петар, – чертовски рад!

– И я. Ты здорово растолстел, полковник.

– Государство бережет мое время – езжу на машине.

– Надо по воскресеньям ходить в горы.
– Ты ходишь?
– У меня в воскресенье самая работа: вечерний выпуск должен быть особенно интересным.

– И у меня самая работа в воскресенье.
– Какая же у тебя работа в воскресенье? – улыбнулся Звонимир. – Ведь по воскресеньям не бастуют.

– По воскресеньям я должен пьянствовать с итальянскими дипломатами.
– А в понедельник этим заниматься нельзя?
– В понедельник бастуют, это ты правильно отметил. Нет, действительно, суббота и воскресенье у меня самые занятые дни в неделе – сплошные рауты и приемы. А в будни обычная суматоха. То усташи хотят взорвать мост, то профессор Мандич устраивает бунтарское выступление Цесарца в университете, то твой обозреватель, профессор Ричич, входит в контакт с немецким эмиссаром Веезенмайером...

Звонимир понял, что Петар пригласил его отнюдь не из-за того, что заскучал по другу молодости. И даже не для того, чтобы сказать о встречах Ричича с Веезенмайером – перед тем, как ехать к нему, Ричич связался с соответствующим отделом тайной полиции. Звонимир понял, что Петар просил его приехать в связи с деканом исторического факультета профессором Мандичем, потому, что знал об их давней дружбе.

– Что писать обозревателю, если у него нет контактов с разведчиками, шлюхами и спекулянтами? Кто его будет читать, Петар? Мы с тобой мечтали заниматься высокой политикой, а нынешние молодые ребята, когда приходят в газету, жаждут попасть в отдел криминальной хроники.

– Почему?

– Потому что это интересно и логично. Поиск карманника отличается логикой. Да и карманник – отброс общества. Это не какой-нибудь воротила, который наймет лучших адвокатов города и любую свою махинацию представит как акт борьбы за экономический прогресс.

«Пусть сам вернется к Мандичу, – подумал Везич, – я не стану проявлять заинтересованность».

– Как Ганна? – спросил Петар.

– Спасибо, хорошо.

– Она у тебя прелесть.

Везич знал из агентурных сводок, что прилетел Мийо, за ним следили с тех пор, как он принимал участие в молодежных демонстрациях после убийства в Скупшине хорватских депутатов. Потом он отошел от политики, занялся философией, но бюрократизм полицейского дела обязывал тем не менее держать его в поле зрения и составлять досье на его публикации в научных журналах. Петар знал, что Ганна, по крайней мере, три часа в день проводит сейчас в доме у брата Мийо, знал, что Звонимир живет с ней плохо, Ганна устраивает ему скандалы по пустякам – так бывает, если женщина очень любит или если не любит совсем. Вопрос о Ганне Везич задал не случайно: он хотел посмотреть, как поведет себя его старый товарищ, а затем сделать вывод о мере его, Звонимира, закрытости.

– Мясо понравилось?

– Великолепное. Косуля?

– Да. Ничего нет вкусней седла молодой косули.

– А поросенок? Маленький кабанчик?

– Тяжело для печени, Звонимир. Мусульмане в этом смысле мудрее нас.

– Я за всеядность! Когда прозвенит первый звонок, организм сам просигналит, что ему можно, а от чего надо отказаться. Курение, вино, кабанятина – все это ерунда, Петар.

Нервное напряжение – вот что нас губит. Не знаю, как ты, а я последние три дня не сплю. Как думаешь, будет драка?

– Я не Гитлер. Мне трудно поставить себя на место психически неуравновешенного человека, Звонимир.

– По-моему, драка начнется вот-вот.

– Не драка. Избиение.

– Ты считаешь, что мы так слабы?

– Мы не организованны. Мы болтуны. Мы мечемся.

– Что ты предлагаешь, Петар?

– Я предлагаю еще раз выпить.

– Ты не встречал Милицу?

– Как-то встретил. Она стала жирной, ты бы на нее даже не взглянул.

– Наверно. Мы все боимся встреч с молодостью, а особенно с идеалами, которым поклонялись.

– Занятное это дело – молодость, наивность, идеалы.

– У тебя был идеал силы, Петар.

– Почему был? Остался.

– Тогда ты должен ответить мне, как поступать, чтобы нас не избili.

– Научиться хоть немного верить друг другу. Еще мяса?

Наливая холодную воду в высокие стаканы, Звонимир взглянул на часы так, чтобы это заметил Петар. Тот конечно же заметил и рассмеялся.

– Мы с тобой играем во взрослых, – сказал он. – Мужчины перестают играть в эти игры только на смертном одре. Ни в ком так не заложен комплекс полноценности, как в мужчинах, претендующих на то, чтобы быть сильными.

– Не хочешь выступить у меня с воскресным фельетоном?

– Сколько платишь?

– Кому как. Старым друзьям – максимум.

– Я отдаю должное твоей манере вести беседу, – сказал Петар, – но что касается дружбы, здесь разговор особый, как мне сейчас кажется. Ты ждал, пока я начну серьезный разговор, не задавал вопросов, хотя ты должен был задать мне вопрос, так что о дружбе не стоит. И хорошо, что вспомнил про мой идеал. Ты верно понял, Звонимир. Только не в Везенмайере дело – ты тоже это понял, – а в Мандиче. Не видел его сегодня?

– Нет.

– Полчаса тому назад я прочитал указание моего коллеги, который занимается интеллигенцией: за Мандичем завтра будет пущено наблюдение, а оно приведет наших людей ко всему коммунистическому подполью.

– Не понимаю...

– Выступление Цесарца сделало ясной их связь.

– Не верю.

– Почему?

– Мандич – здравомыслящий человек.

– Именно. Здравомыслящий человек сейчас должен либо примкнуть к нацистам, либо к Коминтерну. Победят одна из этих двух сил. Словом, я хочу, чтобы ты сейчас, сегодня поехал к нему и попросил его прервать все связи с «товарищами», пока они не легализованы правительством. Я ничего не смогу поделать, если связи будут установлены. Их немедленно арестуют, и это будет еще один удар по тем силам, которые могут спасти Югославию в предстоящей борьбе. Часть коммунистов, кстати, уже взята.

– Кто именно?

– Цесарец, Кершовани, Прица, Аджия, Рихтман. Хватит? Или продолжить?

– Ты думаешь, что коммунисты...

– Да, да, да, – прервал его Везич, – да, Звонимир. Они – единственная партия здесь, которая называет себя югославской. Тебе странно слышать эти слова от полицейского? Но не все же в полиции дубины. Кому-то надо сидеть в полиции, чтобы думать и о будущем страны. Мне коммунисты так же антипатичны, как и тебе, но нельзя же быть слепцом! Если мы хотим сохранить государство, мы обязаны включать их силы в расклад общей борьбы.

– Почему ты обратился именно ко мне?

– Потому что я должен знать все обо всех. Я знаю о тебе все, Звонимир. Понимаешь?

Все.

– Пугаешь?

– Нет. Отвечаю.

– Никогда не думал, что ты способен преступить служебный долг...

– Тут отличные вяленые фрукты. Заказать?

– Я бы выпил кофе.

– Уже заваривают. Здесь занятный хозяин, он из турок. Помогает нам. Мне, вернее. Я привлек его к работе: тут собираются интересные люди, потому что тихо и еда отменная. Все считают, что Мамед плохо понимает по-хорватски. В общем-то это так, но он хорошо понимает меня...

– Ты так ответил на мое замечание о служебном долге?

– Да, – спокойно отозвался Везич. – Ты верно меня понял. Чтобы иметь возможность работать, нужна надежная страховка, Звонимир.

Служба наблюдения, пущенная Петаром Везичем за профессором Мандичем на день раньше его коллеги, сообщила о цепи: после ухода Звонимира Взика профессор посетил паровозного машиниста Фичи, тот отправился к юристу Инчичу, который, в свою очередь, встретился со студентом университета Косом Славичем, на квартире которого в тот вечер собрались пять членов подпольного ЦК, непосредственно связанные с Тито.

Полковник Везич поблагодарил службу наблюдения за операцию, столь четко проведенную, спрятал в сейф адреса явочных квартир и фотографии их хозяев, но рапорта начальству, как того требовал устав, писать не стал. Он ждал, как будут развиваться события. Все должен был решить вопрос, обсуждавшийся на бесконечных вечных заседаниях кабинета: объявлять мобилизацию армии по плану Р-41, согласно которому следовало немедленно входить в контакт с греками, чтобы выстраивать общую линию обороны против Италии, Германии, Венгрии, Болгарии и Румынии, или же сделать главную ставку на попытку политического решения кризиса, на новое соглашение с Гитлером. Берлин вел игру: чиновники МИДа, принимая югославского посла, намекали на возможный компромисс; германский же поверенный в делах в Белграде считал такой компромисс невозможным. Когда есть два выхода, человек пребывает в колебании, какой выбрать. Генеральному штабу вермахта только этого и надо было: каждый час, не то что день, ослаблял противника, ибо югославам надо было развернуть войска на трех тысячах километров ее границ. Это значило, что сотни паровозов и автомашин, тысячи вагонов должны быть подготовлены, заправлены углем или бензином; это значило, что интенданты обязаны приготовить помещения для войск, обеспечить их питанием и медикаментами. Однако вся эта гигантская машина могла быть пущена лишь в тот момент, когда правительство объявит мобилизацию.

В стране шли слухи о предстоящей мобилизации, но слух можно сфабриковать в тихих кабинетах тайной полиции, и поэтому задача германской разведки заключалась в том, чтобы установить истину и сообщить в Берлин совершенно точно, чего следует ожидать в ближайшие часы. Веезенмайер поручил Дицу именно этот вопрос, хотя, в общем-то, такая задача не входила в прерогативы его «специальной группы». Но он правильно учуял в слухах несфабрикованность. Он не знал, конечно, о разногласиях между премьером Симовичем и генштабом, требовавшим развернуть мобилизацию в тот же день, когда был свергнут

Цветкович. Не знал он и о том, что Симович принял решение, отмеченное двойственностью: «объявить к третьему апреля скрытую мобилизацию». Симович отвел семь дней на решение конфликта политическим путем, не поняв, что лучшее решение политического конфликта с таким человеком, как Гитлер, – противопоставление силе силы. Симович продолжал уповать на «рыцарскую честь» и «военное джентльменство». Когда ему говорили, что «банде надо противопоставлять не довод, а силу», Симович морщился: «В вас говорит предвзятость. В конце концов они европейцы, а не гунны».

Его позиция – **следовать** за событиями, не торопя их и даже не стараясь на них повлиять, его убежденность в том, что **личность** должна лишь формулировать очевидное и не забегать, суетясь, вперед, в неведомое и пустое будущее, – сыграла с ним злую шутку: он без боя отдал «темп», вещал, вместо того чтобы действовать, **изображал**, вместо того чтобы **быть**.

А в это время войска фельдмаршала Листа уже вышли на исходные рубежи вдоль восточных границ Югославии.

7. SUMMA SUMMARUM ³

Гитлер пригласил на ужин Розенберга, Кейтеля, Риббентропа и Бормана. Гостям подавали капустный салат, свиные отбивные, а фюреру вареную рыбу и картофель с оливковым маслом.

– Французское вино откупорили в вашу честь, Риббентроп, – сказал Гитлер. – Если бы повара не знали, что вы сегодня здесь ужинаете, мне бы не удалось выпросить у них эту красную кислую гадость...

– Мой фюрер, – ответил Риббентроп, – я обязал бы каждого немца ежедневно пить по стакану красного французского вина, потому что только так можно уравновесить извечную несправедливость природы: солнце светит на виноградниках Прованса раза в полтора активней, чем в Мекленбурге, а французское вино – это витаминизированный концентрат солнца.

– Вызовите на переговоры солнце, – усмехнулся Гитлер, – пригласите его на Вильгельмштрассе, а Кейтель отдаст приказ войскам быть наготове, чтобы оказать вооруженную поддержку винолюбивым политикам. Как салат?

– Очень хорош, – сказал Розенберг. – И, странно, он приготовлен по-славянски.

– Слава богу, здесь нет Гимmlера, – засмеялся Гитлер, – он бы тотчас приказал проверить генеалогию повара.

– Это сделаю я, – под общий хохот заключил Борман.

– Если в вашем поваре, фюрер, и есть славянское изначалие, то оно от добрых, аристократических кровей, – сказал Розенберг, – в России капусту в салатах почти не используют – картошка, морковь, соленый огурец и немного зеленого горошка.

– Я ел русский салат, – вспомнил Гитлер. – Это было за две недели перед тем, как я уехал из Вены в Мюнхен.

Судя по тому, как Борман подался вперед, отодвинул вилку, все поняли: сейчас начнется одна из тех речей фюрера, которыми славились «обеда для узкого круга» – с Герингом, Геббельсом, Гимmlером и Гессом. Гитлер не верил военным и не любил раскрываться в присутствии фельдмаршалов. Впрочем, чем больше за Кейтелем укреплялось прозвище Язагер⁴, чем заметнее в глазах его горела постоянная алчущая заинтересованность, когда он

³ Предел пределов (лат.).

⁴ Дословно: говорящий «да». В данном случае — «во всем соглашающийся».

слушал фюрера, тем менее напряженно чувствовал себя Гитлер в его присутствии, хотя на такие обеды приглашал не часто.

– Я шел по засыпающим улицам Вены, – продолжал Гитлер, – и странное чувство высокой печали сопутствовало мне. Вена была подернута синей дымкой, зажигались огни, и казалось, вокруг звучит музыка Штрауса. Я не отношу себя к поклонникам его таланта, в его музыке есть нечто лукавое, а всякое лукавство – от скрытого еврейства, но в тот вечер какая-то странная размягченность овладела мною и Штраус не раздражал меня, потому что я уже знал, что меня ждет в Мюнхене: борьба, страдания и победа. Три эти понятия однозначны одному имени – Вагнер! А всякая истинная сила не боится соседства легких скрипок и сантиментов. Контраст чувств рождает великую музыку и, соответственно, великое ее восприятие.

Гитлер откинулся на спинку стула и мельком взглянул на дорогой костюм Риббентропа, сшитый у лучшего венского портного.

– Я был голоден, – снова заговорил Гитлер, – гроши, которые я зарабатывал акварелями, не всегда давали возможность пообедать. Но я отложил из тех денег, которые были собраны на дорогу, несколько монет и решил устроить прощальный ужин. Я шел мимо ресторанов и кафе, выбирая то, которое окажется мне по карману. И вдруг увидел русскую вывеску. А Вена тогда подвергалась постоянному неприкрытому ославяниванию, которое проводилось по приказу безвольного Франца-Фердинанда, женатого на грязной чешской графине, заставлявшей этого несчастного говорить по-чешски даже за обедом и завтраком. «Чем же прельщают венцев русские?» – подумал тогда я. Надо знать врага во всех его ипостасях – разве кулинария не одна из форм пропаганды?! Разве повар – в определенный момент – не подобен писаке из социал-демократического листка?! Разве его оружие – сковорода и кастрюля – не служит идее: «Моя пища вкуснее твоей, красивей и здоровей»?!

Гитлер сделал глоток из толстого керамического стакана – врачи предписывали ему выпивать триста граммов мангового сока после обеда – и на какое-то мгновение задумался, тяжело нахмурившись. Как и все люди ущербного самолюбия, он часто начинал говорить, не зная, собственно, чем закончит. Другой мог бы замолчать, отшутиться, перевести разговор на иное, но Гитлер считал невозможным уподобиться простым смертным; он верил в свое призвание вещать, и его убежденность в примате слова произнесенного над словом написанным мешала ему; он постоянно и мучительно думал о том, как сломать плавное течение обычной застольной беседы, чтобы сделать свои слова предметом будущего исторического рассмотрения. Ему приходилось заставлять себя отстраняться, чтобы увидеть беседу со стороны; это помогало сосредоточиться, подчинить волю и мысль, заложенную в него свыше, и он решительно ломал ровное течение беседы и повторял – всякий раз по-разному – то, что уже когда-то было сказано им или написано.

– Я заказал себе салат, окрошку и гречневую кашу с гусем. Я помню эти названия так хорошо, словно это было вчера. Я помню вкус этой пищи – вкус сытости и лени! И я подумал тогда: «Эта громадная страна с ее богатствами, принадлежащая недочеловекам, бренькающим на балалайках, стоит – молча и угрюмо – на границах с государством германской расы. Если бы их необъятные земли обрабатывались немецким плугом и урожай собирался германским серпом, сколь сильны бы мы стали! Зачем большая мысль о колониях, думал я. Зачем сражение с Англией?! Союз с Англией против России, союз с державой морей, которой нечего делить с будущей державой материка, с державой немцев! Ну, хорошо, возразил я себе тогда, а если союз с Россией против Англии? Нет, ответил я, это нонсенс! Если уже сейчас Россия исподволь, постепенно через своих европейских наймитов – чехов – дурачит австрийцев, если славянское влияние проникло в немецкоговорящую Вену, о каком союзе может быть речь?! Если Россия станет могучей, она перейдет от молчания к диктату, от пропаганды борщом к пропаганде штыком! Нет и еще раз нет! Потомство проклянет

Черчилля за то, что он так утонченно гадил идее германо-британского союза, пользуясь младенческим слабоумием древнего Чемберлена. Удар, который сокрушит Россию, приведет в Лондоне к власти тех здравомыслящих политиков, которые низвергнут Черчилля вместе с прогнившей идеей продажного британского парламентаризма. Придет вождь, который скажет саксам: «Смотрите на континент – там наши братья! С ними – к победе над силами гуннов!» Я помню, как тяжелая брезгливая ненависть вошла в меня, когда юркий чех поставил передо мной тарелку с бело-зеленым русским пойлом. Он сказал на их диком языке: «Приятного аппетита», – но я оборвал его: «Извольте говорить на языке нашего государства!» Он ушел, приниженный. Я подумал, глядя ему вслед: «А может быть, я слишком жесток? Может быть, он отец троих детей и уносит им из этой кормушки поздней ночью куски хлеба, и дети хватают эти объедки худенькими ручонками и жадно их поедают?..» Но я решил, что дух мой будет твердым, ибо он принадлежит не мне и не моему сердцу, ранимому людской болью, а нации германцев, которая должна властвовать в мире, потому что только ее кровь, мозг и мускулы могут принести этому миру истинную свободу. «Да, мне придется, – сказал я себе тогда, – открытыми глазами смотреть на уничтожение людей, которые говорят на чуждом нам языке варваров. Да, возможно, сердце мое содрогнется от боли и глаза исторгнут слезы. Но пусть оно разорвется, мое сердце, пусть глаза ослепнут от слез, если им суждено видеть смерть, – пусть бы только росло и мужало племя германцев, наше с вами племя... Можно ведь привести к власти в Белграде, Варшаве, Праге других лидеров, можно! Можно заставить их клясться в любви к великой Германии. Но разве государственность или идея определяют реальность силы? Чепуха! Бред кудрявых апостолов от марксизма! Как бы ни клялся этот лидер в любви ко мне, он всегда останется славянином, человеком другой, низшей расы! Лишь раса, лишь кровь определяют все в этом мире, а никак не идея. Нет хорошего или плохого славянина! Есть просто славянин! Есть ли талантливый славянин – композитор, поэт, художник? Есть! Именно такой славянин опаснее всего, ибо он рождает и хранит дух. Страх – вот что ломает аристократов духа. Поэтому удар должен быть нанесен прежде всего против славянских талантов! Нации, которые не могут рождать дух, призваны покориться, прежде чем вымереть или превратиться в здоровых, хорошо организованных рабов. Поэтому Кейтель, в первый же день югославской кампании необходимо нанести такой страшный удар по этому племени славян, чтобы их потомки замирали в страхе, встречая германца, их руки непроизвольно тянулись к кепке или папахе, чтобы сорвать ее в поясном поклоне перед победителем. Помните, друзья, опыт предстоящей кампании важен как лаборатория в исследовании возможностей славянского духа, учитывая предстоящую русскую кампанию... Если дорога в ад вымощена благими намерениями, то, быть может, путь в земной рай надо пройти по трупам?

Фюрер хотел сказать что-то еще, но неожиданно для всех поднялся и быстро вышел из комнаты. Следом за ним столовую покинул Борман.

«Пошел записывать, – понял Розенберг, – все-таки рейхслейтер устроился лучше всех – он постоянно соприкасается с гением или с его мыслью».

Вернувшись к себе, Риббентроп продиктовал телеграмму, которую попросил зашифровать и немедленно отправить Веезенмайеру:

«Ускорьте контакты с лидерами усташей. Помните, что чем страшнее будет террор возмездия против изменников сербов, продавшихся Лондону, тем униженнее оставшиеся в живых приползут к сапогам немецких солдат. Удар должен быть нанесен выборочно – и по тупой массе, по толпе, и по носителям духовных ценностей. В последнем случае необходимо ликвидировать всех инакомыслящих хорватов еще более непримиримо, чем сербов, ибо, дай мы тлеть углям неуправляемого хорватского духа, возгорится пламя неповиновения среди тех, кто должен стать на какое-то время карателем сербов...»

Розенберг отправил шифровку своему непосредственному представителю в Загребе – Вальтеру Малетке. Ее содержание резко отличалось от телеграммы Риббентропа.

«Вам надлежит, – писал он своему сотруднику, – сделать Мачека не просто нашим союзником; следует провести с ним такого рода подготовительную работу, чтобы в надлежащий момент он смог объяснить миру гнев хорватов против сербского засилья, и не просто объяснить этот гнев, но обосновать его теоретически, исходя из посылов нашей расовой теории. Эту работу вам надлежит проводить исподволь, настойчиво и энергично, не вмешивая в нее других представителей рейха, занятых по долгу службы в Загребе».

Кейтель продиктовал приказ генерал-фельдмаршалу Листу:

«Сотни самолетов должны обрушиться на столицу Югославии тысячи тонн бомб в первые часы вторжения. Бомбардировка имеет не столько стратегическое значение, сколько демонстративное – как удар возмездия и кара страхом».

Этот документ – в копии – был послан Риббентропу: во-первых, чтобы показать рейхсминистру, как армия откликнулась на слова фюрера, а во-вторых, чтобы министерство иностранных дел сообщило немцам в Югославии о готовящемся налете и предупредило о необходимости – под любым предлогом – покинуть Белград шестого апреля с пяти утра до семи часов вечера.

Начальник имперского штаба Джон Дилл прилетел из Афин в Белград ночью, опасаясь нападения итальянских истребителей. Он был в штатском – такое условие поставил Симович: «Не надо злить немцев, не надо давать им карты в руки». С аэродрома он сразу же отправился к премьеру.

– Мы окажем вам помощь, – пообещал Дилл, – но в пределах реальных возможностей: в Греции у нас всего три дивизии, а Нильская армия не может оголять Суэцкий канал, потому что Роммель набирает силу в Африке. Мы сможем передать вам одну дивизию и одну моторизованную бригаду.

– Но у Листа по меньшей мере двенадцать дивизий.

– Я понимаю, – вздохнул Дилл, – я все понимаю, генерал, но пока еще не изобретен способ создавать солдат из воздуха. Я предлагаю, чтобы наши штабные офицеры начали немедленные переговоры о возможности отступления югославских армий к Салоникам, объединения их с греками и с нами и создания общей линии обороны.

– Господин фельдмаршал, речь, в таком случае, пойдет о защите британских интересов на Ближнем и Среднем Востоке, но отнюдь не о защите Югославии, – сказал Симович. – Возможно, наши объединенные части и удержат фронт в Салониках... Это будет означать, что я своими руками отдаю мою родину под власть Гитлера.

– Я понимаю, я все понимаю, господин премьер-министр. Но пока Россия не вступила в войну, единственный гарант европейского возрождения – Великобритания. Как это ни горько говорить, но вы, сражаясь за интересы империи, в большей мере поможете своей родине – в будущем, естественно, – чем если бы в настоящем решились на сражение с Гитлером. Я военный, как и вы, поэтому я говорю по-солдатски открыто и доверительно.

– Ставка на Москву? – спросил Симович. – Я ждал вашего приезда, чтобы окончательно выяснить военные возможности на Балканах. Итак, ставка на Москву. Как вы относитесь к этому?

– Если Кремль согласится выступить против Гитлера самим фактом переговоров с вами, этот шаг – во всех смыслах – будет иметь позитивное значение. И не столько сейчас, сколько впоследствии. Боюсь, впрочем, огорчить вас – мне сдается, что Кремль не рискнет начать с вами переговоры...

...Через два часа Симович вызвал для беседы советского поверенного в делах Лебедева.

– Пусть приготовят чай, – попросил он секретаря, – разговор, видимо, затянется, а я не спал две ночи.

Лишь после того, как Симович испробовал все пути для урегулирования отношений с Германией; лишь тогда, когда югославскому послу в Берлине было сказано, что «после тех актов террора, которым подверглись лица немецкой национальности в Белграде, впредь наши дипломатические отношения переходят на уровень консульских»; лишь после того, как главное командование югославской армии провело ночное совещание с фельдмаршалом Диллом и выявило со всей определенностью, что военная помощь Великобритании может носить лишь символический характер; лишь тогда, когда Симович убедился, что хорватский лидер Мачек по-прежнему саботирует участие в его правительстве и проводит в Загребе сепаратистскую линию, – лишь после всего этого Симович решил начать переговоры с Советским Союзом, хотя он мог и должен был начать их еще три дня назад.

Когда советский поверенный в делах Лебедев сообщил Молотову зашифрованной телеграммой о том, что Симович обращается с просьбой заключить договор о дружбе и взаимной помощи, то есть тот самый договор, который был предложен Белграду Советским Союзом еще несколько месяцев назад, в дни, когда Риббентроп требовал немедленного присоединения Белграда к Тройственному пакту, шифровка эта была доложена Сталину.

– Заигрались, а нам расхлебывай, – попыхивая трубкой, хмуро проговорил Сталин. Он ходил по кабинету, ступая осторожно и мягко. – Что дает разведка? Какие у них данные о ситуации на Балканах?

– Она сообщает, что армии Листа в Болгарии начали передислокацию к западным границам, – ответил Молотов. – В Венгрии происходит концентрация германских войск в районах, которые прилегают к стратегическим дорогам, ведущим на Белград, товарищ Сталин.

– Что же это – война?

– Может быть, демонстрация силы? Нажим на Симовича...

– А поточнее? Война или демонстрация силы? Нельзя ли поточнее? Если война, то, значит, нам предлагает дружбу покойник? Политический покойник? Значит, будущие историки посмеются над доверчивыми глупцами типа Молотова и Сталина, которые подписали договор о дружбе с политическим трупом?

Сталин остановился у стены, и Молотов, глядя на его сутулую спину с чуть опущенным правым плечом, на мгновение раньше движения угадал само движение: Сталин обернулся, и зеленоватые глаза его остановили медленный, изучающий взгляд на лице наркома.

– Если мы пойдем на заключение договора о дружбе, это будет первый договор такого рода в Европе, – сказал Молотов.

– Это будет первый договор со славянской державой, – уточнил Сталин, – которая уже однажды стала объектом мировой войны, определенного рода побудителем войны в Европе. Значит, будущие историки могут попрекнуть Молотова и Сталина в том, что они пошли на поводу у традиционной русской царской политики на Балканах?

Он неслышно повернулся, подошел к столу, взял книгу в сером кожаном переплете, открыл ее и неторопливо прочитал:

– «Благодарю за телеграмму. Очень рад слышать, что Вильгельм старается прийти с Ники к соглашению относительно мира. Мировая война была бы непоправимым бедствием, и я от души надеюсь, что ее удастся предотвратить. Мое правительство, со своей стороны, делает все возможное, предлагая и России и Франции приостановить дальнейшие военные приготовления, если Австрия удовлетворится занятием Белграда и окружающей его сербской территории как залогом для успешного выполнения требований, при условии, что и другие государства тем временем приостановят свои военные приготовления. Георг, король британский...»

Сталин поднял глаза на Молотова, набил трубку, продолжая смотреть куда-то в надбровье собеседника, потом медленно, словно бы сознавая значимость каждого своего слова, уперся пальцем в строчки.

– «Как Англия, так Германия и Австрия хотели локализовать конфликт в Сербии, – продолжал Сталин. – В России агитировала влиятельная партия, желавшая во что бы то ни стало вызвать войну. Нападение России ставило лицом к лицу со свершившимся фактом, и в последнюю минуту в Австрии побоялись приостановить мобилизацию, дабы не опоздать с обороной. Послы не всегда говорили то, чего от них хотело их правительство, – Сталин чуть усмехнулся и сделал короткую затяжку, – они передавали поручения вполне корректно, но если их личное мнение, – Сталин на мгновение поднял глаза на Молотова, в них метались искорки молчаливого смеха, – несколько отклонялось от предписанного, то это разногласие ни от кого не оставалось в тайне...»

– Кто это?

– Коллега... Тоже министр иностранных дел. Чернин. Австриец. Стоит почитать.

Словно бы играя и с собеседником, и с самим собой, Сталин неслышно обошел Молотова, слегка прикоснувшись рукой к его плечу, и сел за стол.

– Единственной преемницей французского духа, то есть европейского духа на нашем континенте, осталась сейчас Россия, славянская держава. В этом парадокс переживаемого историей момента. А кому, как не славянской России, входящей в Союз Республик, протянуть руку славянской Югославии? Политик может оказаться банкротом: государство на определенный период можно стереть с географической карты; народ вечен. Тем более, что мы сейчас – если Политбюро поддержит нашу точку зрения – предпринимает акт мира, а не войны. Думаю, что будущие историки не простили бы нам трусости, узнай они, что мы отказались заключить договор дружбы с народом, со славянским народом, перед лицом возможной агрессии.

– Но риск войны с Гитлером неминуемо возрастет, товарищ Сталин.

– Риск? – переспросил Сталин, и быстрая улыбка тронула его сухие беловатые губы. – Риск – категория постоянная, Молотов. Он существует как объективная реальность каждую минуту. Думаю, что риск был бы куда большим, не ударь мы Гитлера договором с Югославией: это будет чувствительный дипломатический удар. Мы достаточно терпимы к его дипломатическим ударам – он не очень-то с нами церемонится. С другой стороны, народы Европы, попавшие под власть Гитлера, не смогут не оценить этого шага Советского Союза, только слепец не поймет такого шага Москвы. Или глупец. И еще... Видимо, нашу реакцию на предложение югославов ждут в Лондоне и Вашингтоне. Мне кажется, что в случае положительной реакции мы в их лице обретем потенциальных союзников, а это совсем не плохо – иметь добрые отношения со всеми странами, втянутыми в конфликт. Это приведет к такого рода двустороннему нажиму, который неминуемо выпрет нас наверх. Готовьте вопрос на Политбюро, будем обсуждать предложение Белграда. Если они готовы подписать договор, за нами дело не станет. Мне почему-то кажется, что наша с вами позиция не встретит возражений Политбюро. Хорошо бы только свести все три точки зрения – дипломатов, военных и разведки – в одну. Меньше споров, если все же допустить, что они возникнут. Главное, что надо выяснить, – война или демонстрация силы?

Через час после этого разговора начальник разведки доложил Сталину сообщение, полученное через Анкару от Штирлица:

«Центр.

Группа Веезенмайера (оберштурмбанфюрер Зонненброк) ведет работу среди русской эмиграции. Зонненброк выезжал в Белград, где в «Русском доме» имел секретные консультации с агентом М-12, известным среди белогвардейских кругов как Александр Ланин. В Загреб были вызваны агенты IV отдела РСХА Василий Страндман, Николай Чухнов и Николай Примеров, которые перед возвращением Зонненброка в Загреб дали исчерпывающую информацию по поводу состояния русской колонии в Белграде, наиболее значительной из всех в Югославии. Было принято решение (не зафиксированное пока еще в документах) создать «Русский охранный корпус», в случае, если события продиктуют необходимость иметь в Югославии еще одну пронацистскую силу, подчиненную непосредственно СС. Предполагается, что начальником «Русского охранного корпуса» будет генерал Михаил Скородумов или же генерал Владимир Крейтер. Разведывательными акциями будет руководить агент VI отдела СД Владимир Гершельман, который теперь взял свою прежнюю фамилию – фон Гершельман и прежнее имя – Вольдемар. Активно сотрудничает с миссией Веезенмайера руководитель русских фольксдойче Теодор Вальдман. В немецких кругах наиболее интересной фигурой считают агента абвера полковника Симинского. Дали согласие работать на СД генерал Опухтин и русские монархисты Андрей Могила и Георг Эвер, проживающие в Сплите. Среди серьезных военных теоретиков, которые будут сотрудничать с СД, называются генерал Борис Штейфон и полковник Николаев. Лидером коллаборационистов в Хорватии из числа русских эмигрантов называют Михаила Семенова, имеющего собственную фабрику в Осиеке.

Из бесед с членами группы Веезенмайера (Фохт, Зонненброк) следует сделать вывод, что «Русский охранный корпус» будет работать не только в Югославии, но, возможно, и в других славянских странах. Более того, Веезенмайер требует, чтобы высшие русские офицеры немедленно отправились в Берлин для составления топографических карт Советского Союза, считая это задачей первостепенной важности. Зонненброк сказал, что члены «Русского охранного корпуса», который будет создан в тот день, когда и если немецкие войска войдут в Белград, должны быть готовы к операциям против Красной Армии. Прошу подтвердить получение донесений и доклад их руководству. Зонненброк сказал, что к маю «Русский охранный корпус» должен быть «вчерне смонтирован и представлять собой боеспособную единицу». Это третье подтверждение по линии СД, из которого можно сделать вывод, что нападение на СССР готовится в мае.

Юстас».

– Что это вы все в истерику впадаете? – раздраженно спросил Сталин, прочитав телеграмму. – То, по-вашему, Гитлер нападет на Югославию в начале апреля, то на нас – в начале мая. Нельзя быть такими пугливыми. Либо он нападет на Югославию, и тогда ни о каком нападении на Советский Союз не может быть и речи, либо он не нападет на Югославию, и тогда надо еще и еще раз потеревить ваших людей, проверяя и перепроверяя их сведения. Черчилль тоже не дремлет, Черчилль тоже спит и видит, как бы втянуть нас в конфликт. Не оказываются ли ваши люди наивными ребяташками, которых манят на конфете в ад?

– Зорге, Маневич, Радо, Исаев сообщают об одном и том же, товарищ Сталин.

– И Черчилль сообщает об этом же, – по-прежнему раздраженно вставил Сталин. – Черчилль, которого никак не заподозришь в симпатиях к Советской России.

– А если предположить, что в данном случае Черчилль говорит правду?

– Да? – удивился Сталин. – А зачем ему это? Вы скажите вашим работникам, пусть они повнимательнее изучают тех, кто поставляет им такого рода сведения. И ответьте на вопрос, который я задаю вам уже второй раз: Гитлер начнет кампанию в Югославии или нет? А если начнет, когда именно? Приблизительный ответ в данном случае меня не устроит. Срок – день, от силы два.

Той же ночью начальник военно-дипломатического управления РККА заехал без звонка на квартиру югославского военного атташе полковника Максимовича.

– Что-нибудь случилось? – испуганно спросил Максимович. – Уже началось?

– Вас приглашает товарищ Сталин, господин полковник.

...Максимович впервые видел Сталина так близко. До этого он два раза встречал Сталина на приемах, но, как говорил потом Максимович, тот разговаривал с гостями мало, да и то лишь с послами великих держав.

– Не сердитесь, что вас потревожили так поздно? – Голос у Сталина был глуховатый, словно простуженный. Его зеленоватые глаза обняли фигуру Максимовича, отметили количество орденских ленточек, соотнесли это декоративно-цветное количество с возрастом – воевать на первой мировой толком не мог, молод; глаза Сталина зажглись на какое-то мгновение, но быстро потухли, сосредоточившись на желто-зеленом – в цвет глаз – огоньке спички, поднесенной к трубке.

– Господин Сталин, для меня это большая честь – беседовать с вами. В любое время суток.

– У вас, говорят, рабочий день начинается в шесть и кончается в три пополудни, – сказал Сталин. – А у нас начинается в три пополудни и кончается в шесть утра. Так что в чужом монастыре вам приходится жить по чужому уставу.

– Тем более что в этом монастыре такой настоятель. – Максимович позволил себе пошутить.

– Что – страшный настоятель?

– Строгий.

– Ладно, о монастырях позже, полковник, – улыбнулся Сталин. – Я пригласил вас, чтобы поговорить о ситуации в Югославии. Меня часто обвиняют в грубости, и это, конечно, тяжкое обвинение. Поэтому не сердитесь за грубый вопрос: как думаете, сколь долго ваша армия сможет противостоять неприятелю, если предположить войну?

– Наша армия будет биться насмерть.

Сталин поморщился, не скрывая разочарования стереотипным ответом Максимовича.

– Это декларация, а у нас декларировать умеют почище, чем у вас. Меня интересуют факты.

– Мы можем выставить до сорока дивизий.

– Сорока? – переспросил Сталин, и Максимович почувствовал в его вопросе недоверие, подумав сразу, что напрасно завысил цифру: Сталин, видимо, точно знал, что под ружье в случае всеобщей мобилизации может быть поставлено не сорок, а тридцать дивизий.

– Около сорока, – поправился Максимович, отметив про себя, что не может найти правильную линию в разговоре со Сталиным, ощущая все время скованность и робость.

– Скорее всего вы сможете выставить тридцать дивизий, – сказал Сталин. – Так мне кажется.

– Тридцать пять, – чувствуя себя смешным, солгал Максимович.

– Ну что ж, будем считать – тридцать пять, – снисходительно согласился Сталин. – Видимо, это станет возможным только в случае объявления немедленной мобилизации?

Видимо, в дни мира Югославия не может позволить себе такую роскошь – держать под ружьем тридцать пять дивизий?

– Вы правы, господин Сталин.

– А оружие? Зенитная артиллерия? Танки?

Максимович ощутил облегчение: все время, пока шел разговор, он был лишен инициативы и поставлен в положение человека, вынужденного давать однозначные ответы на жесткие и столь же однозначные вопросы. Сейчас этим своим вопросом Сталин позволил Максимовичу перейти в наступление.

– Год назад мы вели переговоры с вашей страной. Мы хотели купить у вас оружие, но уважаемые господа из Наркомата обороны ответили отказом. Поэтому конечно же сейчас мы испытываем серьезные затруднения с вооружением.

– Отказал вам не Наркомат обороны, а я, – глухо ответил Сталин, попыхивая трубкой, лениво поднося ее к усам и так же лениво отодвигая свою небольшую веснушчатую руку, в которой была зажата эта маленькая, вишневого цвета трубка. Он поглядел на полковника, словно ожидая реакции, но тот молчал. – Я считаю, – продолжал Сталин, – что нельзя одновременно сосать двух маток. Вы вели переговоры с Германией, Англией, Францией и с нами. Об одном и том же, о закупке оружия. Я не умею верить людям, которые ведут одновременные переговоры с тремя разными силами.

– С двумя, – заметил Максимович. – Англия и Франция – с одной стороны, а Германия и Советский Союз – с другой.

Глаза Сталина сощурились, лицо мгновенно побелело, словно от удара. Так, впрочем, было лишь несколько секунд. Потом он пыхнул трубкой и повторил:

– С тремя. Англия, Франция и Германия – две воюющие силы, и Советская Россия – третья сила, пребывающая в состоянии мира.

– Говоря о двух силах, я имел в виду пакт между Москвой и Берлином.

– Говоря о трех силах, я имел в виду этот же пакт, – возразил Сталин.

– Мы не могли отвергнуть остальные возможности, сосредоточившись на одной лишь, советской, – сказал Максимович, – в конце концов каждое государство может сопоставлять разные условия, которые выдвигаются во время переговоров.

Проецируя на политику опыт внутривластной борьбы, Сталин понимал, что отсутствие широкой практики внешнеполитических контактов поставило его сейчас в сложное положение. Югослав конечно же прав, когда говорит о необходимости обдумать все предложения, а уже потом остановиться на одном. Понимая правоту Максимовича, Сталин тем не менее в душе не мог согласиться с его доводами.

– Как у вас сейчас с вооружением?

– Мы можем противостоять агрессии, – помедлив, ответил Максимович.

– Что значит «противостоять агрессии»? – удивился Сталин. – Нельзя предпринимать серьезные шаги, не будучи процентов на семьдесят уверенным в победе, в окончательной победе над агрессором, а не в противостоянии ему. Это пассив – противостояние, в то время как агрессия максимально активна.

– По-моему, ваш первый вопрос был сформулирован в плане моего ответа, господин Сталин. Вы спросили меня, сколько времени наша армия сможет противостоять неприятелю.

– Я не имею права формулировать мой вопрос иначе, это может быть расценено как подстрекательство, полковник. Вы же ответили мне декларацией и сейчас продолжаете декларировать. По нашим сведениям, у вас старые чешские танки и почти нет зенитной артиллерии. Немцы продали вам устаревшее оружие. По нашим сведениям, ваша главная ставка – конница, а это смешно в век техники. Меня интересует: озабочен ли новый режим состоянием армии? Меня интересует: предпринимает ли новый режим какие-то меры, чтобы в наикратчайший срок оснастить армию техникой? Какой? В каких количествах? У кого купленной? Меня интересует: известно ли вашему командованию – хотя бы в общих

чертах, – каким и откуда должен быть удар, если допустить начало агрессии против вашей страны? Меня интересует: не дрогнет ли ваше командование, допусти я на миг агрессию и допусти – мы с вами – временные неудачи югославской армии?

– Нет. Наши военные руководители будут продолжать борьбу, какой бы тяжелой она ни была. Нас не сломят временные неудачи.

– Все же вы дипломат во-первых и лишь во-вторых – военный. Будь вы военным во-первых, вы бы неминуемо стали задавать мне столь же конкретные вопросы, как я вам. Вы бы неминуемо были готовы к тому, что сейчас следует просить, в каких пределах и на каких условиях. Как видно, ваши руководители еще не дали вам такого рода установок. Ну что ж, им видней. Однако можете сообщить им, что Советский Союз готов рассмотреть ваши просьбы и помочь вам в самый короткий срок. Тем более что вы так жарко убеждаете меня в готовности сражаться насмерть, хотя это утверждение априорно, а отнюдь не доказано.

– Я немедленно снесусь с моим правительством.

– Снеситесь, – согласился Сталин, поднимаясь из-за стола. – Не люблю суетливых людей, но и копуш тоже побаиваюсь, особенно если предстоит иметь с ними дело. Обстоятельность – это одно, а медлительность – совсем иное. Как, кстати, у вас с дорогами? – уже возле двери остановил он Максимовича неожиданным вопросом. – Весной сильно развозит?

– В горах – да.

– А в поймах? Насколько нам известно, ваши стратегические дороги, те, которые могут быть использованы танковыми соединениями противника, проходят как в горах, так и в поймах рек.

– Сейчас время разливов. Из дома пишут, что Сава сильно разлилась.

– Сава? Это в Хорватии?

– Да.

– А в Сербии? На границах с Болгарией? – очень тихо спросил Сталин. – Там ведь нет рек. Значит, там есть свобода для танкового маневра?

На этом он и расстался с Максимовичем, не сказав на прощанье ничего больше.

Впрочем, больше говорить ему и не надо было, он и так сказал слишком много, это бы понял любой штатский, не то что военный.

Сталин, однако, ошибся: Максимович уловил лишь **нечто**. Определенного мнения о том, чего же хочет его собеседник, он вынести не осмелился.

Многозначительность, заложенная в словах Сталина, была для Максимовича неким таинственным символом, который он не решался расшифровать, опасаясь неверно понять советского руководителя и, соответственно, быть неверно понятым Симовичем. Поэтому по дороге домой он думал, **как** сформулировать отчет о беседе. Существо дела отодвинулось на второй план, став фактом, в определенной мере раздражающим, не дающим полковнику сосредоточиться на его прямой работе: составлении ясных и недвусмысленных отчетов после бесед с военными и политиками – на приемах ли, в кабинетах или даже во время коротких театральные антрактов.

...А Сталину этот полковник понравился.

«Похож на русского, – отметил он. – Такой же открытый. И драться, видимо, будет насмерть. Это он верно говорил. Есть в нем что-то и от грузина, скорее даже от сухумского грузина. И глаза хорошие, чистые глаза. Прямо смотрят, нет в них игры. Таким глазам можно верить».

В четыре часа утра Сталин позвонил Вышинскому на Николину Гору – тот жил в поселке работников науки и искусства.

– Вы еще не спите, товарищ Вышинский?

– Я только что приехал, Иосиф Виссарионович. (Единственным, пожалуй, человеком, называвшим Сталина не по фамилии, как это было принято, а по имени и отчеству, был Вышинский.)

– У вас что-нибудь новое по Югославии есть?

– Нет, Иосиф Виссарионович.

– Меня что-то смущают данные разведки, – сказал Сталин, – они, по-моему, идут за фактами, которые им умело подсовывают. Что передает тот молодой журналист из Белграда? Потапенко, кажется?

– Потапенко? – настороженно переспросил Вышинский и замолчал, выгадывая время. Однако пауза становилась гнетущей, и он осторожно добавил: – Видимо, Потапенко передает свои материалы в ТАСС.

– Поскребышеву сказали, что он вам писал. Вам, товарищ Вышинский. Поскребышев интересовался этим Потапенко по моей просьбе.

– Я сейчас же выясню в ТАССе, Иосиф Виссарионович, и сообщу вам через пять минут.

Он позвонил начальнику ТАССа – тот уезжал домой не раньше семи утра:

– Почему вы перестали присылать нам сообщения Потапенко, Хавинсон?

– Я считал, что...

– А вы поменьше считайте, – облегченно вздохнул Вышинский: он боялся, что журналист уже отозван в Москву. – Информация – не арифметика, тут не считать надо, а информировать. Вовремя, опираясь на разные источники, учитывая все точки зрения. Пришлите мне завтра утром все его материалы, и пусть он там не лодырничает, а работает.

Выслушав Вышинского, Сталин хмыкнул:

– Я уже просил поблагодарить Потапенко за его информацию. Не возражаете?

Вышинский понял, что Сталин знает все, и то, что он знает все **итак** говорит с ним, было огромным облегчением. Он тихо сказал:

– Спасибо, Иосиф Виссарионович. Спасибо вам...

– Это вам спасибо, – не скрывая издевки, закончил Сталин, – я рад, что у вас такие бойкие корреспонденты. Мне, видите ли, не пишут. Мне только жалобы пишут. Жалобы и поздравления.

И, не попрощавшись, положил трубку.

«Дорогой Андрей Януарьевич!

Большое спасибо Вам за поддержку! Я только что получил указание оставаться в Белграде и продолжать работу. Посылаю Вам обзор важнейших новостей. Отправляю только первую часть, пока без анализа, одни лишь факты.

С коммунистическим приветом

А. Потапенко.

«Сегодня в соборе святого Марка надбискуп⁵Хорватии Алойз Степинац провел молебен «Те Деум» в честь нового монарха Петра II. На торжественном молебне присутствовали бан (губернатор) Хорватии Шубашич, его заместитель Ивкович, комендант армии генерал Неделькович, городской голова Старшевич, генералы Марач, Михайлович, Живкович, Мратинкович, Велебит». Это сообщение, поступившее только что из Загреба, представляет серьезный интерес, потому что на торжественном молебне отсутствовал В. Мачек, являющийся признанным лидером Хорватии. Мачек был объявлен как первый заместитель премьера Симовича, однако до сегодняшнего дня он не прибыл в Белград и не сделал ни одного заявления, которое бы подтвердило его желание работать в составе нового кабинета. Здесь предполагают, что Мачек лишь в том случае согласится работать в

⁵ Архиепископ (сербскохорват.).

новом кабинете, если Югославия подтвердит свою верность Тройственному пакту. К сожалению, белградские власти отказали мне в разрешении поехать в Загреб, и поэтому я не могу перепроверить эти сообщения.

Корреспондент «Дейли мэйл» в беседе со мной сказал, что в Лондоне циркулируют слухи о том, что товарищ Молотов проявляет глубокий интерес к ситуации в Югославии. По словам корреспондента (М. Шорн), ему известно, что Молотов заявил в беседе, которая состоялась в Москве с посланником Гавриловичем, о поддержке «Советским Союзом сопротивления Югославии агрессору».

Корреспондент из Лондона передал в газеты сообщение, которое не было пропущено цензурой, о том, что «Советы за кулисами содействуют созданию прочного барьера против дальнейшего проникновения Гитлера на Балканы, имея в виду защиту традиционных русских интересов в проливах».

В Белграде сейчас перепечатана статья из венгерской «Мадьяршаг», где, в частности, говорится: «Фюрер рейха не хочет создавать такого впечатления, будто он насильно заставил Югославию стать членом Тройственного пакта. Германия не торопит Симовича с ответом. Берлин подчеркивает, что до получения официального сообщения из Белграда о том, какую позицию займет кабинет Симовича по отношению к договорным обязательствам, заключенным свергнутым правительством, всякого рода слухам и заявлениям нельзя придавать особого значения. На повестке дня лишь один вопрос: сумеет ли Симович сохранить мир в этом районе Европы, и если да, то каковы его гарантии?»

Югославское телеграфное агентство «Авала» распространило следующее официальное заявление: «Мы уполномочены категорически опровергнуть сообщения некоторых иностранных газет о так называемом скверном обращении с немцами в Югославии и покушении на безопасность их жизни и имущества. Также не отвечают действительности сообщения иностранной печати о том, что в Югославии организованы манифестации против немцев и что колонны манифестантов несли английские и польские знамена и пели песни, в которых выражались угрозы по адресу немцев. Немецкое меньшинство пользуется всеми гражданскими правами и находится в полной безопасности, как и все другие жители Югославии».

После того как здесь стало известно содержание статей в «Дейче Альгемайне Цайтунг», а также в «Берлинер Берзенцайтунг», в которых прямо говорится о подготовке Югославии к войне против рейха («после прихода к власти безответственной клики террористов»), а также о том, что, по словам «Динст аус Дойчланд», «Югославия является самым неконсолидированным – после Чехии – государством в Европе», в местных газетах появились статьи о «традиционной сербскохорватской дружбе». Однако, поскольку статьи эти носят чисто пропагандистский характер, поскольку они слабо аргументированы и никак не обнажают существо национальной проблемы, к этим публикациям здесь относятся весьма иронически. Среди журналистов обсуждается сообщение о прибытии из Загреба в столицу руководителя югославских коммунистов И. Тито. Никаких официальных известий об этом не было, однако обозреватели считают прилет Тито возможным, потому что, во-первых, блок с коммунистами может спасти Симовича, если начнется война, и, во-вторых, оттого что ситуация в Загребе очень тревожная. По слухам, там арестованы выдающиеся идеологи компартии Кершовани, Прица и Аджия, которые много выступали по национальному вопросу, рассматривая его с классовых, марксистских позиций. ЦК КПЮ распространил заявление с требованием немедленного освобождения арестованных коммунистов, среди которых, по слухам, и выдающийся хорватский писатель Август Цесарец, всегда активно выступавший и против великосербского шовинизма, и против хорватского национализма. Его драма о герое восстания прошлого века Евгене Кватернике прошла с огромным успехом три раза, а потом была запрещена загребскими властями. Белград не предпринимает никаких шагов для освобождения

арестованных в Хорватии партийных интеллектуалов, чтобы, по мнению журналистов, близких к правительству, «не ущемлять права Мачека». ЦК КПЮ, требуя немедленного и безусловного освобождения арестованных, напоминает, что Кершовани, в частности, является великолепным знатоком военных проблем, и приводит недавно опубликованный им «Анализ немецких успехов». «Такому человеку, как Кершовани, – считают здесь, – место не в тюрьме, а на переднем крае борьбы против возможной агрессии».

Вышинский позвонил в ТАСС и сказал:

– Из всей информации, которая будет поступать из Белграда, печатайте только официальные сообщения югославского телеграфного агентства, и ничего больше.

А письмо Потапенко он распорядился размножить и разослать членам Политбюро для ознакомления.

...Доктор Мачек принял Веезенмайера ранним утром, и не дома, а в саду, словно давая понять, что здесь следует говорить открыто, не опасаясь прослушивания.

Представитель Розенберга доктор Малетке уже дважды побывал у Мачека, но беседы вел осторожно, ходил вокруг да около главных проблем и выбирал формулировки такие, что стало ясно: он, Малетке, лишь информатор, лишенный права принимать мало-мальски серьезные решения.

С Веезенмайером – предупредив своего секретаря Ивана Шоха, что эта встреча нигде и никем не должна быть зафиксирована, – Мачек решил увидеться, поскольку Шох подготовил кое-какие материалы о том, как этот немец привел два года назад к власти Тиссо в Словакии.

– Я хочу передать вам подарок, – сказал Веезенмайер, доставая из портфеля большую книгу в тисненном кожаном переплете, – надеюсь, он доставит вам удовольствие.

Мачек надел очки: «Никола Тесла. Очерк жизни и творчества великого югославского физика и изобретателя».

– Тесла должен считаться хорватским физиком, ибо он рожден и воспитан здесь, – заметил Мачек. – Блистательно издано. Нюрнберг всегда восхищал меня своей полиграфией. Спасибо. Мне дорого внимание вашей родины к моему соплеменнику.

– И текст удачен. Лейтмотив повествования в том, что несчастный Тесла был вынужден уехать за океан, потому что на родине у него не было возможности творить»

Мачек вздохнул.

– Он уехал, когда в Хорватии царствовали Габсбурги.

– Ох уж эти Габсбурги! – Веезенмайер тоже вздохнул. – Почему-то, когда нападают на австрийцев в присутствии немца, считают, что это нас обижает. Мы всегда проводили точную грань между венцами и берлинцами, всегда повторяли и повторяем, что в ту пору в Австрии страдали не только хорваты, но и германцы.

– Хорваты больше, господин Веезенмайер.

– Так же, как сейчас они страдают от сербов? Или тогда больше?

– Австрийцы конечно же культурная нация, и унижения, которые мы испытывали при них, ранили наше национальное самолюбие. Но терпеть унижения от народа, стоящего порядком ниже, чудовищно.

– Господин Мачек, позвольте быть совершенно откровенным. У меня есть предложение, деловое предложение. Вы были заместителем премьер-министра в кабинете Цветковича. Вы, как я слышал, собираетесь войти в кабинет Симовича. Я могу понять причины, по которым вы решитесь на этот акт гражданского самопожертвования: видимо, хотите любой ценой удержать с таким трудом недавно завоеванную автономию Хорватии.

– Правильно.

– Ну а если представить себе, что вы соберете своих загребских коллег и они предложат вам не входить в кабинет Симовича? Вы откажетесь от портфеля первого заместителя премьера?

– Что это даст?

– Представьте себе, что Берлин получает телеграмму первого заместителя премьер-министра незаконно свергнутого кабинета Цветковича, который просит фюрера ввести в Югославию войска, чтобы восстановить власть, попорченную путчистами. С точки зрения права, такого рода обращение оправдано. С точки зрения конституции, тоже. Ведь Тройственный пакт не расторгнут Белградом, следовательно, вы вправе обратиться за помощью к союзнику...

Мачек пожевал губами.

– Основания для такого рода обращения, – продолжал Веезенмайер, – очевидны: в стране поднимают голову большевистские агенты, представляющие интересы третьей державы; улицы Белграда сотрясают демонстрации. Не сегодня-завтра в стране может победить анархия, и тогда ситуация изменится самым кардинальным образом – у вас уже не будет права обращаться к кому бы то ни было.

– Мы не допустим победы анархии.

– Почему?

– Потому что сильны наши люди и слабы их.

– Вы сильны здесь, может быть. Но и они будут набирать силу. Заметьте, демонстранты открыто идут под лозунгами коммунистов.

– Мы контролируем движение, господин Веезенмайер. Мы знаем о коммунистах больше, чем они могут предположить.

– Хорошо. А британцы? Вы не допускаете возможность военного союза с ними?

– Вам известны реальные силы англичан на Балканах?

– Известны. Но военный союз даже с символом силы будет расценен нами как угроза рейху. И прольется кровь. А я не хочу крови. Поэтому я и пришел к вам.

– Где гарантия, что армия не воспротивится вводу германских войск? Вы можете дать такую гарантию?

– А вы?

– Я не могу.

– А если я дам вам такую гарантию?

– Тогда мы сможем вернуться к этому разговору.

– Господин Мачек, я шел к вам как к другу Германии.

– Если бы вы шли к недругу Германии, вас бы арестовали за такого рода предложение.

– Но мне было бы легче работать дальше, заручись я вашим принципиальным согласием. Естественно, вопрос о вашем назначении премьер-министром был бы в этом случае решенным делом.

– Премьер-министром Хорватии?

– Югославии.

– Господин Веезенмайер, вас, как представителя Германии, интересует государственное понятие, именуемое Югославией, а меня прежде всего тревожит Хорватия. И потом, насколько мне известно, уже есть кандидатура на пост хорватского премьера – Анте Павелич.

– Если вы получите гарантии от Берлина в том, что пост хорватского премьера будет предложен вам, можно надеяться на то, что вы определите свою позицию открыто?

– Я должен подумать. Давайте встретимся чуть позже. И меня очень интересуют ваши гарантии по поводу армии...

Мачек выигрывал время. Ему надо было взвесить все «за» и «против». Допустим, он обратится за помощью, а Гитлер тем не менее войска не введет? Что если Рузвельт пригрозит ему войной? В конце концов именно из-за Балкан началась первая мировая катастрофа. Что

если Гитлер ограничится дипломатическим скандалом? Остаться в памяти поколений человеком, призвавшим иностранцев? Веезенмайер, конечно, серьезная фигура, но ведь в Братиславу он прилетел уже после того, как Прагу заняли танки Гитлера. Он разведчик. Пусть теперь вступают в действие политики и военные. Пусть ему, Мачеку, напишет письмо фюрер. Или Риббентроп, на крайний случай. Пусть они дадут ему гарантии. Тогда он решится на шаг, предложенный Веезенмайером. В конце концов у них тоже нет иного выхода: им нужен повод, чтобы прийти сюда. Не объявлять же Гитлеру войну Югославии только из-за того, что здесь сменили одного премьера на другого! Нет, надо ждать. Гитлер может воспользоваться его обращением для того, чтобы жать на Симовича. Мачек не хочет быть картой в игре. Он сам хочет играть. А в игре нужна выдержка. Он подождет.

Он уже пробовал ускорить события несколько дней назад, в ночь переворота, когда поезд с принцем-регентом Павлом, ехавшим в Блед, был блокирован в Загребе взводом парашютистов Симовича. Мачек, разбуженный телефонным звонком, поехал на вокзал вместе с шефом полиции Велебитом. Он потребовал встречи со свергнутым принцем-регентом.

– Ваше величество, – сказал Мачек, страшись своей решимости, – я отдам приказ Велебиту, мы арестуем людей Симовича, и вы обратитесь к народу по радио...

Павел хрустнул пальцами, тоскливо посмотрел в окно на занимающийся весенний рассвет и спросил:

– А если Симович бросит десант на Загреб? Так хоть я имею гарантию от его людей, что меня с семьей выпустят в Грецию... Рисковать, не имея гарантий?

Мачек не выдержал взгляда принца-регента, ибо тот ждал – это было видно – возражений; он ждал, что хорватский лидер даст ему гарантии, но Мачек вдруг почувствовал огромное облегчение, холод в затылке сменился спокойным теплом, которое разлилось по шее и плечам, и он, вздохнув, согласился:

– Да, конечно, рисковать без гарантий неразумно.

Попытка Мачека, неожиданная для него самого, стать человеком реактивного действия не состоялась. Воистину характер можно сломать – изменить нельзя.

...Маленькие люди, попавшие в сферу большой политики, могут иногда утвердить себя, причем только в том случае, если располагают фактором времени. У Мачека времени не было. Но он не понимал этого, а такого рода непонимание обрекало его на проигрыш. Хотя многие хорваты подшучивали над весьма распространенным боснийским речением «има вакта» («есть время»), выражавшим склонность к неторопливости и лени, Мачек сейчас продолжал мыслить и действовать точно в соответствии с этой фразой...

...Оберштурмбанфюрер Диц позвонил подполковнику Косоричу из ресторана. Фамилию этого человека ему дал оберштурмбанфюрер Фохт. Двенадцать лет назад Косорич, тогда еще молодой подпоручик королевской армии, проходил практику в Гейдельбергском университете. Он познакомился там с двумя почтенными профессорами, которые устраивали для него увлекательные охоты, приглашали в театры и картинные галереи, водили на семейные обеды. Эти господа, коллеги полковника Вальтера Николаи, шефа распущенной после Версаля военной разведки рейхсвера, продолжали тем не менее думать о будущем Германии и налаживать контакты впрок, особенно с молодыми офицерами из соседних стран. Прощаясь со своим новым славянским другом, они открыто представились как его коллеги, военные, и попросили об одной лишь услуге: в случае, если к нему, Косоричу, приедут их друзья, пусть он найдет возможность помочь им.

В поезде Косорич мучительно вспоминал свое знакомство с германскими офицерами день за днем, но ничего такого, что могло бы скомпрометировать его воинскую честь, ни в поведении новых знакомых, ни в своем собственном не находил. Как и всякий человек, он был склонен к самовыгораживанию в значительно большей мере, чем к самообвинению.

«В конечном счете, я оказался звеном, пролетом, что ли, в том мостике, который рано или поздно придется перебрасывать от победителей к побежденным, – размышлял Косорич. – Если я расскажу моему командованию об этих встречах, на меня будут смотреть с недоверием и продвижение по службе задержится, а в двадцать семь лет уже поздно менять профессию. А что я, собственно, открыл немцам? Ничего я им не открыл».

По прошествии пяти лет он забыл об этих своих гейдельбергских знакомых. Напомнили ему о них в начале тридцать третьего. Веселый журналист из мюнхенской газеты привез великолепное издание Дюрера и рекомендательное письмо от профессора славистики Зиберера – того самого Зиберера, который при последней их встрече представился полковником генерального штаба.

«Мой дорогой Косорич, – писал Зибер, – я знаю, что в вашей новой, столь высокой для молодого офицера должности вы загружены работой с утра и до вечера, поэтому я не вправе отрывать вас просьбами, которые могут помешать вам. Но если у нас найдется полчаса, чтобы рассказать моему приятелю из крупной и влиятельной газеты о новых книгах, особенно по народной живописи, о премьерах в театрах и вообще о культурной жизни в Югославии, мы были бы вам весьма и весьма признательны. Я пользуюсь случаем, чтобы передать вам привет от нашего общего друга Карла Ф. Грюсенбаха, который сейчас работает в нашем посольстве в Лондоне».

Журналист из мюнхенской газеты действительно интересовался новостями культурной жизни «развивающейся славянской страны», говорил умно и весело, но за день перед отъездом на родину попросил Косорича показать ему побережье, во время поездки интересовался вовсе не красотами Средиземноморского побережья, а портами, возводившимися неподалеку от итальянской границы. Вел он себя так, что эту его заинтересованность в оборонных объектах можно было расценить как журналистскую всеядность. Однако, сделав несколько снимков, он сел в машину рядом с Косоричем и спросил, не нарушает ли каких-либо запретов. И вместо того, чтобы отшутиться, Косорич ответил, что конечно же нарушает и вообще надо все это делать осторожней, а потом казнил себя за такой ответ, поняв запоздало, что, так ответив, он возвел себя в новое качество – **качество сообщника**. После этого его не беспокоили еще три года, до тех пор, пока к нему не приехал племянник профессора Зиберера. Тот ничего не фотографировал, зато провел два вечера, беседуя с Косоричем по самому широкому кругу вопросов. «Таким военным, как вы, – сказал на прощанье племянник Зиберера, – хочется помогать: вы истинный офицер!» И действительно, после этой беседы Косорич резко пошел вверх по служебной лестнице и получил назначение в Генеральный штаб.

...Когда к нему позвонил человек с немецким акцентом, передал привет от профессора Зиберера и попросил назначить время и место для встречи, Косорич какое-то мгновение колебался, но потом он решил, что тот интерес, который проявит собеседник, поможет ему точнее понять возможную позицию немцев, и на встречу согласился. Выезжая из дома, он понял вдруг, что его мысли об «интересах противника» были некоей защитной формой игры с самим собой: Косорич, который смеялся, ел, садился в машину, входил в кабинет начальника генерального штаба, улыбался солдатам, козырявшим ему у выхода из военного министерства, ласково трепал по щечке жену, постоянно уживался с другим Косоричем, который жил в сокрытом страхе, очень любил Косорича первого, видимого, знакомого всем, и ненавидел отчаянной жалостливой ненавистью Косорича второго, который в самом начале не нашел в себе мужества сказать начальству об этих проклятых зиберерах и грюсенбахах.

...Диц сел рядом с Косоричем, одарил его одной из своих самых широких улыбок и предложил покататься по улицам «обворожительного города». Он так и сказал: обворожительный город. Эти слова никак не вязались с тяжелым лицом немца, и непрямая улыбка (в школе гестапо учили: «Главное – расположить к себе агента. Для этого нужно помнить, что улыбка, открытость, сострадание, щедрость, игра в начальственность и в значимость – главные козыри») показалась Косоричу плохой актерской гримасой.

– Ну, как дела? – спросил Диц, когда они отъехали от ресторана.

– Не имею чести знать, с кем беседую.

– Вам большущий привет от профессора Зибера.

– Он прислал рекомендательное письмо?

– Времени сейчас нет письма писать. Автомобиль служебный? – Диц повернулся и посмотрел в заднее стекло, нет ли хвоста.

– За мной не следят, – сказал Косорич. – Автомобиль собственный.

– Ну а вообще-то как дела? На службе все хорошо?

– Простите, но по какому праву вы задаете мне подобные вопросы?

– Да будет вам, господин Косорич... Я действительно друг Зибера. Он работает в моем отделе...

– Он в вашем отделе? – усмехнулся Косорич, подумав, что врать так откровенно – не лучший способ общения.

– Да, он занимается у меня славянами, – продолжал лгать Диц, не уловив юмора в интонации Косорича. – Он мне докладывал о том, как вы с ним на пари купались в костюмах. Было такое?!

Косорич с недоумением посмотрел на Дица, и тот почувствовал, что подполковник чем-то недоволен, но в силу своей духовной структуры он не мог понять, чем же именно недоволен этот югослав. Закаменев лицом (уроки разведшколы: «Меняй смех на тяжесть взгляда – это действует на агента»), Диц сказал:

– Тут у нас просьбочка: изложите, пожалуйста, к завтрашнему утру ваши соображения по поводу происходящих в армии событий. Кто из армейских вожачков хотел бы урегулировать конфликт путем переговоров с нами?

– Изложить? – удивился Косорич. – Вы меня с кем-то путаете. Я не осведомитель. Я никогда никому ничего не **излагал**.

– Будет вам, господин Косорич. Ваши начальники удивятся, если я дам им прочитать отчеты о ваших беседах с Зибером и о тех вояжах, которые вы совершали с Ульманом.

– С кем?

– С Ульманом. Из Мюнхена... Ах да, он у вас здесь был под фамилией Зарцль. Ну, помните, журналист? Который вместе с вами фотографировал военные порты? Мы ведь все помним и все знаем...

Косорич даже зажмурился от гнева. Он вспомнил интеллигентное лицо Зибера, их беседы о живописи, лошадях, астрологии; вспомнил своих коллег, подчеркнута уважительных с ним, широко образованных и талантливых офицеров, и ему показалось диким продолжать разговор с этим болваном, который властен над ним только потому, что имел доступ к таинственным папкам в гестапо.

Косорич остановил машину на перекрестке, открыл дверцу и тихо сказал:

– Вон отсюда! Научитесь сначала разговаривать!

– Что, что?!

– Вон! Иначе я позову полицейского! Вон!

Фохт во всем подражал Веезенмайеру. Он участливо выслушал Дица, рассеянно посмотрел на Штирлица и, зевнув (было уже два часа ночи), спросил:

– Что же вы предлагаете?

– Я бы кости ему переломал – вот мое предложение. Мерзавец! Говорил со мной, будто чистенький...

– Зачем же кости ломать? Этим занимаются больные люди, садисты. Вы знаете, что такое садизм, Диц? Это проявление маниакального психоза, желание утвердить свою слабость или умственную отсталость за счет страданий другого.

Лицо Фохта стало на какое-то мгновение маской, и Штирлиц вспомнил индуса, с которым встречался в Кабуле, когда тот демонстрировал опыты по управлению кровообращением – он останавливал работу сердца и мог не дышать две минуты.

– Идите, Диц, – сказал Фохт. – Продолжим разговор утром.

Когда дверь за Дицем закрылась, Фохт закурил, налил себе воды и покачал головой.

– Молодец наш Диц, – сказал он, – я боялся, что он все провалит.

Штирлиц посмотрел на Фохта с недоумением.

– Вы хотите сказать, что он уже провалил? – спросил Фохт. – Нет. Он взрыхлил почву. Идиот необходим в каждой комбинации... Ненадолго. Понимаете?

– Нет.

– Будет вам. Веезенмайер сказал, чтобы я ориентировался на вас. Вы же умный, Штирлиц...

– Поэтому и не понимаю.

– Вербуют, как правило, начинающих – в политике, армии, науке, журналистике, не так ли?

– Не всегда. Иногда удается завербовать и состоявшихся.

– Верно. Но состоявшихся вербует руководитель: я, или Веезенмайер, или уже лично ваш шеф Вальтер Шелленберг. Это, в общем-то, и не вербовка, а некий паллиатив договора о дружбе между высокими договаривающимися сторонами. Это исключение не подтверждает правило, о котором я сейчас говорю. Итак, представьте себе, что начинающий, приглашенный к сотрудничеству таким же начинающим, делает карьеру. То есть становится Косоричем. Уважающая себя секретная служба обязана соблюсти «закон уровней». А тот, кто его вербовал, не хочет отдавать свою победу даже начальству, наивно полагая, что отраженный свет его подопечного поможет и ему подняться на ступеньку выше. Вот в чем загадка, Штирлиц. Эта порочная система, доставшаяся вашей службе в наследство от веймарской бюрократии, должна быть разрушена, и, я думаю, эксперимент с Дицем поможет в этом.

– Каким образом? Диц провалил операцию, уровень соблюден не был, и мы потеряли серьезного человека.

– Диц провалил себя. Но не операцию. Косорич сейчас в гневе, и я понимаю его: с ним говорили в такой манере, которую он не может принять. С ним говорили в манере, допустимой только с платными осведомителями. Это дело другое. Косорич не был нашим агентом – в том смысле, в каком их оформляют через картотеку. Он числился другом Германии. А сейчас Диц дал понять Косоричу, что он властен над ним. Представляете состояние Косорича?! Влиятельный военный должен подчиниться нашему детективу. Если бы Косорич тем не менее провел беседу с Дицем, я бы сразу начал проверять, кому он сообщил о своем контакте с противником, то есть с нами. Сейчас он никому ничего не сообщит – слишком униженно себя чувствует. А завтра я принесу ему извинения за вашего сотрудника и пообещаю, что он будет уволен из разведки. Косорич получит удовлетворение. И сделает для меня во сто крат больше, чем сегодня мог бы сделать для Дица. Агент, если вы хотите, чтобы он работал, должен быть вашей возлюбленной; вашим другом, за которого вы готовы драться не на жизнь, а на смерть; вашим братом, перед которым у вас нет секретов. Но если он почувствует себя марионеткой в ваших руках, если ощутит себя как некую данность, исполняющую роль проводника чужой и непонятной ему идеи, он отдаст вам

минимум – в лучшем случае. Скорее всего он не отдаст вам ничего, ибо ему будет неинтересно и он не будет чувствовать своей значимости.

«Сильный парень, – думал Штирлиц, слушая Фохта, – сильный. Не хотел бы я, чтобы он полез еще выше. Такой может стать очень опасным. А ведь полезет. Судя по всему, он не только высказывает крамольные – с точки зрения гиммлеровской разведки – мысли; судя по всему, он умеет показывать класс в работе».

– Чем вы улыбаетесь? – спросил Фохт.

– А разве я улыбаюсь? – удивился Штирлиц.

Он удивился искренне, потому что не уследил за лицом. Подумав о Фохте, о его будущем, он отчетливо понял, что человек этот, представляющий ведомство Розенберга, конкурирующее с гиммлеровским, живет, думает, поступает, планирует лишь для себя, для своей карьеры. Общее – судьба рейха – подчинено в нем личному. Он мог бы заранее подсказать Дицу линию поведения, мог бы помочь ему с Косоричем, но он не сделал этого, ибо хотел, во-первых, унижить офицера из гестапо и, во-вторых, на его поражении возвыситься в глазах начальства.

«А они все-таки повалятся. – Штирлиц, вероятно, улыбнулся именно в эту секунду. – Когда каждый о себе и для себя – тогда все полетит в тартарары – рано или поздно».

Утро принесло известие, вызвавшее странную реакцию у Штирлица: с одной стороны, жалость и досаду на человеческую слабость, а с другой – мстительную радость. Косорич ночью застрелился. И он, Штирлиц, мог сообщить Шелленбергу, что причиной самоубийства Косорича был не Диц, а чиновник розенберговского аппарата Фохт, замысливший операцию без точного учета всех возможностей. А можно и не сообщать: все зависело теперь от того, как поведет себя Фохт, понявший тем же утром, что отныне он в руках Штирлица. Не откройся он ему, виновник был бы очевиден. Но теперь в раскладе игры Штирлица Диц мог оказаться союзником, как, впрочем, и Фохт. И Штирлиц ждал. А в том, что Фохт обязан повести себя определенным образом, сомневаться не приходилось. Гарантом этой уверенности Штирлица была сама структура нацистского государства, когда путь вверх пролегал по костям тех, кто остался внизу.

«Начальник генерального штаба

Гальдер.

11.00. Большое совещание у фюрера. Почти 2,5-часовая речь... Англия возлагает свои надежды на Америку и Россию. Наши задачи в отношении России – разгромить ее вооруженные силы, уничтожить государство...

Будущая картина политической карты России: Северная Россия отойдет к Финляндии; протектораты в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии.

Борьба против России: уничтожение большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции.

Новые государства должны быть социалистическими государствами, но без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы у них образовалась новая интеллигенция. Здесь будет достаточно лишь примитивной социалистической интеллигенции. Командиры частей и подразделений должны знать цели войны. Комиссары и лица, принадлежащие к ГПУ, являются преступниками, и с ними следует поступать как с преступниками.

Эта война будет резко отличаться от войны на западе. На востоке сама жестокость – благо для будущего.

Во второй половине дня – совещание у фюрера:

а) Югославский вопрос. Принято решение в духе моего плана. Лист должен 5 апреля перейти в наступление...»

8. МОЛЧИ И НАДЕЙСЯ

Встречи с эмиссарами Павелича, которые сразу же после переворота ринулись в страну, обходя пограничные посты, Веезенмайер не доверял никому, ибо сам взвешивал и соизмерял силы, которые представляли легальный Мачек и нелегальные усташи. Путь к его, Веезенмайера, победе был именно в этих двух силах: бескровной – мачековской и кровавой – усташеской. Выдавая авансы на будущее тем и другим, Веезенмайер поступал как политик «нового типа» – сначала привязать к себе людей, а уж потом выдвигать того или иного; причем тот, кого он выдвинет на авансцену, уничтожит своего политического соперника, а он, Веезенмайер, останется в стороне.

Со Славко Кватерником, доверенным Павелича, полковником бывшей австро-венгерской армии, Веезенмайер виделся почти ежедневно на двух конспиративных квартирах в пригороде Загреба Тушканце.

С писателем Миле Будаком, ближайшим соратником Павелича, Веезенмайер толком поговорить не смог: тот лежал в больнице. Он вернулся в Югославию открыто, сразу после амнистии тридцать восьмого года, и власти не арестовали его, ибо книги его читались нарасхват и умные люди в министерстве внутренних дел справедливо решили, что суд привлечет к Будаку, а следовательно, и ко всему усташескому движению чрезмерное внимание. Его связи тщательно контролировались, но жил он на свободе, и постепенно интерес к нему пошел на убыль не только в Белграде, но даже и в Загребе.

Именно Будак познакомил Веезенмайера со своим лечащим врачом Нусичем.

– Это наш друг, – пояснил он, – хотя официально состоит в партии Мачека. К нему приходят все наши связные от Павелича.

...Веезенмайер отложил альбом с рисунками Леонардо и поднялся из-за стола.

– Да, мой дорогой доктор, вы правы: живопись, и только живопись – первооснова анатомии. Талантливый врачеватель должен уметь рисовать. Но в таком случае истинный художник обязан снимать боль, не так ли?

Доктор Нусич поморщился.

– Высший стимул развития – боль. Страх перед болью дал анестезию; страх перед болью породил практику межгосударственных отношений, ибо война – это собранная воедино боль миллионов. Боль надо уметь отвлечь, притупить, но ликвидировать боль преступно по отношению к прогрессу.

– Вы когда-нибудь высказывали эту теорию пациентам?

– Когда я пломбирую зуб губернатору Шубашичу, он покрывается потом. Он полон страха. Мой голос действует на него вне зависимости от того, что я ему говорю. Торжество технического гения – скорость, сообщенная электричеством сверлу бормашины, – пугает его куда как больше, чем мои теории.

– Но ведь «сначала было слово», доктор. Сначала надо придумать идею, потом увлечь ею своих соратников, а уже потом идея может стать силой, которая перекорежит мир.

– С моей идеей никто и никогда не согласится. Чем дальше, тем заметнее человечество помещает самое себя в вакуум блаженства. К добру это не приведет...

– А вы боитесь боли?

– Конечно. Но я боюсь ее так, как боятся обожаемого отца. Я боготворю ее.

– Наверняка кое-кто из коллег обвиняет вас в том, что вы привезли из рейха не только оборудование для своего кабинета, но и идеи.

– Почему кое-кто? Все обвиняют меня в этом. Все, кроме русского эмигранта Николаенко, тестя адъютанта здешнего главнокомандующего, – многозначительно добавил Нусич. – Николаенко меня понимает... А нашим невдомек, что, лишь исследуя степень боли, можно понять течение болезни и научиться управлять ею. Вкатывая раковому больному морфий, мы думаем, что оказываем ему услугу. Ерунда! Больной обречен на смерть с того

мгновенья, как в нем родился микроэмбрион опухоли. С этого мгновенья человек должен принадлежать не себе, а медицине. Я должен иметь право заглядывать в его глаза, мять его живот, слушать его вопли и спрашивать: «Куда отдает? Степень отдачи? Где и как болит?» Тогда я спасу – бог даст, в будущем – тысячи и тысячи жизней другим людям.

– Вам страшно заглядывать в глаза страдальцам, доктор?

– Надо **преступить грань**. Сначала надо преступить грань. Тогда вы почувствуете в себе «откровение», ощутите свою высоту и свое право.

Веезенмайер откинулся на спинку стула, лицо его побледнело.

– Что? – спросил Нусич. – Не выпались?

Веезенмайер покачал головой.

– У меня высокий сахар в крови. Внезапные головокружения...

– Диабет?

– Не находят. Видимо, начинается рак... А?

– Вы имеете право носить оружие, так что рак вам не страшен. Он страшен тем, кто должен вымалывать цианистый калий или тащиться к окну, чтобы прыгнуть на асфальт. А еще страшнее он для жизнелюбов: те готовы на любое предательство, лишь бы спасти жизнь.

Веезенмайер потер лоб своими детскими пальцами, на коже остались жирные красные полосы.

– Нервишки надо укреплять, – сказал Нусич, – вегетативная система у вас ни к черту.

– Это потому, что начальство теревит, – вздохнул Веезенмайер и открыл глаза. Лицо его приняло обычный цвет, чуть желтоватый, нездоровый, но не мраморный, как минуту назад. – Требуется точного ответа: провозгласит Мачек независимую Хорватию или нет?

– Об этом спросите Евгена. Только дайте ему поспать еще полчаса, – осторожно глянув на немца, сказал Нусич. – Он всю ночь беседовал с нашими боевиками. Он вам ответит точно. Лично мне кажется, что Мачек на такой шаг не решится... Трус! Мы все, правда, трусы, но хоть скрывать умеем.

– Почему Грац остановился у вас?

– Самая надежная явка. Врач выше подозрений.

– А может, все-таки разбудим? – виновато сказал Веезенмайер. – У меня времени нет, доктор.

Нусич провел Веезенмайера в комнату, где спал Евгений Грац – связник Дидо Кватерника, помощника Павелича, организатора убийства Барту. Евгений Грац лежал, разметавшись на широкой тахте, и улыбался во сне, как младенец.

Веезенмайер приложил палец к губам и шепнул:

– Полиция...

Грац, продолжая улыбаться во сне, сунул руку под подушку, вытащил «вальтер» и, легко вскинувшись с тахты, открыл большие круглые глаза. Лицо его еще какой-то миг хранило улыбку, потом губы сжались в серую резкую линию, и, лишь узнав Веезенмайера, Грац потянулся, заломив жилистые руки за шею.

– Вот всадил бы вам пулю в живот, профессор... Здравствуйте, наконец-то пришли, я тут без вас тоскую.

– Здравствуйте, дорогой Грац, рад вас видеть.

Веезенмайер действительно был рад встрече с посланцем Евгена Дидо Кватерника, которого – по всем нормам партийной этики – он обязан был ненавидеть из-за его происхождения. Хотя, согласно выводам института «чистоты расы», еврейская кровь деда оставалась в крови внука в незначительной пропорции, врачи СС считали тем не менее, что и такие люди являются носителями вредного духа и подлежат «безболезненной ликвидации». Придумывая легенду для Иосипа Франка, согласно которой он был всего лишь пасынком еврея, Веезенмайер тем не менее знал, что это то желаемое, которое лишь на какое-то время может быть выдано за сущее. Однако, несмотря на то, что он знал правду о Дидо Кватернике,

несмотря на то, что он вынес несколько крутых выволочек от Розенберга: «Неужели среди миллионов хорватов надо обязательно выискивать какого-то еврея?! Неужели нельзя было создать другого человека, не испачканного грязью?!» – Веезенмайер тем не менее испытывал к шефу Граца странное чувство, похожее на постоянно удивленное обожание. Чувство это было противоестественным в своей первооснове, ибо к нему примешивались брезгливость, снисходительность, жалость, но никогда в его отношении к Дидо Кватернику не было недоверия. Он верил этому человеку, как себе. Даже больше, чем себе. Он помнил, как Евгений Дидо Кватерник, отвечавший за группу боевиков, привезенных во Францию для ликвидации Барту, охранял своих питомцев, как заботливо покупал им дорогие костюмы и полотняные голландские рубахи, как экономил на себе, но для боевиков заказывал самые вкусные блюда в ресторанчиках, куда они изредка заходили. Он делал все это с любовью, как настоящий друг, зная, что эти люди должны быть выданы им властям и кончат свою жизнь на гильотине. Веезенмайер помнил, как Кватерник бился в истерике, когда пришло сообщение о гибели Владо – шофера в Марселе, растоптанного толпой, и об аресте остальных трех участников покушения. Павелич успокаивал его, гладил по спине, говорил о том, сколь труден и горек путь политической борьбы, а Дидо Кватерник повторял все время: «Они молочка просили, парного деревенского молочка, а я им – кофе, кофе, кофе... Надо было им из-под земли парного молочка достать – когда человек идет последней дорогой, трава на обочинах должна быть мягкой...»

– Я приготовлю кофе, – предложил доктор. – Или, может, хотите кофеина, Грац?

– Не надо, спасибо. Мечтаю о чашке крепкого кофе. В кофеине нет естества, и это сразу же пугает – а вдруг болен?

– Грац, друг, у меня времени в обрез. Давайте обсудим ситуацию, – сказал Веезенмайер.

– Не бойтесь, что в Риме станут землю рыть? Итальянцы ревнивы.

– Ничего. Земля для того и существует, чтобы ее рыли. Давайте подумаем, как нам организовать работу в Югославии...

– В Югославии пусть работают англичане. Мы работаем в Хорватии.

– Надо быть реалистом. До тех пор пока вы не создали независимой Хорватии, нам суждено работать в Югославии. Разве не так?

– Такое уточнение устраивает и Павелича, и Дидо Кватерника, и меня. Когда все случится?

– Скоро.

– Я умею разговаривать с моими агентами и поэтому никогда не даю размытого ответа на точный вопрос – я боюсь, что мне перестанут верить.

– Грац, я штандартенфюрер СС, сиречь полковник, если перевести на язык здешней армейской субординации. А план вторжения у нас и план обороны у вас готовят министры. Скоро – это самое доверительное. Это то, что знаю я. Как скоро? Думаю, в течение двух недель, судя по тому, как меня торопят в Берлине.

– Мы успеем. Мы успеем даже за неделю.

– Рассказывайте, Грац. Тут, кстати, надежно? Аппаратуру установить не могли?

– Дом проверил наш человек, инженер-электрик. Телефон, видимо, ненадежен, но он на первом этаже. Можно говорить спокойно.

Грац сбросил простыню, снял со спинки стула брюки и рубашку, положил их рядом с собой, натянул носки и снова хрустко потянулся.

Веезенмайер поймал себя на мысли, что завидует той уверенности, с которой Грац одевается, не смущаясь своего тела, сильного и натренированного. Веезенмайер представил себя на его месте: он стыдился угрей на плечах, смущался, если кто-то мог увидеть его слабые плечи и неестественно широкий таз, словно насильственно прикрепленный к сухощавой фигуре.

– Штурмовые отряды усташей сейчас организовываются в десятки, – начал Грац. – Эти боеспособные единицы могут выступить в день X повсеместно.

– Оружие?

– Поставили итальянцы.

– Имейте в виду, итальянское оружие надо сначала опробовать. Бывает, что их автоматы во время атаки не стреляют.

– Мы уже опробовали оружие. Теперь второе. Списки тех, кто подлежит уничтожению, составлены, в день X они будут ликвидированы.

– Это все?

– У вас есть дополнительные предложения?

– Да, Грац. То, что вы сделали, очень важно. Однако сейчас надо отладить связь с армией. Выяснить: кто, где, когда. То есть меру боеготовности, новые места концентрации войск, персоналии командного состава. На кого можно положиться и кто будет верен Белграду? Далее, связь с прессой и радио. Необходимо развернуть широкую кампанию дезинформации и распространить слухи, которые вызовут панику, страх и неуверенность. Не улыбайтесь, Грац, не улыбайтесь. Пропаганда – это оружие, которое в определенные моменты оказывается сильнее пушек... Кстати, кто такой Николаенко?

– По-моему, гениальный псих. Доктор вам сказал о его зяте? Адъютантик. Попробуйте. Может получиться.

– Спасибо. Теперь вот что... У вас с русской эмиграцией надежных связей нет?

– У меня лично нет.

– Понятно. А у вас лично, – улыбнулся Веезенмайер, – есть связи с теми, кто знает все о хорватских коммунистах?

Доктор Нусич вошел, держа в руках поднос, на котором были чеканный кофейник и три маленькие чашки на серебряных подставках. Горьковатый аромат турецкого кофе был густым и зримым, казалось, что воздух в комнате стал коричневым.

– Не голодны? – спросил Нусич Веезенмайера.

– Нет. Спасибо. Я стараюсь поменьше есть.

– Зря. Организм сам по себе откажется от того, что ему мешает.

– Я бы съел кусок мяса, – сказал Грац. – Или сыра.

– У меня великолепный соленый сыр. Вам принести, господин Веезенмайер?

Грац поморщился.

– Зачем спрашиваешь? Неси, и все. Буржуазная манера – угощать вопросом. Хорваты угощают, не спрашивая...

– Неприлично навязывать еду, – сказал Нусич, выходя.

Грац проводил взглядом доктора.

– Что касается хорватских коммунистов, то здешние большевистские агитаторы уже в тюрьме, их не выпустили, несмотря на амнистию...

– Я знал об этом в тот день, когда Мачек отдал приказ об аресте. Он арестовал их, чтобы показать нам свою силу... Серьезные люди?

– Очень. Особенно Август Цесарец.

– Талантлив?

– Да. – Грац внимательно посмотрел на Веезенмайера. – Нет, – поняв его без слов, сказал он, – Цесарец на контакт не пойдет. Он фанатик.

– Вы знаете, что Тельман не расстрелян?

– Почему?

– Будет очень славно, когда он обратится к немцам и скажет о правоте фюрера.

Поддержка бывшего врага подчас важнее, чем славословия друга...

– Цесарец не согласится...

– Попробовать можно?

– Можно. У нас надежные подходы к тюрьме.

– Майор Ковалич?

– Ого! Сам признался или он уже давно с вами?

– Ковалич действительно верный человек, – усмехнулся Веезенмайер. – Попробуйте, а?

Цесарец во-первых писатель, а уж во-вторых коммунист. Творческий человек, если он талантлив, всегда сначала «я», а потом «мы».

Грац покачал головой.

– Я не верю, что он согласится...

– А остальные? Которые взяты с Цесарцем? Что это за люди?

– Кершовани и Аджия – профессора, публицисты, теоретики. К их слову прислушиваются, и слава богу, что они лишены возможности говорить.

– Ну а Прица, например?

Лицо Граца стало презрительным.

– Он же серб. Серб, понимаете?

Веезенмайер медленно закурил, не отрывая глаз от Граца.

– Встречаемся завтра вечером. Здесь же. Да?

– Да. Погодите. Попробуйте сыр. Нусич скряга и дает домашним гроши на еду. Но ему присылают с гор великолепный сыр пациенты, которых он спасал от зубной боли.

После встречи с Грацем Веезенмайер вернулся в отель, где у него была назначена беседа с Фохтом. Проинструктировав оберштурмбанфюрера на ближайшие сутки, Веезенмайер поднялся к себе в номер, а Фохт отправился в город.

Он пересек улицу возле стоянки, где бросил свой маленький ДКВ.

– Господин Фохт, – окликнул его человек, сидевший за рулем большого синего «паккарда», – не откажите в любезности сесть на минутку ко мне в машину.

– С кем имею честь? – спросил Фохт, хотя сразу узнал полковника Везича: он только что внимательно разглядывал его фотографии, сделанные в разные годы.

– Да полно вам, – сказал Везич. – У меня личный разговор. Хотите, могу пересесть в вашу колымагу.

– Простите, но я не знаю вас.

– Знаете, знаете. Везич я, господи. Задержу на полчаса, не больше.

...Какое-то время Везич молча вел машину по маленьким улочкам Загреба. Лишь выехав из центра, он обернулся к Фохту.

– Здесь никто не помешает – ни ваши, ни наши.

– Я с детства мечтал о таких романтических поездках, – сказал Фохт. – Но никогда не думал, что соседство Турции может наложить столь заметный отпечаток на южнославянский характер.

– Что вы имеете в виду? Роскошь, храбрость, жестокость?

– Вы убеждены, что Турция – синоним жестокости? По-моему, Византию характеризует усложнение самой примитивной хитрости.

– Занятная трактовка Византии. – Везич посмотрел на часы. – Я уже отнял у вас девять минут. В моем распоряжении двадцать одна минута.

– Могли бы по дороге объясниться.

– Господин Фохт, чтобы не водить коня за хвост, хочу вам сказать, что запись беседы, которую ваш агент проводил с майором Коваличем, у меня в сейфе.

– Мой агент?

– Скажем, агент из вашей группы.

– Кто этот агент и чем занимается майор Ковалич?

– Вашего агента зовут Бранислав Йованович, он человек Евгена Граца, а Ковалич ведет оперативной работой среди политических заключенных. Адрес квартиры, где проходила беседа, нужен?

– Не обязательно.

– Если этот материал ляжет на стол министра внутренних дел, вас всех вышвырнут из Югославии как шпионов. А газетчики напишут, что ваши руководители поторопились: ведь в Словакию ваш шеф, доктор Веезенмайер, приехал уже после того, как танки господина Гитлера заняли Прагу...

– Шантажируете?

– Это не деловой разговор. И потом вы не тот человек, чтобы вас шантажировать. И я не такой человек. И характерами мы с вами отличаемся от несчастного Косорича, не так ли? Хотите ознакомиться с его посмертным письмом? Фотографии вашего сотрудника Дица и покойного Косорича подшиты к делу.

– Вы уже начали дело?

– Начал.

– Но это **ваше** дело? Оно ведь не санкционировано свыше? Вы вправе распоряжаться им так, как подсказывает здравый смысл?

– Именно. Поэтому я и хочу предложить вам помочь мне, господин Фохт.

– В чем именно?

– Я хочу знать цель вашей поездки в Югославию и то, какие инструкции вами получены в Берлине.

– Будем считать, что разговор наш не получился.

– Этим вы даете мне полную свободу действий?

– Полную. Только советовал бы вам руководствоваться в своих действиях немецкой пословицей: «Поспешай с промедлением».

– Я как-то больше тяготею к латыни.

– Вы имеете в виду «промедление смерти подобно»?

– Да.

– К вопросу о том, кто медлит, а кто спешит. Видимо, ваше ведомство ознакомилось с тем, кто я есть, перед тем как выдать мне визу?

– Конечно.

– Теперь давайте рассуждать дальше: переговоры, которые ведутся в Белграде и в Берлине по линии министерств иностранных дел, сейчас в самой серьезной фазе. Вас об этом не информировали? Всегдашняя узость бюрократических ведомств: «Это твое, а то мое». Переговоры идут, и это очень серьезно. От них многое зависит в судьбе Балкан. Всякая попытка ошельмовать меня и моего шефа будет рассматриваться Риббентропом как акт вражды по отношению к рейху. Переговоры будут прерваны. И вина ляжет на вас, полковник Везич. Позволят ли вам вершить судьбы войны и мира?

– А вопрос стоит о войне и мире?

– Бесспорно.

– И что же, с вашей точки зрения, более выгодно в данной ситуации – война или мир?

– Для кого?

– Для Югославии.

– Политику Югославии определяют ее лидеры. Вот мы и хотим понять, чего они хотят: и те, которые сейчас у власти, и те, кто в оппозиции, тайной или явной.

– А что целесообразней для Германии?

– Это зависит от того, каковы намерения – мы имеем в виду истинные намерения – Югославии.

Везич взглянул на часы.

– Мы уложились как будто?

– Как будто.

Через семь минут Фохт пересел в свою машину и сразу же отправился к генеральному консулу Фрейндту, а оттуда в торговую фирму «Юпитер» (эта организация была в свое время куплена ведомством Канариса, но сейчас по договоренности Гимmlера с Кейтелем офицеры абвера, сидевшие «под крышей» торговцев, оказывали самую широкую помощь Везенмайеру и его людям).

А Везич поехал в резиденцию заместителя премьер-министра Мачека.

– Русская нация – не устоявшаяся, в отличие от саксов и латинян, – сердито повторил приват-доцент Родыгин, – это говорю я, русский, до последней капельки русский.

Он то и дело раскланивался со знакомыми, и Штирлиц с усмешкой наблюдал, как злился Зонненброк, считая неуважительной такую манеру вести беседу. Но Ивана Антоновича Маркова-второго это не смущало, он, как, впрочем, и большинство из тех, кто по предложению Зонненброка пришел сейчас в дом генерала Попова, слушал самого себя, говорил для себя и занят был более всего самим собою.

– Неустоявшаяся нация не могла бы сотрясать континент! – сказал Марков-второй. – Индусы и всякие там арапы воистину не устоялись; и поныне бродят, как брага; а мы...

– Будет вам, – перебил его Родыгин, «сделав ручкой» лейб-гвардии корнету Василию Макаровичу фон Розену, – статистика вас опровергает. У русской нации генофонд подвижный, а посему огромное количество флюктуаций при рождении. Из десяти немцев – пусть наши германские друзья не сердятся – рождается пять умственно крепких особей, пять средних и ни одного идиота. На миллион – один гений. А русскую семью отличает громадная отклоняемость от среднего уровня, – он взял Маркова-второго за лацкан пиджака и приблизил к себе, – либо гении, либо идиоты. Поэтому в России всегда было трудно гению и легко идиоту – общенародное сознание-то ориентировалось на человека слабого, который сам не пробьется, силенок мало. Отсюда русский культ богоматери, которая спасет и прикроет. В отличие от готического культа воспарения вверх нас отличает культ земли, культ прикрытия малого великим.

– Иоанн Грозный и Петр Великий – это тоже «малое»?

– Господи, Иван Антонович, – поморщился Родыгин, – не путайте божий дар с яичницей. Вы говорите об аристократах духа. Все они – даже при том, что княгиня Ольга была псковитянка, – все они, как правило, по крови европейцы. Только смешанная кровь и могла придать фактурность нашей хляби, нашему гениальному славянскому болоту.

– Европейская кровь – слишком общее понятие, – заметил Зонненброк, – вы же сами говорили об «устойчивости» саксов и латинян. Но помимо саксов и латинян существует еще такая кровь в Европе, как германская...

– Я предпочитаю оперировать категорией духа, а не крови, – ответил Родыгин. – Латиняне и саксы – нации металлические, их дух ковкий, быстро восстанавливаемый. Возьмите итальяшку: то он, как петух, распушит перья – и в атаку, а то бежит в панике, ну, думаешь, не очухается, а он, глядишь, отряхнулся и снова на рожон прет. А германо-славянский дух кристалличен, ковке не поддается. Он верен себе, противится динамике, изменению, пластике. Консервативный у нас дух, понимаете, в чем фокус весь.

– Я бы все-таки не объединял германский я славянский дух воедино, – сказал Зонненброк, – это несоизмеримые понятия...

– Отчего же, – перебил его Штирлиц, – соизмеримые, вполне соизмеримые.

Продолжайте, пожалуйста, господин Родыгин, это крайне интересно, все, что вы говорите.

Штирлиц взглянул на Зонненброка, словно говоря: «Слушай, слушай внимательно, спорить потом будешь...»

Здесь, в доме генерала Попова, где собрались белогвардейцы, те, кто уповал сейчас на Гитлера как на единственно серьезную антибольшевистскую силу, надо было слушать все и всех. Штирлиц умел слушать и друзей и врагов. Конечно же врага слушать труднее, утомительнее, но для того, чтобы враг говорил, он должен видеть в твоих глазах постоянное сочувствие и живой, а отнюдь не наигранный интерес. Понять противника, вступая с ним в спор резкий и неуважительный, нельзя, это глупо и недальновидно. Чем точнее ты понял правду врага, тем легче тебе будет отстаивать свою правду.

– И славяне, и германцы – великие мистики, – продолжал между тем Родыгин, – а ведь ни англичане, ни французы таковыми не являются, хотя у них и Монтень был, и Паскаль. Они семью во главу угла ставят, достаток, дом, коров с конями. А славянину и германцу идею подавай! Революцию – контрреволюцию, казнь – помилование, самодержца – анархию с парламентом! Только если для славянина все заключено в слове, в чистой идее и он ради этого готов голод терпеть и в шалаше жить, то германец пытается этой духовности противопоставить Вавилон организованного дела!

– Почему же тогда наши с германцами доктрины столь различны? – спросил Марков-второй. – Отчего воюем?

– А это историческая ошибка. Славяне и германцы – два конца одного диаметра.

Почувствовав, что Зонненброк готовится возразить Родыгину, Штирлиц, быстро закурив, спросил:

– Почему вы считаете это ошибкой?

– А потому, что с нами воевать невозможно. Русский народ особый, да и талантлив избыточно. Его, как женщину, победить нельзя. Изнасиловать можно, но разве это победа? Женщину надо победить, влюбив в себя. Россию можно только миром взять, лаской, вниманием. Немка Екатерина взяла ведь. Всех своих царей поубивали, дворян сослали на север, а приехала Софья Ангальт-Цербстская и взяла нацию голыми руками, потому что добром увещевала. И создала государство на немецкий манер: ведь наши губернии – не что иное, как русский вариант германских федеральных земель.

– Вы думаете, славянин хотел этого? – задумчиво спросил Штирлиц.

– А бог его знает, славянина-то. Лично я бога хочу, справедливости я хочу, только я не умею государство построить, потому что Обломов я и всякое дело мне противопоказано!

– Что значит «дело»? Это вторично. Сначала идея. А в высшей своей идее государство должно быть абсолютной формой справедливости, – заметил Штирлиц.

– Это по Платону. – В глазах Родыгина появился интерес, он перестал раскланиваться с гостями и впервые за весь вечер внимательно и колюче осмотрел Штирлица. – Но ведь в России не было государства! Не было его на наших болотах! Какое государство на сибирских болотах? Там ведь и дорог не проложишь! Государство – это не просто идея, это обязательно нечто реальное, это воплощение замысла. А того, что в Европе воплотилось в разных вариантах, в России не смогли сделать ни орда, ни немцы. Сколько вы на нас свою «структуру» ни насылали, она в наших болотах по горло тонула. Но задача-то оставалась! Кто-то наше болото должен поднять! Да, мы такие, мы люди пустыни, люди схимы; это не хуже и не лучше, это очевидность. И не воевать вам против нас, а деловито цивилизовывать, ласково приобщать.

«Занятно, он производит впечатление человека, который играет одновременно на гуслях и на тромбоне, – подумал Штирлиц, – пытается быть угодным и махровым черносотенцам, и тем, которые начали прозревать...»

– Вы из дворян? Барон? – спросил Штирлиц.

– Я барон! – Родыгин залился быстрым, захлебывающимся смехом. – Какой же я барон?!

– Уж такой барон, такой барон, – хохотнул и Марков-второй, чем дальше, тем больше злившийся оттого, что немцы обращают на него так мало внимания, выслушивая бред блаженного Родыгина.

– Я разночинец, милостивый государь, разночинец.

– Разночинец – это русский мещанин? – заинтересовался Зонненброк.

– Ну, это весьма вольная трактовка, – не согласился Родыгин, – русский разночинец совершенно не похож на немецкого мещанина, ибо тот подчинен категории дела и мечтает стать буржуем, а русский разночинец тянется к аристократам духа, чтоб от работы, которая мешает рассуждать, подальше, подальше.

– Это именно то, что я хотел услышать, – сказал Штирлиц. – Поближе к аристократу. Но ведь русская аристократия тяготела к французской мысли. К английской...

– Нет. Англичане с их невероятным, непостижимым аристократизмом куда как больше обижали нас, чем немцы. Они тонко обижают, а ведь наш аристократ, дворянин наш, натура артистическая, обиду чувствует остро. Мужик – нет, он английскую обиду и не поймет, потому что слишком изошрена, но ведь не мужик иноземца в Россию звал; варягов князья звали, на немках и англичанках цари женились. Любовь к французам была, это вы правы. Но мы, дворяне наши, любили их только потому, что с ними **особо** соприкасались. Они для нас вроде прекрасной дамы были. С немцами-то общались непосредственно, а француз за вами; француз – настоящий иностранец, к нему через всю Европу надо переть. Когда Наполеон к нам пришел, что вышло? Вода и кислота. Не соединилось, синтеза не вышло. Мужик мгновенно в леса ушел, потому что француз для него – цыган, европейский цыган.

Зонненброк вдруг рассмеялся и повторил:

– Европейский цыган! Великолепно сказано!

– Именно цыган, – не понимая внезапной веселости Зонненброка, сказал Родыгин. – Он ведь отдельно живет, хоть и не табором, он не смешивается. А немец смешиваться был согласен, он готов был по уши в наше болото влезть, хоть порой и по заднице дерется, хоть и груб. Вон корнет фон Розен – какой он немец, он же русский до последней кровинки!

– Эти ваши слова можно ему передать? – спросил Марков-второй.

– А вы не в дядюшку, милостивый государь, – заметил Родыгин. – Дядюшка ваш промеж глаз бил, а вы норовите сбоку. Прав был Павел Первый, который говорил, что в России тот аристократ, с кем в настоящий миг говоришь. Стоит только отвернуться, он бабой становится.

– Господин Родыгин, я просил бы вас подыскивать... – начал было Марков.

– Господин Родыгин, – Штирлиц перебил негодующую тираду Маркова-второго, – вы пытаетесь доказать наше родство со славянами, оперируя категорией духа. Но ведь матеря духа – философия. А наши философские школы разностны.

– Разве? Русская философия при том, что она с Кантом бранится, ветвь любопытная, своеобразная, но это вам не британский сенсуализм, они все сенсуалисты, хоть и фокусничают; это вам не французский прагматизм, а проявление высокой мистики. Германцы и русские во всех своих философских школах – высокие мистики. Поэтому-то вы нам в Европе родные, вы да эстонцы. Латиняне – люди другого духа, мы с ними ни в чем не сходимся.

– А испанцы? – улыбнулся Штирлиц. – Они ведь похожи на русских, хотя и духом, по вашим словам, ковки, и не кристалличны вовсе.

– Испанец – странное исключение в латинских народах. Точно так же, как норвежцы – близкие нам – странное исключение среди скандинавов. Действительно, испанцы на нас похожи, только они еще более дурные, чем мы. Они азартны, безудержны, они анархисты все. Нас хоть лень спасала, а они что? Уж они-то крови не жалели. Но испанский народ, у которого была величайшая миссия в истории, перешагнул свой пик в пятнадцатом веке, когда Филипп цивилизовал полмира и создал великую католическую систему. Теперь они в

странном состоянии находятся. Франко – это временное; из Испании, как из куколки, новая бабочка родится, как новый немец при Бисмарке родился или новый русский при Ленине.

– А какой же этот новый русский? – сразу же спросил Зонненброк, и в вопросе его явно слышалась настороженность.

– Великий, – ответил Родыгин. – Он одержим идеей дела, этого в России никогда ранее не было.

– Значит, вы ленинист? – поинтересовался Зонненброк.

– Господь с вами! – Родыгин защитно выбросил перед собой маленькие розовые ладони. – Я русский настоящий, каким он и должен быть! Я русский, который герань на окнах любит и чтоб самовар в трактире пыхтел! И чтоб мысль главенствовала, мысль! А не запах пота, столь приятный латинянину или саксу.

Генерал Попов вышел на середину большой комнаты, которая вдруг показалась очень тесной из-за того, что здесь собралось так много народа, и поднял руки.

– Господа, попрошу минуту тишины. Слово для сообщения имеет наш друг из Берлина господин Зонненброк.

– Уважаемые господа, – сказал Зонненброк, когда аплодисменты (любит русская эмиграция аплодировать, спасу нет!) стихли и воцарилась напряженная тишина. – Моему другу и мне поручено сообщить, что правительство великого фюрера готово оказать помощь вашим детям и братьям...

По комнате пошел шепот:

– Наконец-то! Вспомнили, слава богу!

– Мы окажем вам помощь в сохранении знаний, в бережном отношении к тем традициям, которые привели вас к столь горестному шагу, каким по праву считается эмиграция. Мы заинтересованы в том, чтобы профессора и офицеры могли переехать в Берлин, чтобы помочь нам в создании сети учебных заведений для несчастных русских детей.

Генерал Попов снова поднял руки.

– Господа, запись во второй комнате.

Здесь, в Загребе, где русская колония была малочисленна и гестапо имело весьма жидкое досье на белую гвардию, Зонненброк повел работу иначе, чем в югославской столице, где можно было открыто говорить с людьми, завербованными СД прочно, надежно и давно.

Он решил «поиграть» в Загребе, составить подробную картотеку на эмигрантов, проверить ее через врангелевцев в Белграде, а потом уже начать работу с наиболее серьезными и перспективными людьми.

Воспользовавшись тем, что русские эмигранты, разбившись на группы, начали шумные дискуссии, Зонненброк подошел к Штирлицу.

– Ну как? – спросил он. – Сразу все и определим. А? Генерал Попов всех приглашенных зарегистрировал. Я пойду принимать заявления, а вы бы поговорили еще, Штирлиц. Я просил господина Родыгина познакомить вас с инородными националистами – резерв против сталинского интернационала.

Родыгин подвел к Штирлицу Ниязметова и Сухоручко, которые открыто афишировали себя как национал-социалисты.

– Вот, – сказал Родыгин, – ваш коллега хотел побеседовать с нашими инородцами.

Один – в большей мере, другой – в меньшей, прошу любить и жаловать: господин Ниязметов – бухгалтер НАРПИТа, эмигрант второй очереди, бежал после дела мусульманского оппозиционера Султан Гирея. Господин Сухоручко – попович из Станислава.

– Очень приятно. Штирлиц.

– Я с удовольствием поеду в Берлин, – сказал Сухоручко. – Сейчас запишусь у вашего коллеги, и мы потолкуем.

Ниязметов взял Сухоручко под руку, и они пошли во вторую комнату, Штирлиц посмотрел им вслед.

– Ниязметов верит в ислам? – спросил он Родыгина, наблюдая за его вихляющей походкой.

– Ислам для него – некий символ духовной самостоятельности, не более.

– Значит, в России возможен новый исход? Мусульманский?

– Вряд ли. И потом – смотря где. В принципе-то каждая нация должна на чем-то зиждить свою самостоятельность. Хоть плохонькая, но своя литература, хоть плохонькая, но своя музыка. Что, думаете, нашему мусульманину сам по себе ислам нужен? На что ему три жены? Это нам кажется, что он счастливый, а вы думаете, ему легко с этими дамами управляться?! Или обрезание? Вы считаете, он искренне жаждет сыну своему крайнюю плоть резать?! Все эти фокусы символизируют национальное чванство, и ничего больше.

– Наш кайзер думал о создании мусульманских легионов.

– Когда перекраивается карта мира, когда замышлено великое переселение народов, тогда любая нация может оказаться в ситуации, при которой можно выторговать государственность для своих власть имущих. Думаете, здешние усташи не этим живы? Война – особая статья, господин Штирлиц. Вообще-то достоинство личности – главная проблема мира. Человек всегда заплеван и замордован, поэтому в революции и прет. А если не революция, то каждый свою особенность защищает: кто водку лакает, кто за красивой бабой гоняется, кто стихи пишет, а кто суры ислама поет. Центр ислама – Аравийская пустыня, самое непривлекательное на земле место! Другое дело у католиков – Рим, у лютеран – Германия, у православных – Москва. Почему католика в Рим тянет? Тепло там, красиво и еда недорогая. Западноукраинские католики, львовские униаты от века считали себя большими европейцами, чем все остальные славяне, и католицизм для них означал тайную национальную идею, не более. Играть этой своей «национальной идеей» униаты играют, несмотря на то что она иллюзорна, а католицизм для них – некий посошок в дороге, не более.

– Только ли посошок? – спросил Штирлиц, помедлив.

Чем дольше он слушал Родыгина, тем непонятнее был ему этот странный человек, который словно бы жонглировал идеями, словами, понятиями.

«Он хочет казаться блаженным, – подумал Штирлиц, – и ему это удастся, но он похож на актера, который так вжился в роль, что сам не отличает, где игра, а где жизнь».

– Современный католический интеллигент стремится понять Эйнштейна, Жолио, Фому Аквинского, – продолжал между тем Родыгин, – а униат скользит по касательной. У них не тот католицизм, который рождает религиозный дух. Это не католицизм Франциска, Доминика, Бонавентуры. Униаты никогда не выдвигали новых идей.

– Если мне не изменяет память, украинцы дали миру великого философа. У него очень трудная, странная фамилия... Ско...

– Скворода, – подсказал Родыгин и настороженно глянул на Штирлица. – Вы имеете в виду Сквороду?

– Именно.

– Так ведь Скворода был материалистом – не униатом и не католиком. Вообще украинцы – это люди, мыслящие очень реально: они мыслят не вверх, а вокруг себя, вширь, точнее говоря. Для них католицизм не органичен, поверьте мне. Карта в игре, именно карта в игре.

– А униатские пастыри понимают это?

– Конечно. Они великолепно понимают, что католицизм на Украине – явление искусственное, форма драки за уголь и марганец. Поляки – те другое дело. У них есть душевная склонность к католицизму, потому что польская душа более вертикальна, она

постоянно воспалена, утонченна. А украинцы по характеру ближе нам, русским; православияу они ближе. Они ведь братья наши: они и поэтичны вроде нас, они больше язычники, они склонны обожествлять вещи, природу, мать. У них нет того, что создает великую теорию классического католицизма – Данте, например, – надменности. Они люди крепкие, земные, им понятно православие с его лоном, с материнской его укрытостью, с близостью к земле. Ведь Ярослав Мудрый не был ни русским, ни украинцем. Это все азиаты нас расшибли. Не погрязни в распрях орда с туретчиной, не испугайся они прогресса, не цепляйся за свои допотопные завоевательные догмы, глядишь, юг России остался бы под ними. Ан нет, здравый смысл подсказал: «Европа вперед ушла, она технику чтит, на нее и равняйтесь». И появился католицизм. А потом большевики ДнепрогЭС построили – и россы и хохлы к коммунистам откачнулись...

– Вот моя визитная карточка, – сказал Штирлиц, – тут берлинский номер, но я и здешний напишу. Позвоните, пожалуйста, господин Родыгин.

– Спасибо, будет время – непременно позвоню.

– Позвольте мне записать ваш телефон...

– Так у меня его нет, милостивый государь. Откуда же у русского эмигранта телефон?! Я не Манташев какой или Юсупов-Эльстон! Я снимаю квартиры без телефона, какие подешевле...

– Василий Платонович, – окликнул Родыгина высокий, наголо бритый старик с пышными седыми усами, – пойдите отсюда скорее, меня стыд жжет.

– Познакомьтесь, господин Штирлиц, – сказал Родыгин, – это профессор Ивановский. Ивановский руки Штирлицу не протянул, только поклонился, но повторил на великолепном немецком:

– Мне совестно за некоторых соплеменников моих. И вас жаль: собираете в Германии злобных неудачников.

– Мы бы с радостью собирали в Германии наиболее достойных, профессор, – сказал Штирлиц, – но без вашей помощи трудно отличить белое от черного.

– Это вы в порту себе поищите, – брезгливо осветил Ивановский, – там много потаскух, они вам помогут.

Ивановский был бледен, на висках его серебрился пот, глаза лихорадочные.

– Вы должны понять профессора, – пояснил Родыгин, – все происходящее здесь напоминает аукцион. Наиболее уважаемые люди из русской эмиграции не пришли к нам и не придут.

– Мы думали и мечтали об обновлении России, – добавил Ивановский, – это наше дело и наш долг, но служить на потребу иностранной державе мы не станем. Возможен союз равных, мы не против союза России и Германии, как и не против союза России с Францией или Америкой. Но то, на кого вы собираетесь опираться в вашей деятельности, ставит под сомнение искренность Германии в отношении нашей родины.

– Вы имеете в виду Россию?

– Я имею в виду Советскую Россию, вы совершенно правы.

– Почему бы вам не вернуться в Москву? – спросил Штирлиц, и глаза его сузились.

– Если бы меня пустили, я бы вернулся, господин Штирлиц, я бы вернулся. Я готов отдать знания родине, но торговать моими знаниями я считаю ниже моего достоинства. Вехи сменяются сами по себе, евразийское изначалие России – гарантия тому.

– Профессор, мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня слепым чиновником. Ваша точка зрения представляется мне благородной. Я не стану оспаривать вас не потому, что не хочу, а оттого, что невозможно...

Ивановский и Родыгин переглянулись, и в глазах профессора Штирлиц заметил недоумение.

– Сколько я помню, – сказал Штирлиц, – евразийство не предполагало национального примата русских над немцами, да и вообще к вопросам крови относились как к вопросам третьего или пятого порядка. Лично меня привлекло в евразийстве отношение к культуре мира – уважительное отношение.

– Привлекает всегда то, чего лишен, – не удержался Родыгин.

– Если я сейчас лишен Томаса Манна, то, право, меня лично это огорчает, – сказал Штирлиц. (Его счетный мозговой центр сразу же разработал оправдание этой крамольной фразе, допусти он, что один из двух его собеседников – осведомитель гестапо: «Я говорил с врагом, и я должен был предложить ту игру, которая его увлечет. Если армия побеждает врага в схватке, то разведка может победить лишь в том случае, когда противник стал другом»).

– Уж если немец интеллигентен, то он интеллигентен до конца, – сказал Ивановский.

Штирлиц молча пожал руки Родыгину и Ивановскому и пошел в другой зал, взглянуть, чем занят Зонненброк.

«Пусть собирает подонков, – удовлетворенно подумал он, – пусть собирает старых корнетов и выживших из ума генералов. Ивановский здесь не одинок, и это замечательно, что он не одинок. Очень будет обидно, если мне не поверят дома».

– Поехали к Николаенко, – Зонненброк повернулся к шоферу, – это на Медвешчаке; Слесарка, дом семь.

Шофер – немец, постоянно живущий в Югославии и завербованный СД еще в тридцать третьем году, – вертанул руль так, словно выкручивал руки врагу.

Зонненброк похлопал себя по карману, где лежал список русских эмигрантов.

– Мы неплохо поработали, Штирлиц, а? Я, признаться, не ожидал, что улов будет таким интересным.

– А что это за Николаенко? Наш человек?

– Нет. В том-то и дело, что нет. Им интересуются ученые из «седьмого института» СС. Но меня он сейчас занимает с иной точки зрения. Везенмайер рвет и мечет, ему срочно понадобились люди из армии.

– При чем же здесь Николаенко?

– Его дочь замужем за адъютантом здешнего командующего.

– Ну, тогда другое дело. А то я не мог понять, зачем нам русская эмиграция.

– Эти русские будут работать на нас. Надо было, между прочим, сказать о школах для переводчиц – не подкладывать же в конце концов немок под **нужных** нам красных?

– А во имя служения нации? – чуть улыбнулся Штирлиц.

– Нельзя портить кровь и мозг.

– А мозг-то при чем?

– Они же будут что-то чувствовать. А с иностранцами всегда иначе чувствуется, острее, что ли.

– У вас язык Петрарки, – сказал Штирлиц. – Каково с эдаким-то языком писать справки? Наверное, начальство ругает за словесные излишества. Нет?

– Наоборот. Мои справки зачитывают молодым офицерам как образец: начальство любит элемент таинственного, обожает ужасные подробности и интимные пикантности.

– Смотря какое начальство.

– Всякое начальство это любит, – убежденно сказал Зонненброк. – Внимательно понаблюдайте за их глазами, когда вы докладываете о какой-либо сложной операции, связанной с ликвидацией или похищением: у них глаза становятся как у детей, которым читают страшную книжку. Между прочим, вы перекусить не хотите, Штирлиц?

– Я перехватил бутерброд, сыт.

– Ели у русских? Мужественный вы человек. Я не могу. Ничего не могу с собой поделать. Понимаю, что ради дела надо уметь есть дерьмо, но, как доходит до того, чтобы положить в рот хлеб, нарезанный русским, меня выворачивает.

Николаенко жил во дворе маленького домика, во флигеле, который летом наверняка утопал в зелени, сейчас вокруг него торчали голые кусты жасмина и сирени с тяжелыми, набухшими уже почками.

Комната, которую занимал Николаенко, была крохотной, не повернуться; теснота была ощутимой еще и потому, что повсюду – на столе, подоконнике, стульях и даже на полу – лежали книги, а вдоль по стенам развешаны самодельные клетки с канарейками.

Выслушав Зонненброка, Николаенко усадил гостей на маленькую скрипучую тахту и, забормотав что-то странное, рассмеялся, глянув на себя в разбитое зеркало, висевшее над старомодным комодом.

Продолжая быстро и путано говорить, Николаенко насыпал корм в резные деревянные блюдечки, укрепленные в каждой клетке. Канарейки у него были диковинные, крупные и до того желтые, что казалось – только что из мастерской химического крашения. Потом внезапно бормотать он перестал, обернулся и другим уже голосом медленно произнес:

– Я рад, что на вашей родине меня верно поняли, друзья. Ум германцев настроен на мою проблему точнее, чем все другие умы мира.

«Господи, как же мне жаль его, – подумал Штирлиц, глядя на старика в стоптанных шлепанцах и лоснящихся брюках, – как мне жалко всех этих несчастных, живущих вне России... Хотя, попадись я им лет двадцать назад, вздернули бы на первой же осине. Да и сейчас бы вздернули. Трудней им сейчас, удали в руках нет, но вздернули бы. Кряхтя и потея, но вздернули. А мне их жаль, как жаль обреченного, с которым говоришь, зная, что диагноз уже поставлен и медицина бессильна».

– Я спрашиваю вас: отчего композитором может быть только мужчина? – без всякой связи говорил Николаенко. – Музыка – это венец творчества, это высшее проявление гениальности, ибо если каждый второй уверен в своей потенциальной возможности написать «Карамазовых» или «Вертера», то на музыку замахиваются лишь полные кретины. Нормальный человек понимает: «Мне это не дано, это удел человека иной духовной конструкции». Так вот, отчего композитор, – спрашиваю я – всегда особь мужского пола?

Николаенко оглядел Зонненброка и Штирлица из-под толстых стекол очков, свалившихся на бугристый конец большого носа. Глаза Николаенко показались Штирлицу бездонно голубыми островками донского неба, такими же чистыми и стремительными.

– Отвечаю, – продолжал Николаенко торжествующе. – Поскольку у птиц пение присуще лишь самцам и является симптомом полового чувства, у мужчин музыкальный гений – в этом я согласен с Мечниковым – составляет вторичный половой признак, вроде усов и бороды. Но если музыкальный дар прямо связан с половой психикой, то отчего же нам отвергать эту гипотезу в приложении к литературе, живописи, политике, наконец?!

– При чем здесь политика? – насупился Зонненброк. – Законы политики питаются иными посылками.

– Ну?! – удивился Николаенко. – А, по-вашему, литератор – это не политик? В его голове рождаются кабинеты министров, он выдвигает своих вождей, он дает миру идеи, которые приводят к социальным катаклизмам, он милует или убивает людей – своих героев, вызванных из небытия силой его духа, – он выжимает у вас реакцию сострадания, интереса, ненависти, и вы говорите, что он не политик?! А Бетховен – не политик? Вагнер? Или Глинка? Чайковский? Скрябин? Они больше, чем политики, они провозвестники чувственной идеи нации!

«Если бы сейчас Зонненброк сказал, что лишь фюрер – единственный провозвестник чувственной национальной идеи, – подумал Штирлиц, – разговор со стариком можно было бы считать оконченным. Но Зонненброк вещает то, что ему предписано партийным

долгом, лишь тем, в ком не заинтересован. Где осталась хоть капля интереса, он сдерживается».

Умение слушать – редкостное умение. Как правило, люди склонны слушать себя, даже когда говорит собеседник, «пропуская» его мысли и доводы через себя.

Штирлиц научился слушать не вдруг и не сразу. Лишь уверовав в то, что каждый человек – это новый, неведомый мир, который предстоит ему открыть, он приучил себя к тому, чтобы слушать непредубежденно и лишь потом, по прошествии времени, выносить окончательное суждение.

Поэтому сейчас, слушая Николаенко, он не торопился считать его слова навязчивым бредом маньяка: «поспешать с промедлением» было вторым качеством Штирлица, которое много раз помогало ему прийти к оптимальному решению после разбора всех возможных вероятностей.

Он видел и чувствовал, что у Николаенко не сходятся концы с концами в его системе, но тем не менее сама постановка вопроса казалась Штирлицу интересной. Талантливое, став всеобщим, обязано служить той или иной идее. Какой именно? Кто преуспеет первым? На что будет обращен талант как категория создаваемая? Кто станет управлять ею? Во имя каких целей? Отсчет в цепной реакции начинается с единицы, а она так важна, эта отправная единица, так важна... Штирлиц привык впитывать всю поступавшую к нему информацию, всю, ибо только время может определить, какая именно информация будет самой важной.

– А чем же – физиологически – объяснить инструмент гениальности? – продолжал Николаенко. – Лишь тем, что возбудитель семенных телец, таинственный и могучий сок простаты, входит во взаимодействие с мозговыми клетками особенно активно, когда на человека воздействует близость прекрасной женщины. Возбуждаемое представлениями половое чувство переходит в эффект творчества! Изящная словесность обезвреживает эти горячие, изнуряющие представления, предлагая творцу выход: строку или музыкальную фразу! Мир находится в смятении оттого, что любовь неуправляема, ибо ученые не поняли скрытого механизма физиологии любви. Платон уверял, что каждый человек – это лишь половина человека; и лишь «мы» – суть «два из одного». Поэтому каждый всю жизнь ищет вторую свою половину, которая и восполнит его тоскующее, одинокое «я». А если не восполнит, если человек так и не осуществит своего идеала в другом человеке, не угадает себя в нем, тогда он сопьется, кончит с собой или же напишет о своем идеале, пропоеет его, изваяет. Это относится к творцам, которых единицы. А как быть с теми, кто должен таскать кирпичи и сажать хлеб? Как быть с сотнями миллионов обычных людей?

– Как быть с ними? – полюбопытствовал Штирлиц.

Николаенко торжествуяще потер руки, отошел от клеток с кенарями, которые трещали и свистели на десять голосов, и присел на краешек стола. Зонненброк чуть отодвинулся – от Николаенко разило чесноком.

– Очень просто, – сказал он, приблизив свои пляшущие губы к лицу Штирлица. – Все донельзя просто. Надо пойти на жертву. Человек, признанный гением – в любой области творчества, это не суть важно в какой, – должен согласиться на изоляцию от общества. Он должен лечь в специальную клинику. Причем желательно, чтобы этот гений был стариком... Мы должны получить право исследовать механизм работы желез внутренней секреции, которые постоянно рождают таинственные частицы эроса, подстегивающие мозг: «Твори, ибо ты жаждешь!» Мы должны получить право брать посевы будущей гениальности из этих желез, и тогда мы научимся управлять толпой, подчинив ее созданному нами сверхчеловеку.

– Ваше предложение рассмотрено в Берлине, – перебил его Зонненброк. – Мне поручено передать вам приглашение одной из наших клиник. Вы готовы ехать в Берлин?

– Хоть сейчас.

– Но это может быть неверно воспринято семьей вашей дочери.

– Галей? Тином? Что вы? Тин так же верит в германское «рацио», как и я.

– Уж не он ли посоветовал вам написать в Берлин? – посмеялся Зонненброк, и по тому, как наигранно он смеялся, Штирлиц понял, что это и есть тот вопрос, который интересовал оберштурмбанфюрера больше всех остальных.

– Именно он, – сказал Николаенко.

– Да, но отношения между Германией и Югославией сейчас обострились, – продолжал Зонненброк, – впрочем, я убежден, что это ненадолго. Как он отнесется к тому, что вы уедете в рейх? Может быть, устроить все-таки семейный совет?

– Знаете что, встретимся сегодня у меня вечером, попозже. Я приглашу Тина и Галю, побеседуем все вместе.

– А удобно ли высшему офицеру армии встречаться с иностранцем? – спросил Зонненброк.

– Вы же не шпион! Я всегда отделяю для себя политику от народа. Вы же не фашист, вы научный работник из Германии. Повторяю, Германии, а не какого-то рейха! – воскликнул Николаенко. – Нет, нет, пусть вас это не тревожит. Итак, сегодня в семь прошу ко мне. И, коли не шутите, я начну помаленьку собираться...

– Поменьше вещей с собой берите, – посоветовал Зонненброк, оглядев еще раз комнату. – В рейхе вам предоставят все необходимое.

– А рукописи?! Книги?! Записи бесед?!

– Скажите, пожалуйста, господин Николаенко, – негромко спросил Штирлиц, – вы чувствуете в себе силу работать с гением, которого придется изолировать?

– Вы прямо будто мои здешние русские оппоненты вопрос ставите. – Николаенко даже головой замотал. – Интонационно так же. Сложный вопрос вы мне задаете. Но я отвечу. Как известно, Сухово-Кобылин – был такой великий русский драматург – просидел два года в крепости по обвинению в убиении любимой женщины. В крепости, заметьте себе. Так, может, вместо того чтобы в крепость, его в клинику? Оскар Уайльд? А? А как Ван-Гог страдал в доме для душевнобольных? Или Ги де Мопассан? Поднять потерянное – вот в чем вопрос. По Чернышевскому надо жить – разумный эгоизм. Все остальное – сапоги всмятку! Тем более я не о себе думаю – о человечестве...

«Вот ведь сукин сын, а? – изумился Штирлиц несколько даже растерянно. – Экую исключительность старикашка себе отбивает... Вот оно нищестество в его чисто злодейском виде».

– Очень своеобразно, – сказал Штирлиц, поднимаясь, – я получил истинное удовольствие от беседы с вами, господин Николаенко...

«Штандартенфюрер!

Операция, проведенная по выяснению плана мобилизационных мероприятий югославской армии, была, согласно вашему совету, замыслена как «сопутствующая» приглашению в рейх русского эмигранта Николаенко. Я рассчитывал, что он окажется невольным помощником в той беседе, которую мне предстояло провести с его зятем, адъютантом генерала Зинича. На ужине, который состоялся в доме Николаенко, адъютант генерала Зинича майор Тин Усич, услышав о желании тестя уехать в рейх, согласился с этим его решением. (Лично я считаю поездку Николаенко нецелесообразной, о чем уже сообщил в «седьмой институт» СС. Странная неуравновешенность Николаенко показалась мне несолидной. Приглашение уже отменено.) В результате дальнейшей беседы с Усичем, которая носила доверительный характер, майор сказал, что, с его точки зрения, война между нашими странами была бы безумием. «Я отдаю себе отчет в том, что военная мощь Германии неизмеримо выше югославской военной мощи. Ваша авиация, – сказал он, – предпринимает налеты на Лондон, в которых участвуют сотни современных бомбардировщиков, прикрытых мощными истребителями. Мы

не сможем противостоять вашей воздушной атаке. Вы бросили на Францию тысячи танков, прорвав оборону мощнейшей европейской армии. Нам не под силу сдержать ваш натиск». Такой откровенный разговор показался мне подозрительным. Когда мы вышли во двор с Тином Усичем, я спросил его, не боится ли он так открыто говорить с иностранцем. «А разве я говорил открыто? – понизив голос, спросил Усич. – Я ведь не сказал вам ни слова о том, что я знаю. А знаю я все. В случае войны мне понадобятся деньги, чтобы уехать отсюда, я понимаю, что моя армия обречена. Я готов сказать вам все, если вы уплатите мне деньги». Такой откровенный цинизм показался мне еще более подозрительным, но, поскольку во дворе, как мне казалось, не было возможности наладить подслушивание, а в руках у него не было портфеля, и карманы пиджака не были оттопырены возможной звукозаписывающей аппаратурой, я спросил Усича, сколько он хочет получить денег за мобилизационный план и копии оперативных карт. Он сразу же назвал сумму: пять тысяч долларов. С санкции оберштурмбанфюрера Фохта я вручил ему эту сумму взамен за портфель с документами, который он мне передал. В нем находились план обороны Р-41, мобилизационный план, данные о численности танков и самолетов, находящихся на вооружении югославской армии. Усич также сообщил мне, что получено предписание проводить подготовку к скрытой мобилизации. В первую очередь должно быть отмобилизовано 11 дивизий, из них две кавалерийские, что составляет, по словам Усича, около трети всех вооруженных сил Югославии.

Таким образом, поставленную передо мной задачу я выполнил, о чем и докладываю.

Хайль Гитлер!

Оберштурмбанфюрер Зонненброк».

Веезенмайер пролистал рапорты Штирлица (беседы с директором департамента продовольствия и начальником загребского узла телефонной связи) и новых сотрудников Кунце и Вампфа (пропагандистская и разъяснительная работа среди местных фольксдойче, организация «пятерок», назначение руководителей групп, изучение стратегических объектов, подлежащих захвату или уничтожению).

Работа велась секторально, были охвачены все стороны общественной жизни Югославии. Он, Веезенмайер, знает, что ему делать и о чем писать. Он напишет в Берлин так, чтобы люди, которые станут читать его письмо, поняли всю важность проведенной им, штандартенфюрером СС Веезенмайером, работы.

Поскольку генеральный консул рейха в Загребе Фрейндт был офицером политической разведки РСХА и его шифровальщики связывались прежде всего с Гейдрихом, Веезенмайер решил убить сразу трех зайцев, отправив рапорт и Риббентропу, как своему формальному руководителю, и Розенбергу, являвшемуся идеологом «хорватской операции», через имперское управление безопасности.

«Группенфюрер Гейдрих!

Встреча, состоявшаяся с доктором Мачеком, дает возможность предполагать, что в его лице мы имеем осторожного союзника. Вопрос заключается в том, какую форму примет его согласие оказывать помощь: либо немедленное обращение к нам с открытым призывом ввести германские войска для сохранения правопорядка, либо консультации и контакты с ним после завершения оккупации Югославии. Окончательный и мотивированный ответ я дам в течение ближайших двух-трех дней.

Отправляю Вам мобилизационный план югославской армии, а также самые последние данные о численности войск, возможных направлениях контрударов и

технической оснащенности армии противника. Документы эти получены мною из вполне надежного источника.

Встречаясь с представителями деловых кругов Югославии, как сербской, так и хорватской и словенской национальностей, я вынес твердое убеждение, что «национальный момент» в наших с ними отношениях будет играть подчиненную роль. Представители трех этих – внешне враждующих между собой – групп будут, как я убежден, довольны нашей акцией, поскольку мы сможем надежно гарантировать продолжение их работы, сохраняя личную заинтересованность в проводимых ими банковских операциях, а также в индустриальном производстве, которое будет надежно выполнять наши заказы и предписания.

Контакты с представителем Евгена Дидо Кватерника позволяют надеяться на то, что в день X все потенциальные противники национал-социализма будут изолированы. Ведется работа со всеми проживающими в Югославии фольксдойче.

P. S. Подробную запись беседы с Мачеком прилагаю, рассчитывая, что Вы найдете возможность ознакомить с ней рейхслейтера Розенберга и рейхсминистра Риббентропа.

Штандартенфюрер СС Веезенмайер».

Веезенмайер не мог представить себе, что с этой его шифровкой Гейдрих поступит так же, как сам он поступил только что с рапортами Дица и Зонненброка. Замыкание «на себя», оценка происходящих событий через призму собственного «я» играет, как правило, злую шутку с людьми, которые используют общественную идею для того, чтобы с ее помощью делать собственную карьеру, эксплуатируя мозг и труд нижестоящих. Когда доктрина становится **инструментом** в руках тех, кто прежде всего озабочен собственной судьбой, тогда неминуемо начинает развиваться необратимый процесс гниения идеи изнутри.

...Гейдрих внимательно прочитал рапорт Веезенмайера, запер его в свой сейф, а стенографисту продиктовал следующее:

«Рейхсфюрер!

Рад сообщить Вам, что работа, проведенная мною в Югославии, дает возможность передать в штаб ОКВ мобилизационный план армии противника. Убежден, что эти документы позволят Гальдеру и Листу внести последние коррективы в план «Операция-25».

Хайль Гитлер!

Ваш Гейдрих».

А потом Гейдрих вызвал к себе Шелленберга.

– Мой дорогой Вальтер, – сказал он, – доктор Веезенмайер начинает раздражать меня. Этот розенберговский ставленник хвастлив и тцится на первое место выставить собственную персону. Кто из ваших людей работает в его группе?

– Штирлиц.

– Думающий человек?

– Вполне.

– И вы убеждены в его порядочности?

– Бесспорно.

– Отправьте ему личное письмо. Пусть внимательно присмотрится к тамошней сваре честолюбий.

– Я уже инструктировал его таким образом, группенфюрер.

– Свяжитесь с ним через генконсула Фрейндта. Шифровку отправьте лично.

– Я могу дать ему полномочия?
– Какие?
– На самостоятельность. На определенную самостоятельность.
– Не занесет его?
– Думаю, что нет.
– Хорошо. И попросите, чтобы он размышлял не только о сегодняшнем дне, но и впрок – югославская операция скоро кончится, а нам еще предстоит работать вместе с людьми Розенберга...

9. ВСЕ ДЕЛО В ПЕРЕСЕЧЕНИИ СУДЕБ

Иван был единственным сыном в семье Мишка Шоха. Мишко поначалу крестьянствовал, а потом, накопив деньжат, переехал поближе к городу и открыл маленькую харчевню. Только постоянная бережливость помогла ему сохранить хозяйство. Жена просила на шубу, брат умолял дать в долг под процент на плату за обучение на шофера, но Мишко Шох молча сносил попреки и деньги держал в сундуке, зная, что если уйдет пара⁶, то уплывет и динар, а там и хиляды⁷ не увидишь. Он отказывал себе во всем, чтобы, скопив побольше денег, пристроить к корчме домик, вроде гостиницы для приезжих. Место было красивое: при въезде в Загреб, на Пантовчаке, ручьи неподалеку, и прелыми листьями пахнет, когда ветер подует с гор. Единственное, на что он заставлял себя отрывать от сбереженного, были книги для Ивана – мальчишка рос смышленным, сочинял сестренкам сказки и уже в шесть лет сложил первые свои стихи.

Беда нагрянула в семью Шоха неожиданно: власти надумали расширить дорогу, инженеры расставили хитрые треноги с визирами и прочертили трассу как раз по харчевне с пристроенной уже наполовину гостиницей.

Шох делал все, что мог: по-крестьянски хлебосольно, со **значением** угощал пристава, считая, что от жандарма все зависит в нашей жизни; сделал взнос в епископальную кассу, дважды ходил к адвокату, который что-то невнятно объяснял ему и совал тома кодексов, напечатанные на неведомой Шоху сербской кириллице, и деньги за это брал немалые. Когда подошел срок, отведенный муниципалитетом, прибыли рабочие и дом Шоха порушили. Мишко сидел на пенечке, наблюдая за тем, как разбирали его дом, машинально поглаживал голову сына, прижавшегося к нему, хмуро смотрел на жену, которая стояла возле узлов и, причитая, кормила грудью младшую, крикливую и больную, девочку. Потом, не понимая, видимо, что делает, Мишко медленно поднялся, взял топор, попробовал лезвие – не ступилось ли – и попер на рабочих с протяжным криком.

Мишка скрутили и увезли в полицию. Об этом узнали ныркие репортеры, напечатали его историю в газетах, и в течение двух дней Шох был фигурой известной. В участок к нему пришел нечесаный адвокат – из студентов. Он долго говорил с Шохом о том, что противоречий между трудом и капиталом топором не решишь, что надо всерьез изучать политические науки, в которых только и сокрыт **метод** истинной борьбы против слуг буржуазии, а в конце беседы пообещал взять на себя его защиту, естественно, бесплатно. На другой день к Шоху явился новый посетитель, тоже назвавшийся юристом. Он был постарше и в отличие от давешнего, молодого, в полувоенной курточке, одет был **солидно** : в черном пиджаке и при галстук.

⁶ Сотая часть динара.

⁷ Тысяча.

Дождавшись, пока стражник оставит их вдвоем, адвокат угостил Шоха дорогой сигаретой и сказал:

– Тут у тебя вчера один социалист был, тип препоганый. Ты, Мишко, в корень смотри. Кто по крови пристав, которого ты вином поил? Он серб по крови. Кто тот мудрец, который тебе кодексы в нос тыкал? По отцу-то он вроде хорват, а по матери серб. По чьему плану дорогу решили через твою харчевню тянуть? По плану серба, Мишко. Кто ты для них? Да никто! Хорват! Про это небось вчерашний болтун ничего не говорил, а? Словом, жилье для твоей семьи мы нашли. Преподобный отец Степинац рассказал о твоем горе прихожанам. Деньги тоже какие-никакие соберем. А когда завтра к тебе болтунишка придет, помни, что и он серб и ты ему нужен лишь как жертва, на которой он славу зарабатывает. Дело твое выигрышное, мы его будем вести, мы своих в обиду не даем, а уж если страдаем, так все вместе.

Выйдя из участка – дело до суда не дошло, – Мишко Шох стал молчаливым, подолгу не отводил глаз от сына, который, словно понимая, что горе в доме, стихи свои шептал про себя и сказки сестрам рассказывать перестал. Устроили Мишка в большой отель швейцаром.

В школе, куда определили Ивана, учитель словесности был серб. Рассказывал он интересно, но колы и двойки ставил немилосердно, требуя от своих питомцев и каллиграфии отменной, и абсолютной грамотности.

Когда Шоха вызвали в школу – Иван получил три двойки, одну за одной, – учитель сказал ему:

– Сын у вас очень ленивый мальчик. Он ворон в окне считает, когда я уроки рассказываю. Вам бы не потакать ему, а требовать побольше.

– В отличниках-то небось у вас одни сербы ходят? – тихо спросил Шох.

Учитель вопросу этому не удивился.

– Скажите, – спросил он, – вы где служите?

– Двери открываю, чемоданы господам подтаскиваю.

– Как это место называется?

– Отель «Эспланада» это называется, – зло ответил Мишко.

– Платят мало?

– А где ж их много платят?

– В швейцарах одни хорваты? Или сербы тоже есть?

– Ну, есть...

– А платят как? Всем поровну? Или сербам больше?

– Кто ж им больше платить станет, если у нас хозяин хорват.

Учитель рассмеялся.

– Сами себе и ответили. А что касается моих сербских учеников, то я их не очень-то и отличаю от хорватских. Сам-то я черногорец.

«Значит, мать у тебя сербская», – подумал Мишко, но вслух этого не сказал – все-таки учитель, над сыном его власть имеет.

...Когда Иван отнес свои первые стихи в журнал и ему их вернули, отец утешал:

– Погоди, сынок, будут еще они тебе свои стихи носить, а ты их станешь за дверь выставлять. Только б пришла власть хорватская, Иванушка, только б наша кровная власть пришла.

Иван Шох начал сочинять притчи о том, как тяжело жить хорвату в сербской стране. Притчи были рождены тоской по утерянной земле, воспоминанием о той поре, когда семья жила своим домом, и поэтому они нравились горемыкам, выбитым из жизни молохом капитала, вложенного в строительство, но никак не сербами, такими же, как и они, горемыками, голью перекаточной.

Притчи Ивана Шоха переписывали от руки полуграмотные крестьяне, выброшенные нуждой в город, заучивали их, а потом «добрые» люди, из тех, кто, вроде Миле Будака, на

народном горе становился «личностью», издали его «народные плачи» в Вене, благо писал Иван на латинице, как и все хорваты, а не на варварской кириллице, столь дорогой православному сербскому сердцу.

Благотворительное общество определило Шоха в университет, и он пришел туда как победитель – мало кто из студентов мог похвастаться изданной за границей книгой. Над сочинениями Ивана в студенческой среде подшучивали:

– Тебе бы в прошлом веке жить! Ты ж назадмотришь, а так нельзя – спиной пятиться: в яму ненароком попадешь.

Иван замкнулся, ожесточился, и в его стихах клокотала злоба, рожденная ущербностью честолюбия. Когда другие студенты читали ему стихи Владимира Назора, Поля Элюара, Ивана Горана-Ковачича, Владимира Маяковского, юноша морщился, как от боли.

– Ну о чем, о чем все это?! – восклицал он. – Разве ж от народа все это?! Разве ж народ поймет? Одни ужимки и намеки, одно **изголенье** городское!

– Так они ищут новую форму!

– Нечего форму искать! Если смысл существует, так и форма не нужна! Когда я говорю: «Восстаньте, хорваты, против палачей!» – это без всякой формы понятно!

– А сербам что ж, не восставать?

– Против кого? Серб – он и есть серб, палач ли, жертва ли. Не верю я в разницу между ними, не верю! Все равно за каждым из них сербский король стоит, и сербский премьер, и сербский банкир! А за мной кто?! Сидели бы у себя в Сербии, так ведь нет! Как паразиты, присосались к хорватскому телу, как клещи, впилась! Мы работаем, мы от земли рождены, а они что? На базарах торговать да сладостями обжираться – на что еще способны!

Старый Шох погиб во время усташеских беспорядков двадцать девятого года, когда Ивану только-только исполнилось девятнадцать. Парня посадили на месяц в концентрационный лагерь, но потом, когда начался откат, сопутствующий всякому стихийному взрыву, отпустили на все четыре стороны. Добрые люди дали денег на дорогу, и он уехал в Мюнхен продолжать учение. Языка он не знал, усердием не отличался и поэтому вскоре перестал посещать лекции и пристроился в усташеской газете Илича. Поначалу ему поручали писать политические статьи, но Илич работу Ивана браковал: «Молод, голова не в ту сторону налажена, слишком певуч, в политике посуше надобно». Потом Шох начал сочинять басни, но Илич и это отверг: «Мы серьезный орган, нам не до поэзии, пусть в стихах дома упражняется». Тогда Иван стал «обработчиком»: переделывал статьи, имитируя разные стили, чтобы читателю казалось, будто в газету пишет множество самых разных людей, со всех концов Хорватии. Однако вскорости ему все это надоело, и он вернулся домой – хотелось видеть глаза людей, которые собирались, когда был жив отец, и плакали, когда Иван читал им свои стихи о поле, конях, любви, закатах, и не скупился на похвалу, столь надобную сердцу поэта.

Память о Германии жила в нем: с одной стороны, он навсегда запомнил мощь тамошних городов, жаркий рев машин, богатство магазинов, но, с другой – он особенно остро почувствовал свою ненужность там. И тогда впервые в нем родилась острая жалость к себе, пронзительная жалость, которая могла порой вызвать у него неожиданные слезы, казавшиеся окружающим высшим проявлением поэтического дара.

...Человек, вкушивший творчества, должен стать объектом изучения социологов. Такой человек, будучи освящен известной мерой таланта, имеет возможность понять значительно больше из того, что волнует и мучает его современников. Параллельно этому растет и тираж книг такого художника, и аудитория читателей, и популярность, и, как неминуемый результат формулы «товар – деньги – товар», поднимается его достаток. Художник меньшего дарования или же человек, мнящий себя художником только потому, что он научился складывать слова во фразы, воспринимает успех своего коллеги сугубо болезненно и враждебно. Когда «маленький художник» (хотя в понятии «маленький художник» заключен определенный

допуск, ибо художник маленьким быть не может) начинает ощущать свою ненужность обществу, незаинтересованность в нем и в его работе, он ищет виновных во всех, но только не в себе самом. Тщеславие, а не зависть, подвигло Сальери на беспощадную борьбу. Тщеславие подвигло авторов гитлеровской теории «крови и почвы» на изгнание из рейха гениев литературы и кинематографа, тщеславие привело Ивана Шоха к германскому консулу в Загребе.

Умные люди из германского консульства в Загребе заинтересовались Иваном Шохом и сделали так, чтобы на него обратил внимание доктор Мачек.

В разговоре с германским консулом Иван Шох особо подчеркнул, что не иностранцу он хочет служить, что содействие рейха ему нужно лишь для того, чтобы всемерно помочь делу, за которое он готов отдать жизнь, – созданию независимой Хорватии.

А уж в том, что в Хорватии он отвоюет себе место под солнцем поэзии, Иван Шох не сомневался. Маленький художник, он был большим практиком; он понимал, что конкуренция с поэтами Белграда, Сараева, Скопле отпадет сама по себе, а с хорватскими коллегами всегда можно справиться, если только верой и правдой служить тому, кто должен и может «взять верх». А этим человеком не Павелич будет, он далеко; этим человеком должен стать Мачек.

Германцы свели его с Мачеком. Шох запомнит это благодеяние, но служить он будет хорватскому вождю. Тому, кто помог изданию двух его книг. Тому, кто взял его в свой секретариат и сделал ответственным за вопросы культуры. Тому, кто настоял на опубликовании в трех газетах статей о его, Ивана Шоха, таланте, а он-то, Иван Шох, знал, как этому сопротивлялись редакторы – и Звонимир Взик, и Ладо Новак, и Иво Шримек. Тому, кто вывел его из-под удара полиции, раскопавшей данные о том, что он работал в газете усташей. Тому, кто дал ему автомобиль, квартиру и достаток. Этого не забывает никто, а уж он, Иван Шох, особенно.

Именно этого человека, Ивана Шоха, и пригласил к себе доктор Мачек, когда полковник Везич ушел от него.

– Вот что, Иван, – сказал Мачек, – я не влезаю в полицейские дрязги, но дело крайне срочное. Мне бы хотелось, чтобы кто-то из ваших друзей нашел возможность сообщить по инстанции, что заместитель шефа здешней секретной полиции, курирующий «германскую референтуру», видимо, по указанию из Белграда следит за группой немецких коммерсантов. Нецелесообразно позволять всякого рода злонамеренным слухам уходить из столицы Хорватии в Белград... Фамилии запомните, пожалуйста: господин Веезенмайер, господа Фохт, Диц, Штирлиц и Зонненброк. Полковник Везич просил меня сообщить о факте, как он сказал, «подрывной деятельности» германских гостей непосредственно правительству. У него, сказал он, есть неопровержимые факты и улики. Ему нужна санкция на действия, но он хочет, чтобы я решил, когда именно и каким образом ему надлежит действовать. Я, естественно, пообещал ему связаться с Белградом. – Мачек пожал плечами. – Но я этого делать не стану. Словом, проинформируйте ваших друзей. – Мачек внимательно посмотрел на Шоха и повторил: – Всех. Понятно вам? Дело скверное. Боюсь, что Везич в курсе моей встречи с Веезенмайером. Он не сказал об этом прямо, но говорил так, словно давал понять, почему пришел именно ко мне. Ясно? Он хочет добиться своего руками противников, то есть нашими руками...

– А чего он хочет добиться?

– Он хочет, чтобы эти немцы были немедленно выдворены из Югославии. Он хочет, чтобы мы санкционировали объединение всех сил в стране; он считает, что левые группы снимут сейчас свои бескомпромиссные лозунги и вольются в общий фронт обороны...

– Если позволите, я займусь этим делом сразу же...

– Держите меня в курсе. В самом крайнем случае подключусь я, но желательно, конечно, чтобы мне не пришлось влезать в эту грязь.

Мачек конечно же мог бы пригласить к себе губернатора Шубашича или позвонить шефу департамента внутренних дел, однако в этом случае он должен был прояснить свою позицию – не ограничиваться же ему, лидеру хорватской партии, передачей новостей, которые сообщил полковник Везич, записавшийся на прием «по личному вопросу». Его позиция должна быть четкой и определенной: либо он поддерживает точку зрения Везича, либо отвергает ее. Этот полковник загнал его в угол не теми данными, которые сообщил ему, но самим фактом их встречи. А занимать определенную позицию в таком вопросе – дело рискованное; скажи ему Веезенмайер со всей определенностью: «война», – он знал бы, как поступить с Везичем. Займи правительство жесткую и определенную линию – блок с англичанами, всеобщая мобилизация, открытое обращение за помощью к Белому дому, договор с Москвой, – он бы тоже поступил – с большим или меньшим вероятно – совершенно определенно. Но в момент всеобщих шатаний и полнейшей неясности только глупец и неискушенный дилетант от политики может принимать бескомпромиссное решение. Именно поэтому Мачек до сих пор не вошел в кабинет Симовича. Он ждет. Он не имеет права на опрометчивый шаг – за ним Хорватия.

Мачек знал, что Шох, не играя сколько-нибудь самостоятельной роли, тем не менее мог оказывать давление на людей, от которых зависело прохождение **бумаги**, влияющей самым решительным образом на судьбу того или иного **дела**.

Став секретарем Мачека, Иван Шох отладил личные связи с теми людьми в секретариатах министерств, в свитах военачальников, в редакциях газет и издательствах, от которых зависели судьбы решений, принятых вышестоящими руководителями. Бумагу можно положить в сейф, чтобы она «отлежалась», а можно подсунуть ее на стол министра вне всякой очереди, добавив от себя несколько таких слов, которые решат судьбу дела больше, чем все аргументы, изложенные в ней. Можно отправить в редакцию сухую справку о переговорах в Берлине, Москве или Лондоне, а можно за столом друга-редактора попросить, чтобы газетчики дали по этому поводу большую статью и отметили его шефа так, чтобы всем стала ясна его **истинная** роль в правительстве. Естественно, всякая просьба будет уравновешена выполнением встречной просьбы того человека, который оказывает помощь ему, Шоху, и его шефу Мачеку. Но эти вопросы не всегда решишь по телефону, а на поездки по министерствам и редакциям среди рабочего дня нет времени, поэтому остается одно: собраться в воскресенье и среди шумных разговоров и обильных возлияний обговорить все дела дружески и доверительно.

Практика таких застолий стала постоянной для Ивана Шоха. Именно во время пирушек он обещал поддержку сыну помощника начальника управления внутренних дел Хорватии Шошича. Надо было отправить парня в порядке обмена на учебу в Гейдельбергский университет, и Шох сделал это.

Подполковник Шошич попросил дежурного секретаря не беспокоить его звонками, сказал, что будет с гостем в восьмом кабинете – на случай, если срочно понадобится генералу, – и, взяв Шоха под руку, повел в тихую комнату, где стоял американский холодильник, набитый сырами, фруктами и вином.

– Собираются ввести казарменное положение, – заметил Шошич, – так что придется срочно доставать второй «вестингауз» – мой шеф любит поесть, одного холодильника нам на двоих не хватит... Вина?

– Спасибо, Владимир. Времени на вино нет, да и потом дело, с которым я к тебе пришел, требует трезвой головы... Ты Везича знаешь?

– Везича? Из тайной? Знаю.

– Как ты относишься к нему? Что за человек?

– Ты задал два разных вопроса, Иван. Отношусь я к нему плохо, а человек он умный, очень умный и знающий.

– Почему ты относишься к нему плохо?

– Как бы тебе ответить...

– Яснее, – улыбнулся Шох. – Чтобы я понял.

– Вам, поэтам, важнее почувствовать. Это нам, сыщикам, понимать надо.

– Я спрашиваю о Везиче не как поэт.

– Как секретарь Мачека?

– Нет. Я спрашиваю о Везиче как его враг. Он хочет и может здорово навредить мне.

– В чем?

– Я должен отвечать?

– Ну что ты, Иван. Мне просто важно выяснить, куда от Везича могут пойти выходы: на криминальную полицию, если это связано с любовью и с векселями, или на политическую?

– Почему это важно для тебя?

– Потому что начальник криминальной полиции – мой друг. Как ты. Мы закроем у него любое дело. Любое. Если у тебя неприятности, связанные с этими вопросами, то мы сейчас же пригласим сюда Лолу и решим все на месте. Везич будет бессилён: мы ведь, как пчелы, живём по закону сот.

– Не то, Владимир, не то. Когда я говорю, что он хочет сделать мне зло, то я себя с тобой не разделяю. И с четырьмя миллионами наших братьев кровных тоже. Он хочет сделать зло и тебе, потому что считает всех нас ставленниками Германии. И всех тех, кто хочет мира и добра, он тоже считает агентами Гитлера.

– Хорошо, что ты прояснил ситуацию. Но он крепко сидит. Его сюда прислали из Белграда как соглядатая, хотя он и хорват. Если бы речь шла о другом человеке, о работнике чуть более низкого уровня, вопроса бы не было. А тут надо копать не только отсюда, но и из Белграда, из министерства. Во всяком случае любой его материал должен пройти через канцелярию. То есть через меня.

– Он выбрал окольный путь. Он хочет ударить в спину.

– Вот как...

– И прежде чем он ударит нас, мы должны ударить его. Не медля. Сегодня или завтра. Потом может быть поздно. Что у вас есть на него?

– Ничего. Ровным счетом ничего. Погоди... Я погляжу в картотеке. Но если б на него что-нибудь было, я бы знал об этом... Вот апельсины, угощайся, я скоро вернусь.

Шох очистил апельсин так, что из кожуры получился чертик. Рога неровные, клоунские, а хвост, как у дога, длинный и прямой.

Иван вспомнил, как отец однажды принес ему из отеля апельсин. Диковинный фрукт этот показался мальчику, привыкшему к лепешке и овечьему сыру, волшебным, сказочным, словно бы из другого мира. Когда отец снял кожуру, Ивану стало обидно – такую красоту порушили. Он заботливо завернул апельсин в кожуру и положил на подоконник – пусть всегда будет с ним. Но кожура сморщилась, апельсин ссохся, и мальчик тогда заплакал безудержно и горько. Видимо, только в детстве живут иллюзии, будто красоту можно сохранить навсегда.

– Ну вот, – сказал Шошич, вернувшись, – я был прав. До обидного чист. Никаких замечаний по службе. Отличная работа. Живет с матерью в собственном доме, сигналов со стороны не поступало.

– Дом куплен давно?

Шошич улыбнулся:

– Не на деньги ли иностранцев? Вряд ли. Они так много не платят. – Он полистал странички и прочитал: – «Дом приобретен в 1927 году отцом Везича, директором фабрики «Вега».

– Холост?
– Разведен.
– Дети есть?
– Да, сын, – ответил Шошич, заглянув в формуляр, – восьми лет.
– Бросил ребенка? Хорош хранитель устоев.
– Ты рассуждаешь, как начальник стола кадров, он пользуется точно такими же формулировками. Нет. Жена ушла от него к другому. Сбежала.
– Пил? Бражничал? Женщина ведь зря не уходит.
– Иван, побойся бога!
– Пил и бражничал? – настойчиво, ищуще повторил Шох.
– Нет. Она влюбилась в другого, это тоже случается.
– Сколько ему лет?
– Тридцать девять.
– Хорошо, а баба-то должна быть у Везича? Что это за баба? Вдруг у нее муж? Больше мне ничего не надо. Оскорбленный муж, и все.
– Ты никогда не работал в полиции? У тебя истинно сыщицкий ум, Иван. Сигнал нужен.
– Какой сигнал? Зачем?
– Сигнал – это повод. Я не могу без повода просить об организации наблюдения за Везичем. Напиши-ка мне личное письмо о том, что Везича видят пьяным с проститутками в ночных клубах, что он таскает иностранцев по трущобам. Причем назови точные дни. Проверь по календарю даты престольных праздников, в такие дни он не может быть в кабаках по делам службы.
– Я думаю, мне этого писать не нужно.
– Попроси кого-либо из приятелей.
– Вот я и прошу моего приятеля, – улыбнулся Иван. – Если у тебя нет такого человека, я организую письмо через полчаса. На чье имя?
– Генералу Недичу. Лично. Вручить в собственные руки, государственная важность. Тогда это попадет ко мне. Иначе завалится в канцелярии, и никто не обратит внимания, знаешь, сколько нам пишут...
– Хорошо. Это самое легкое. А если испробовать что потяжелей? Связь с тем, например, за кем вы следите? Связь с врагом?
Шошич посмотрел на Шоха и полез за сигаретами.
– Это хуже. Слежку за ним пустим, телефоны будем прослушивать, но мер никаких не примем – начнем игру. В таком деле важен не столько наш человек, сколько их люди, вся цепь. Если бы ты не ставил таких жестких сроков, другое дело. И потом, должен быть очень серьезный материал, чтобы начать игру. Достоверный материал.
– А может, ударить с двух сторон?
– Слишком будет много. Вызовет обратный эффект: решат, что враг компрометирует сильного работника, который здорово нажимает ему на хвост.
– Хорошо. Я поехал. Через полтора часа **сигнал** будет у тебя, ты уж проследи.
– А дальше? Ну, допустим, мы получим какие-то материалы на Везича. Что потом?
– Что-нибудь придумаем, Владимир. Важно начать немедленно.
Он говорил неправду. Он придумал все, пока ехал сюда. Ему надо было сделать первый шаг: пусть на Везича падет пятно, любое, пусть даже вздорное, пусть даже то, которое можно потом отмыть. Второй шаг предпримет Никола Ушеничник.

Вице-президент издательской корпорации «Хорватские новины» Никола Ушеничник помешал ложкой черный чай, обжигаясь, отхлебнул глоток, пролил несколько капель на

новенький пиджак из твида (как многие толстые стареющие мужчины, он любил одеваться по самой последней моде), закурил и, поднявшись из-за стола, забегал по кабинету.

– А если я подведу наши газеты? – спросил он, остановившись. – Диффамация, клевета и все такое прочее? Хорватской прессе и без того туго живется...

– В худшем случае газету арестуют на один номер. И наложат штраф. Это может быть, Никола. Но такая возможность равна единице. Единица против тысячи.

– Гарантии?

– Мое слово.

– Твое или Мачека?

– Мое или Мачека? – переспросил Иван Шох, чувствуя, как в нем накапливает злорадия. – Мое или Мачека... Ты кого просил о помощи со строительством? Меня или Мачека? Кто тебе сэкономил пять миллионов динаров? Я или Мачек?

– Знаешь что, Иван, только не заносись. Ты сэкономил мне деньги лишь потому, что стал секретарем Мачека. Будь ты поэтом Шохом, ничего бы не сэкономил. А сейчас ты предлагаешь мне ударить по одному из полицейских китов! Я знаю, что это такое: я стукну, а потом все – в сторону. Если бы мне это **поручил** Мачек, тогда другой разговор. Я бы выполнял его указание, я бы тогда служил власти. Я люблю тебя, Иван, но я ведь достаточно платил тебе за помощь. Сколько твоих поэм напечатано в наших газетах? Я ж тебя этим не попрекаю. А ты мне глаза колешь: «Я тебе деньги сэкономил, я тебе дал возможность строиться!» Нельзя так!..

Иван Шох умел показать обиду. И протестовать умел так, чтобы собеседника не то чтобы испугать, но дать понять его вину и – более того – ошибку. У каждого человека, считал Шох, в определенный момент появляется определенное пристрастие, и этому-то пристрастию он подчиняет все свои помыслы. А поскольку Шох старался иметь дело лишь с людьми толковыми, знающими во всем и во всех **смысл**, он точно представлял себе, как такие люди выстраивают многосложные комбинации, основанные на личных отношениях, пересечениях интересов, взаимосвязанностях тех компонентов, которые в конечном счете и влияют на положительный или отрицательный исход дела. А в этой взаимосвязанности особенно четко прочерчиваются дружба или вражда того или иного лица с другим лицом. То есть, рассорившись со мной, ты неминуемо рассоришься с доброй половиной моих приятелей, а они, мои приятели, держат руки на рычагах, и, таким образом, расхождение со мной будет означать для тебя разрыв со многими людьми, которые в иное время помогали, а отныне будут пассивными, и это значит, будут вредить, ибо пассивность – то самое страшное, что может помешать **делу** по-настоящему.

– Ладно, Никола, – медленно сказал Шох. – Извини, что посмел обратиться к тебе с такой просьбой. Виноват. Ну ничего, как-нибудь я свою вину заглажу. Не последний раз видимся, не первые у нас с тобой в жизни дела...

Шох не торопился уходить, он знал, что всякая поспешность необходима лишь в крайнем случае. Надо так вести разговор, чтобы собеседник имел время для ответа, от которого зависело многое не только для него самого, не только для того, кто пришел к нему с разговором, но и для **дела** – будущего и настоящего, реального и возможного.

– Привет домашним передавай, – продолжал Иван, забирая со стола спички и сигареты, – особый поклон батюшке, мудрый он у тебя человек.

– Куда ж ты? погоди, сейчас я скажу, чтобы обед нам накрыли.

– Нет, спасибо, Никола, мне обедать можно только после того, как дела улажены. А сейчас придется к твоим конкурентам ехать...

– Не напечатают, Иван.

– Напечатают. Им ведь и **моего** слова достаточно.

– Обидчивый какой стал... Будто девица.

– Мы на друзей не обижаемся, Никола.

– Это, значит, понимать так, что я теперь и не друг тебе? Да?

Шох сухо засмеялся.

– Не я девица, а ты. Ишь, какие сюжеты придумываешь...

С этим он поднялся и протянул руку.

– Да погоди ты, – нахмурился Ушеничник. – Погоди. Сядь. Так дела не делаются. Сядь.

Начальник генерального штаба

Гальдер.

«Обстановка. Намечается новый балканский союз: Англия – Греция – Югославия. переброска югославских войск в Южную Сербию продолжается. Количество признаков распада югославского государства увеличивается.

Вицлебен (начальник штаба 2-й армии). Совещание по вопросу операции, проводимой 2-й армией. Главный удар наносить левым флангом. Ближайшая цель – высоты севернее Загреба».

10. NIHIL EST IN INTELLECTU, QUOD NON FUERIT IN SENSU ⁸

А Степан и Мирко газет не читали – надо было освобождать усадьбу от строительного мусора, свадьба-то с Еленой через три дня, как только страстная неделя кончится и пасху встретят. Какие уж тут газеты, какая тревога за то, что происходит в далеких и непонятных городах, какие тут радиопередачи, будь то из Берлина, Белграда или Лондона, врут в них все или молчат о правде, только деньги зазря переводят...

...А маленькая художница Анка торопилась закончить работу, она с матерью дюжину полотенец и две скатерти вышивала – красным крестом по беленому полотну, – но от работы им приходилось часто отрываться, потому что мать таскала ее с собой по городу: запастись солью и крупой. Люди говорят, война может случиться, а отец сказал, что в войну без соли погибель...

...А Ганна любила Мийо и была с ним все дни напролет и даже ночи, зная, что Звонимир Взык в своей редакции. И старалась она не слышать улиц, и сняла номер в отеле, где на окнах были старинные тяжелые гардины, – там не то что темно, но и тихо, как в склепе. Ведь когда тайно любят, боятся света да шума...

...А репортер Иво Илич из газеты Звонимира Взика, Ганниного мужа, смотрел на своего первенца со страхом и брал работу на дом, чтобы больше сделать. Взык платил за строку, а если война (не будет войны, не может ее быть!), так хоть побольше денег на первое время и ни в чем мальчику не откажет, пусть весь мир перевернется вверх тормашками! Эх, повезло бы ему, дал бы ему отличиться Звонимир Взык, поручил бы какой важный репортаж, сразу б жизнь переменялась, сразу б из нищеты вылезли, да ведь разве даст! Журналист, если он настоящий, вроде акулы, все сам норовит заглотать, а уж если горячая тема, тут он первый, хоть и редактор, и на машине ездит, и секретаршу держит...

...А дед Александр смотрел на людей, посмеивался и распевал черногорские частушки:
– Нас и русав двеста милиона, нас без русав полакамиона⁹!

⁸ В разуме нет ничего такого, что не содержалось бы раньше в чувстве (лат.).

⁹ Половина грузовика (сербскохорват.).

Весна пришла буйная и до того теплая, что казалось, на улице июнь, а не начало апреля.

Весна в Загребе – пора особая: горы окрест не покрылись еще масляной сине-зеленой листвой, и голубой церковный полумрак, рожденный таянием снегов, казался декорацией, на которой рукою великого художника написаны холодные черные стволы мокрых деревьев. Но в том, как одиноко и осторожно пересвистывались птицы в гулких еще лесах, в страстном бормотанье стеклянных ручьев, в том, как лучи вечернего солнца высвечивали почки на ветвях, словно бы набухших ожиданием, во всем этом, тихом, осторожном и слышимом, угадывалось приближение поры цветения, внезапной здесь, словно в сказке, когда за одну ночь случается чудо и зимний лес становится прозрачной шелестящей рощей.

Штирлиц шел по Загребу. Сверни с центральной Илицы, пройди мимо рестораника «Охотник», поднимись по крутым улочкам Тушканца – и окажешься в лесу; спустись через маленькие проулки – и снова ты среди толчеи, шума и веселой, гомонливой весенней толпы.

Кинотеатры на Илице, и на Петриньской, и на Звонимировой улицах зазывали зрителей. «Унион» крутил новый боевик «Морской волк» с Брэндом Маршаллом и «Квазимодо, звонарь Нотр-Дама». Стояли очереди на новые русские фильмы «Петр I» и «Сорочинская ярмарка», а на площади Кватерникового трга шли попеременно то испанская оперетта «Путь к славе» с Эстелито Кастро в главной роли, то «Героическая эскадра» – фильм, поставленный «летчиком, борцом против английского империализма, капитаном люфтваффе и режиссером Гансом Бертрамом», который специально приехал в Загреб на премьеру. («Этот работает на Канариса, – машинально отметил Штирлиц и, удивляясь самому себе, покачал головой. – Просто люди для меня не существуют, за каждым я вижу чей-то ведомственный интерес. Не жизнь у меня, а служба в картотеке персоналий...»)

Люди толпились у газетных киосков – «Утрени лист» поместил репортаж из Сплита под огромной шапкой «Любовь, которая убивает». Молодая певица варьете Илонка Томпа зарезала своего еще более молодого любовника, танцора Дьюри Надя, а потом заколола себя, оставив записку: «Лишь мертвый он останется моим». Спортивные комментаторы в драматических тонах писали о матчах между «Хайдуком» и «Сплитом», особенно выделяя голкипера Крстуловича и форварда Батинича; как о второстепенном, петитом на второй полосе, сообщалось о предстоящем визите японского министра Мацуоки в Москву, Берлин и Рим; о заявлении Рузвельта, который обязался помогать демократам, сражающимся с силами агрессии; и уж совсем ничего не было в газетах о том, что происходит сейчас в Белграде и Берлине, словно бы действительно ничего и не происходило.

Это поразило Штирлица; он порой ощущал свое бессилие и «букашечную» свою малость в этом громадном, суетливом, веселом, беззаботном весеннем мире, который с открытыми глазами шел к катастрофе, не желая видеть, слышать, сопоставлять, отвергать, проводить параллели, предполагать, думать, одним словом.

Девушки надолго прилипали к витринам обувных магазинов, зачарованно рассматривая новые фасоны босоножек – на толстых каблуках и таких же неестественно толстых подошвах; женщины постарше смеялись: «Вернулась мода двадцатого года – длинное платье, расклешенное книзу»; мужчины вспоминали отцов – на смену узеньким, обтягивающим брюкам пришли клеши, а вместо коротких пиджаков – спортивные длинные куртки с подложенными ватными плечами, со шлицей, и большими накладными карманами; узенький, с ноготок, галстук уступил место широкому, а остроносые черные туфли казались анахронизмом начала века, потому что снова стали модны тяжелые, тупорылые малиновые штиблеты американского образца.

Штирлиц шел среди весенней, шумной людской толпы и сдерживал себя, чтобы не остановиться и не закричать во все горло: «Делайте же что-то, люди! Оглянитесь вокруг себя! Отчего вы так бездумно отдаете другим святое право решать?» Но он понимал, что прокричи он это, соберется толпа, и люди станут смотреть на него с жадным любопытством,

и кто-нибудь побежит звонить в городскую больницу на Петриньской и одновременно в полицию.

«Никогда я ничего не крикну на улице, – сказал себе Штирлиц, – а если сделаю это, значит, я стал маленьким извержившимся трусом. Британцы правы: «Самое трудное – понять, в чем состоит твой долг; выполнить его значительно легче». Надо выполнять свой долг и не качаться на люстре, не позволять эмоциям брать верх над рассудком. А эмоции разгулялись оттого, что я здорово оплошал с этим проклятым мостом, надо было пролистать карты Загреба, тогда не было бы такой дурацкой накладки».

Центр знал, что первую явку связнику в другом городе Штирлиц обычно назначал около самого большого здесь моста, когда становилось уже совсем темно и фонари расплывались на черной воде жирными электрическими тенями. Центр знал, что Штирлиц, приехав в новый город, назначал связь с правой – если смотреть из Москвы – стороны моста, около первого фонаря справа или, если фонарей не было, на первой скамейке справа. Время встречи также было оговорено раз и навсегда – десять часов, как и слова пароля с отзывом: «Интересно, много незадачливых влюбленных бросается с этого моста?» – «Скорее всего, они выбирают другое место, здесь слишком илистое дно». Связник должен держать в правой руке сверток, перевязанный красной тесьмой. Однажды, разговаривая с человеком из Центра, Штирлиц спросил, нет ли каких других пожеланий по поводу его встреч со связниками, может, спецы придумали что поновей.

– Никаких пожеланий, – ответил собеседник. – Правда, кто-то из наших пошутил: «А не правый ли уклонист этот Штирлиц?»

– Ну, правый – это не так страшно, легко различим. Левый страшнее. В правый уклон лезет тот, кто хочет как по привычке, быстрее и лучше, с добрыми, как говорится, пожеланиями, а влево прут честолюбцы, они людей на высокое слово берут, на святое обещанье.

Впрочем, дальше этого разговор не пошел, потому что и времени у них было в обрез, да и товарищ из Центра считал подобного рода дискуссию несвоевременной: как бы «хвост» за собой не потащить, тогда дискутировать придется в другом месте.

Штирлиц обычно приходил на встречу загодя, чтобы осмотреться, приметить всех, кто поблизости, и в зависимости от этого выбрать место, с которого удобнее подойти к человеку, присланному для связи.

Однако в Загребе в центре города моста не было; Сава протекала за далекой рабочей окраиной, и когда в день приезда Штирлиц решил поглядеть на самый большой городской мост, и когда он вынужден был взять в генеральном консульстве машину, чтобы добраться по белградской дороге до Савы, он испытал леденящее чувство одиночества и страха. Встречаться здесь со связным было делом рискованным – оба они тут как на ладони; никаких скамеек и в помине нет; а если связник таскает за собой наружное наблюдение, провал неминуем.

Но и остаться без связи Штирлиц тоже не мог, потому что его односторонняя информация мало что давала. Это как класть кирпичную стену с завязанными глазами – развалится.

Штирлиц опасался сейчас, что связник вообще не придет, ответив Центру, что в самом городе моста нет, а встречаться на Саве равносильно самоубийству. Но тем не менее Штирлиц не изменил своей многолетней привычке, приехал загодя и сразу же заметил у моста одинокую фигуру в белом макинтоше с поднятым воротником, в шляпе, нахлобученной на глаза, и со свертком в правой руке. Человек вел себя странно, суетливо расхаживал вдоль дороги, не выпуская из левой руки руль старого велосипеда.

Штирлиц переехал мост, выключил фары, поставил машину на обочину и осторожно открыл дверь. С реки поднималась студеная, густая, пепельная прохлада. Вода была черной, дымной, и гул от мощного течения единой, властно перемещающей самое себя массы был

постоянным, похожим на работу генератора. Тем не менее дверцу машины Штирлиц закрывать не стал, чтобы не было лишнего, чужого звука.

Он перешел мост, направляясь к одиноко расхаживающему человеку со свертком в руке.

Не поняв еще почему, Штирлиц решил, что этого человека он где-то встречал. Определил он это по тому, как человек вертел шеей, и по тому еще, как покашливал, а то, что он покашливал, видно было по тому, как подрагивал макинтош у него на плечах.

Выходя на связь в разных городах мира с разными людьми, Штирлиц каждый раз покрывался холодным медленным потом, оттого что он, как никто другой, знал всю ту сумму случайностей, которые могут привести разведчика к провалу во время встречи со связником. Причем, как правило, опасность могла исходить именно от связника, потому что у того имелись контакты с радистами, а уж как охотится контрразведка за передатчиками, Штирлицу было очень хорошо известно, поскольку несколько месяцев он работал в «группе перехватов».

Штирлиц неторопливо прошелся вдоль шоссе, постоял у края моста, а потом, чувствуя (на часы он мог и не смотреть, в эти мгновенья секунды тащились медленно и четко и пульс надежнее минутной стрелки отсчитывал время), что пора подойти к связнику, обернулся, увидел этого человека, и все тело его начало деревенеть – перед ним был приват-доцент Родыгин, с которым познакомил его Зонненброк в доме генерала Попова. Штирлиц хотел было уйти, но потом решил, что это может показаться странным Родыгину, смотревшему на него широко раскрытыми, остановившимися глазами, и, чуть приподняв шляпу, сказал:

– Не думал, что историки подвержены такому весеннему лиризму...

– Да, да, – ответил Родыгин хриплым, чужим голосом, – грешен, люблю ночную природу.

– Интересно, много незадачливых влюбленных бросается с этого моста? – спросил Штирлиц, машинально повторив слова пароля, не желая даже делать этого, но повинувшись какой-то странной догадке.

– Наверное, много, – ответил Родыгин и, вжав плечи, добавил, пытаясь вымучить улыбку на побелевшем своем лице: – Хотя, скорее всего, они выбирают другое место, здесь слишком илистое дно.

Штирлиц почувствовал ватную слабость во всем теле. Наверное, подобное же чувство испытал Родыгин, потому что тяжело обвалился на раму своего велосипеда. И Штирлиц вдруг рассмеялся, представив их обоих со стороны.

– Что вы? – удивился Родыгин. – Я вам помешал? Простите, господин Штир...

– Когда вам надо возвращаться к своим?

– К кому?

«Господи, он же не верит мне, – сообразил Штирлиц. – Не хватает еще, чтобы ушел... Черт дернул Зонненброка взять меня к Попову!»

– Ну, я свой, свой, Родыгин. Успокойтесь, бога ради. Что мне передали из Центра?

– Какой же вы свой? – по-детски искренне удивился Родыгин. – Вы же немец, господин Штирлиц!

– Ну и что? Энгельс тоже, между прочим, не португалец. Давайте шифровку и назначайте следующую явку.

Родыгин покачал головой.

– Нет, – сказал он, – никакой шифровки я вам не дам.

– Да вы что, с ума сошли?! – Штирлиц закурил, подумав, что, видимо, он повел бы себя так же, окажись на месте Родыгина, и сказал примирительно: – Хорошо. Не сердитесь. Пошлите запрос в Центр: «Можно ли верить Юстасу?» И дайте описание моей внешности. Хотя нет, этого не делайте – если ваш шифр читают, на меня можно готовить некролог.

– Боже мой, вот глупость! О чем мы с вами, господин Штирлиц? Я даже в толк не возьму, абракадабра какая-то. Едем лучше в город, выпьем что-нибудь, я знаю отменные кабачки.

«Еще пристрелят, черти, – подумал Штирлиц. – Вот дело-то будет».

– Василий Платонович, – жестко сказал он, – по тому, как вы перепугались, я понял, что вы именно тот, кто должен прийти ко мне на связь. Я рискую не меньше, чем вы, а больше. Но я поверил вам сразу же, как только вы произнесли отзыв. Если вы по-прежнему сомневаетесь, запросите Центр. Можете изменить вопрос: «Разрешите верить Юстасу, который говорит, что он Максим». Только, бога ради, фамилию мою в эфир не пускайте. И давайте увидимся позже. В два часа, например. Центр вам ответит сразу, они ждут моих сообщений. – Штирлиц передал Родыгину пачку сигарет. – Здесь вы найдете текст. Передайте немедленно. Ясно? И если вам ответят, что верить мне можно, приходите в кабаре «Эспланада», я буду ждать вас до утра.

Штирлиц быстро пересек мост, сел в маленький «рено», взятый им напрокат в гостинице, и, скрипуче, на скорости развернувшись, поехал в город.

«Центр.

Ситуация в Хорватии довольно сложная. Веезенмайер действует в двух направлениях, он пытается склонить Мачека к провозглашению независимой Хорватии, но в то же время ведет работу с усташами, внедренными в ХСС (партия Мачека), которые поддерживают контакт с Павеличем. Можно предположить возникновение серьезного конфликта, если найти возможности проинформировать Муссолини об этой работе немцев в Загребе, поскольку итальянцы считают Хорватию зоной своих интересов. Мачек продолжает колебаться. На него оказывают сильный нажим из Белграда, угрожая введением английских войск. Прошу вашей санкции на ознакомление Мачека (через третьи руки) с той работой, которую Веезенмайер ведет с усташами, это может заставить его войти в правительство Симовича и серьезно задуматься о необходимости подготовки к возможным военным действиям.

«Запасной фигурой» в политической игре Веезенмайера следует считать полковника Славко Кватерника, который, являясь человеком Павелича, в своей внешнеполитической ориентации значительно ближе к Берлину, чем к Риму. По непроверенным слухам, Гитлер предоставил «немецким» усташам радиостанцию «Велебит», которая круглосуточно вещает из Граца на Хорватию. Усташей здесь не считают реальной силой, если только не предположить факт вооруженного вторжения германо-итальянских войск. Необходимо предупредить югославский ЦК о том, что люди Веезенмайера имеют контакты с полицией, жандармерией, «селячкой» и «городской» стражей (полиция Мачека), которые уже сейчас готовят списки на аресты всех тех, кто когда-либо сотрудничал с коммунистами. Подтвердите получение моих донесений, посланных через канал односторонней связи. Жду указаний.

Юстас».

«Юстасу.

В возможно короткий срок сообщите точную дату начала военных действий, если они действительно планируются Гитлером.

Центр».

(Начальник разведки смягчил текст, поначалу он был написан словами Сталина, который сказал нахмурившись:

– Пусть немедленно выяснят точную дату войны. Или опровергнут, если могут. Я не Гитлер, на кофейной гуще гадать не умею, я должен знать правду, прежде чем принять решение.)

Вторая радиограмма предназначалась здешнему руководителю Родыгина:

«Бояну.

Родыгин переходит в подчинение Юстасу. Доверие полное. Оказывать всемерное содействие в поставленной перед ним задаче.

Центр».

А пока Родыгин, петляя по улицам, ехал на разбитом велосипеде с квартиры радистов, донесение Штирлица тщательно изучалось в Москве, сопоставлялось с донесениями, полученными из других источников, прежде чем быть перепечатанным и отправленным с нарочным Поскребышеву в Кремль.

...Штирлиц сидел в кабаре отеля «Эспланада» так, чтобы видеть каждого, входившего в полутемный зал. Он попросил громадную официантку с вываливающейся грудью и бочкообразным задом принести бутылку самого сухого «горского» вина и соленого сыра.

– Это заказ иностранца, – сказала официантка. – У нас в горах плохое вино. Лучше я принесу вам «Весели Юри», это красное вино из Далмации, и народную хорватскую поленту...

– Что такое полента?

– Полента в Хорватии, – с невероятным акцентом, но довольно бойко ответила официантка, мешая немецкие и французские слова, – то же, что жганцы в Словении, пулента в Далмации и качамак в Сербии. Это народное блюдо из кукурузной муки, крестьяне едят. А у нас в ресторане самое дорогое и изысканное. Для иностранных гостей.

– Полента полентой, а я голоден.

– Что же вам еще принести? Подварка сейчас не сделают, гибаницу надо пробовать в Сербии, питу – в Боснии. Принесу-ка я вам пунены паприки, ладно?

– На ваш вкус.

– Наш вкус и ваш вкус – разное дело, – заколыхалась женщина. – Ладно, принесу и того и другого.

Официантку провожали жадными взглядами, цокали языками и томно закрывали глаза три боснийца в малиновых фесках, сидевшие за соседним столом.

«Вот оно, турецкое влияние, – подумал Штирлиц с усмешкой. – Европейцам подавай тоненькую спортсменку, чтобы и быстрота в ней была, и юркость, а Востоку нужны нега и неторопливость... Интересно, что думает Родыгин по этому поводу? Он, по-моему, из тех, кто, вроде немецких рыбаков, примеривает всех пойманных щук к линейке: если меньше мерки, за борт, больше тоже не подходит, и только если по сантиметру сошлось, тогда в самый раз».

Однажды Штирлиц ловил форель в Тюрингии. Его соседом был маленький старичок. Он стоял на большом камне возле самого порога, его обдавали брызги, в которых то и дело вспыхивала зеркальная радуга, и он чаще других рыбаков вытаскивал форель, но, смерив рыбку линейкой, старик швырял ее обратно в воду. Штирлицу казалось, что чересчур уж поспешно он снимал рыбок с крючка, рвал им рот и жабры. Зачем же тогда бросать их в воду, все равно погибнут? Видно, подумал тогда Штирлиц, и к порядку должно быть отношение хотя бы разумное. Нельзя из порядка делать фетиш, это обратная сторона беспорядка. Если все жизненные проявления подвергать под размер, объем, длину, заранее заданные – пусть даже самыми умными людьми, – в мире возникнет хаос, ибо земляне будут думать не о том, как оценить то или иное явление, но о том, как было оно когда-то оценено, и о том, чтобы

твоя оценка не вошла в противоречие с общепризнанной. А если гроза зимой? Тогда как? Ждать разъяснений? Или самому выдернуть штепсель из розетки, чтобы шальная молния не стукнула?

Прожив четырнадцать лет в Германии, Штирлиц ценил немцев за их умение мгновенно обжиться: придет семья на выходной день к озеру, глядишь, через полчаса уже палатка, у входа на раскладном шезлонге папа читает газету, мама варит на походной бензиновой печурке суп, дети таскают из озера воду, а дедушка ловит рыбу на ужин. Это умение обретать себя в любых условиях сохранялось и в гитлеровских тюрьмах, где сидели коммунисты, социал-демократы, католики и лютеране, – немцы оставались немцами в самых страшных застенках.

Гитлер изолировал в первую очередь тех, кто умел бороться за свою правду. Он хотел сделать весь народ однозначным. Завет старокитайской философии – «чем слабее нация, тем сильнее государство» – был взят на вооружение в каждодневной практике национал-социализма. Оттуда же, из старокитайской мудрости, заимствован был и второй, не менее – для тоталитарного государства – важный принцип: «Чиновник должен постоянно чувствовать себя так, как чувствует себя человек, забравшийся по лестнице вверх, после того, как лестницу убрали: он должен любыми средствами удержаться там, где очутился».

Чиновники Гитлера в науке и на производстве удерживались «там, где очутились, любыми средствами», но, несмотря на это, дерзкая техническая мысль («Верно сказал Родыгин, «вертикальная мысль») германского народа продолжала биться наперекор запретам, несмотря на окрик и неверие. Мысль обживалась так же быстро, как и люди на озере в воскресный день. Мысль не могла «обжиться» лишь в сфере культуры – там ее убивали или изгоняли из рейха. На предательство, на восхваление маньяка, на «вживание в бред» никто из серьезных немецких художников не пошел, только бездарь, подстроившаяся к вкусам лавочников.

Быстрота вживаемости немцев была использована Гитлером злодейски. Народу сказали: «Вы самые-самые! Во всем и везде! Вы центр и начало, вам и владеть миром!» Европейская срединность Германии вместо того, чтобы стать качеством разума и перспективного добрососедства, сделалась инструментом агрессии, которому придали к тому же дух национальной исключительности.

...На зеркальной сцене кабаре появился маленький кряжистый старик в фиолетовом трико. Вместе с ним вышли семь девочек в купальниках. Девочки выдвигали ногами ладные замысловатости, а старик прилаживал на груди громоздкую дюралевую конструкцию. Потом дирижер в пиджаке, осыпанном серебряными блестками, взмахнул рукой, в зале стало тихо. Старик набросил на громадную, урбанистической формы конструкцию кольца из полого алюминия, а потом, откинувшись назад, начал раскачивать на груди все это сооружение очень медленно, осторожно, и оно, послушное движению его тела, стало жить своей жизнью: кольца вращались все быстрее и быстрее, запущенные, казалось, каким-то скрытым мотором, и постепенно возник тяжелый гуд, словно открыли все окна и в зал ворвался грохот могучего течения Савы.

Так продолжалось до тех пор, пока старик не подбросил всю эту машину мощным напряжением мышц спины (они взбугрились и замерли) и поймал ее обеими руками, тоже взбугрившимися, словно изваянными; гуд мгновенно кончился, и ассистенты, выскочившие из-за кулис, подхватили тяжелое дюралевое чудо. Вспыхнул свет, и старик начал раскланиваться, а грудь его продолжала тяжело вздыматься, и на лбу был пот, и Штирлиц почувствовал, как трудно артисту сдерживать дыхание и не показать зрителям усталость.

Девочки снова начали выдвигать свои фокусы, и Штирлиц понял, зачем они нужны старику: готовясь ко второму номеру, жонглер прохаживался среди танцовщиц, похлопывая их по спинам, вытирал пот со лба, отпуская сальные шутки, и все это время жадно отдыхал.

Обычную паузу ему бы не простили; паузой были девочки, на их дрыганье смотрели с таким же интересом, как и на головоломный трюк.

«Видно, он готовился к этому номеру, – подумал Штирлиц, – много лет. Сначала, наверное, его не пускали в такие дорогие кабаре и он бродил с маленькими цирковыми труппами, которые раскидывают свои дырявые шапито на базарных площадях уездных городков в дни праздников, и копил деньги, чтобы купить себе эту конструкцию, чтобы заниматься с театральным режиссером, рассчитать с математиками вес и центр баланса, нанять девочек, одеть их и заключить контракт с антрепренером. Вот он и добился этого, а время ушло, и он вынужден делать все большие и большие паузы между номерами, и платить деньги газетным острякам, чтобы они сочиняли ему эти дурацкие остроты, и мучительно сдерживать дыхание, с опаской поглядывая на зрителей: те не любят стариков на сцене».

Девочки что-то сделали со своими купальными костюмами, и на теле у них почти ничего не осталось.

«Наверное, ничего нет страшнее времени, – подумал вдруг Штирлиц. – Боль можно пережить, обиду снести или смыть кровью, предательство объяснить (не оправдать конечно же, но изучить его побудители), врага можно и нужно победить, а вот время победить нельзя. Едва родившись на свет, ты уже побежден, ибо первая секунда рождения начинает шершавить свой хозяйский отсчет, отпуская младенцу точно выверенные сроки на детство, юность, зрелость и старость. Время смерти зависит от сцепления закономерных случайностей. Когда тонет будущий Ньютон или гибнет на пожаре годовалая Сара Бернар, время наблюдает за этим отстраненно и высокомерно, как зрители за сбившимся дыханием старого артиста: выдержит – хорошо, не выдержит – это его личное дело».

...Родыгин пришел в половине второго – самое удачное время для встреч в кабаре, если только за разведчиком не следят. Посетители пьяны, крутят быстрые романы: договариваются с девочками из кордебалета; каждый занят собой, поэтому разговаривать можно спокойно, оценивая, и не столько по делу – об этом желательно говорить с глазу на глаз где-нибудь на «пленэре», – сколько на те отвлеченные темы, которые только и могут по-настоящему открыть собеседника. Впрочем, «открытие» возможно лишь в том случае, если «отвлеченные темы» будут такими, в которых можно прочесть интеллект собеседника, ибо определение сметливости, быстроты реакции, смелости или трусости Штирлиц считал делом вторичным, поскольку трудно предугадать, как поведет себя человек в деле. Человек быстрый, смелый и реактивный в беседе может в критической ситуации оказаться совершенно иным. Все определит мера его интеллекта, ибо настоящий интеллект характерен широтой знания, а человек, много знающий, даже если он неумел в беседе или осторожен, тем не менее отдает себе отчет, что **измена** – это хуже, чем смерть, или, говоря категорией житейской, она невыгоднее, поскольку изменник всегда обречен на гибель – физическую или моральную, – вопрос только в том, когда эта гибель наступит. Ловкий и спорый человек, дерзкий и резкий в беседе, может подвести в трудную минуту, решив «поиграть» с судьбой, вывернуться, обмануть случившееся, и, подчиняясь побуждениям первым, то есть физическим, пойдет на такой шаг, на который никогда не пойдет человек, движимый побуждением вторым, то есть духовным. Наблюдая практику гитлеровской разведки изнутри, Штирлиц радовался тому, что она строится по принципу «вождизма», по тому самому принципу, который был провозглашен Гитлером в «Майн кампф»: «Все определяет вождь (руководитель). Остальные звенья должны следовать его предписаниям беспрекословно, ибо вождь принял на себя главную меру ответственности и несет это тяжкое бремя, отчитываясь лишь перед провидением в своих поступках». Аппарат гестапо и служба Шелленберга делали ставку только на людей смелых, сильных и до конца преданных «идее» фюрера. Категория «умных» в СД не учитывалась: раз ты верен идее фюрера, значит, ты умный; не

верят Гитлеру изменники или клинические дураки. В такой схеме была заложена исходная расовая теория превосходства, а это, Штирлиц был убежден, рано или поздно свалит нацизм, ибо даже слепой фанатизм – живем-то не в замкнутом пространстве – прозреет, потому что в человеке с рождения заложена способность сравнивать. Не будь этого качества, нельзя было бы отличить березу от сосны, ворону от попугая, зиму от лета и, наконец, правду от лжи...

– Ну как? – спросил Штирлиц. – Успокоились, Василий Платонович?

– Успокоился.

Лицо его было осторожным, как у боксера, который примеривается к незнакомому дотоле противнику.

– Давно проповедуете идеи германской колонизации?

– После того как ознакомился в Париже с протоколами контрразведки Кутепова.

Каждый из них сразу же понял друг друга. Вопрос Штирлица означал: «Давно ли помогаете нам?» – ибо теория, которую проповедовал Родыгин в доме генерала Попова, отличалась явной тенденциозностью, рассчитанной на интерес к ней всех тех, кто считал борьбу с большевизмом своей постоянной задачей, предначертанием сверху. Ответ Родыгина был совершенно ясен Штирлицу: в конспиративных застенках Кутепова инакомыслящих, не согласных с белой идеей, пытали так, как это было лишь во времена самой страшной инквизиции, а любой здравомыслящий человек относится к пытке с отвращением, палачей ненавидит и готов помогать тем силам, которые против палачества сражаются.

– А до этого? Пить что будете? «Весели Юри» – очень хорошо. Сыром угощайтесь, овечий сыр, вкусный. А что до этого?

– Вина я не пью вовсе, спасибо. Сыра отведаю с удовольствием. А до этого я был сторонником евразийства: «Наша особость, наша непохожесть ни на Европу, ни на Азию, наша самобытность, рожденная общинным землепользованием, ушедшим во всех других странах, а у нас оставшимся аж до начала этого века...»

– Совсем не пьете?

– Совсем. Я запойным был.

– Давно?

– В Париже. Я из Парижа давно уехал.

– С тех пор как познакомились с кутеповской контрразведкой?

– Нет. С ними я познакомился раньше. А уехал я во время выступления фашистов Де ля Рокка.

– Я тогда приезжал в Париж, между прочим.

– Вы по-французски говорите?

– Плохо. Предпочитаете французский?

– Предпочитаю, – после короткой паузы ответил Родыгин. – Поймите меня правильно, господин Штирлиц.

– Я понимаю. Но вы отлично говорите по-немецки.

– Учился в Гейдельберге.

– Когда?

– В двадцать третьем. Я был уже приват-доцентом, но эмигрантам не верят. Не верят в Европе русскому диплому, надо сдавать экзамены за университет, как юноше, заново.

– Вы действительно верили в теорию евразийства?

– Действительно верил.

– Бывали в Союзе?

– Нет.

Когда они вышли из кабаре, Штирлиц спросил:

– Вы давно с нами по-настоящему?

– А вы?

Штирлиц рассмеялся – вопрос Родыгина показался ему злым, да он, видимо, таким и был на самом деле.

– Если бы я заговорил по-русски, – спросил он, – вы бы изменили свое отношение ко мне, Василий Платонович?

– Я, знаете ли, противник допуска нереальных возможностей.

– Прагматик вы...

– Прагматик.

– А разве у вас есть прагматики? Вы ведь все материалистические идеалисты, нет?

– Вам бы философские трактаты сочинять, а не в гестапо работать, – так же зло ответил Родыгин.

– Я не из гестапо. Почему вы решили, что я из гестапо?

– Так ведь спутник ваш представился генералу Попову. А эмиграция секретов хранить не умеет: чем важнее секрет, тем быстрее он становится всеобщим достоянием.

– Чем это объяснить?

– Легко объяснимо. Люди изверились, а домой-то хочется, но не ползком, а на коне; не изгоями, а господами. Ну и ждут. От кого угодно ждут, от кого угодно примут, от дьявола примут, только бы победителем домой.

– Все?

– Умные нет... Но и с дураками ведь надо считаться ввиду их численного превосходства. Кто послабее, тот в такси, половым, курьером, кто посильнее, но глуп, тот ждет, затаился.

– Как я слышал, Деникин обратился с призывом не сотрудничать с национал-социализмом...

– Разве Деникин страшен?

– А нет?

– Нет. Он, хотите того или не хотите, интеллигент. Деникинцы страшны...

– Тоже верно. А за то, что я спросил, давно ли вы помогаете Союзу, не сердитесь. Чем дольше человек связан с разведкой, тем больше он имеет шансов попасть под колпак.

– Я по-настоящему помогаю родине с того дня, когда в Испании начался мятеж фашистов. Подумывать начал об этом, прочитав «Майн кампф» и встретив генерала Кутепова. Кутеповцы эту книжку штудировали весьма старательно.

– Особенно раздел «восточной политики»?

– Нет. Они штудировали в основном «французский раздел». А меня все разделы отвращают. Все до единого. Нация, которая приняла доктрину сумасшедшего и орет в его честь здравницы, должна быть так проучена, чтобы у внуков кости трещали.

– А внуки-то при чем?

– При том, – убежденно сказал Родыгин. – У внуков ведь тоже внуки рождаются.

– Вы здорово играете свою роль, Василий Платонович. Я, признаться, поначалу решил, что вы действительно германofil до мозга костей.

– Если бы вашего меньшого брата забили насмерть в Дахау, вы бы тоже какую угодно роль сыграли.

Они молча шли по тихой ночной Илице.

– Понятно, – сказал наконец Штирлиц. – Чтобы впредь нам было удобней встречаться, давайте-ка завтра позвоните, и я вызову вас на ленч. Со мной будет коллега, он действительно из гестапо. Я при нем приглашу вас к сотрудничеству, и вы пойдете на это. Тогда я смогу видеться с вами вне зависимости от места и времени. Договорились?

– Если вы считаете это нужным...

– Считаю. И второе. Постарайтесь вспомнить всех ваших здешних добрых знакомых, которые имеют серьезный вес в Загребе. Они могут помочь в нашем с вами деле. Люди здесь понимают, что дело пахнет войной?

– По-моему, нет.

– Будут югославы драться, если Гитлер начнет войну?

– А начнет?

– Не знаю.

– Если им дать хорошее оружие и организовать в колонны, они будут стоять насмерть, – убежденно сказал Родыгин.

– Будут стоять насмерть, – задумчиво повторил Штирлиц.

– Я позвоню вам завтра в девять.

– Договорились.

– Меня просили задать вам вопрос...

– Кто? Центр?

– Нет.

– Ваши коллеги?

– Меня просил задать вам вопрос человек, который уполномочен на это.

– Вы мне здорово не верите.

– Это не имеет значения. Я подчиняюсь приказу. Меня просили спросить: фамилия Везич вам ничего не говорит?

– Откуда он?

– Из секретной полиции.

– Нет, я не знаю его.

– Он не связан с вашей группой? Я имею в виду Зонненброка.

– С ним он наверняка не связан.

– В таком случае против него у гестапо тоже никаких материалов нет?

– Василий Платонович, это очень хорошо, что вы так неукоснительно соблюдаете правила конспирации, но я не умею отвечать на абстрактные вопросы. Я привык, чтобы мне верили товарищи по работе. Какие материалы на Везича вас интересуют и в связи с чем?

– Я не уполномочен объяснять вам это. Простите меня. Если можно, пожалуйста, постарайтесь узнать о нем все, что только удастся. Мы ведь здесь тоже ведем работу, господин Штирлиц.

– Василий Платонович, нет ли у вас связи с прессой?

– Есть. Но это ненадежные связи. Цензура свирепствует повсюду. Я тут пытался стукнуть вас, ничего не вышло – не пропустили.

– Кого конкретно вы хотели ударить?

– Гитлеровцев, – пояснил Родыгин, заморгав близорукими глазами. – Вы уж не сердитесь, пожалуйста, но сейчас для меня каждый немец – гитлеровец.

– Если бы это было так, – жестко ответил Штирлиц, – я бы просил командование в Москве позволить мне покинуть Германию. Если бы я не убедился в том, что среди русской эмиграции есть высококачественные люди, отвергающие самую идею сотрудничества с гестапо во имя «освобождения» России, я бы считал вас провокатором и не подошел к вам на явке. Надеюсь, мы квиты, и я не хочу, чтобы вы впредь возвращались к этой теме.

– Не сердитесь, пожалуйста.

– И вы не сердитесь.

– Я не сержусь, потому что вы правы больше, чем я.

– Ну и слава богу. Что вам задробили здешние цензоры?

Родыгин похлопал себя по карманам пиджака и достал несколько страничек, мятых, напечатанных на разного формата бумаге.

«С ним в два счета провалишься, – подумал Штирлиц, – эмоций много, а конспирации ни на грош. Хотя, черт его знает, может быть, именно эта открытость и спасает его столько времени».

– Вот, – сказал Родыгин, – извольте. Фонари яркие, прочтете.

«Двадцатый век баловал человечество неразрешенными юридическими кроссвордами, хотя имена убитых монархов, послов и министров заранее заносились в клеточки, расписанные в святая святых разведок, еще задолго до того, как прогремел выстрел. Предусматривались все мелочи, проводились многочисленные репетиции, комбинация рассматривалась со всех сторон. Террорист может быть маньяком, озлобленным эмигрантом, садистом, обманутым мужем – кем угодно, но только не исполнителем воли того или иного правительства.

Законы, принятые двадцатым веком, надежно гарантировали организаторов политических убийств от уголовного преследования, ибо ни один суд не рискнет принять к разбирательству дело, не доказуемое уликами, несмотря на то что принцип древних – «Смотри, кому это выгодно» – явно указывал на тех, кто получил максимум желаемого после того, как сменилась политическая ориентация, проводимая убитым премьером или министром. Когда об этом говорилось в газетных статьях, «правительство-палач» присылало ноты протеста «правительству-убитому», но, во-первых, «король умер – да здравствует король!»; новый премьер или министр уже следит за тем, как выносят старую мебель из квартиры убитого предшественника, и советуется с женой, кого пригласить на прием по поводу вступления в должность, а во-вторых, закон есть закон, и беспочвенное, недоказуемое, хотя и эмоционально оправданное обвинение не кого-нибудь, а правительства обязано быть преследуемо по суду, как диффамация и клевета.

Личное тесно увязывалось с общественным. Люди, планировавшие убийство, приходили к выводу о необходимости этой крайней акции лишь после того, как все «открытые» возможности влияния на ту или иную **личность** были испробованы. Поначалу эти открытые возможности исследовались представителями общественности на двусторонних встречах и конференциях; журналистами, которые, словно акулы, отдирали «мясо», оставляя четкий хрупкий «скелет» идеи, в хлестких памфлетах и разоблачительных сенсациях; дипломатами, представителями торгующих организаций, которые пытались оказать давление на политиков, играя на понижении или повышении курса валют, на введении тех или иных тарифных ограничений, направленных против людей, голосовавших на выборах за того лидера, который оказался помехой интересам другого государства, реже – другой политической доктрины. Таким образом, «открытые возможности» давления с целью добиться поворота в политике выстраивались в виде ступеней, ведущих в преисподнюю. Светская манера «общего прощупывания» сменялась скандалами журналистов, а уже после на сцену выступали дипломаты и торговцы, которые оперировали языком цифр, непонятных массе, но ясных лидеру: «Если ты не уступишь, мы сделаем так, что через полгода цены на мясо в твоей стране возрастут, появится дефицит в текстиле, начнутся перебои в снабжении населения промышленными товарами, мы повысим цены на бензин, и, таким образом, избиратели подвергнут тебя остракизму на следующих выборах, объявив фантазером, неспособным к управлению государством».

Такого рода угроза планируется, как правило, на тщательном изучении досье, которое годами собирается на неугодную **личность**: мера храбрости и трусости, одержимость, умение маневрировать, отношение к деньгам и женщинам, болезни, дружеские связи, честолюбие, увлеченности, не имеющие отношения к работе, странности. И во всем этом перечне не учитывается, как правило, лишь один компонент – талантливость. Это происходит потому, что само понятие талантливости пугает.

А талантливость политика, видимо, заключается в преобладании в его генетическом коде таинственных генов «чувственной интуиции». Именно эта «чувственная интуиция» подвигает **личность** принимать в сложных условиях наиболее смелое и оптимально точное решение. Подобно писателю, такой политик видит – в мгновенном и странном озарении – возможное будущее. Отсюда внезапные, на первый взгляд, коалиции; неожиданные блокировки с разными, порой взаимоисключающими силами; резкий слом прежнего курса,

казавшегося только что утвержденным на многие годы вперед. Предсказать это неожиданное может лишь человек такого же уровня талантливости, широты взгляда и обнаженности чувства. Но, к сожалению, талантливых людей на свете немного, это заметнее всего прослеживается на истории искусства и литературы: из десятков тысяч живописцев, проживающих на земле, память поколений сохранила несколько десятков имен, все другие обречены на забвение, ибо прижизненный успех, как правило, обратно пропорционален бессмертию. Следовательно, талантливого политика может понять лишь такой же талантливый контрагент, но, случись подобное, мир исключил бы убийство и войну из своей привычной практики решения споров методом взаимного уничтожения. Талантливость предполагает широту, которая беззащитна и уязвима, более чем **обычность** : пики на земле смотрятся жалко и одиноко, ибо мир равнинен, и даже сосновые боры не скрывают его заданно линейной однозначности.

Убийство югославского короля Александра точнее всего подтверждает это правило, поскольку, исследуя механизм данного политического преступления, можно не только решить этот юридический кроссворд, но и представить, каким образом **обычное** одерживает победу над необычным, то есть **талантливым** .

Лишь люди политически не искушенные могли считать, что октябрьским днем 1934 года в Марселе, на шумной Ля Каннебьер, было совершено покушение именно на югославского короля. Следует учесть, что большинство людей политически не подготовлены, хотя каждый бакалейщик, отложив провинциальную газету, где напечатаны последние новости, считает себя вправе делать прогнозы развития мировых событий, ругать тех или иных премьеров и президентов и, наоборот, хвалить других. Житейский опыт играет с людьми злую шутку: если аксиомой стал тот факт, что искусству врача надо учиться, таинственную мудрость математики должно постигать в стенах университетов, то политиком (и писателем, кстати говоря) мнит себя каждый второй на земле. В то время, как профессии политика приходится учиться куда как дольше, чем профессии хирурга или конструктора, поскольку ни один из родов человеческой деятельности не отличается таким духом корпоративной замкнутости и рожденного этой замкнутостью **привычного опыта** , базирующегося на каждодневном знакомстве с мировыми тенденциями и носителями этих мировых тенденций – политиками других государств. Знакомство, или, говоря точнее, информация отличается от тех сообщений, которые каждое утро печатаются в тысячах газет, большей емкостью: если читатель должен отжать из сотен сообщений десятков наиболее важных, то политику предстоит из десятка сообщений, отличающихся протокольной краткостью, оценить одно или два как отправные для его последующих шагов. Причем, поскольку политики существуют двух видов – те, которые идут за событиями, подстраиваясь к ним, и те, которые выдвигают такой тезис, который вынуждает перестраиваться весь дальнейший ход мировых событий, – то пути нахождения баланса между этими двумя видами государственных деятелей и определяют весь механизм межгосударственных связей.

В лакированном лимузине, двигавшемся по Ля Каннебьер со скоростью пять миль в час (что было нарушением протокола, согласно которому машины с монархами должны следовать со скоростью двадцать миль – в целях безопасности венценосца), помимо Александра, короля югославского, сидел небольшого роста старик в старомодном – а-ля Золя – пенсне, в сером пиджаке с розеткой Почетного легиона в петлице. Этого человека звали Луи Барту, и он был министром иностранных дел Франции. В автомобиле сидели политики разных типов: монарх, исповедовавший традиционную монаршую неприязнь к резким политическим поворотам, а потому стремившийся **угадать** политику, и Барту, который предпочитал выдвигать тезисы, призванные **изменить** всю политическую структуру Европы.

В Париже, куда югославский монарх выезжал для переговоров, по мнению всех серьезных исследователей из «мозговых» центров Европы, должен был совершиться

последний тур в поиске баланса между двумя этими, и не только этими, лидерами. Политика все более приближалась в своем отшелушенном от мелких подробностей варианте к стройно выраженной математической формуле равенства двух неравенств: заключение «Восточного пакта» с Советской Россией и создание на этой базе системы коллективной безопасности могли изолировать агрессивную устремленность гитлеровской Германии. Задуманная в свое время Парижем Малая Антанта в составе Югославии, Румынии и Чехословакии, а затем и Турции, поначалу выполняла роль санитарного кордона против Кремля. Однако чем дальше уходил мир от Версаля, чем громче звучали голоса Гитлера и Геринга – сначала в Мюнхене, а потом в Берлине и Вене, – тем яснее обнаруживался истинный агрессор, и лишь озлобленные лавочники приглашали политиков к союзу с фюрером («Лучше наци, они хоть европейцы, чем орды темных большевиков»).

Под нажимом Барту Прага и Бухарест признали Советский Союз, согласившись, таким образом, на создание «Восточного пакта». Белград, чья политика определялась Александром, воспитанником Петербургского пажеского корпуса, человеком, которого кое-кто из русской эмиграции прочил на московский престол, всячески оттягивал акт признания коммунистического государства, торпедируя, таким образом, идею Барту о создании системы коллективной безопасности. Белград хотел проводить собственную политику, играя на противоречиях между Римом, который старался создать «Римский треугольник» из побежденных Австрии, Венгрии, Италии, – и Берлином, поставившим на повестку дня вопрос о «воссоединении Австрии». Однако то, что какое-то время удавалось островной Англии – «рул энд дивайд» (властуй, разделяя), – не могло удасться Белграду, стиснутому Италией, не скрывающей своих надежд на распад «конгломерата наций, населяющих так называемую Юго-Славию», «Австрией, которая была, есть и будет частью германской государственности», Венгрией, подчеркивающей свои претензии к части югославской территории, и Грецией, за которой угадывались английские интересы. Александр метался между двумя диктаторами, схватившимися из-за Австрии; он надеялся, что свара между Муссолини, который был против аншлюса, и фюрером, который аншлюс провозгласил, позволит ему оставаться лидером Юго-Восточной Европы, сохраняя традиционную дружбу с Францией. Александр дал понять Гитлеру, что не будет возражать против аншлюса Австрии, считая, что этим своим шагом он превратит Берлин в союзника против Италии. Однако встреча двух диктаторов в Милане, их умиротворенные улыбки, щедро розданные корреспондентам, присутствовавшим на «исторической встрече», коммюнике, подписанное ими, напомнило всем, и Александру в том числе, что идеологическая общность диктатур значительно сильнее их межгосударственных разногласий. Все те семнадцать лет, которые прошли после русской революции, Александр шел за тенденцией, рожденной в Париже и Лондоне, – непризнание очевидного. Признать очевидное – союз Гитлера и Муссолини – было Александру легче, и он отправился в Париж, чтобы объявить миру о присоединении к доктрине Барту – доктрине утверждения и легализации очевидного исторического факта: вне и без «непризнанной» России мир на Европейском континенте отныне невозможен. Создание такого рода пакта мешало, очевидно, Гитлеру проводить в жизнь свою политику «национальной» атаки на Европу. Он пришел к власти на гребне голода и разрухи, вызванных последствиями Версальского договора; он сказал немцам: «Восстаньте из пепла! Вы нация великих, за вами будущее!» Национальное тщеславие – лишь первый этап в восхождении диктатора «вверх по лестнице, ведущей вниз». Борьба за «национальное достоинство» дала Гитлеру определенное количество сторонников в народе, однако большинство немцев ждало от фюрера жизненных благ – колбасы и масла. На одном лишь «национальном энтузиазме» долго продержаться нельзя, ибо поползут разговоры о том, что «раньше было лучше», и мессианская идея третьего рейха окажется уничтоженной в зародыше отсутствием в лавках должного количества сосисок и маргарина. Выход национальной идее может быть найден лишь в сражении с окружением: «я» должен

подчинить «его». Но если Европа 34-го года была конгломератом национальных образований, занятых мелкими интригами большого национального чванства, то 35-й год, победы доктрина Барту, оказался бы годом Объединенной Европы, противостоящей не социальным идеям Москвы, а расовой устремленности гитлеризма, открыто провозгласившего примат германской расы.

Расклад политических деятелей, сидевших в «Шамбр де Депютэ», был тщательно проанализирован в рейхсканцелярии. Барту проводил свою политику при настороженном ожидании правых, под улюлюканье крайних и при благожелательных аплодисментах незначительных в парламенте левых. Уйди Барту со сцены, вместо него придет представитель «центра», а французский «центр» той поры явно ориентировался направо, причем среди правых лидеров не было личности того масштаба и той авторитетности, каким являлся Барту. Справа были политики, которые нуждались в поддержке извне. Левые этого ключевого поста получить не могли в силу своей слабости. Барту не был левым, и вопрос преемственности, таким образом, отпадал сам по себе. Значит, уйди Барту, уйдет и его дело, и фюрер сможет доказать миллионам своих соплеменников, что его доктрина приведет их к владычеству над миром, которое – само собой разумеется – будет обязательно «подтверждено» ненормированным мясом, маслом и молоком. И Барту – ушел...»

«И пришел Лаваль, – вспомнил Штирлиц, – я уже думал об этом, когда Диц знакомил меня с делом Евгена Дидо Кватерника, который встречался с Веезенмайером накануне убийства Барту и Александра в Марселе усташами. И если об этом напомнить Белграду и Мачеку, то ничего, кроме пользы, не будет. Почему Родыгин интересовался Везичем? Отдать эту родыгинскую догадку Везичу? Или поздно? Он ничего не успеет? Посмотрим. Сначала надо сообщить об этом домой».

«Центр.

Срочно поднимите материалы в связи с покушением на Барту и Александра. Не отвергаю возможности организации этого политического убийства специальной службой Геринга.

Необходимо посмотреть материалы на Веезенмайера, который осуществлял контакты с усташами через Евгена Дидо Кватерника, внука Франка, вождя «хорватской идеи». Какими материалами вы располагаете на полковника Везича из секретной полиции Загреба?

Юстас».

11. БЕРЕГИСЬ ЛЮБЯЩЕЙ!

...С Ладой полковник Везич познакомился случайно. Было время обеденного перерыва, кофеварка у него испортилась, а на электрической плите варить кофе он не любил, поэтому Везич накинул плащ – третий день подряд моросил мелкий осенний дождь – и, прижимаясь к стенам домов, хранившим еще в себе летнее тепло, пошел на улицу Штросмайера. На углу была открыта славная маленькая посластичарница¹⁰, где пахло всегда свежее испеченным пирожным – сбитые сливки, ваниль, черничное варенье и совсем немного легкого теста.

Столики в кондитерской были заняты: щебетали гимназистки, облизывая острями, кошачьими язычками желтый крем; студенты, глядя на девушек, сосредоточенно тянули синеватый «прохладительный напиток» из высоких бокалов; служащие, уткнувшись в

¹⁰ Кондитерская (сербскохорват.).

газеты, пили кофе и жевали слоеные булочки, сделанные в форме рогаликов – на парижский манер.

В кондитерской было шумно, но шум этот, прерываемый смехом и звяканьем ложек, не раздражал, а, наоборот, создавал ту атмосферу, в которой можно выключиться, дав нервам час отдыха после напряжения на работе.

Везич, впрочем, старался бывать здесь как можно реже, потому что, возвращаясь в полицейское управление, он долго потом испытывал чувство раздражения, глядя на обшарпанные стены, темные коридоры, а особенно на лица сослуживцев – замкнутые, нахмуренные, исполненные решимости выяснить, выследить, догнать, припереть, обмануть, перекупить, уничтожить.

Широко образованный, прослушавший курс лекций в Загребе, Лондоне и Сорбонне, Везич поначалу отдался работе в тайной полиции со всей молодой увлеченностью. Он был глубоко убежден, что его славянской родине, созданной после краха Австро-Венгрии, мешают чужеродные силы, которые не думают о своем национальном долге. Поначалу он был убежден, что после искоренения коммунизма все образуется само по себе. Однако во время беспорядков двадцать девятого года, начатых Анте Павеличем, убедился, что именно та угроза, о которой предупреждали коммунисты, угроза сепаратизма, наиболее реальна и более всего направлена против существования Югославии. После подавления усташеского выступления он стал иначе говорить с коммунистами, и с арестованными, и с теми, кого подозревали, – без предвзятой недоброжелательности, стараясь понять мотивы, которые подвигали людей на риск, арест, на заключение в Лепоглаву или Сремскую Митровицу. Он пришел к выводу, что многое в их работе, казавшееся ему раньше вредным и опасным, на самом-то деле обращено не против его родины, но против такого общественного устройства, которое выдвигает чиновников, не способных по-современному руководить государством. Когда вопиющие недостатки в экономике страны списывались на счет Кремля, истинные причины общественной болезни скрывались, уходили внутрь, и получалось, что организм лечили от коклюша, тогда как срочно требовалось хирургическое вмешательство по поводу прободения застарелой язвы.

Везич написал обстоятельный доклад министру: он доказывал целесообразность легализации коммунистической партии, приводя в пример опыт Народного фронта во Франции. Лишь широкий блок левых сил может оказать сколько-нибудь серьезное противостояние агрессору. А в том, что потенциальным агрессором является Германия, Везич, особенно после аншлюса Австрии, не сомневался.

– Милый вы мой майор, – сказал заместитель министра, вызвавший его в Белград для дружеского разговора, – разве можно писать такие вещи? Говорить – куда ни шло, да к тому же с близкими друзьями. Большинство наших работников вас **не поймет**, размножь я этот документ и пусти его по рукам. Вас посчитают капитулянтом, Везич. В лучшем случае. Если бы вы сочинили это, – заместитель министра снова притронулся мягкими пальцами к листкам бумаги, – во время критической ситуации, вас бы могли счесть изменником, которому Москва сунула большой куш. Я-то вас понимаю, – заметив протестующий жест Везича, сказал заместитель министра, – я-то понимаю. Но ведь мы полиция. Тайная полиция. Мы должны оберегать существующее, зная о нем все. И в определенный момент, удобный политикам, мы, полицейские, должны суметь быстро составить подробную справку о силе оппозиции, ее целенаправленности, связях, популярности в массах, эт сетэра, эт сетэра... Вам не поздно попробовать себя в политике – дело тут, конечно, не в возрасте, а в том, что вы еще не вышли на те высоты, которые отрезают путь в политику деятелям нашего ведомства. Нам ведь тоже, если мы достигли определенных высот, не очень-то верят правители, зная всю меру нашей осведомленности. Поэтому-то, кстати говоря, монарх обычно балансирует между явной мощью армии и скрытой силой полиции... Но если история знает примеры, когда военный становился трибуном, то история никогда не знала примеров, чтобы лидером

становился профессиональный полицейский. Чем больше мы понимаем, тем опаснее мы для лидера – в этом весь фокус, дорогой мой майор. Мы обязаны знать, но говорить вправе лишь тогда, когда спрашивают. Причем мы должны отводить от себя вопросы конструктивного плана – в этом может быть скрыта провокация – и отвечать лишь на то, что сформулировано определенно, однозначно. А чтобы отвечать на такого рода вопросы, мне нужны толковые работники со смелым мышлением, а не тупицы. Вас я считаю толковым работником и поэтому рапорт ваш возвращаю с просьбой уничтожить его. И еще я хочу просить вас возглавить референтуру, занимающуюся германским шпионажем. Вы, по-моему, правильно видите главную угрозу с северо-запада. А коммунистами пусть займется кто-нибудь другой. И, поскольку сектор Германии у нас довольно велик, вам следует командовать им уже в полковничьих погонах.

Именно в эти дни, когда, на удивление всем, Везич получил внеочередное повышение, он и встретился с Ладой в той маленькой посластичарнице на углу улицы Штротсмайера.

Единственное свободное место было за столиком возле высокой бронзоволосой женщины; студенты, жавшиеся возле стойки, не решались подсесть к ней, а Везич сначала даже и не заметил, как красива эта женщина со смешной родинкой на верхней губе и большими круглыми голубыми глазами. Извинившись, он отодвинул стул, сел, бегло просмотрел меню, какое пирожное взять – девять разных сортов, – и лишь потом, подняв глаза, увидел эту женщину по-настоящему.

Полгода назад Везич расстался с женой. Драгица взяла их трехлетнего сына и переехала в Дубровник к хозяину отеля, пятидесятидвухлетнему седому «льву», игравшему роль мецената. Новый муж Драгицы терзал виолончель и занимался живописью – он был из капиталистов «новой волны», которые стыдились своего богатства.

Везич потом долго размышлял, отчего ушла Драгица, и тот гнев, который поначалу не давал ему спать, постепенно сменился жалостью к жене. Везич жил с матерью, которая не чаяла души в нем, ревновала к жене, поучала Драгицу с утра до ночи и требовала от невестки абсолютного, безоговорочного растворения в жизни мужа. Драгица старалась, ох, как старалась, но Везич не мог, да поначалу и не считал возможным посвящать ее в свои дела; домой возвращался поздно, уходил рано, часто уезжал в другие города, и молодая женщина была предоставлена самой себе. Она упоенно переставляла мебель в комнатах, меняла занавески на окнах чуть ли не каждый месяц; стеклянно сверкали натертые полы, и, если Везич возвращался не поздно и Драгица еще не спала, она рассказывала ему о том, что случилось у соседей, и как сегодня кухарка Зора чуть не сожгла в духовке баранью ногу, и что сказал за обедом мальчик. Если первые месяцы щебетание жены успокаивало Везича, то потом оно стало раздражать его. Он должен был открыть себя кому-то близкому, кто понял бы его метания и сомнения, но Драгица, когда он попытался однажды заговорить с ней об этом, наморщила лобик и пригорюнилась – но так ничего и не смогла понять. Она умела наблюдать за порядком в доме, умела изящно одеваться, знала, как надо любить мужа, но она не понимала ничего в том, что происходило за стенами их дома, да и не хотела понимать – не женского это ума дело... Драгица увидела недоумевающий взгляд мужа в тот вечер, когда он заговорил с ней о своей работе. Драгица запомнила этот взгляд и затаила глубокую обиду: разве она не делает все, чтобы дома мужа ждали уют и чистота? Почему он так смотрел на нее?

Два года Везич обещал ей поездку на море, и они поехали в Дубровник, но его внезапно вызвали в Загреб, и Драгица осталась одна – хорошенькая, с красавцем сыном, на которого сбегался смотреть весь пляж. И хозяин отеля попросил ее позировать ему вместе с малышом и возил ее по Адриатике на своей яхте, а потом сделал предложение. Ему, видимо, надоели связи с экстравагантными постояльцами его отеля, захотелось молодости и спокойствия, когда не надо играть роль, чтобы нравиться, а Драгице стало тяжело и непонятно в семье

мужа, да еще с его матерью, которая любовью к сыну низводила ее до положения гостыи в доме.

Но потом и жалость к Драгице прошла, особенно когда она прислала ему письмо, в котором между простеньких, бесхитростных строк читалось сожаление о прошлом. «Нельзя любить глупых женщин, – подумал Везич. – А умных нет. Откуда им взяться? Так что посвятить себя надо делу и как-то обходиться. Если бы не было мамы рядом, надо было бы думать о семье. А так чего мне недостает? Светозара? Да, конечно, мальчонка будет искалечен. Но, видимо, ему было бы еще хуже, если бы Драгица осталась со мной, опасаясь «лишить ребенка отца».

Увидев сейчас эту бронзоволосую красивую женщину с круглыми голубыми глазами, Везич остро ощутил свое одиночество и то, как он вернется к себе в кабинет, будет выслушивать рапорты подчиненных, а потом поедет на ужин в германское консульство, а оттуда вернется домой, к столу, за которым будет сидеть сонная мама в чепце, затем войдет к себе в комнату, ляжет на большую кровать и будет курить сигарету за сигаретой, вспоминая прожитый день, а потом повернется на правый бок и перед тем, как уснуть, включит еще раз свет, чтобы посмотреть, не упала ли сигарета на ковер.

Женщина облизывала крем по-кошачьи, как и гимназистки, и язык у нее был такой же розовый, сложенный в смешную и нежную лопаточку. Мама учила его в детстве оближивать мороженое и показывала, как должен быть сложен язык, и он был у нее тогда, как у этой красивой женщины, и мама тогда была молодая и очень красивая, не бронзоволосая, правда, а темная, но все равно очень красивая, и он любил ходить с ней по улицам, испытывая горделивое чувство, когда оглядывались на нее.

Везич посмотрел на женщину, улыбнулся, и она улыбнулась ему и сказала:

– Очень вкусное пирожное. Обязательно закажите.

– Как называется?

– «Августовская ночь».

– Но оно ведь желтое. Августовский цвет – синее с зеленым.

– В названии не важна точность, нужно, чтобы звучно. Хочу съесть «Августовскую ночь»! Это весело, это запомнится.

Голос у женщины был хриловатый, низкий, и на лице все время улыбка, собирающая морщинки возле глаз, которые никак не вязались с ее молодостью. Глядя на нее, Везич вдруг испытал давно забытое чувство покоя. Он понял сейчас, что покоя у него не было даже дома, возле матери, потому что он и там продолжал думать о деле; и возле Драгицы, которая не могла понять его, хотя и очень старалась быть ему нужной. Он все время был во власти своего дела, своих раздумий, сомнений и тревог, но, как всякий честолюбивый и одаренный от природы человек, придавал особое значение своей роли в жизни страны, которой он служил, отвечая за ее безопасность. Во всех его размышлениях «я» было первичным, и он многократно проверял и перепроверял поступки этого своего «я», и поэтому постоянное ощущение тревоги жило в нем чем дальше, тем больше.

А сейчас, глядя на эту женщину, он вдруг ощутил покой, потому что думал не о себе и не о деле, а о том, как было бы хорошо сидеть с ней, этой бронзоволосой женщиной, вечером в тихом доме, и чтобы за окном лил осенний дождь, а в печке потрескивали дрова, и чтобы пел сверчок, и свет лампы чтобы был мягкий, и в этом свете чтобы улыбались ее круглые голубые глаза.

– Знаете что, – сказал Везич, – я собираюсь пойти на вас штурмом.

Общаясь много лет с иностранцами, беседуя с представителями германских фирм на конспиративных квартирах, наблюдая за двойниками, Везич научился располагать к себе людей; точнее говоря, он не ломал свое естество осторожностью, подстраховкой, перепроверкой, считая, что иностранца, приведенного к нему на беседу, должны в мелочах

изучить его сотрудники, оставив для него, Везича, самое главное и трудное – налаживание устойчивого, рассчитанного на многие годы контакта.

Женщина, видимо, что-то увидела в его лице, что заставило ее перестать улыбаться.

– Плохо вам? – спросила она просто и грустно. – Очень плохо, да?

«Не надо, – жалея самого себя какой-то особой, незнакомой доселе жалостью, потухнув вдруг, подумал Везич. – Ничего мне не надо. Поздно. Все пропущено, и незачем мешать себя иллюзиями».

– А вам хорошо?

– Мне? О, мне замечательно. – Она почувствовала перемену в настроении своего соседа, доела пирожное, оставила на мраморном столике три монеты и закурила. – Ну, что ж вы не штурмуете? Я жду.

– Армия разбежалась, – ответил Везич, – а командиры голодны. Так что можете чувствовать себя вольным городом.

Когда женщина ушла, ему захотелось подняться, бросить свою «турскую кафу» и побежать за ней, но снова кто-то второй, рассудочный, сидевший в нем и управлявший его поступками, сдержал его, и он вернулся в кабинет поникший и зло отчитал секретаря за то, что тот не удосужился проветрить помещение во время его отсутствия.

Назавтра он ждал часа, когда начнется обеденный перерыв, и больше всего боялся, что та женщина зашла в посластичарницу так же случайно, как и он, а увидев ее за тем же столиком, вдруг рассмеялся, подошел к ней и сказал:

– Я чертовски скучал...

Когда он пригласил ее за город в маленькую корчму в горах и сказал, что не может бывать с ней в городских ресторанах – «Зачем давать пищу для сплетников, я человек семейный», – Лада посмеялась:

– Вы человек семейный, а я из породы грешниц, так что все поначалу складывается так, как и принято в конце тридцатых годов двадцатого века.

– Вы не похожи на грешницу.

– А вы не похожи на семейного.

– Почему?

– Потому что семейные перед тем, как приступить к решающему штурму, начинают рассказывать о том, какие прекрасные у них жены, какие они верные друзья и заботливые матери. Обычно говорят об этом после третьей рюмки, перед тем как положить руку на колено своей спутнице.

Везич почувствовал, как по-разному два его «я» восприняли слова Лады. Первый Везич, полицейский по профессии, отметил, что женщина точно знает то, о чем говорит. Это не с чужих слов. Не от подруги. Он сразу же связал слова Лады с морщинками вокруг глаз, на которые обратил внимание в первый день их встречи. Второй Везич, просто Петар Везич, испытал тяжелое чувство ревности: «Сколько у нее было таких разговоров с семейными мужчинами?!» Но неожиданно появился третий Везич, странно совместивший в себе и первого и второго. И этот третий Везич сказал себе: «Наверное, это форма защиты. Ведь я обидел ее, упомянув про семейность. Я обидел ее, пригласив за город, сюда приглашают только за тем, чтобы после легкого ужина подняться в номер на втором этаже, здесь паспортов у постояльцев не требуют. Никакая она не грешница. Просто защищается, но делает это больно».

– И часто вам говорили семейные мужчины о своих прекрасных женах?

Лада подняла глаза к потолку, наморщила лоб и стала загибать пальцы. Губы ее смешно шевелились, произнося имена мужчин беззвучно, но так, чтобы можно было угадать, какие имена она называла.

– Шестеро. Седьмой оказался чудовищем – он с самого начала жаловался на свою благоверную, называл ее ревнующим крабом и все время смотрел на дверь кабака. У бедняги,

видимо, уже были прецеденты с его дражайшей половиной. Когда я спросила, отчего бы не развестись, он ответил: «Но ведь у меня семья...»

– Знаете, мне что-то не очень приятно слушать ваши откровения.

– Думаете, мне очень приятно слушать предупреждения о вашем семейном положении?

– По-моему, в том, что мужчина сразу говорит о семейном положении, есть своя честность – он не хочет ничего обещать.

– А разве кто-нибудь чего-нибудь просит? Или вы считаете, что только мужчине может нравиться женщина? Женщина, по-вашему, такого права лишена?

– Плохо-то, оказывается, не мне, а вам, – сказал Везич, вспомнив ее вопрос во время их первой встречи.

– Почему? Плохо, если я это ощущаю. А я не ощущаю. Я плыву. По течению. Любуюсь берегами. На облака смотрю.

– И вам не хочется выйти замуж?

– Как сказать... Замуж ради того, чтобы замуж, нет. А те мужчины, которыми я была увлечена, сразу же сообщали мне о своем семейном положении.

– Разве нет холостых сверстников? Вам сколько лет?

– Двадцать шесть. Сверстники есть. Но с ними скучно. Женщина раньше умнеет. Я умнее моих сверстников, а выходить замуж только для того, чтобы ложиться в постель по закону, не знаю, по-моему, это подло...

– Значит, лучше быть любовницей умного женатого, чем женой глупого холостяка?

– Конечно, – ответила Лада. – Вы только вслушайтесь в слова «жена» и «любовница». Это замечательно звучит – любовница. А что такое жена?

– Это Чехов объяснил.

Лада засмеялась:

– «Жена есть жена»? Вы об этом?

– Я, между прочим, разведен.

– Слушайте, милый Петар... Честное слово, я не буду навязываться вам в жены. Я обычно вижу только того, кого мне хочется видеть. И денег у вас просить не стану – из-под маминой палки я выучила три языка, и мне хватает на жизнь.

– А коли я попрошу вас стать моей женой?

– Не рассердитесь, если отвечу правду?

– Не согласитесь?

– Не соглашусь.

– Почему?

– Я же сказала, мне хочется плыть, как плыву, и на облака смотреть.

– Вам бы хотелось встретиться со мной еще раз?

– Да. А вам?

– Очень.

– Почему?

– Вы красивая.

– Вы тоже.

– Это что, имеет значение для женщины?

– Господи, огромное! Первое время красивому даже глупости прощаешь.

– Когда я вас увидел, мне покойно стало, хорошо... Да, – спохватился он, – я вот тяну и тяну вино, а вы и не пригубили.

– А я вообще не пью.

– Плохо.

Лада засмеялась.

– Что вы? – спросил Везич.

– Ничего...

– Нет, действительно, что?

– Не знаете, как трезвую женщину пригласить в номер?

Везич озлился внезапно.

– Это я умею. Слишком даже хорошо умею.

Когда хозяин харчевни начал тушить свечи и они остались одни в маленьком деревянном зальчике. Лада сказала:

– Только, бога ради, не зовите меня наверх. Лучше поедем ко мне.

...Ночью Везич решил, что встреча с этой женщиной была первой и единственной. Но утром, проснувшись, он сразу же вспомнил ее лицо и ее голос, вспомнил то, что она говорила ему, и вдруг странное чувство овладело им: он ощутил ее как некую часть самого себя; он так же, как и она, не хотел врать и так же, как она, хотел быть самим собой, но продолжал жить, разделенный надвое, в то время как Лада была тем, кем была, и жила так, как ей хотелось жить.

Он набрал номер ее телефона и сказал:

– Доброе утро.

– Это для вас доброе утро, я уже три часа как делаю дурацкие переводы.

– Хотите меня видеть?

– Черт его знает, – ответила она, подумав. – Больше да, чем нет.

– Встретимся в посластичарнице?

– Встретимся.

Он увидел ее – а он очень боялся ее увидеть, опасаясь, что сегодня она покажется ему обычной, но она была еще красивее, чем вчера, – и сердце у него сжалось, и он подумал: «А ведь я люблю ее, ей-богу, люблю!» Поначалу ему было неважно, любит ли его она; он был счастлив, потому что смог ощутить то чувство, которое, казалось, навсегда утеряно. И лишь потом, по прошествии месяцев, когда она дважды отказалась выйти за него замуж, он впервые подумал: «А ведь она меня не любит...»

– Я тебя люблю, – ответила Лада, – поэтому я никогда, никогда, никогда не выйду за тебя замуж. Это ужасно, когда закон гарантирует любовь. Я не верю вашим законам. Я верю себе. И на себя надеюсь. И ничего не хочу, кроме как видеть тебя, и любить тебя, и чувствовать, что ты хочешь быть со мной.

Видимо, как раз потому, что Везич не считал нужным скрывать свою связь с Ладой, об этом и не было известно в управлении. Узнают лишь то, что хотят скрыть.

...Об этом узнали люди подполковника Владимира Шошича, сделав ночью фотографии с крыши соседнего дома, когда Везич раздевался, прыгая на одной ноге по маленькому ателье Лады, которое она снимала у своего друга, художника Чолича, уехавшего два года назад в Париж.

За час перед тем, как прийти к Ладе, Везич позвонил в Белград к тем своим друзьям, которым он верил и гражданскую позицию которых вполне разделял. Друзья сообщили, что звонка Мачека к министру не было. А ведь, прощаясь с Везичем, он поблагодарил его и сказал, что он немедленно поставит в известность о миссии Везенмайера белградское руководство вообще, а министра внутренних дел в частности.

Везич пришел к Ладе, чтобы здесь – он поверил в то, что ее присутствие приносит ему удачу, – обдумать план действий на завтра.

Поэтому он потерял темп. Иван Шох не стал дожидаться завтрашнего утра, а начал действовать ночью. Были просмотрены все данные на Ладу Модрич – возраст, место учебы и работы, знакомства, связи. Владимир Шошич выдвинул версию: поскольку женщина работала в Бюро переводов, она имела широкие контакты со многими иностранцами и, таким образом, могла оказаться связующим звеном в такой примерно цепи: некто, представляющий интересы третьей державы, – Лада – полковник Везич, предающий родину. Иван зажегся, поблагодарил Шошича, сказал, что Жозеф Фуше в сравнении с ним, подполковником, всего

лишь лейтенант, но идею Шошича решил оставить на потом. Сначала удар морального плана, а уже после, как следствие, удар, сокрушающий гражданскую порядочность полковника.

Положив мокрые еще снимки Везича и Лады в портфель, Иван Шох поехал к Илию Шумундичу – известному фельетонисту, который славился зубодробительными выступлениями в хорватской прессе, особенно в мачековском «Хорватском дневнике» и в «Обзоре». Илия Шумундич позволял себе то, что не разрешалось никому другому: он ругал власть почище коммунистов, обвинял руководителей в коррупции и поносил служителей церкви за их пассивность в борьбе за идеал богочеловека. Левая интеллигенция считала, что Илия Шумундич завербован тайной полицией и лишь поэтому ему разрешается писать что угодно и удастся печатать то, что любому другому искромсали бы и порезали; представители церкви не жаловались на него, полагая, что Илия связан с могущественной масонской ложей и потому неуязвим; однако и скорые на домыслы либералы, и мудрые служители культа в данном случае заблуждались: Шумундич не был связан с тайной полицией, там на него был давным-давно заведен формуляр наблюдения; не был он и членом масонской ложи. Ему позволялось писать и говорить все то, что он говорил и писал, лишь потому, что он был **своим**. Два его дядьки – крупнейшие банкиры; отец, умерший семь лет назад, по праву считался героем войны и входил в свиту короля Александра; самому Илию принадлежало семь тысяч гектаров земель и два километра пляжа на Адриатике – около Задара и в районе Неума. Причем – что еще важно – он ругал власть справа, обвиняя руководителей в **слабости**. За ту критику, которой подвергалось правительство в коммунистической прессе, редакторов сажали в тюрьму и гноили в концентрационных лагерях; Илия Шумундич, выступая с критикой недостатков, при этом появлялся на приемах, подолгу беседовал во время фэйф-о-клоков с министрами, завоевав себе редкостное право считаться всеобщим «анфан терриблем». Видимо, умные «власти предержажие» понимали, что эта «критика имущего», несмотря на внешнюю резкость, служила их делу, потому что Илией Шумундичем двигала тревога за **себя**, за **свое** благополучие, за **свою** землю, за **свой** замок в горах, куда приезжали его друзья по субботам, за **свои** дома на побережье и за **свои** картины в городских апартаментах. Своими фельетонами при всей их резкости Шумундич не столько расшатывал устои, как казалось некоторым, сколько понуждал власть к действию; он науськивал: «Ату их?» Ату всех тех, кто не мог противостоять крамоле, инакомыслию, требованию реформ! Ату всех тех, кто лишь болтает, вместо того чтобы стрелять, сажать и сворачивать головы болтунам и мечтателям!

По форме своей яростные, ниспровергающие все и вся, фельетоны его были обращены к обывателю, который всегда и везде хочет **гарантий** тому статус-кво, которого он достиг годами тяжелого труда, а ведь лишь статус-кво этих обывателей, для которых ореховый гарнитур – венец жизненного успеха, единственно надежная гарантия благополучия истинно имущих.

Когда однажды Шумундич опубликовал особенно злой фельетон, направленный против железнодорожного начальства, и дело это дошло до Белграда, заместитель премьера сказал министру внутренних дел:

– Вы б не крови его требовали, дорогие мои держатели устоев, а посоветовали умным людям в Загребе подсказывать Шумундичу такие темы и такие фамилии, против которых в настоящий момент имеет смысл выступить. Зачем отдавать ему на откуп инициативу? А так и он будет доволен, и мы. Он тем, что вы ему нервы не мотаете, мы – потому что он не станет отходить от нашей линии в частностях.

С тех пор с Шумундичем работали умно и осторожно; он получал темы для своих фельетонов после того, как целесообразность их была выверена на самом высоком уровне.

...Иван Шох разбудил Шумундича, и тот не обиделся, потому что дружили они последние два года неразлучно, извлекая из дружбы этой определенную корысть: Илия опубликовал несколько фельетонов против операций тех банков, которые вели давнюю

конкурентную борьбу с его дядьками; в свою очередь, сплитское издательство, пакет акций которого был куплен родственниками Шумундича, издало книгу Ивана Шоха «Песни гнева».

– Не бранись, брат, что я тебе спать не дал, – сказал Иван. – Но такого материала, какой я сейчас притащил, у тебя еще не было.

...Через полтора часа Илия передал Ивану Шоуху фельетон «Кто нас судит?». Фамилия Везича, впрочем, не называлась, но «некий г-н полковник полиции по имени Петар» расписывался Шумундичем как развратник, погрязший в пороке. Фельетон был злым и остроумным. Шел рассказ о «г-не полковнике Петаре» презревшем все нормы и правила приличия, и вывод был крутым: «Либо нас будет карать праведник, и тогда пусть карает, лишь бы карал по закону, либо мы будем отданы в руки лицемеров, напяливших на себя тогу судьи, забытую в доме терпимости во время незапланированной полицейской облавы, – при нашей организации охранного дела и такое возможно!»

С этим фельетоном Шох решил сразу же ехать в редакцию, но было уже четыре часа утра, и он отправился домой, а когда проснулся в восемь, поехал не к Ушеничнику, а в германское консульство. Там старый приятель Шоха пресс-аташе Отто Миттельхаммер ознакомился с материалами и задумчиво сказал:

– Погодите с публикацией, мой дорогой Шох. До вечера хотя бы.

– Время не упустить бы...

– Время работает на вас, материал-то великолепный. Но, поскольку к этому делу в какой-то мере причастен один наш коллега, давайте подключим к вам кого-нибудь из его группы, а?

...Выслушав Миттельхаммера, оберштурмбанфюрер Фохт сразу же подумал о Штирлице. Он часто думал о нем, гадая, сообщит он руководству об инциденте с Косоричем или будет молчать. Сам Фохт о случившемся никому ничего не докладывал: ни о том, почему покончил с собой югославский подполковник, ни о том, как его самого перехватил на улице Везич. Он ждал развития событий, полагая, что в большом исчезает малое. Однако сейчас удача сама шла к нему. Это нешуточное дело – ломать Везича; на этом недолго самому шею сломать. Так вот, пусть этим делом занимается Штирлиц. Есть шанс с ним покончить. Он, Фохт, конечно, спасет Штирлица и выведет из-под удара, если Везич загонит в угол «партайгеноссе» из VI управления. Но они тогда будут уравниены «в провалах». А если Штирлиц уже сообщил о случившемся, тем хуже для него. В случае, если Везич начнет побеждать, он, Фохт, поможет ему Штирлица добить. Только так, и никак иначе, отстаивать себя надо любыми путями, иначе сомнут, пройдутся сапогами, костей не соберешь...

...Через полчаса Штирлиц познакомился с Иваном Шоухом и его материалами о Везиче.

12. ПРЕИМУЩЕСТВА ОДИНОЧЕСТВА

...Звонимир Взик приехал домой в десять часов вечера. Обычно раньше двух он теперь из редакции не возвращался, дожидаясь выхода всех полос, но сегодня раскалывалась голова, глаза резало так, что они постоянно слезились, и Взик решил отоспаться. Он чувствовал, что, видимо, ближайшие дни будут особенно напряженными, возможно решающими для судеб страны, и тогда об отдыхе вообще не может быть речи...

Няня, приглашенная в дом ухаживать за сыном, сказала, что «госпожа уехала к тетушке и просила не беспокоиться, если задержится, потому что у старушки плохо с сердцем». Взик поужинал, машинально пролистал последние английские и немецкие газеты, захваченные из редакции, и пошел в спальню. Он заснул сразу же, как только голова его коснулась подушки. Ему приснился дикий сон: будто он ныряет, и его окружают тысячи рыб, и он пытается продраться сквозь их скользкие тела, и видит светлое у себя над головой, и понимает, что за этим близким пузырястым светлым начинается небо, но жирные, медлительные карпы не

дают ему выбраться наверх. Почувствовав тяжелое удушье, Взик испуганно закричал и проснулся. Кровать Ганны была пуста. Он посмотрел на часы, стрелки показывали три.

– Ганна, – тихо позвал он. – Ганна...

В квартире было тихо, никто не отозвался. Он поднялся, накинул халат и пошел в детскую. Няня похрапывала на тахте, и пальцы ее ноги, выпроставшейся из-под одеяла, странно шевелились, будто по пятке ползала муха и нудно щекотала кожу.

Взик вернулся к себе, быстро оделся и, шнуруя ботинки похолодевшими пальцами, испуганно подумал: «От тетки надо возвращаться через пустыри, господи!» Он представил себе, как Ганна лежит, испоганенная и холодная, маленькая нежная женщина, которую он так часто обижал, не желая того, тем, что смотрел сквозь нее, собираясь с мыслями перед началом атаки, ибо каждый день он поднимался в атаку; тем, что мимоходом спал с какими-то бабенками, если Ганна замыкалась в себе и презрительно улыбалась; тем, что перенес всю прежнюю свою любовь к ней на сына. Он вначале считал, что ему редкостно повезло в жизни, ему казалось, что Ганна относится к числу женщин-друзей, которые все понимают. Когда он сказал ей об этом, она ответила: «Я не такая сильная, Звонимир. Я не старше тебя и не умней, и ты не гений, которого можно любить, как ребенка, и, как ребенку, все прощать. Я люблю тебя как мужчину. Вернее, как мужа. И все. И не думай, что я соглашусь принимать тебя таким, каков ты есть. Можешь делать все, что угодно, но я ничего и никогда не должна знать об этом».

...Взик спустился вниз и выгнал из гаража свой «БМВ». «Надо было сразу ехать за ней, сразу, как только пришел. Она там сидела и ждала, что я забеспокоюсь и приеду, а я бухнулся спать, как последняя скотина».

Взик относился к тому типу мужчин, которые легко обижаются, долго отходят, но, отойдя, начинают заново анализировать происшедшее и склонны большую часть вины, если даже не всю, взять на себя. А потом он и вовсе забывал обиду, потому что ежедневно и ежечасно занимался делом, думал о нем и был ему подчинен, как всякий истинный газетчик, целиком и без остатка.

– Боже мой! – всплеснула руками заспанная, в ночном халате тетушка. – Что случилось?

– Ганна давно ушла?

– Ганна? Она не была у меня се... Хотя, – женщина вдруг осеклась, – может, она приходила, когда я была у Николы. А что случилось, Звонимир? Что случилось?

Взик устало и презрительно усмехнулся.

– Ничего. Ровным счетом ничего.

Но в машине он подумал, что, видимо, нянька перепутала что-нибудь, и поехал к своей тетке, в другой конец города, к Саймишту, на углу Звонимировой, но и там Ганна не появлялась, и он по инерции уже зашел в полицейский участок и спросил, не было ли каких несчастных случаев, и ему ответили, что никаких несчастных случаев не зарегистрировано, да и трудно им сейчас быть, потому что город патрулируется не только службами порядка, но и войсками.

Когда он вернулся домой, Ганна встретила его злым вопросом – она лежала в кровати, натянув одеяло до подбородка:

– Что, в редакции уже перешли на ночной график?

Она даже не зажигала света, когда пришла домой, поэтому и не заметила, что кровать Звонимира не просто раскрыта, как это делает няня вечером, а измята спавшим человеком. Она пришла поздно потому, что провожала Мийо на аэродром. Она так и не смогла решиться уйти от мужа. Они договорились, что она попросит Звонимира отправить ее с Мирко не в горы, а в Швейцарию, если он действительно боится начала войны. Они чуть не опоздали на аэродром, потому что Ганна не могла оторваться от Мийо. Они лежали, обнявшись, почти

весь день и только подходили к столу, чтобы выпить воды, и снова возвращались на кровать, и она целовала его шею, плечи, подбородок и шептала солеными от слез губами:

– Господи, как же я люблю тебя, Мийо, как я тебя люблю...

Мийо внезапно насторожил этот истеризм, он считал Ганну спокойной и рассудительной и поэтому в глубине души даже рад был сейчас, что улетит один, ибо его испугали ее бесконечные рассказы о сыне, о том, какой это замечательный мальчик, какой умница, а Мийо хотел, чтобы она любила одного лишь его, он не привык делить свою любовь с кем бы то ни было, но он тоже обнимал Ганну и гладил ее волосы, задумчиво глядя в потолок, показавшийся ему вдруг грязным и бесстыдным.

– Как тетушка? – спросил Звонимир.

– Ей лучше, – ответила Ганна и зажмурилась: до того ей неприятен был сейчас голос Звонимира и весь он – маленький, с обвисшим животом и толстой, вечно потной шеей. Она снова увидела Мийо, услышала его рокочущий добрый бас и показала себе до того одинокой и никому не нужной, что ей захотелось вскочить, взять сына, и броситься на аэродром, и улететь на первом же самолете, и обогнать Мийо, и встретить его в Лозанне, и почувствовать на себе его тяжелые, сильные руки, и подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до его острого подбородка.

– Слушай, ты, сука, – медленно сказал Взик, чувствуя, как тяжело ему произносить слова из-за того, что скулы стянуло оскоминой, будто он наелся незрелых лимонов, – сейчас же одевайся и уходи отсюда вон! К тетушке! Она просила передать, что давно хотела повидать тебя! Шлюха!

...Скандал кончился лишь под утро. Взик сел в машину и поехал в редакцию. Дверь в здание, где помещался его кабинет, была заперта. Раньше после скандала он закатывался в притон, и чувство собственной вины позволяло ему быстрее помириться с Ганной. Но сейчас, поняв, что все это время жена была неверна ему, и, видимо, не просто неверна, а влюблена в кого-то другого, Взик испытывал чувство яростного, но бессильного гнева.

Он пришел в свой кабинет, когда ожило здание, где его редакция занимала третий этаж, и долго сидел за столом, обхватив голову руками, пока не раздался первый телефонный звонок, неожиданный в такое раннее время.

– Проказник?! – пророкотал Везич. – Бандит пера?! Сейчас я буду у тебя, хорошо?

Взик хотел ответить, что приезжать не надо, но какой-то странный паралич воли помешал ему, и он лениво ответил, что ждет Петара и конечно же будет рад повидать его.

...Решение Везича странным образом повторяло именно то, к чему одновременно с ним пришел Иван Шох. Он хотел опубликовать в газете Звонимира Взика материал о незаконной деятельности группы Веезенмайера: гибель Косорича, оставившего посмертное письмо; контакты с «культурбундом»; тайные встречи с лицами, которые так или иначе подозревались в связях с усташами. Везич понимал, что опубликование такого материала связано с риском. Однако, считал он, то отсутствие определенности, которое наблюдалось во всех сферах общественной жизни, неминуемо должно привести к появлению новой линии. Этого требовали демонстранты на улицах, студенты в университетах, рабочие в цехах заводов. Надо было «подтолкнуть» правительство к такого рода решению, открытому, ясному и утвержденному законом. Бюрократическая машина, мешавшая Везичу представить его материал непосредственно правительству, разброд и вихляние аппарата заставляли предпринять крайний шаг. Везич был убежден в том, что лишь создание единого фронта может помочь стране выйти из кризиса и организовать оборону, а то, что обороняться придется, и, может быть, в самые ближайшие недели, сомнения у него не вызывало. Если же страна станет единым лагерем, дело до вооруженного столкновения с Гитлером может не прийти: с таким противником, как он, совладать трудно, лучше договориться миром на условиях, которые взаимно приемлемы и не обращены на унижение государственного достоинства.

Ночью он сказал Ладе:

– Золотко, а ведь с меня могут снять голову.

– Ой, пожалуйста, не надо, – сонно улыбнулась она, – я полюбила тебя именно за голову.

– А за остальное?

– Остальное было потом. Остальное важно только для дур. Так мне кажется.

– Тебе остальное не нужно?

– Нет, нужно, конечно, но можно обойтись, – она усмехнулась, – какое-то время, во всяком случае. А за что снимут голову? За Веезенмайера?

– Да.

– А можно его не трогать?

– Можно.

– И что тогда будет?

– Ничего. Голова останется на месте. Страну, правда, могут растащить.

– Ты не король. Примеряй свое на себя. Тебе будет очень плохо, если ты решишь его не трогать?

– Очень.

– Почему?

– Я буду чувствовать свою жалкость. Такое, наверное, испытывает старый муж, когда его молодая жена возвращается от любовника.

– Противно чувствовать себя старым мужем?

– Ужасно противно, – ответил Везич и обнял Ладу. Он ощущал себя рядом с ней сильным, спокойным и очень нужным людям, потому что знал, как он нужен ей, Ладе, и как ей хорошо с ним, и как ему спокойно с ней, и как он не ревнует ее к тому, что у нее было, потому что это все выдуманные химеры – прошлое; есть лишь одна реальность – настоящее, этому и нужно верить, во имя этого только и стоит жить.

А жить, ощущая свою слабость и зависимость от воли других людей, маленьких, подлых, служащих идее зла, совсем уже невозможно, особенно если ты свободен и рядом с тобой такая женщина, как Лада, которая ничего не хочет, кроме как плыть по реке и смотреть на берега...

«Вообще-то людям определенных профессий, – думал Везич, поднимаясь в кабинет редактора, – нельзя обзаводиться семьей. Мне, например, надо обзаводиться семьей, чтобы быть настоящим полицейским чиновником и любяще смотреть в глаза начальству, слепо выполнять приказы, страшась только одного: потерять работу и лишиться семью куска хлеба. Я бы гнал людей, подобных мне, из тайной полиции: надежнее любой присяги семья с ее заботами. А вот газетчику, артисту, художнику нельзя, наверное, обзаводиться семьей, потому что, если люди этих профессий будут лишены возможности рисковать – а их труд это всегда риск, ибо он экспериментален, – они останутся на всю жизнь ремесленниками, которые зарабатывают на хлеб в том храме, где само понятие «заработок» звучит святотатством».

– Здравствуй, Звонимир, – сказал он, войдя к Взику. – Ты что как оплеванный?

– Заметно?

– Вполне.

– Я порвал с Ганной.

– Узнал о ее связи?

– С кем? – насторожился Взик.

– Я просто спрашиваю.

– Ты что-нибудь знаешь?

– Я никогда не вмешиваюсь в семейные дела моих друзей, Звонимир. Словом, если порвал, то правильно сделал.

– Почему?

– Потому что любая определенность лучше болота. Слушай, я к тебе по срочному и важному делу. Оно значительно важнее, чем твои дразги с Ганной.

Взик смотрел на него с вымученной улыбкой, и Везич понял, что он сейчас был несправедлив к товарищу: он говорил с ним с той высоты, на которую был вознесен любовью Лады, как человек, свободный в своих решениях и потому смелый в мыслях, отрешенный от того низменного, что опутывает людей, делая их рабами самих себя.

– Я слушаю, – сказал Взик. – Продолжай, пожалуйста...

– Прости меня, Звонимир. Я понимаю, что тебе сейчас не до меня. Но дело, по которому я пришел, касается всех нас.

– Я слушаю, – повторил Взик, – говори.

«Если он откажется, – понял Везич, – а он может сейчас отказаться, мне останется только одно – пойти к коммунистам. Не думал я, что они могут пригодиться мне в таком качестве. Но их газета выходит маленьким тиражом, распространяется нелегально, им не поверят. Нет, надо, чтобы все довел до конца Взик, только он».

Взик смотрел на Петара, но тот чувствовал, что слушает он его невнимательно, и в глазах у него не было той обычной живости, которая делала Звонимира великолепным собеседником. По его взгляду и по его реакции на рассказ можно было судить, насколько интересен он.

– Звонимир, – сказал Везич, – а ведь ты меня не слушаешь.

– Я слушаю.

– Ты понимаешь, о чем идет речь? Или ты весь в себе и в своем домашнем бедламе?!

Ну, развелся, ну, ладно, ну, и хватит об этом! Мир не исчез из-за того, что твоя жена живет с кем-то! Мир ведь продолжается!

– Петар, я выполню все, о чем ты попросишь.

– Я прошу тебя выслушать меня и написать после этого редакционную статью...

– Этого я сделать не смогу.

– Ты не имеешь права не делать этого.

– Петар, человек не может прыгнуть выше себя. Я привык к дразгам, я забывался за этим столом, я был счастлив, читая новый номер газеты, и я всегда был уверен, что если у Ганны и есть какое-то увлечение, то это увлечение чистое, наивное, духовное, подобное моему постоянному увлечению делом. Но я не мог представить, что все эти годы она так не любила меня, обманывала изобретательно и зло, словно мстя за то, что я когда-то смог увлечь ее не аполлоновским торсом, не зевсовой силой, а натиском мысли. Я сломан сейчас, Петар. Я быстро забываю обиду, но я не могу пережить предательство.

– Ты ведешь себя как баба.

– Видимо.

– Я оскорбил тебя, Звонимир?

– Нет. Ты сказал правду.

– Значит, ты уходишь в нору?

– Я загнан туда. Я не умею скрывать себя, Петар.

– И ты не сможешь своей родине?

– Чем?

– Делом.

– Сейчас я вызову репортера, который запишет все с твоих слов, и поставлю его материал в номер.

– Это нельзя сразу записать с моих слов. И не надо сразу ставить в номер. Мне нужно, чтобы ты выслушал меня, и чтобы ты серьезно написал об этом, и чтобы были готовы гранки.

Только сейчас, глядя на безучастного Взика, он понял, что сначала должен поехать с гранками к заместителю министра, выслушать его ответ, а уж потом печатать это в газете – в том случае, естественно, если и генерал, подобно остальным членам кабинета, начнет говорить о выдержке, осмотрительности, осторожности.

– Это очень рискованное дело, Звонимир, – продолжал Везич. – И мне нужна твоя помощь в этом рискованном деле.

– Я же сказал тебе. Я сделаю все, что ты просишь.

– Тебе могут свернуть голову вместе со мной.

– Голова была нужна мне, поскольку все время я думал о семье. Теперь я свободен. Я готов сделать все что угодно. Мне все стало неинтересно, Петар. Понимаешь?

Везич поднялся с кресла.

– Мир в огне! Люди гибнут! Нас могут раздавить гусеницы танков Гитлера! А ты?!

– Что я? – так же безучастно сказал Взик. – Какая мне разница, кто меня раздавил, танк или человеческая подлость? Человеку неважно, от кого сносить обиду или принимать смерть. Важен результат. И не кричи ты, у меня и так голова раскалывается.

Он вызвал секретаршу и тихо сказал ей:

– Попросите зайти ко мне Иво Илича.

Иво Илич тоже не спал этой ночью, потому что у сына резался первый зуб, и бабка, несмотря на то что сочиняла для мальчика самые занятные колыбельные, не могла укачать его, и Иво взял своего первенца на руки и начал ходить с ним по саду, и рассказывал ему смешные истории, и делился с ним своей заветной мечтой – написать такой репортаж, чтобы о нем заговорили все в Югославии и чтобы стать знаменитым журналистом, купить после этого домик, где у Ивана будет своя комнатка, и он может орать себе всласть, и Злата не будет плакать, и бабка не будет ворчать, и все у них будет замечательно, и в доме будут большой кот с черными глазами и синим носом и собака с желтыми подпалинами на спине, на которой маленький станет ездить верхом, когда подрастет.

Когда Везич и Иво вышли из редакции, люди подполковника Владимира Шошича следили за ними искусно и осторожно.

После того как они поговорили в кафе и Иво записал в блокнот несколько фамилий и адресов, Везич уехал в управление, а молодой репортер, получивший первый раз в жизни настоящий материал, отправился домой. Он должен успеть написать к вечеру, и его материал прогремит на всю страну, и хотя он на этом материале денег на домик не получит, но щенка сенбернара обязательно купит: вчера в «Обзоре» было напечатано объявление, что хозяин золотой медалистки Дольки продает семь щенков – двух кобелей и пять сучек.

О том, что Везич передал газетчику подробный материал на Веезенмайера и всю его группу, Шошич сообщил Ивану Шоху; тот, в свою очередь, сразу поставил об этом в известность германское консульство; консул отправился к Штирлицу – говорить об этом по телефону было никак невозможно, – но Штирлица в отеле не было, и он пошел к Фохту, а Фохт ввиду срочности события решил поехать в апартаменты к штандартенфюреру. Выслушав своего помощника, Веезенмайер отчитал его за то, что не знал об этом с первой же минуты, и бросился к зубному врачу Нусичу, у которого скрывался Евген Грац.

А Штирлиц сидел с Везичем на открытой веранде пустого в этот час ресторана «Илица» и внимательно разглядывал сильное лицо полковника. За час перед этим он встретился с Родыгиным. Он пригласил его и Дица на ленч, как они и условились накануне. Родыгин назвал им имена многих людей, связи у него были широкие и разнообразные. Диц поздравил Штирлица с удачей – источник довольно интересен.

После этого Штирлиц поехал на встречу с Везичем. Говорить ему сейчас приходилось особенно осторожно, ощупью, сдерживая нетерпение, потому что, по всему судя, счетчик

времени уже работал вовсю. Москва прислала вторую шифровку – Центр требовал ответа на свой вопрос, такой, в общем-то, немногословный: «Будет ли война с Югославией, и если будет, то когда?» Не больше и не меньше. А что Везич? Какое он может иметь отношение к ответу, который предстоит узнать Штирлицу? Никакого он не имеет к этому отношения. Хотя ничего нельзя сказать заранее. Не зря, видимо, Родыгин расспрашивал о нем прошлой ночью. Везич может оказаться той ступенью, которая позволит Штирлицу шагнуть поближе к Везенмайеру. А тот знает все.

– Господин полковник, какую форму разговора вы предпочитаете?

– Вы задаете вопрос вроде маэстро, предлагающего любые условия перед началом сеанса одновременной игры на десяти досках, господин Штирлиц.

– На десяти досках я не потяну. На трех, от силы четырех, еще куда ни шло.

– Вы имеете в виду нашу с вами партию?

– Нашу партию мы будем разыгрывать на одной доске. Собственно, этого ответа я и ждал, когда спрашивал вас о форме разговора.

Штирлиц неторопливо открыл портфель, достал папку, в которой лежали фотографии полуголого Везича и Лады, статья фельетониста Илии Шумундича, и положил все это на стол.

– Поглядите, пожалуйста, – сказал он. – Нет ли здесь мелких огрехов и фактических неточностей?

Везич пробежал статью, внимательно рассмотрел фотографии – не монтаж ли – и серьезно спросил:

– Завизировать?

– Это было бы замечательно.

– Вы уверены, что опубликуют?

– Бесспорно.

– Когда?

– Сразу же после нашего с вами разговора.

«Вечерних газет две, – подумал Везич, – и в одной из них Взик. Мне надо, видимо, не ждать разговора с заместителем министра, а публиковать сегодня же...»

– И вы действительно думаете, – спросил он, – что это может мне повредить?

– А вы как думаете?

– Мне интересна ваша точка зрения.

– Думаю, что вам это здорово повредит.

– Почему?

– Потому что вы не сможете опровергнуть ни одного из приведенных здесь фактов. Факты, конечно, ерунда сами по себе; можно было бы и поинтереснее найти, но мы в цейтноте. Однако факты эти обращены к массовой аудитории и затрагивают те вопросы, которые более всего интересны толпе. Опровергать написанное здесь, – Штирлиц тронул мизинцем странички, – невозможно, поскольку вас конкретно ни в чем не обвиняют. О вас говорят как о блудливом блюстителе нравов. Этот парадокс, я согласен, дешевого свойства, но он стреляет в десятку.

– Парадокс стреляет?

– Это вы хорошо подметили. О чем свидетельствует, по-вашему, такая корявая фраза?

– О том, что вы волнуетесь.

– Именно.

– Ваш коллега ни за что в этом бы не признался.

– Кого именно вы имеете в виду?

– Господина Фохта.

– Он очень волновался, беседуя с вами?

– Он тщательно скрывал свое волнение.

– Каждый человек играет такую роль, какая ему по силам.

– Меня всегда интересовал вопрос: явлением какого порядка следует признать актера – высшего или низшего?

– Актер – это орган божий, – ответил Штирлиц задумчиво. – Он моделирует нижний уровень бытия, не высокое – бытие плоти, бытие темперамента. Но поскольку он **может** это моделировать, то сам становится явлением высшего порядка, ибо лицедейством своим заново осмысливает явления, то есть обладает врожденным даром мыслить.

Везич удивился не столько этому ответу, сколько тому, что Штирлиц не форсировал разговор, – а он мог это сделать, и, наверно, это было бы ему выгодно, ибо он сейчас обладал выигрышем во времени.

– Ну, а если актер – явление высшего порядка, – медленно сказал Везич, глядя в глаза Штирлица, – что же такое институт режиссуры?

– Режиссер – это творец мысли. Настоящий режиссер и настоящий актер почти всегда борются друг с другом, это две индивидуальности. Разница в том, что режиссер спускается сверху. Режиссер создает свое имя из всего на свете, он, как творец, творит мир, но из чего сотворит он этот свой мир и свое имя?!

– Да, но за ними обоими стоит писатель. Он, видимо, самое главное начало в проявлении этих двух ипостасей.

– По-моему, – так же осторожно, как спрашивал Везич, ответил Штирлиц, – писатель не имеет ничего общего с режиссером и актерами. Он облакает свое многократное «я» в словесную ткань. Понять идею его «я» должен режиссер. Выразить – актер, то есть вы. Я, Штирлиц, как и вы, актер. Всякий актер, если он не бездарь, – некий контрольно-пропускной пункт. Режиссер может что-то предписать нам, но мы вправе сказать «нет» режиссеру. Не потому, что так мужественны, а лишь оттого, что не можем сделать т а к. «Мой герой так не поступит. Он так поступить не может». И все. Когда актер не может чего-то органически, значит, работал его контрольно-пропускной пункт...

Везич склонился над столом и, замерев, спросил:

– Тогда, быть может, настоящему актеру не нужен режиссер? Может быть, настоящий актер вправе вести роль сам по себе?

Штирлиц смотрел на Везича так же цепко и молчал, хотя он знал, что надо ответить полковнику, ждал того мгновения, когда **надо** будет ответить ему. Он почувствовал это мгновение, когда Везич чуть прищурил веки – не выдержал напряжения.

– Актер может сыграть роль сам по себе, – ответил Штирлиц, – но в этом случае он будет поступать как режиссер. Он будет заменять режиссера, но не отменять его. Он станет возмещать режиссера, чтобы творить свой мир и свое имя.

– И вы думаете, что талантливый актер может спасти плохую пьесу?

– Если роль очень плоха, надо дать ему возможность выкидывать какие-то слова. Что такое роль? Это список реплик. А реплики – сотая часть жизни. Ведь между репликами, в сущности, идет жизнь. Видимо, все дело в ремарках... Ремарки должны открыть возможности для актера. Если актер почувствует, что роль очень слаба, но ремарки жизни тем не менее наличествуют, он опустит реплики и сыграет. Плохую роль он возместит самим собой, своей личностью...

Везич откинулся на спинку плетеного стула и впервые за весь разговор закурил.

– Где вы учили немецкий? – спросил Штирлиц.

– В Вене.

– У вас блестящий немецкий. Наверное, вашими учителями были немцы, а не австрийцы.

– Моими учителями были «фолькиш», иностранные немцы, австрийские подданные. Такие же, как здесь югославские немцы. Они издеваются над языком ваших пропагандистов

Кунце и Вампфа – я слушал запись их разговоров после того, как они проводили с ними инструктивные беседы.

– Вы пользуетесь английской аппаратурой?

– Американской.

– Немецкая лучше.

– Может быть. Но вы нам ее не продавали.

– Да? Глупо. Я бы продавал, пропаганда техникой – самая действенная пропаганда.

– Слава богу, у вас не все думают так остро, как вы.

– Не любите немцев?

– Не люблю нацизм.

– Почему так?

– На это у меня есть много причин.

– Личного порядка?

– Да.

– Мы задели кого-нибудь из ваших родных?

– Нет.

– Друзей?

– Нет. Просто, по-моему, на каком-то этапе общественная неприязнь одолевает каждую личность – это самая сильная форма неприязни.

– Вам кажется, что образцом истинно справедливого государства может считаться ваша монархия?

– Отнюдь.

– Я боюсь, что, ответив вы на мои следующие вопросы, дальнейший разговор мне придется прекратить...

– Тогда лучше опустим ваши дальнейшие вопросы, потому что мне жаль прерывать такой интересный разговор.

– Согласен. Скажите, вы намерены продолжать драку даже после того, что я показал вам?

– Обязательно.

– Как вы думаете драться?

– Есть много способов.

– Верно. Все эти способы, однако, возможны лишь в том случае, если драку ведет полковник Везич. А если драку будет вести просто Везич?

– Просто Везичу драться будет труднее. Но ведь и лишиться Везича звания тоже нелегкое дело.

Штирлиц покачал головой. Везич заставил себя рассмеяться.

– Не надо, – сказал Штирлиц. – Это у вас получилось искусственно. Не проигрывайте партию в мелочах. Не сердитесь, вы симпатичны мне, только поэтому и говорю так.

– И вам не следует проигрывать в мелочах. Что значит «симпатичны»? Почему?! Ведь я наступил вам на хвост...

– Мне?

– Вы хотите сказать, что я наступил на хвост режиссеру?

– Это вы так сказали, полковник. Давайте уважительно относиться к словам друг друга.

– Но вам бы хотелось так сказать?

– Больше всего мне хотелось бы поехать сейчас на море.

– Ну что ж. Приглашаю.

– Есть конспиративная квартира на побережье?

– Несколько.

– Спасибо за предложение. Подумаю. А вам советую поразмыслить над моими словами. Вас сомнут, если вы будете продолжать драться таким образом. Может быть, следует пойти

на временный компромисс? Чтобы сохранить возможность продолжать борьбу? Иными путями? В иной обстановке? Нет?

– Вы думаете, после начала войны, допусти я возможность оккупации Югославии, мне сохранили бы мой пост в полиции?

– Я так далеко не заглядывал. И вы согласились бы продолжать службу в полиции, случись война между нашими странами?

– Прежде чем ответить, мне надо знать, будет война или нет. И если да, то когда? Хватит ли у меня времени закончить первый раунд теперешней драки или пора готовиться к следующему?

«Его вопрос мне выгоден, – сразу же понял Штирлиц. – Видимо, я все время подводил его к нему. Странно, чем точнее я буду играть свою роль по возможной вербовке Везича для рейха, тем скорее я смогу ответить Москве».

– Для того чтобы ответить вам, – сказал Штирлиц, – мне надо услышать: понимаете ли вы, что мы вас обскакали и что мы сейчас можем вас смять? Это первое. Понимаете ли вы, что мой откровенный ответ на ваш вопрос, поставленный жестко и четко, должен предполагать нашу дружбу в дальнейшем?

– Вы имеете в виду мою вербовку?

– Людей вашего уровня не вербуют.

– А что же у вас делают с людьми моего уровня?

– Людей вашего уровня удобно держать в добрых друзьях. Или югославская разведка придерживается иного правила?

– Когда как... Хорошо, я подожду вашего ответа до сегодняшнего вечера, – сказал Везич. – Я ничего не буду предпринимать до сегодняшнего вечера. В восемь часов – вас это время устроит? – я жду вас в клубе «Олень», это на Медвешчакской дороге, дом девять. Уговорились?

«Соглашайся, соглашайся, – молил его глазами Везич. – Ну соглашайся же! Я тогда успею напечатать сегодня же мой материал. Потом можете делать все что угодно, все равно я вас повалю в нокдаун! Победить не выйдет, не хватит сил, но и желание похвально! В конце концов всех нас на том суде, который уготован каждому, будут судить – и если я чего-то не смог, то не оттого, что не делал, а потому лишь, что не хватило сил. Здесь уж моей вины перед богом нет, и римляне не зря прежде всего ценили изначальное желание».

– Уговорились, – сказал Штирлиц медленно, словно бы спотыкаясь на каждой букве.

«Поставит там аппаратуру, – понял он. – И получит подтверждение своей версии. Он выгадывает время, потому что готовит удар. Он хочет переиграть меня. Пусть. На здоровье. Зато я имею возможность переиграть Веезенмайера. Впрочем, все может полететь в тартарары, если Веезенмайер поедет в клуб «Олень» один. Зачем делить лавры с подчиненным? Я должен сделать так, чтобы Веезенмайер поручил этот вечерний разговор мне. Или взял меня с собой. Если он поступит иначе, я зря истратил время».

13. ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

«Центр»

В Берлине работают представители усташей Младен Лоркович и Вилко Ригель, которые поддерживают контакты с министерством иностранных дел и с РСХА (через кого именно, выяснить не удалось). В Загребе СД имеет своих людей в армии и ВВС, опираясь прежде всего на капитана Генерального штаба Мариана Доланского и завербованного капитана из штаба ВВС Владимира Крена. Доланский и Крен были переданы группе Веезенмайера берлинскими усташами, поскольку оба эти человека внедрены в армию еще в 1930 году. Резидентом Канариса в Загребе является журналист Герман Пребст, который занимается

вопросами, связанными с югославской армией. (Он первым сообщил в Берлин о том, что ставка белградского генштаба была сделана на «операцию смешивания», имея в виду сложность национального вопроса в стране. Поэтому в Загребе расквартированы части, укомплектованные, в основном, сербами, однако командование осуществляют офицеры-хорваты; в то же время в районе Нового Сада и Белграда большое число полков составлено из хорватов под командованием сербских офицеров.) Автономно работает в Загребе агент Гейдриха Иисус, или 6976, – штурмбанфюрер Рудольф Кобб, задачи которого мне неизвестны. В Загребе группа Везенмайера осуществляет постоянные контакты с итальянским, болгарским, румынским и венгерским консулами. (Румыния не имеет своего консульства, и ее интересы представляет Эухенно Кастельяно, вице-консул Уругвая, проживающий на Старчевичевом трге, в доме 4, тел. 12-71.) По словам ген. консула Фрейндта, отношения между Берлином и Будапештом в свете германо-югославского конфликта крайне натянутые. Британский консул в Загребе сказал, что Венгрии, «зажатой между Гитлером, Сталиным и Черчиллем, предстоит выбрать нейтралитет – это единственное, что может ее спасти». Необходимо выяснить в Будапеште ситуацию, ибо отказ Венгрии пропустить войска Гитлера может иметь далеко идущие политические последствия.

Юстас».

«Генерал-лейтенант Паулюс – начальнику генерального штаба генерал-полковнику Гальдеру.

Генерал!

Переговоры, которые по Вашему поручению я вел с венгерскими военными руководителями, несмотря на кажущуюся их благополучность, могут окончиться крахом. Начальник генерального штаба венгерской армии генерал Генрих Верст согласен со всеми моими доводами. Он готов дать возможность нашим войскам расквартироваться в районе Сегеда, однако позиция премьер-министра Пала Телеки продолжает быть колеблющейся. По мнению Верста, премьер, отличающийся характером, склонным к эмоциональным срывам, может выступить в парламенте против расквартирования наших войск в Венгрии, причем он может пойти на подобного рода шаг открыто, в присутствии представителей иностранной прессы. Необходимо информировать о такого рода возможности министерство иностранных дел.

Ваш Паулюс».

«Фельдмаршал Кейтель – рейхсминистру Риббентропу.

Господин рейхсминистр!

Прошу Вас ознакомиться с письмом генерала Паулюса и предпринять шаги, которые будут признаны целесообразными Вашими экспертами.

Ваш Кейтель».

«Рейхсминистр Риббентрон – рейхслейтеру Борману.

Партайгеноссе Борман!

Прошу Вас ознакомить фюрера с письмом Паулюса, пересланным мне фельдмаршалом Кейтелем. Хайль Гитлер!

Ваш Риббентрон».

«Рейхслейтер Борман – рейхсминистру Риббентропу.

Партайгеноссе Риббентрон!

Фюрер поручает Вам составить проект письма регенту Хорти.

Хайль Гитлер!

Ваш Борман».

«Регенту контр-адмиралу Хорти Миклошу.

Ваше высочество!

Та давняя и традиционная дружба, которая связывает наши нации в течение многих столетий, заставляет меня обратиться к Вам с этим письмом. Коварство Белграда требует от нас мер решительных и безотлагательных, учитывая тем более всю сложность ситуации, сложившейся на Балканах. С точки зрения международного права, совершен акт беспрецедентного произвола, когда правительство, получившее власть из рук монарха, низвергнуто кучкой английских наймитов во главе с Симовичем. Та стабильность, которую мы пытались столь долго достигнуть, невозможна отныне, и соотношение сил на Европейском континенте может оказаться не в нашу пользу. Именно поэтому мы считаем, что зло не имеет права быть безнаказанным и что час возмездия против тех, кто уже один раз спровоцировал мировую войну, пробил. Я думаю, что в создавшейся ситуации интересы венгерской нации заставят Вас принять ту меру участия в предстоящей операции, которая, возможно, более полно охранит интересы Венгрии в тех районах Югославии, где проживает значительное число Ваших соплеменников. Я считаю, что пришел час, когда четкая и бескомпромиссная позиция правительства Вашего Высочества должна выразиться в согласованных с нами акциях – лишь это обеспечит и гарантирует венгерские интересы в Югославии.

Адольф Гитлер».

Ознакомившись с проектом письма, переданным ему Риббентропом, Гитлер раздраженно заметил:

– Мы начинаем войну, а не дипломатическую интригу. Это написано туманно и трусливо.

Он замолчал на мгновенье, и взгляд его тяжело замер на сером мраморе колонн. Борман сразу же полез за блокнотиком, маленьким и потрепанным от частого вытаскивания из кармана, он заносил туда каждое слово, которое произносил фюрер.

– Писать Хорти надо так, – начал фюрер. – «Ваше Высочество, я начинаю операцию против сербских путчистов. Югославия исчезнет с карты мира. Если Вас волнует судьба венгров, населяющих районы Суботицы и Нового Сада, если Вы хотите получить выход к Адриатике через Хорватию, которая будет создана под нашим протекторатом, Ваше правительство обязано категорически и недвусмысленно определить свою позицию в течение ближайших суток». Все. Это я подпишу. Я готов подписывать только то, что формулирует проблему открыто и принципиально. Добавьте одну-две фразы о том, что нация не простит ему колебаний, если югославы вырежут венгров так, как они это делают сейчас с несчастными немцами...

– Но при чем здесь выход к Адриатике, мой фюрер? – спросил Риббентроп. – Блистательный и честный стиль вашего письма может диссонировать с утопизмом, заложенным в «Адриатическом варианте»...

– Хорти был контр-адмиралом в австро-венгерской армии, – поморщился Гитлер, – он передавал флот Габсбургов Антанте. Он сохранил за собой адмиральский титул, не довольствуясь высшим званием регента. Он мечтает о море, Риббентроп. Это личное. А повод бороться за личное – судьба венгров, которые сейчас в опасности, которых травят и бьют славяне.

«Риббентроп – Веезенмайеру.

Строго секретно.

Срочно организуйте материалы о притеснениях, проводимых режимом Симовича против венгерского меньшинства в районах Суботицы и Нового Сада. Примите все меры для того, чтобы материал выглядел убедительно. Срочно

выслать мне и одновременно через венгерского консула отправить в Будапешт на имя Хорти и премьер-министра Телеки.

Хайль Гитлер!»

Веезенмайер вызвал Фохта.

– Немедленно свяжитесь с венгерским консулом, – попросил он, – подключите к нему Дица или Штирлица, и пусть они срочно съезжают в Новый Сад. Попросите Дица связаться с нашими людьми из «культурбунда», живущими в венгерских районах. Пусть они организуют материалы о зверствах сербов против венгерского национального меньшинства. Это надо сделать немедленно. А завтра пусть Штирлиц или Диц пригласят венгра и свозят его в Новый Сад. Не больше дня на всю операцию. Ясно?

Диц позвонил в Новый Сад и поговорил с Гербертом Штаубе, работавшим окантовщиком гобеленов. Разговор их был странным и касался вопросов, связанных с закупкой поделок, производимых венгерскими мастерами – резчиками по дереву, если, впрочем, таковые еще имеются. Это был код, известный всем резидентам шефа всеюгославского «культурбунда» Янка Зеппа.

«Лондон. Форин Оффис.

Ш. имел сегодня беседу с доверенным лицом графа Телеки профессором Дьюлой Нимеди. Тот утверждал, что премьер противится «пристегиванию» Венгрии к югославскому конфликту, однако Ш. ответил Нимеди, что премьер Телеки не должен иметь иллюзий по поводу того, как поведет себя Великобритания, если Венгрия вступит в войну против Югославии. Нимеди утверждал, что Телеки категорически отверг требования Гитлера и сейчас предпринимает шаги для того, чтобы сдерживать Хорти. Однако Телеки просил передать Черчиллю, что он не сможет противостоять всем германским требованиям и, хотя войска Гитлера, видимо, пройдут сквозь страну, Венгрия тем не менее сохранит нейтралитет. Уход Телеки в отставку будет означать выход на авансцену лидера венгерских фашистов Салаши, натурализовавшегося армянина, человека сильной воли и фанатической устремленности. Салаши, по словам профессора Нимеди, сразу же пойдет на прямой и бескомпромиссный союз с Гитлером; он готов выполнить все требования национал-социалистов, ибо его организация, опирающаяся на люмпен-пролетариат и мелких буржуа, исповедует идеологию, которая рождена НСДАП. Уход Телеки в отставку, таким образом, был бы актом капитуляции перед Гитлером; дальнейшие контакты Будапешта с Лондоном были бы прерваны, и последняя центральноевропейская держава оказалась бы, таким образом, полностью включенной в сферу германского влияния. Ш. сказал, что правительство Его Величества относится с пониманием к сложностям венгерского кабинета, оказавшегося в окружении держав оси, и добавил, что нейтралитет Венгрии позволит ей избежать той участи, которая рано или поздно постигнет ее союзницу по Тройственному пакту – Германию, ведущую военные действия. Нейтралитет Венгрии позволит ей в определенный момент оказаться посредником, а посреднические функции несут в себе гораздо более перспективные выгоды, чем слепое следование очевидным – в настоящее время – победам нацистов. Однако варварство никогда еще не побеждало окончательно, хотя история знает примеры, когда цивилизация отступала под натиском дикости для того, чтобы, собрав силы, нанести удар такой мощи, который всегда сокрушал и будет сокрушать агрессора.

Советник посольства в Венгрии

Джеймс Линс».

«Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру.

Рейхсфюрер!

Посылаю Вам текст расшифрованной спецслужбой записи беседы регента Хорти с премьером Телеки. (Беседа была записана с помощью введенного в семью адмирала агента Йоланка, или 926-1.) Несущественные, с точки зрения посла Эрдсмандорфа, части беседы были купированы, однако я счел нужным представить Вам полный текст, считая, что если МИД может довольствоваться протокольной и ныне действенной стороной вопроса, то службам РСХА целесообразно быть в курсе всех так называемых мелочей.

Хайль Гитлер!

С совершенным уважением
штандартенфюрер СС Грове,
советник-посланник в Венгрии».

«Телеки. Нет, благодарю. Я сегодня уже выпил двадцать чашек кофе.

Хорти. Я спрошу чая.

Телеки. Нет, нет, ваше высочество, пожалуйста, не тревожьтесь...

Хорти. У тебя больные глаза...

Телеки. Я прошу, я молю ваше высочество еще и еще раз взвесить свое решение. Соглашаясь на предложение Гитлера, мы отрезаем все пути к отступлению. Я только что получил телеграмму из Лондона. Барта вызвали в Форин Оффис и подтвердили, что, если Венгрия решится на какие-либо шаги против Югославии, это будет означать не просто разрыв дипломатических отношений, но объявление войны. В Москве посла пригласил Молотов и сказал, что Кремль «не поймет» шагов Венгрии, направленных против сопредельных с нею государств. То же самое происходит в Вашингтоне. Хэлл дважды беседовал с Лигеди, он грозил ему санкциями.

Хорти. Я бы согласился с твоими опасениями, граф, если бы Венгрия вступала в войну на стороне Гитлера. Мы не вступаем в войну на стороне Гитлера. Я же говорил тебе...

Телеки. А на чьей же стороне мы тогда?! На чьей? Войска чужой державы на нашей территории. Войска, которые нанесут удар по дружественному нам государству. Войска, которые ударят там, где югославы – в соответствии с нашим «Вечным договором о дружбе» – не держат своих войск. Вероломство остается вероломством вне зависимости от того, как об этом напишут журналисты. Нашими газетами разжигают камини или подтираются во время охоты в Геделе, когда забыли взять пипифакс. Газеты исчезнут – память о вероломстве мадьяр останется навечно.

Хорти. А может быть, вероломство в том, что мы спокойно будем наблюдать за оккупацией Гитлером тех земель, где живут венгры? Может быть, вероломно по отношению к нации сидеть сложа руки, пока танки Гитлера будут давить дома венгров, живущих в Югославии? Может быть, вероломно терпеть издевательства над братьями, когда их унижают сербы?

Телеки. Факты?

Хорти. Я не чиновник из досье, граф! У меня есть другие дела; пусть собирают факты те, кому это вменено в обязанность! Мы должны думать о защите братьев по крови! Не о нападении, а о защите!

Телеки. Не мне учить ваше высочество азбуке агрессии. Ее всегда припудривают терминологией обороны. Если мы хоть в какой-то мере поможем сейчас Гитлеру, Венгрия неминуемо поставит себя в положение воюющей державы, а мы не нужны Берлину как возможные посредники в поисках мира. Мы нужны ему как союзники в войне. Если мы дадим Гитлеру хоть малейший повод, он втащит нас в войну. Об этом позаботятся Риббентроп и Геббельс. Они умеют это делать. Во имя чего нам воевать? Во имя чего?

Хорти (*смеется, ходит по залу, прикуривает от зажигалки с музыкальным перезвоном*). Я только что отпустил Эрдсмандорфа, Паулюса и Верста. Здесь, в этом кресле, Эрдсмандорф поклялся, что немецкие войска пройдут через Венгрию

незаметно, как мыши. Он подтвердил мне то, что написал Гитлер: «Если вы хотите получить исконные венгерские земли, отданные Югославии версальскими тиранами, если вы хотите вновь видеть на картах мира Великую Венгрию, вы должны принять участие в предстоящей кампании под любым предлогом и в любой форме». Ты заметил, он написал о Великой Венгрии. Можно подумать, что он писал это не столько мне, сколько тебе, лучшему картографу мира.

Телеки. Самый дерьмовый картограф мира, так вернее сказать. Тридцать лет я отдал составлению карт Великой Венгрии, тридцать лет псу под хвост! Если бы мы не были принуждены подписать «Вечный договор о дружбе» с Белградом три месяца назад, если бы Гитлер не вынудил нас лизать зад Цветковичу для того лишь, чтобы обеспечить его, Гитлера, балканский тыл, я бы первым высказался за отторжение от Югославии наших Нового Сада и Суботицы. Но я рожден мадьяром, я не могу, я не смею играть понятием вечной дружбы! Это свято для венгров, ваше высочество! Я граф, я публично дал югославам слово о дружбе, и я должен разорвать мое слово и надругаться над ним?! В конце концов я премьер Венгрии, а не марионетка Риббентропа!

Хорти. Успокойся. Выслушай меня. Гитлер только что прислал мне личное письмо. Он просил меня оставить его в секрете ото всех. От тебя у меня секретов нет. Он пишет, что в случае нашего вступления в конфликт он даст Венгрии выход к морю. Ты понимаешь?! Мы выйдем на Адриатику! Мы станем морской державой, Пал, и стяг Венгрии, поднятый на мачтах нашего флота, станет бороздить моря и океаны! Мы потеряем наземные контакты с Лондоном, но мы приобретем морские, самые для Британии надежные и традиционные! Я ждал двадцать лет этого великого часа, граф! Я дождался. Я не могу просить тебя уйти в отставку – Салаши, который неминуемо сядет в твое кресло, будет служить не Венгрии, а Гитлеру. Он будет клясться Великой Венгрией, но служить он будет Берлину. Ты не имеешь права оставить меня.

Телеки. Как Гитлер мыслит наш выход к морю?

Хорти. Хорватия предоставит нам коридор в Далмацию.

Телеки. Какие именно порты нам дадут?

Хорти. Пусть нам дадут хоть пять миль каменистого белого адриатического берега. Пусть дадут три мили. Для начала этого хватит. Мы вынесем в море доки и причалы, мы сделаем венгерскую Венецию, и это не будет опереточная Венеция Муссолини, это будет грозная Венеция мадьярского средневековья...

Телеки (*долгое молчание, шаги, скрадываемые коврами, покашливание*). Если Гитлер пойдет на то, чтобы мы вступили в конфликт лишь после того, как Югославия распадется и будет создана сепаратная Хорватия, которая даст нам – при гарантии фюрера – выход к морю, тогда и только в этом случае мы можем согласиться на тайный проход немецких войск через нашу территорию. Тогда (*прикуривает от зажигалки с музыкальным перезвоном, глубоко затягивается, хрипло кашляет, сморкается*) мы войдем в Суботицу и Новый Сад, но лишь после того, как Гитлер сметет с лица земли белградский режим. Тогда мы **вынуждены** будем войти в наши исконные земли единственно для того, чтобы оградить от насилий проживающее там венгерское меньшинство. Причем мы не будем писать, от чьих насилий мы ограждаем венгерское меньшинство, видимо не от сербских, если правительство в Белграде перестанет существовать. Видимо, мы должны будем защитить венгров от насилий немецких! Во всяком случае, Барта сможет именно так объяснить этот наш вынужденный шаг Черчиллю.

Хорти. По-моему, над таким предложением стоит серьезно подумать. Мне кажется, это великолепное предложение, Пал. Я прошу тебя разработать его к сегодняшнему вечеру.

Телеки. Если Гитлер не согласится на такое предложение, мы не вправе лезть в Югославию, ваше высочество. Я, во всяком случае, такого приказа министру обороны не отдам.

Хорти. Гитлер примет это предложение. Я убежден. Оно разумно. Оно достойно. Оно осторожно. Я напишу ему, он меня поймет, он умный и добрый человек.

Телеки. Если мы сейчас позволим ослепить себя видом адриатических волн и ликования венгров в Суботице, не получив гарантии на нашу, хотя бы внешнюю, добропорядочность, я выйду из игры, ваше высочество.

Хорти (*смеется*). Главный бойскаут Венгрии всегда был склонен к приступам меланхолии. Если об этом узнают сто тысяч твоих питомцев, тебя освищут молодые, Пал. Я жду тебя вечером. Твой план будет принят. Немцев в Венгрии никто не заметит. Мы не вступим в войну первыми. Мы придем для спасения людей, живущих в условиях несуществующего государства. Мы обмоем лица горькой водой зеленого Средиземного моря. Спасибо тебе за все. Иди».

«Штаб ОКВ.

Генерал-полковнику Гальдеру.

Мой генерал!

Начальник генерального штаба Генрих Верст сообщил мне, что Телеки дал окончательное согласие на проход германских войск через венгерскую территорию, поставив условием «тайность» этой акции, ее незаметность. Верст – по согласованию со мной – дал такого рода заверения премьер-министру. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня можно осуществлять переброску войск к северным границам Югославии. Карту предполагаемого размещения наших войск прилагаю.

С совершенным почтением

генерал-квартирмейстер

Ф. фон Паулюс.

Будапешт».

«Рейхсминистру иностранных дел Йоахиму фон Риббентропу.

Мой дорогой господин рейхсминистр!

Под нажимом Хорти премьер Телеки согласился с пропуском немецких войск и дал согласие на вход Венгрии в войну. Его мотивировки я переслал Вам утром, они наивны и легко поддаются нашим коррективам. После ряда бесед с министрами его кабинета и с регентом я вынес твердое убеждение, что Телеки, являющийся человеком, бесспорно, талантливым, о чем свидетельствуют его книги «Традиция и революция», «Европейская проблема», «Настоящий чиновник», относится к тому типу политиков, которые «умеют совмещать занятия социальным дарвинизмом и картографией с управлением делами государства». Телеки до сих пор не сделал для себя окончательного выбора: либо – либо. Он отсиживался в науке после ухода с поста премьера в 1921 году, когда он запятнал себя двойственностью и метаниями между Хорти и Карлом IV Габсбургом; он вернулся сейчас в политику, считая, что бойскауты (он их называет элитой), созданию которых он отдал последние двадцать лет, достаточно выросли для того, чтобы взять власть в свои руки под его, естественно, водительством. Но политику определяют не бойскауты, даже повзрослевшие; политику, по словам профессора Нимеди, авторитета в здешних кругах теоретиков права, «делают политики, и только политики. Остальные либо им рукоплещут, либо их проклинают». Считал бы необходимым помочь Телеки обрести необходимую в настоящий момент ясность. Для этого необходимо: а) немедленная организация в нашей прессе статей о травле венгров в Югославии. Это вызовет сильный нажим на Телеки в парламенте и со стороны Салаши; б) проход наших войск через Венгрию необходимо организовать таким образом, чтобы это было никак не «тайным» мероприятием, но демонстрацией нашей несокрушимой мощи.

Эти два фактора, если Вы сообразоволяете санкционировать проведение их в жизнь, позволят мне сломить внутреннюю неуверенность Телеки и подчинить его

нашим интересам, ибо среди лидеров, возглавляющих союзные нам страны, он является одним из наиболее заметных в мире и может быть в дальнейшем использован как надежный контакт в переговорах с третьими странами.

Хайль Гитлер!
Искренне Ваш
посол рейха в Венгрии
Л. Эрдсмандорф.
Будапешт».

«Убийства и кровь!» – вот сербский лозунг в тех землях, где проживают венгры. Тысячи беженцев рассказывают об ужасах, которые им пришлось пережить в Новом Саде и Суботице. «Моего внука они утопили в реке, – сказала старая беженка Илона Н. (фамилию пока еще нельзя открыть, поскольку два ее сына не могут получить визу на выезд из Югославии), – и смеялись, наблюдая, как мальчик, погибая, молит о помощи»

(«Дас шварце кор». 2.4.1941).

«Спасите венгров от сербской резни!» – таков вопль сотен несчастных, с которыми мы встречались на пути из озверевшей и ослепшей от крови Югославии» («Грац цайтунг». 2.4.1941).

«Посольство Союза ССР, свидетельствуя свое уважение королевскому правительству Венгрии, уполномочено передать г-ну премьер-министру заявление заместителя наркома иностранных дел Союза ССР, в котором выражается убежденность, что правительство Венгрии найдет возможность убедиться в явной спровоцированности слухов о неуважении прав венгерского национального меньшинства в Югославии».

«Господин премьер-министр!

В германской прессе появились сообщения о том, что югославы чинят акты насилия против венгерского населения в районах Суботицы и Нового Сада. Однако я обязан проинформировать Вас о том, что вчера я и германский представитель Диц выезжали в эти районы. Диц – человек из группы личного представителя Риббентропа штандартенфюрера СС Веезенмайера – пытался найти и представить мне факты такого рода произвола, однако он ничего не смог сделать. Венгры живут спокойно, ни один югослав не допустил оскорбительного – для мадьярского достоинства – шага. По-видимому, пресса Германии пытается втянуть Венгрию в конфликт, публикуя такого рода материалы. Я хочу, чтобы Вы знали правду. Я не смею быть лжецом.

С глубоким почтением
Вашего высокопревосходительства
почтительный слуга, генеральный
консул в Загребе
Салаи Шандор».

«Премьер-министру Телеки – губернатор Сегеда.

Ваше превосходительство!

Несмотря на мои протесты, начальник генерального штаба Г. Верст дал указание коменданту гарнизона разместить в школах (занятия по этому случаю уже прекращены), отелях, госпиталях и бараках возле станции воинские части Германии. Я практически лишен власти. Сегед стал прифронтовым городом. В случае если сюда приедет хоть один иностранный журналист, он увидит картину полного всевластия германских военных в городе. Миф о том, что мы лишь «пропустили» войска Гитлера, окажется развеванным.

Почтительно Ваш

Телеки прочитал оба эти письма спокойно. Он долго сидел за столом недвижно, сцепив под квадратным подбородком сильные пальцы. Потом медленно поднялся, подошел к окну и долго смотрел на Пешт, раскинувшийся под ним, на стальную воду Дуная, в которой плавали звезды, на подсвеченные купола парламента и на строгую красоту мостов. Скорбная улыбка трогала губы Телеки. Он думал о гармонии, об извечной предрешенности судеб и о том, что лишь сила может победить силу, все остальное химеры и самообман.

Вернувшись к столу, он достал чистый лист бумаги и написал:

«Ваше Высочество!

Мы стали клятвопреступниками из-за нашей трусости, нарушив «Вечный договор о дружбе». Нация чувствует это; мы попрали ее честь. Нет ни слова правды, когда говорят об истреблении венгров и – даже – немцев. Мы стали мародерами, которые грабят покойников; мы стали самой дерьмовой нацией. Я не сдержал тебя. Виновен.

Телеки Пал.

3.4.41».

14. ЗА СУМАСБРОДСТВА ЦАРЕЙ СТРАДАЮТ АХЕЙЦЫ – II

Был вечер, и солнце уже ушло, остался лишь его тяжелый сиреневый отсвет, который лег на вершины сосен, и ветви из-за этого казались синими, а стволы не медовыми, как днем, а бурыми, словно отлитыми из тяжелой меди.

Мирко стоял с Еленой возле нового дома, который он сложил вдвоем с ее братом Степаном, и сиреневый отсвет ушедшего солнца делал стекла в окнах ярко-красными, и было непонятно, почему родился именно этот цвет, но он делал дом рисованным, странным, нереальным, словно бы сказочным.

– Смолой пахнет, – сказала Елена. – Стены плачут.

Мирко поднял руки, повернул их ладонями вверх – бугристые у него ладони, иссеченные порезами, с желтыми мозолями, – протянул их Елене и сказал:

– Понюхай.

Елена прикоснулась губами к его ладоням и тихо ответила:

– Смолой пахнет, стены радуются.

– Войдем?

– Давай уж завтра. Как гостям прийти, я скатерти положу, половички застелю, занавески навешу. Священник освятит порог, за стол сядем, под иконы, тарелку разобьем и начнем свадьбу.

– Ты только целую тарелку-то не бей. У тебя, я видал, треснутая на крыльце стоит.

– Так я ж с нее курам корм сыплю! Да и нельзя треснутую тарелку бить, никак нельзя!

– Почему?

– Счастье обойдет.

– Тарелка-то дорогая.

– Так ведь и женятся один раз.

– Замуж раз выходят, – усмехнулся Мирко и обнял Елену. Он обнял ее смело, потому что они стояли у порога их дома, который он сам построил. Он положил руку на ее плечо и почувствовал, какое оно налитое и сильное, и подумал, что Елена будет хорошей хозяйкой в

этом доме, и стекла в окнах будут чистые, и ступеньки на крыльце всегда будут добела вымыты, а наличники покрашены ее руками голубой глянцевиной краской.

– Мирко, а войны, спаси бог, не будет?

– А кто ее знает. Дом есть – война не страшна. Да и мимо она обойдет, кто ж по лесам воюет... Эх, брат у тебя балабол, Елена, – нахмурился вдруг Мирко, заметив кучу стружек, сваленную возле забора. – Обещал пожечь, да и загулял.

– Так сами пожжем давай.

– У меня спичек нет.

– В доме возьмем.

– Завтра ж хотели войти...

– А мы разуемся.

Они сняли опанки¹¹ и вошли в дом. Стены плакали – белые слезы смолы недвижно стекали длинными янтарными каплями.

– Люльку-то где поставим? – спросил Мирко.

– Чего ты? – покраснела Елена. – Чего несешь?!

– Будто маленькая...

– Нельзя про такое говорить.

Мирко снова нахмурился, увидав, что подоконник обструган не до конца.

– Ну, Степан, Степан, – сказал он, покачав головой, – ну что за балабол такой?! Сказал же ему, стамеской пройдишь, так нет ведь.

– Себе бы строил, небось прошелся б, – так же сердито согласилась Елена: когда замуж выходят, родню отрезают; брат, он до тех пор брат, пока мужа нет.

Они вышли из дома и подожгли стружки, и запахло сосновым дымком, и наступила ночь, и в этой ночи свет костра делал лица Мирка и Елены недвижными, большеглазыми, как лики языческих богов.

– Не замерзнешь? – спросил Мирко. – От костра отойдешь, зябко будет.

– Так ты ж рядом, – ответила Елена и осторожно прижалась к его плечу, и ощутила, какое оно сухое, словно деревянное, и такое же сильное, и стало спокойно ей и радостно.

Анка услышала музыку и подошла к окну, не опасаясь, что мать закричит: «Чего глазеешь, вышивать надо, завтра пора скатерти сдавать!» Отец был на работе, он вчера сказал, что получил большой заказ: натереть полы в доме самого инженера Кошутича, Мачекова зятя, да так, «чтоб сверкали, и гости чтоб скользили и падали, если танцы будут». Отец рассказывал, какой там богатый паркет: светлый, уложенный не елочкой, а большими квадратами, с диковинным мозаичным рисунком. «Игра в нем березовая, – продолжал рассказывать отец, – с разжилками вдоль и кружочками, как завязь, а ведь не береза это, а горный дуб». Анка машинально нарисовала пальцем на столе узор, о котором рассказывал отец, и он согласно кивнул головой. «Двести динаров за работу дают, – продолжал он, – такие деньги, господи!»

Анка стояла у окна и смотрела, как по улице маршировал военный оркестр, а следом за музыкантами в щегольских костюмах шли молодые ребята в мундирах, которые были еще не пригнаны по фигурам, и Анка ощутила раздражение из-за того, что рукава у них длинные и закрывали пальцы, а брюки висели мешками или, наоборот, грозились вот-вот лопнуть, и солдаты смеялись, глядя друг на друга, и поэтому шли не в ногу, и офицеры, шагавшие рядом со строем, покрикивали на них.

Но вдруг Анка увидела всю эту колонну как единое, зеленое, безликое, нескладное **большое**, ведомое **малым**, сине-красным, барабанно-золотым, бездумно веселым, и

¹¹ Форма сандалий (серб.).

побежала в сени, влезла по шаткой лестнице, которая пахла олифой, на чердак, где было душно и висела прошлогодняя паутина, взяла краски, листок картона и кисти, и спустилась вниз, и, устроившись возле окна, стала рисовать этих солдат и оркестрантов, которые шли по улице колонна за колонной; черная краска сейчас была ей нужнее всех остальных, потому что день был солнечный, и резки были тени, и в сочетании с густым и смелым черным особенно веселы были лица солдат, и Анка передавала их улыбки и удаль через резкий взмах рук и высверки солнца на больших медных бляхах ремней.

Но потом девочка заметила старуху, которая сошла с тротуара и передала одному из солдат треугольный узелок; лицо ее было в слезах, и Анке вдруг захотелось нарисовать лицо этой старухи, которая плакала, когда все смеялись, и она нарисовала ее на первом плане: громадные глаза в сетке коричневых глубоких морщин и черный платок, накинутый на седую голову. И вдруг вся картина стала иной, и Анка даже не могла понять какой, но только теперь она была совсем не такой, как бы ее хотелось написать девочке, потому что в самом начале ей понравились лишь солнце и тень на лицах и на фигурах, бугристое движение человеческой массы, соответствовавшее такту барабанной дроби, а сейчас ей стало вдруг неинтересно рисовать дальше. И она отложила картон и снова села за вышивание: петушки и курочки вдоль по строчке скатерти. Но потом испугалась, что мать увидит картину, и отнесла ее на чердак, и там посмотрела на нее перед тем, как поставить к стене, и на нее глянули бездонные глаза старухи, и ей стало страшно, и она поскорее спустилась вниз. Музыки уже не было: солдаты прошли, праздник света и тени кончился.

Дед Александр съел лепешку и ощутил в животе теплую тяжесть. Ему стало радостно, и он запел песню, и все в кафе притихли, потому что пел он странные слова:

*Солнце бело в черных тучах, тихо кругом, тихо,
И грозы еще не слышно, а она весною,
А весною птицы в небе, гнезды на деревьях,
А деревья как уголья, ветки будто руки,*

*Словно плачут и томятся, словно крик неслышимый...
А весною ночь беззвездна,
Холодны туманы,
А весною нет травы, только еще будет.*

Голос у деда Александра был сиплый, простуженный, потому что ночевал старик на дорогах, в стогах – редко кто пускал сироту в дом: несчастный, он только несчастье и носит с собою.

*А весною уже осень, и зима весною,
Как начало – так конец, и дитя стареет,
Только небо не стареет, только звезды в небе,
Только люди помирают и уходят в землю.*

Хозяин поставил перед дедом Александром кувшин с вином и еще один крух¹², не целый, правда, а лишь половину, но крух был пышный, мягкий, и старик, продолжая петь, сунул хлеб в котомку.

12 Хлеб (хорват.).

*Потому на свете горы, потому равнины,
Что лежат под ними люди с разной душою.
Кто был добрым – тот стал полем,
Кто был злым – оврагом,
Кого умного убили – тот остался в скалах.
Все забыли, всех забыли, помнят то, что помнят,
А ручьи в горах текут, плачут на порогах,
А ручьи в горах текут и по детям, плачут,
А как в речках разойдутся,
Тиной их покроет...*

Дед Александр налил вина в стакан, выпил его медленно, закрыл глаза, вытер осторожно рот ладонью и тихонько засмеялся.

– А дальше-то что? – спросили люди.

– А не видится мне дальше, – ответил дед Александр. – Как зеленой тиной затянуло, так и сгнуло все, словно бы стихло. Я ведь слова пою, когда они видны мне, иначе не умею.

«Что же это такое? – удивился Август Цесарец, не очнувшись еще. – Неужели море? Почему так солоно во рту? Неужели это я плачу?»

Он открыл глаза и какое-то мгновение продолжал видеть Адриатику, сине-бирюзовую; когда поднимаешься из порта к Старому Муртеру, на гору, тогда видишь море окрест себя, и оно кажется литым. Только когда подойдешь к нему близко, начинаешь понимать, что оно живое, и цвета его вблизи меняются неожиданно, особенно в конце мая, когда ночью задувает бора, а днем тянет жаром из Африки и море темнеет, потому что сине-бордовые ежи облепляют камни под водой, а к вечеру делается прозрачно-голубым, будто глаза Качалова, когда во МХАТе на утреннем спектакле он читает от автора в «Воскресении».

Цесарцу не понравилось, как он подумал о глазах Качалова. «Если б это было в верстке, – решил он, – я бы вычеркнул. Море действительно делается прозрачным, но это знаю один только я, потому что я разглядывал его, склонившись к нему, и ощущал запах йода, и мне чудилось, будто я на приеме у самого доброго лекаря, а у лекаря могут быть прозрачные глаза, но нельзя ведь сравнивать море, которое привиделось мне таким, с глазами Качалова; у него глаза особые, других таких нет в мире. У него глаза шаловливого Христа, который запросто пришел в пирожковую на Никитской, где мы всегда ужинали с Марией, или в мою любимую сауну на Илище, и разделся, и предложил мне потереть спину жесткой мочалкой, или встретился в Толедо ночью после боя, сел поближе, и налил терпкого тинто в наши стаканы, и сказал подмигнув: «Что, сын мой, грустно тебе? А мне какво?»

Цесарец зажмурился, и Адриатика исчезла, исчезло и прекрасное лицо Божены Детитовой, которая склонилась над ним и, касаясь волосами его лба, улыбалась и шептала, что Мария не должна сердиться на нее, потому что «я ушла и никогда не смогу помешать ей, и я не умею так лечить боль, как умеет она», ведь «я просто пришла к тебе на секунду в самый трудный твой день, как мы и договаривались при расставании – позвать друг друга в самый трудный день».

«Когда же я успел позвать ее?» – подумал было Цесарец, а потом с мучительной и тоскливой ясностью увидел решетки на окнах, кандалы на ногах; наручники, которые стиснули запястья так, что кисти сделались синими и большими, как у утопленника, и понял, что не звал Божену и что она сама пришла к нему, потому что женщина, которая любит тебя, а не свою к тебе любовь, всегда чувствует твою горе и твой конец, и спешит к тебе, и приходит, и тогда особенно больно, но это такая боль, которая смягчает страданье, потому что боль бывает и доброй и злой.

– Вставай! – услышал Цесарец голос охранника и понял, что забылся он минут на пять, не больше, и что этот худой парень, который постоянно заглядывает в камеру, как только его начинает клонить в сон, кричит свое «вставай!» уже не первый и не второй раз, иначе голос у него не был бы таким визгливым, как у торговки, которая ругается из-за места на воскресном рынке за Елачичевым тргом.

Цесарец поднялся, тяжело облокотившись на локоть, и подумал, что это его счастье – мозоли на локтях; профессиональная болезнь литераторов, которые подолгу сидят, облокотив подбородок на сцепленные пальцы, и работают, глядя в одну точку, спасала его сейчас, потому что он мог хоть на несколько минут забыться, опершись этими твердыми костяными мозолями о шершавые доски нар, и охраннику сперва казалось, что узник думает, а не спит. Он ведь человек, охранник-то, а каждый человек деяния других меряет по себе. Он не смог бы так долго сидеть, опершись локтями о шершавые доски, выдерживая на сцепленных пальцах тяжесть бессонной и жаждущей влаги головы...

– Пить дайте, – попросил Цесарец, ощутив, какой большой у него язык и какой тяжелый. Он вдруг явственно увидел говяжьи языки, которые мать покупала весной на рынке, и удушливая тошнота подкатила к горлу, дыхание перехватило, и страх – черный, шершавый, похожий на ядовитую фиолетовую муху с горящими в ночи глазами, – заглянул в его лицо и притронулся холодными цепкими лапками к вискам и шее.

Его держали в подземелье несколько дней, он сбился со счета, сколько именно. Ему не давали пить, а поначалу, в первый день ареста, накормили вкусной жареной рыбой, присыпанной крупными кристалликами желтоватой рыбацкой соли. Он съел рыбу, удивившись новым временам в тюрьме, обшарил глазами металлический столик, не обнаружил алюминиевой кружки с жидким арестантским чаем и решил, что в этом странном **затворе**¹³ его, возможно, будут поить кофе, раз уж дали такую великолепную рыбу. Но ему не дали кофе, и чая не дали, даже жидкого, и не дали ему воды: холодной, прозрачной, сладкой; нет, теплой, болотной, мутной; нет, ржавой, с разводами нефти, похожими на узоры, которые появлялись на мыльных пузырях, которые он пускал в детстве со второго этажа, наблюдая, как зыбко дрожали они в воздухе, и как нес их ветер вдоль по улице. Как он молил бога, чтобы они не лопнули, а осторожно опустились на какую-нибудь крышу в деревне, и пусть другой мальчик нашел бы этот мыльный пузырик завтра и стал играть с ним, и пустил его, легонько подкинув с мягкой ладони, и ветер принес бы этого старого знакомого к нему обратно, и он положил бы его на вату на подоконник, где много солнца и где стоит аквариум, в котором...

– Пить дайте! Дайте пить!

Он просил воды смиренно и тихо, словно стонал, через равные промежутки времени; он определил, что эти промежутки были такими равными оттого, что ему не хватало воздуха и он хотел проглотить комок в горле, но не мог этого сделать и, чтобы не закашляться, начинал монотонно просить воды.

«А может быть, это я придумываю? Может, я могу проглотить этот проклятый комок? Может, я просто придумываю всяческую чепуху? Мне ведь тоже казалось, когда я первый раз пришел на Красную площадь и увидел парад, что в горле у меня комок и что я не смогу проглотить его, а потом мне казалось так еще много раз, когда я приезжал в Тбилиси к Паоло Яивили и он, откинув голову, читал стихи и просил Пастернака перевести мне, а я не мог возразить, потому что в горле у меня был такой же, как сейчас, комок, и я не мог сказать, что я и так понимаю стихи, хотя поэт читал их на странном и певучем языке. Разве нужен перевод Бетховену? Или Мэй Лань-фаню, когда он медленно танцевал, внимая таинственной и прекрасной музыке Китая? Или Мустафе, когда он декламировал стихи

13 Тюрьма (сербскохорват.).

Омара Хайяма? И сейчас я выдумываю, что не могу проглотить этот комок. Раньше он появлялся от счастья, а сейчас торчит у меня в горле от горечи. Ну и что? Ну-ка, давай. Глотай. И перестань канючить, все равно они не дадут тебе воды, потому что они пытаются тебя жаждой, и ждут, когда ты сломаешься. Я не сломался в тридцать седьмом, и в августе тридцать девятого я не сломался, когда многие сломались, потеряв веру; так неужели я сломаюсь сейчас из-за того, что они не дают мне воды? Я знал, на что шел, и у меня была возможность избрать другой путь, и я не мотался бы по трупам и жил на вилле, и мое имя печатали бы в энциклопедиях, и про меня говорили бы как про великого писателя, и делали комплименты по поводу того, что я, как истинный писатель, интересуюсь главным – добром и злом, жизнью и смертью, любовью и ненавистью, – и что меня, как истинного художника, не волнуют политические дразги этого мира – монархисты, коммунисты, либералы, фашисты. Все это суета, все это преходяще, лишь постоянные моральные ценности вечны... И я был бы сыт и доволен, сидел у себя в особняке и не ютился в маленьком номере московского «Люкса» без ванной и без умывальника, не спал в землянках вместе с Кольцовым под Уэской и не шлялся бы всю ночь напролет с Мальро и Ремарком по Марселю, выбирая в старом порту кабачок, где буйабесс ¹⁴не так дорог, как возле Ля Каннебьер».

– Пить дайте! – закричал Цесарец. – Дайте пить!

– А бабу хочешь? – спросил охранник. – Можем дать бабу! Мы все можем, **писатель!**

«Ай-яй-яй, как же это так, Цесарец! Как же ты не уследил за своим телом, а?

Вообще-то я всегда поражался людям. Как это мы существуем в этом огромном мире, населенном львами, змеями, скорпионами, рысями? Как мы не потерялись среди пустынь? Кто указывает нам путь в тайге? Ах, какая же она прекрасная, эта уральская тайга! Как не тонем в морях, как переходим реки? Как спасаемся от чумы? Все в этом мире против нас, а мы еще к тому же разобщены, так далеки друг от друга. Такая простая истина, но почему-то никто не хочет согласиться с очевидным. А когда я кричал об этом очевидном, меня сажали в тюрьму. Как глупо, а? Они хотят заморить меня насмерть, эти люди. Зачем? Только не надо панически бояться смерти. Это стыдно. Ну, смерть. Ну и что? Смерть – это разъединение с миром. Я уже и сейчас мертв, потому что единственная пуповина, которая связывает меня с миром, – этот охранник. А он не дает мне спать и пытается жаждой. Он наслаждается моими мучениями... Но если бы и он ушел, вот тогда бы я по-настоящему умер в этом каменном склепе... Мой палач – последняя связь с жизнью... Смерть... Конечно, страшно – многое осталось несделанным, а мы все эгоцентрики, считаем, что если уйду я, то никто другой не сможет сделать того, что я задумал. А может быть, сотни других «я» заканчивают то, что я лишь задумывал? Разве так не может быть? Самое прекрасное и непонятое нами – это появление нового. Новое – это как атака незнаемого на устоявшуюся броню земного бытия. Это как крик роженицы, это словно Охридское озеро, когда спускаешься к нему от Струги по теплым тропам Черногории, это вроде смены боры на южный ветер в конце мая, когда плачет море в лагуне Бетины... Новое исподволь рождается в каждом из нас, только надо быть постоянно готовым к этому рождению и не бояться его, как мы боимся неизведанного, которое всегда кажется нам таким страшным **итемным**... А ведь верно, отчего неизведанное мы всегда видим черным, как ночную пустоту? Ведь утро рождается ночью, разве нет?»

– Воды дайте! Воды! Воды...

«Ой как стыдно, товарищ Цесарец! Как стыдно и жалко ты выглядишь в глазах этого тюремщика! Неужели ты не волен владеть своим хилым, немощным телом? Неужели дух твой так ослаб? Я ведь свободный человек, я самый свободный на земле человек, ибо сам

14 Уха (франц.).

избрал свой путь, никто не заставлял меня, никто не искушал надеть те вериги, которые уготованы каждому, кто восстанет против тиранов. Я сам. Я знал, на что я иду. Этот парень, который стережет меня и не дает мне спать, думает, что он свободный и счастливый человек. Но ведь я свободнее его. Я свободнее, потому что самоограничение – первый шаг к освобождению. Кто ограничил меня этой камерой, и этой тьмой, и жаждой? Они? Нет. Я сам, я знал, что меня ждет. Я свободен в мысли, в желании, и они открыты. А свобода – это такое счастье, за которое надо уметь платить. И мой охранник не обычный садист. Он служит идее. Их идее. Поэтому он считает нужным и возможным принимать участие в пытках, которым меня подвергают. Он, как его начальники, не успокоится, если я, замученный, крикну «отрекаюсь!». Им нужно не просто мое отречение. Нет, таким высококонрастным людям противоположной идеи надо, чтобы моя совесть приняла их правду, и осудила меня самого, и сделалась орудием пытки против меня же... Зачем я? Мысль беспомощна. Мысль только тогда обретает силу, если она обрела слово, а чтобы родилось слово, нужна рука...»

– Пить... Господи милосердный, дай мне сил вынести... Пить...

«Нужна рука... Если они еще день не снимут с меня кандалов, руки перестанут работать. А я должен написать про то, о чем думаю сейчас. Ведь Цезарь и Гомер считались знатоками людей и мира, но каждый из них знал лишь то, что ему было отмерено. И потом, разве знание Гомера соизмеримо со знанием Цезаря? Царя Николая, который заморозил декабристов, чтобы казнить их, и Пушкина? Пушкин... Единственный, верно, писатель, для которого не существовало однозначных понятий добра и зла. В зле он видел ростки добра, а приглядываясь к добру, он ужасался злу, в нем сокрытому. Прошлое он умел оборачивать настоящим, а в будущем угадывал повторение того, что было. В нем жила гармония, а ведь гармония – это совмещение разностей. Вот и мне надо заставить себя в пытке, на которую меня обрекли, увидеть радость бытия. Я чувствую, значит, я существую, и гармония не нарушена во мне, а она невозможна без уживания в одном вчерашнего и завтрашнего, горького и радостного. Значит, возможно и завтра, возможна и радость. И будет день, и будет ночь, и будет утро. Я ведь сейчас только о том думаю, что помогает мне переносить жажду. На самом-то деле человек всегда думает о разном и многом. Мысль живет в нем, как трехслойный пирог. И я должен отойти от первого слоя – от боли, жажды, отчаянья... Ах, какие же вкусные тогда были пироги у тети Клаши – с черемухой, шанежки, горячие, рассыпчатые... И как Мария неумело пыталась помочь ей и разбила тарелку, а у них, на Урале, так было трудно с тарелками... Ну вот, начал с трехслойной мысли, а теперь вспоминаю пирог с черемухой и разбитую тарелку... А, понятно, я этим доказываю себе свою же правоту о трехслойной мысли. Я одновременно думаю о моей свободе и высшей несвободе моих палачей, о черемухе, которая пахнет хорватскими реками, когда сходит снег в горах, и про Марию, которая не умела быть хозяйкой, но умела любить, как никто другой, разве что Божена только еще и умела так любить...»

– Воды! Дайте воды! Во...

15. ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ СИЛ – ЖЕЛАНИЕ ПОХВАЛЬНО

В отеле Штирлицу передали телефонный месседж¹⁵ – просьбу срочно зайти на Михановичеву, в консульство. Оно помещалось в большом красивом доме неподалеку от «Эспланады», на той же улице.

15 Послание (англ.).

Вручив Штирлицу шифровку от Шелленберга, в которой тот просил «присматривать за Веезенмайером», консул Фрейндт внимательно – впервые за все время знакомства, – оглядел «специалиста по вопросам развития торговых и научных отношений», и в глазах его появилась та почтительность, которой полагается быть, когда незаметный дотоле подчиненный внезапно получает телеграммы из Берлина от руководства с шифром: «Строго секретно, не вскрывать, вручить лично».

– Моей помощи не требуется? – осведомился генеральный консул, стараясь придать своему вопросу ту особую интонацию, которая позволит собеседнику услышать голос местного начальника, способного оказать содействие в выполнении специального задания, и одновременно – почтительность чиновника, осознавшего истинную роль Штирлица в операции Веезенмайера.

– Спасибо, – ответил Штирлиц, понимая и принимая условия, предложенные ему Фрейндтом. – Если позволите, я обращусь к вам в случае крайней нужды.

– Бога ради. Вот мой домашний телефон, – сказал Фрейндт, протянув визитную карточку.

– Спасибо, – повторил Штирлиц, – обещаю не злоупотреблять вашей добротой. Я понимаю, как много у вас своих хлопот. Что-нибудь новое из дома сегодня было?

Консул включил радио, пояснив:

– В общем-то, люди из Берлина проверяли все помещение, но, кто знает, возможно, югославы подлезли со своей аппаратурой через камин. Во всяком случае, если нас и слушают, то лишь Белград; в этом смысле Загреб вполне тактичен и верит нам.

– Осторожность все же не помешает, – взглянув на радиоприемник, сказал Штирлиц, – хотя я порой думаю, что осторожничаем мы, осторожничаем, а они прочитали наш шифр где-нибудь в Лондоне или Москве и знают не то что наши с вами секреты, а куда более важные – общегосударственные.

– Я убежден, что нас прочесть невозможно.

– Я оставлю в вашем сейфе эту шифровку?

– Очень важная?

– Очень.

– Не надо.

– Почему?

– Мы получили устный приказ готовиться к эвакуации.

– Когда?

– Точно не сказано. Приказано быть готовыми каждый день. Все зависит от успеха Веезенмайера. Во всяком случае, в Хорватии.

Штирлиц все понял. Он сжег шифровку и размельчил пепел.

– Мы тоже ждем, – ворчливо заметил он. – Это все знакомо: ждать, когда начальство примет окончательное решение, а самим в это время копать вслепую. Поэтому всегда недостает последних десяти минут.

– Семьи дипломатов предписано вывезти из города... В Белграде нашим посольским предложено покинуть столицу в срочном порядке. Видимо, Загреб не будут бомбить. Здесь слишком много людей, которые могут оказаться союзниками...

– Неопределенность больше всего вредит делу. Говоришь с человеком и не знаешь, на что ставить: а вдруг договоримся?

– Исключено.

Штирлиц пожал плечами.

– В политике нельзя исключать даже пустяковую возможность.

– Мы можем пойти на компромисс только в том случае, если Симович передаст власть Цветковичу, а Цветкович пропустит наши войска в Грецию и займет недвусмысленную позицию по отношению к Англии. А это невозможно – в Сербии, Боснии и Черногории на

улицах орут: «Лучше война, чем пакт с Гитлером!» Да и потом, когда это было, чтобы победитель добровольно отдавал победу?

«Ну что ж, – подумал Штирлиц. – Можно сослаться на этот разговор и передать в Москву, что удара ждут со дня на день. Возможность компромисса, по мнению консула, исключается. Видимо, так и надо поступить. Он не играл, он говорил правду. Нужно, конечно, предупредить: «Дополнительные сведения передам позже».

– Нет, – сказал Веезенмайер, выслушав Штирлица, – Везич меня не интересует. И напрасно вы пришли ко мне напрямую. Я же просил поддерживать контакты через Фохта.

– Фохта у себя нет, а дело заманчивое, редкостное, я бы сказал, дело: начальник германской референтуры секретной полиции не каждый день торгует гвоздиками на углах скверов.

– Милый Штирлиц, пожалуйста, занимайтесь впредь только тем, о чем я прошу вас. Я ценю чужую инициативу до той поры, пока она не начинает мне мешать.

– А скандал, который может устроить Везич, не мешает вам?

– Он не устроит скандала.

– Я провел с ним минут сорок, это сильный парень.

– А я провел час с доктором Мачеком, он из «парней», которые посильнее. Я поставил его в известность об этом инциденте. Успокоились? Вас больше не тревожит то, что моим замыслам будет нанесен урон?

– Я привык относиться к замыслам не как к своей собственности, а как к нашему общему достоянию, штандартенфюрер. Если Везич может стать, до конца нашим, то Мачек вряд ли. А я предпочитаю надежность.

– мудро. Руководствуйтесь этим принципом и впредь. Благодарю вас за внимание, Штирлиц.

«Вот я тебя и накрыл, – спокойно подумал Штирлиц. – Теперь я хозяин положения. Думаешь, что связи спасут тебя? Ничто уже тебя не спасет, потому что ты решил стать фюрером вместо того, чтобы продолжать быть штандартенфюрером. Аппарат СД сломит тебя, Веезенмайер, там не любят тех, кто работает на себя. Там любят тех, кто работает на прямого начальника, не высовывается и «движется» лишь в том случае, если «растет» его руководитель. А Розенбергу некуда расти. Он рейхслейтер. И Риббентропу тоже. Исчезнет Веезенмайер, придет следующий. А Гейдриха и Шелленберга не может не раздражать, когда их подчиненный лезет прямо к Розенбергу, в то время как они сами вынуждены звонить в секретариат рейхслейтера и просить назначить им время приема. Такого не прощают. Веезенмайер отказался встретиться с Везичем, который, по моим словам, готов для беседы. Полковник королевской жандармерии вместе со всеми его связями мог бы стать нашим человеком. А Веезенмайера, видите ли, не интересуют такие «мелочи». Он хочет стяжать лавры победителя в сфере чистой политики. Для этого ему надо стать лидером. А он штандартенфюрер, он всего-навсего подчиненный Риббентропа, Розенберга и Гейдриха, который поручил Шелленбергу дать указание ему, Штирлицу, оберштурмбанфюреру, то есть подполковнику, проявлять инициативу, когда дело касается практической политической разведки СД, в том случае, конечно, если Веезенмайер не поймет важности той или иной «мелочи» с высоты положения, на которое он сам себя решил поставить».

Штирлиц ждал Везича в клубе «Олень» до половины девятого. Полковник так и не пришел. Штирлиц понял: что-то случилось. Он не ошибся, Везич действительно собирался прийти. Он заехал в управление, уничтожил донесения филеров, которые «водили» друга Августа Цесарца, декана исторического факультета профессора Мандича, и связанных компартии, потом, заскочив в кафе, позвонил самому профессору и, чуть изменив голос (хотя,

в общем-то, он знал, что телефон этот пока не прослушивается), предложил ему оповестить товарищей, чтобы те немедленно сменили квартиры.

Потом Везич снова зашел к себе в кабинет и долго сидел за столом, обхватив голову крепкими костистыми пальцами. Он видел свое отражение в полуоткрытом окне и вспомнил художника, у которого Лада снимала ателье. Тот говорил, что по форме пальцев может определить характер человека, как, впрочем, и по походке. «Человек, – говорил он, – ставящий ступни косолапо, скрытен, а тот, который расставляет мыски, словно солдат по стойке «смирно», обычно рубаха-парень. Тот, у кого ногти плоские и короткие, склонен к уголовщине, а человек, у которого ногти красивой, удлиненной формы, как правило, относится к людям с врожденным благородством».

Везич краем глаза поглядел на свои ногти, а потом глаза его остановились на стрелках часов.

«Наверно, пора, – подумал он. – Иво должен закончить репортаж хотя бы вчерне. Мы поедem с ним к Взику, и тот прикажет этот репортаж напечатать, а потом я поеду в клуб «Олень».

Он позвонил в «специальный сектор» и попросил подготовить в клубе «Олень» столик для беседы.

– На две персоны? – спросили его.

– Именно, – ответил Везич. – Только подальше от оркестра.

Приехав к Иво – парень точно объяснил ему дорогу, – Везич отворил скрипучую калитку и прошел к маленькому флигелю. Хотя дверь не была заперта, он нажал кнопку звонка и заметил, что звонок самодельный, привезенный с гор. Там вешают именно такие медные колокольчики возле двери, потому что каждый гость в радость и приветствовать его надо легким медным торжественным перезвоном.

Никто не ответил Везичу, и он решил, что Иво заработался. Приоткрыв дверь, он спросил:

– Можно?

Везич вошел в маленькую темную переднюю, постоял мгновение, привыкая к темноте, потом разглядел клеенчатую дверь, которая, видимо, вела в комнаты, распахнул ее и сразу же почувствовал на шее и на запястьях хваткие, сильные руки. Но не это потрясло его – он увидел лужу крови на полу и лежащего в этой луже Иво; молодую женщину, как видно, жену его, на залитой кровью кровати; а на столе, завалившись на спину, странно, будто переломанный, громоздился труп старухи. Потом ему бросились в глаза торчащие из корытца желто-синие ноги младенца, и Везич почувствовал, как к горлу подступила тошнота.

– Господин полковник! – услышал он недоумевающий голос капитана криминальной полиции. – Почему вы здесь?!

Незнакомый Везичу человек в штатском укоризненно посмотрел на капитана.

– Тише, пожалуйста, возможен еще один гость.

...Через два часа Везича отвезли в тюрьму. Капитан извиняющимся голосом пояснил, что таков приказ – убийство молодого журналиста объясняется, видимо, политическими мотивами. На вопрос Везича, почему капитан так убежден в этом, ответа не последовало.

– Обычная формальность, господин полковник, – сказал человек в штатском, – дело об убийствах должно быть соответствующим образом оформлено. Прокуратура снимет с нас голову, если мы не доставим вас в тюрьму для первичного допроса, туда уже вызван следователь.

Следователя в тюрьме не оказалось. В кабинете, куда привели Везича, сидел майор Ковалич.

Везич понял все в тот момент, когда его обыскали в доме Иво. Против него велась операция, и он проиграл ее. Везич мог допустить всякое: и удар в спину, и провокацию, и

предательство в Белграде, но представить себе, что его «возьмут» на убийстве семьи несчастного журналиста, который так радовался, когда Взик поручил ему первый ответственный репортаж, он, естественно, не мог.

– Ну как? – спросил Ковалич.

– Вы зря сунулись в это дело, – ответил Везич. – Вы сейчас не просто рискуете. Вы сейчас нарушаете присягу.

– Не понял...

– Я задержан?

– Да.

– На каком основании?

– Вы задержаны по подозрению.

– В чем?

– Вы знали репортера Иво Илича?

– Знал.

– Где вы с ним познакомились?

– Знаете что, майор, целесообразно вести беседу в присутствии адвоката.

– Вы крепко подзабыли процессуальный кодекс, Везич. Беседу нам предстоит вести с глазу на глаз. Если бы я проводил допрос, тогда дело другого рода.

– Я бы хотел, чтобы наша беседа оказалась допросом.

– Это завтра. Сегодня ничего не получится.

– Отчего так?

– Поздно. Рабочий день кончился в три часа. Прокуратура не планирует убийств.

– А вы? Специально задержались?

– Нет. Приходится работать за двоих – начальник болен.

– Ковалич, лучше будет, если вы отпустите меня.

– Сейчас?

– Сейчас.

– Вы бы могли отпустить подозреваемого? На моем месте вы отпустили бы человека, который пришел на квартиру, где было совершено преступление? А когда я задаю вам вопросы, чтобы помочь делу, вы отказываетесь отвечать и требуете адвоката.

– Поставьте в известность о случившемся начальника управления.

– Я знаю, что мне надлежит делать, Везич.

– Вы хотите сказать, что генерал уже в курсе?

– Вы, наверно, не раз говорили подопечным: «Здесь я задаю вопросы?»

Везич ощутил бессильный гнев.

«Только бы не сорваться, – подумал он. – Они выигрывают время. Они уже выиграли время».

– Если я отвечу на ваши вопросы, вы отпустите меня?

– Это будет зависеть от вас.

«Он здорово работает на них, – подумал Везич. – Интересно, давно ли? Сколько же людей они заставили служить себе?!»

– У вас, видимо, есть предложение для меня? – спросил Везич.

Ковалич перестал рисовать странные геометрические фигуры и, отложив карандаш, внимательно и сострадающе посмотрел на Везича.

– Предложения нет. Есть вопрос: с кем бы вы хотели увидеться?

«Точно. Он работает по их сценарию, – понял Везич. – Но они чего-то хотят от меня. Значит, еще не все потеряно. Надо соглашаться. Надо соглашаться на все. А потом срочно в Белград. И напрямую к премьеру. Должен же он думать о себе хотя бы?!»

– Вы можете устроить мне встречу с любым человеком?

– Допустим.

- Допуск – понятие растяжимое.
- Для вас могу устроить встречу с любым человеком.
- Даже с иностранцем?
- С иностранцем? – удивился Ковалич. – Это исключено.
- А найти моего приятеля в городе и сказать ему лишь одно слово «согласен» можете?
- Кто этот человек?
- Ковалич, либо я прекращу разговор и попрошусь в камеру, либо вы ответите мне «да»

или «нет».

– Я отвечу вам иначе. Я отвечу вам: боюсь, что уже поздно.

Везич посмотрел на часы. Было семь часов сорок пять минут.

– Еще не поздно, – сказал он. – Еще есть время.

– Вы меня не так поняли. Я сегодня занят. Я не смогу выполнить вашу просьбу сегодня.

Но я выполню ее завтра, если вы сегодня изложите ее мне.

– Хорошо, – согласился Везич, чувствуя, как у него занемели кончики пальцев. – Я изложу вам сегодня мою просьбу. Мне надо, чтобы вы сейчас, не позже восьми часов, позвонили в клуб «Олень» и попросили к телефону господина Штирлица...

– Кто он такой?

– Сотрудник доктора Веезенмайера.

– А кто такой доктор Веезенмайер?

– По-моему, это ответственный работник германской внешней торговли, – медленно ответил Везич.

– У вас была санкция на контакт с представителями германской внешней торговли?

«Если он записывает этот разговор, – ужаснулся вдруг Везич, – я попался и теперь выхода нет. Если я скажу ему, что у Веезенмайера контакты с Мачеком в обход Белграда, меня уберут эти. Если не скажу, мои контакты с немцами скомпрометируют меня в глазах министра. Все. Я в мышеловке. А может, он не записывает?»

Везич не успел проконтролировать себя, глаза его уперлись в большую отдушину справа на стене. Ковалич усмехнулся и повторил вопрос:

– Так у вас есть санкция на контакты с противником?

– Комбинация была на самом первом этапе, – откашлявшись, ответил Везич. – О санкции могла идти речь в том случае, если бы я добился каких-либо результатов.

– А вы не добились результатов?

– Об этом я скажу Штирлицу или Веезенмайеру, когда вы устроите мне встречу с ними.

Только не думайте, что если погиб Иво Илич и похищены его материалы, то все концы ушли в воду. Я всегда боюсь.

– Вы говорите загадками, – ответил Ковалич и снова взглянул на часы.

«Интересно, он думает о том, не кончилась ли пленка в диктофоне, – подумал Везич, – или прикидывает, стоит ли звонить в клуб «Олень»?»

Фильм был странный, жизнь Моцарта казалась на экране слащавым лубком, и Лада понимала, что показывают огромную, несправедливую, кощунственную неправду про музыканта, который, подобно всем великим, страдал больше других смертных, но тем не менее ей было приятно смотреть на сильного актера и видеть его красивых возлюбленных, которые интриговали между собой за право обладания символом гениальности, носившим к тому же такое грациозное имя – Вольфганг Амадей...

Но когда начиналась музыка, когда слащавые сцены в гостиных сменяли пейзажи и на поля, тронутые закатной тяжелой дымкой, ложилась осторожная мелодия, тогда начиналось чудо и фильм делался принадлежностью каждого сидевшего в зале, потому что великое тем и отличается от обычного, что в равной мере принадлежит счастливцу и обиженному,

влюбленному и отверженному – словом, всем людям, имеющим способность воспринимать звуки и внимать словам.

Лада видела, как ее соседки, старушки с аккуратно уложенными белыми кудельками, утирали слезы, зажав в птичьих кулачках скомканные носовые платки.

«Наверняка по краям вышиты цветочки, – машинально отметила Лада, – синие и красные. И зря я над ними смеюсь. Пусть уж лучше плачут. Иначе бы сплетничали, сидя во дворе, и порицали молодых за легкость нравов, а на самом деле за то, что те молоды просто-напросто. Если бы они жили в одном доме с Моцартом, нашептывали бы его жене, с кем видится ее муж и как «предает» ее со шлюхами. Я наверняка для них шлюха. Женщина, которая любит, но при этом не отстояла семь минут у алтаря, – преступница. Этим старухам все надо расставить по полочкам, как фарфоровые мисочки для круп. И спаси бог, если в ту, где написано «манка», попадет рис...»

Она посмотрела на часы. Было десять. Петар обещал зайти за ней сюда в девять тридцать. Он не зашел. Значит, что-то случилось. Лада вышла из кинотеатра и направилась в редакцию к Взику, как и просил Везич.

«Никогда бы не поверила, что смогу сходить с ума из-за мужчины, – подумала Лада. – Наверное, это и есть любовь. Как несправедливо: любовь и страдание».

...Взик сначала Ладу не принял. Секретарша вышла из его кабинета и сказала, что «господин директор занят и не может сейчас уделить время для посетителя».

– Передайте господину директору, что я от полковника Везича, – попросила Лада. – Видимо, он не предупрежден о моем приходе.

Секретарша снова уплыла в кабинет, и Ладе вдруг показалось, что Петар сейчас войдет в приемную. Ощущение это было таким явственным, что она поднялась с дивана и подошла к двери. Но в коридоре было пусто и только уныло светились тусклые лампы над входом в туалет.

– Куда же вы? – удивилась секретарша. – Господин директор ждет вас.

...Взик поднялся, предложил Ладе кресло, в котором утром сидел Везич, и спросил:

– Вы секретарь полковника?

– Нет.

– Кто вы?

Лада пожала плечами.

– Он просил меня прийти к десяти, если сам не вернется к этому времени. Он просил меня проследить за тем, чтобы те материалы, которые он дал Иво, были напечатаны вами, – и Лада достала из сумки несколько страничек, написанных рукой Петара, – он был предусмотрителен.

– Кто вы? – повторил Взик.

Час назад Взика допрашивали чины полиции по поводу убийства репортера. Он не сразу понял, когда ему сказали, что вся семья Иво Илича вырезана, а младенца утопили в корытце. А поняв, что Иво, тихий и застенчивый, ходивший в блестящем от старости костюме, погиб вместо него, Взика, погиб потому, что согласился сделать то, от чего отказался он сам, Звонимир вышел в приемную и трясущейся рукой набрал домашний номер.

– Ганна, – сказал он, – милая, у вас ничего не случилось?

– «Милая»? – переспросила она с ледяной усмешкой.

– Перестань, Ганка, перестань? Не отпирай никому дверь. Слышишь! Никому! Убили моего сотрудника. Вырезали всю его семью, потому что он... Ясно тебе?! Никому не открывай дверь!

Он положил трубку на рычаг осторожно, словно боясь резкостью движения обидеть жену, и вернулся в кабинет к полицейским чиновникам, которые опрашивали его заместителя и секретаря редакции. Слушая вопросы, которые задавали полицейские, Взик думал о том,

что он малодушная тварь и что убийство Иво на самом-то деле оказалось поводом, который оправдывал его в своих глазах, когда он решил позвонить Ганне.

«Ну и что? – возражал он самому себе. – Да, я люблю ее. Или свою любовь к ней? Может быть. Не знаю. Но в такое страшное время нельзя быть поврозь, потому что это может погубить сына, а зачем мне жить, если не станет мальчика?»

Взик даже зажмурился, стал шумно передвигать графин с водой с места на место, но ничто не могло заглушить мысли, которые жили теперь в нем прочно я цепко, как бактерии туберкулеза.

«Я все время играл, – сказал себе Взик. – А теперь время истекло, игра подошла к концу. Смерть Иво – это звонок в мою дверь».

– Кто вы? – повторил Взик свой вопрос.

– Это важно? – Лада опять пожала плечами.

– Важно.

– Я люблю Везича.

– Что с ним случилось?

– Не знаю.

– Вы звонили к нему на работу?

– Его там нет. Он поехал на встречу с немцем.

– С каким немцем?

– Его фамилия Штирлиц. Он из группы Веезенмайера.

– Чем вы докажете, что пришли по поручению Везича?

– Вы сошли с ума? – спокойно удивилась Лада. – Петар мне говорил, что вы его друг.

– Именно поэтому я и задал вам этот вопрос.

– Вы должны напечатать материалы Везича, – повторила Лада, закуривая. – Я передаю вам его просьбу и черновики. Почему я должна доказывать вам, что пришла от него?

– Потому что того репортера, которому Везич утром показал этот свой материал, убили. Его сына утопили в корыте. Мать закололи шилом, а жене перерезали горло.

Лада почувствовала, как мелко задрожала сигарета в ее руке. Это заметил и Взик.

– Вам страшно за Везича?

– Конечно.

– А мне страшно за моего сына.

– Вы подведете Везича, если не напечатаете этот материал.

– А может быть, наоборот, спасу?

– Может быть...

– Вы хорошо держитесь. Моя жена на вашем месте наверняка заплакала бы.

– В другом месте это можно сделать и без свидетелей.

– А может, и не заплакала бы, – скорее себе, чем Ладе, сказал Взик, виновато улыбнувшись.

– Заплакала бы. Женам положено плакать. Что же мы будем делать, господин Взик?

– Где он должен был встретиться с немцем?

– В клубе «Олень».

– Поезжайте туда.

– Вы не хотите составить мне компанию?

– У меня идет номер. Я выпускаю газету.

– А если Везича там нет? Стоит обратиться в полицию?

– Стоит. Но вас спросят, кем вы приходитеесь Петару.

Лада вдруг вспомнила своих знакомых мужчин и свое маленькое ателье и подумала, что теперь снова будет там одна или с кем-нибудь еще, похожим вот на этого, который рассказывал ей про то, что его жена заплакала бы. И ощутила усталость. «Господи, какая же я

была дура. Когда он сказал, что ему могут снять голову, я должна была просить его не лезть в это дело, я должна была умолить его остаться со мной».

– Господин Взик, вы должны исполнить просьбу Петара, – тихо сказала Лада. – Я ничего не понимаю в ваших делах, но я знаю Везича. Ему это очень, очень, очень нужно. Пожалуйста, не поступайте так, чтобы он разочаровался в вас...

– Как вас зовут?

– Лада.

– Послушайте, Лада. Я бы ответил Петару так, как отвечу вам. Мы все играем. Все время играем. Но, когда приходит смерть и ты знаешь, что она пришла в результате твоей игры, начинается переоценка ценностей. Я не буду этого печатать. Не сердитесь. У меня есть сын. Я не вправе рисковать его жизнью. Если бы я был один, я бы сделал то, о чем вы просите.

«Я сейчас врал себе, – понял Взик, глядя вслед Ладе. – Я бы не сделал этого, даже если бы был один. Я маленький трусливый лжец. И нечего мне корить Ганну».

Веезенмайер вызвал Штирлица в генеральное консульство около полуночи.

– Как вы себя чувствуете, Штирлиц? – спросил он, участливо разглядывая лицо собеседника. – Не очень устали от здешней нервотрепки?

– Устал, признаться.

– Я тоже. Нервы начинают сдавать. Сейчас бы домой, а?

– Неплохо.

– Хотите?

– Конечно.

– Я с радостью окажу вам такую услугу, только не знаю, как это получше сделать. Может, отправить вас в Берлин как прощтрафившегося? Пожурят, побранят, да и простят вскорости. Зато отдохнете. Согласны? Не станете на меня сердиться?

– Я не знаю, как сердятся на начальство, штандартенфюрер. Не научился.

– На начальство сердятся точно так, как сердятся в детстве на отца: исступленно, но молча, боготворя в глубине души.

– Надо попробовать.

– Я вам предоставлю такую возможность. Берите ручку и пишите на мое имя рапорт.

– Какой?

– Вы же хотите домой? Вот и пишите. Или изложите мне причины, по которым вы ослушались моего приказа и назначили Везичу встречу в клубе «Олень». И то и другое означает ваш немедленный отъезд в рейх. В первом случае вас будут бранить за дезертирство, во втором – за нарушение приказа. Даю вам право выбора.

– И я тоже.

– Что?!

– Я тоже даю вам право выбора.

– Штирлиц...

– Ау, – улыбнулся Штирлиц, – вот уже сорок один год я ношу это имя.

– Вы понимаете, что говорите?

– Понимаю. А чтобы вы поняли меня, нам придется пригласить в этот кабинет генерального консула, и он подтвердит получение мною шифровки от Гейдриха, а потом я объясню вам, что было в той шифровке.

– Что было в той шифровке?

– Значит, можно не приглашать Фрейндта? Вы мне верите на слово?

– Я всегда верил вам на слово.

– В шифровке содержалась санкция на мои действия, связанные, в частности, с Везичем. Он нужен Берлину.

– У вас есть связь с Берлином помимо меня?

– Я человек служивый, штандартенфюрер, я привык подчиняться моему начальству...

– А я кто вам?

– Вот я и сказал: привык подчиняться моему начальству. Я не говорил, что не считаю вас начальником. Много лет моим начальником был другой человек, теперь вы, я прикомандирован к вам, вы здесь мой руководитель.

– Не я, – поправил его Веезенмайер. – Фохт, а не я.

– Фохту теперь трудно. Он скорее ваш сотрудник, а не мой начальник. Я не уважаю тех начальников, которые проваливают операцию, играя на себя.

– Какую операцию провалил Фохт?

– Операцию с подполковником Косоричем. С тем, что застрелился. Боюсь, он не доложил вам об этом.

– А в чем там было дело?

– Вы его спросите, в чем там было дело. Или Везича, у которого хранится посмертное письмо Косорича. Там четко сказано.

– Везич в тюрьме, – отрезал Веезенмайер. Лицо его дрогнуло, видимо, он сказал об этом, не желая того. Он не считал Штирлица врагом, поэтому контролировал себя до той меры, чтобы правильно вести свою партию в разговоре, получая от этого некий допинг власти, столь необходимый ему для завтрашних бесед с разного рода лицами, которые будут помогать Германии в ближайшие дни, а особенно после вторжения.

– Вот и плохо, – сказал Штирлиц. – А что, если он доведет письмо до всеобщего сведения? И все остальное, что собрано у него против нашей группы? Что, если его арест лишь сигнал сообщникам? Что, если лишь этого ждет их МИД?

– Ну и пусть ждет! Мы хозяева положения, Штирлиц.

– Нет, штандартенфюрер. Мы пока еще не хозяева положения. Мы станем ими, когда в Хорватии на всех ключевых постах – в армии, разведке, промышленности – будут наши люди, вне зависимости от того, кто ими формально руководит – Мачек, Павелич или кто-либо третий, имя не суть важно. Каста друзей дороже одного Квислинга.

«Если бы не было постоянной мышиной возни среди них, – подумал Штирлиц, глядя на задумчивое лицо Веезенмайера, – если бы не сталкивались постоянно честолюбие, корысть, личные интересы, я бы не смог столько времени работать в этом нацистском бардаке».

– Вы убеждены в том, что завербуете Везича? – тихо спросил Веезенмайер.

– Убежден в том, что он станет моим другом.

– Вашим?

– Моим.

– Недавно вы говорили, что не умеете отделять «своего» от «нашего».

– Не умею. Став моим другом, он сразу же превратится в нашего друга.

– И в моего тоже?

– Да. Я готов внести коррективу: он станет моим и вашим, то есть нашим другом.

– Договорились. Я с первой минуты знакомства сразу же отметил вас, Штирлиц. Но, если Везич не станет вашим другом, вам придется самому решить его судьбу. Согласны?

– Что делать? Согласен.

– Ну и прекрасно. Пишите на мое имя рапорт.

– Проситься домой?

– Это будет зависеть от того, как вы выполните работу. А сначала пишите рапорт с изложением причин, по которым вам хочется довести операцию с Везичем до конца. Вашим методом, а не нашим. У вас есть документ из Берлина, а мне нужен документ от вас.

«А вот сейчас я заигрался, – понял Штирлиц. – Теперь я не могу задать Веезенмайеру вопрос, который собирался задать ему в свете беседы с Везичем. И отступить поздно».

...Рассуждая о Везиче и его судьбе в системе югославского государства, Штирлиц исходил из того, что чем большее количество людей, населяющих то или иное государство, нуждается в гарантированной защите своих интересов, тем сильнее государственная власть и тем большим авторитетом она пользуется, являясь выразителем интересов большинства.

Однако сплошь и рядом этот объективный закон не учитывается здешними лидерами. Происходит это, видимо, оттого, что власть становится своего рода самоцелью, в то время когда она есть не что иное, как выражение исторической и экономической необходимости, рожденной уровнем развития производительных сил, национальным укладом и географическим месторасположением страны.

Подчас вместо того, чтобы заинтересовать подданных во всеобщем производстве материальных благ, думал Штирлиц, гарантируя равные возможности умам и рукам вне зависимости от каких бы то ни было цензов; вместо того, чтобы превратить **дело** в символ развития общества, в котором заинтересованы все без исключения граждане, правители, монархи, диктаторы, движимые личными интересами, проводят политику иного рода, стараясь укрепить власть не умелым распределением кредитов промышленности и сельскому хозяйству, не повышением благополучия людей, но лишь тем, чтобы облечь представителей власти всеобъемлющими функциями и правами. Отсюда максимальный рост «единиц управления», то есть паразитарного слоя, служащего идее удержания власти лишь потому, что данная власть дает преимущественные блага своим непосредственным служителям. Служители же такого рода администрации сознают, что добились они всего этого не умом своим, не талантом или знанием, а лишь в силу того, что заняли то **место**, которое обеспечивает блага само по себе, потому что оно, это место, сконструировано в логическом построении такого рода государства, а не является следствием живой, ежедневно меняющейся и ежечасно корректируемой необходимости.

Представитель такой власти, «освященной» авторитетом монарха, отличается ловкостью, которая помогает ему существовать и пользоваться благами, дарованными свыше, максимально долгое время не поскользнувшись даже в мелочи, а возможностей поскользнуться много, поскольку это очень трудно – властвовать над живым **делом**, не понимая его сути, опасаясь его и не зная законов, по которым оно развивается.

В Югославии апреля сорок первого года власть существовала лишь для того, чтобы сохранять самое себя: промышленное развитие страны не интересовало ни монарха, ни премьера; сельское хозяйство разорялось; раздираемая инспирированными национальными распрями страна не имела общегосударственной идеи, общегосударственного дела.

Штирлиц пришел к выводу, что Везич относится к той категории чиновников, которые, соприкасаясь чаще других с крамольными идеями, вышли к тем рубежам знаний, когда мало-мальски честный человек должен сделать выбор между правдой и ложью, между будущим и прошлым; он должен решиться на **поступок**, который поможет не ему лично – наоборот, ему лично он может повредить, но той идее, которой он считает себя обязанным служить. Такой идеей, по мнению Штирлица, для полковника Везича было **дело** его родины.

Придя к этому выводу, Штирлиц еще раз проверил весь строй своих рассуждений. Ошибиться он не имел права, потому что ему предстоял разговор с Везичем, последний разговор, в котором он, Штирлиц, должен найти общий язык с полковником.

«Он пошел на все, – думал Штирлиц. – Умный человек, Везич должен понимать, что сейчас самое «благоразумное» – покориться силе и пойти с ней на параллельном курсе. Он, однако, восстал против такой силы, потому что не хочет зло называть добром и его не успели, а быть может, не смогли приучить черное считать белым».

...Штирлиц встретил Везича у ворот тюрьмы в два часа ночи. Контакты Веезенмайера сработали четко и незамедлительно; приказы немецкого эмиссара шли по цепи, в которую были включены сотни людей. Один телефонный звонок штандартенфюрера вызвал к жизни десятки других звонков; ночные поездки на машинах; встречи на конспиративных квартирах;

за кулисами театров; в шумных зданиях редакций; в тихих приемных врачей; в зарешеченных кабинетах полицейских офицеров, пока наконец все это не окончилось звонком в тюрьму, к майору Коваличу, которому было приказано немедленно – с соответствующими извинениями – освободить из-под стражи полковника Везича.

– Даю вам честное слово, полковник, – сказал Штирлиц, – что я узнал об этой истории в полночь. Чтобы нам можно было продолжать разговор, ответьте: вы мне верите?

– Конечно нет.

– Садитесь в машину, – предложил Штирлиц, – поедem куда-нибудь; мы помолчим и дадим хорошую скорость, а вы остынете и станете мыслить более конструктивно.

Он пронесся по широкой Максимировой дороге, засаженной громадными платанами и липами («Летом, наверное, едешь как в тоннеле»), и возле Кватерникова трга свернул к Нижнему городу, миновал центральную Илицу, поднялся в Верхний город, поплутал по узеньким улочкам, наблюдая, нет ли за ним хвоста, и остановился около огромного кафедрального собора. Открыв дверцу, Штирлиц вышел на темную гулкую площадь.

– В машине может быть аппаратура, – пояснил он Везичу, когда тот вышел следом. – Или ваши всадили, или наши. Скорее всего, конечно, наши. По-моему, ваши не хотят знать правды. «Торговая миссия» Веезенмайера их больше устраивает, нет?

– Вы хотите сказать, что мы полное дерьмо? Амебы? Планктон?

– Смотря как понимать местоимение «мы»...

– «Мы» – это толпа безликих, из которых случай выбирает кого-то, играет им, а потом, наигравшись в досталь, бросает на свалку.

– Это одна точка зрения. Я считаю, что «мы» состоит из множественных «я», и чем точнее каждое «я» чувствует свою значимость, чем точнее каждое «я» понимает свою персональную ответственность, тем нужнее это «я» – и самому себе, и тем, кого определяют как «мы». Я народ имею в виду, простите за патетику, народ...

– Я предполагал, что у гестапо есть талантливые агенты, но не думал, что кадровые офицеры могут быть так умны. Bravo, гестапо!

– Ну и слава богу, – сказал Штирлиц. – Я рад, что вы наконец прозрели.

– Прозреть-то я прозрел, но я не стану служить вам. Если бы я прозрел чуть раньше, я бы знал, что мне делать. Сейчас поздно. Понимаете? Я опоздал на поезд...

– Машина-то у вас есть? – усмехнулся Штирлиц. – Поезжайте в Белград не на пропущенном поезде, а на машине. Скажите, что война на носу, скажите, что Белград, начнись война, сотрут с лица земли бомбовым ударом, скажите, что Веезенмайер работает в Загребе с сепаратистами. Пусть протрут глаза и примут меры, а потом – желательно завтра, хотя нет, не завтра, а сегодня, ведь уже два часа – возвращайтесь в Загреб, найдите меня и скажите, что вы согласны на мои предложения. Думаю, центральное начальство санкционирует вашу игру с человеком из группы Веезенмайера – лучше поздно, чем никогда. Соглашаясь на мои предложения – а они просты, эти предложения: дружить со мной, вот и все, – вы должны знать, – Штирлиц впервые за весь разговор посмотрел прямо в глаза Везичу, – что в ближайшее время Германия будет заинтересована в друзьях, которые смогут информировать ее об истинных намерениях итальянского союзника. Судя по всему, наш союзник возьмет верх в Хорватии: не Мачек, говоря иначе, а Павелич. Мачек аморфен, до сих пор он не принял решения. А Павелич будет служить Муссолини. Играть же на противоречии двух сил – Италии и Германии – выгодно вашей родине. В Белграде вы должны для себя выяснить: ждут они войны, готовятся к ней или надеются договориться с Берлином? Согласны ли они пойти на серьезные переговоры с Москвой? Думают ли они защищать свою страну? Вы должны выяснить это со всей определенностью, потому что сие касается не вас лично – от этого будут зависеть все ваши дальнейшие поступки, а ваши поступки должны помочь вашей родине. Нет? А для того, чтобы вы смогли оказать ей реальную помощь, надо решить, какую линию поведения вам следует занять по отношению к нам. Вы ведь не знаете

сейчас, как вам поступать со мной и с моими друзьями. Нет? А вам нужно **понять**, и тогда вы примете решение, Везич, **главное** решение. Тогда, и никак не раньше.

Не дожидаясь ответа, Штирлиц пошел к машине. Ему не нужен был ответ Везича – он внимательно следил за его лицом. Легко иметь дело с умными людьми: если не произойдет непредвиденное, Везич, вернувшись из Белграда, найдет его сегодня. Ждать надо часам к семи вечера, так скорее всего и будет – дорога все же неблизкая.

– Василий Платонович, – сказал Штирлиц, разбудив Родыгина; он приехал к нему сразу же после беседы с Везичем. – Передайте радистам, чтобы они были очень осторожны. За мной сейчас могут смотреть, значит, и вы попадете в поле зрения. А вы можете привести их к рации.

– Мы работаем через цепь. Я не знаю, где наша рация.

– Что вы такой желтый?

– Печень.

– Лечитесь?

– На какие шиши? Лекарство золото стоит.

– Из Москвы денег не могут прислать?

– Я работаю не за деньги, господин Штирлиц, – произнес Родыгин чуть не по слогам. – Не надо мерить всех людей на свой аршин...

– Вы знаете машину Везича? – чуть помедлив, спросил Штирлиц.

– «Линкольн» черного цвета.

– Именно.

– Их в Загребе всего несколько штук, таких «линкольнов».

– Так вот у меня к вам просьба. Очень большая просьба. Пожалуйста, часа в три-четыре выезжайте к Песченецу, на Белградскую дорогу, и там, у поворота, где повешен знак «стоп», остановите «линкольн» Везича.

– Везич в тюрьме, господин Штирлиц. Мы это выяснили через товарищей.

– Я только что отправил Везича в Белград. Днем, а может быть, к вечеру, он должен вернуться. Словом, начиная с трех часов вам надо его ждать там. И остановить. Перегородите дорогу своим мощным велосипедом, – усмехнулся Штирлиц. – Сшибать он вас не станет. Он сочтет вас, вероятно, германским агентом.

– Я б на его месте сшиб агента.

– Разведка, как и хирургия, суть профессия, Василий Платонович. А профессия подвластна законам. По законам разведки агент интересуется службой, если он живой. Если он ценен, его холят и нежат, а если он пень и бестолочь, от его услуг отказываются. Дурак и бестолочь умирает в постели, окруженный сонмом внуков, а умницу, если он надумает шалить, прикончат – вполне могут сшибить на пустынном шоссе.

– Порой мне кажется, что говорю с соплеменником, только по-немецки.

– Почему? – насторожился Штирлиц (ему часто снился один и тот же сон: Шелленберг говорил кому-то, кто стоял к нему спиной: «Я хочу узнать все связи Штирлица, а уж потом будем его брать. Пусть ему кажется, что я ничего не подозреваю, пусть считает, что водит меня за нос. Он же русский, он не может понять нашу логику»).

– Немцы рубят мысль, – ответил Родыгин, – хотя очень дотошны в доказательствах. Вы говорите образно, как русский.

– А вы, случаем, не панславист?

– Панславизмом грешили сторонники самодержавия. Как идеология панславизм умер в начале века. Его теперь будет усиленно воскрешать Гитлер для оправдания расистского пангерманизма.

– Любопытно. – Штирлиц еще раз подумал, что надо последить за собой: действительно, все его коллеги в РСХА говорили иначе, а Шелленбергу как раз нравилась

манера Штирлица, но ведь может появиться кто-то еще, кому в отличие от бригаденфюрера его манера не понравится, а если еще к тому же этот некто будет знать русский, то последствия окажутся пагубными. – Я хотел вас спросить, Василий Платонович...

– Пожалуйста.

– Почему вы поселились именно в Загребе? Это была ваша воля или...

– Я хотел этого сам. Вам ничего не говорит имя Юрая Крижанича?

Штирлиц мгновение раздумывал, что ответить. Двадцать лет назад, работая в пресс-группе Колчака, он жил в Тобольске в том доме, где, по преданиям, был поселен Юрай Крижанич.

– Пожалуй, нет, – ответил Штирлиц. – Это имя связывается у меня в памяти с семнадцатым веком всего лишь.

Родыгин внимательно посмотрел на Штирлица.

– А с именем русского царя Алексея Михайловича это имя у вас не связывается?

– Не связывается, – ответил Штирлиц. – Я ведь не славист.

– Глупо чувствуешь себя, когда говоришь человеку про то, что ему известно.

– Иногда это целесообразно: человек точнее всего открывается, когда слушает то, что ему хорошо известно. Дурак перебьют, а честолюбец начнет поправлять в мелочах. Я, например, часто рассказываю людям, которые меня интересуют, старые анекдоты.

– Сейчас вы говорили не как русский, а как римлянин, а еще точнее, как член ордена доминиканцев... Я ведь не сбежал из России. Я уехал на Запад смотреть, сопоставлять, углублять образование. Но сначала и здесь, и дома меня считали чуть ли не шпионом, а уж изменником во всяком случае. Я же просто хотел больше понять, а поняв, служить. Наверно, я путано говорю, да?

– По-моему, нет. Я, во всяком случае, вас понимаю вполне.

– Так вот Крижанич. Славянин. Полукровец – хорватская и сербская родня. Католик. Патриот России как матери славянства. Посему правонарушитель: и для католического Ватикана, и для православной Московии. Изгнанник и по приказу далекой конгрегации, и по ведению патриаршего Кремля. А на самом деле? Кем он был на самом деле?

– Кем?

– С одной стороны, католик Крижанич совершает высший грех, отрицая примат духовной власти над светской. С другой, он, славянин, не считает православных еретиками, а всего лишь заблудшими, которых обманули греки. С одной стороны, он, как славянин, обуреваем идеей объединения всех славян вокруг Московии. С другой, как католик, выступает против объединения, которое бы свершилось под эгидой православного патриарха. И этот несчастный странник борется за унию, которая формально бы примирила церкви, а фактически объединила славянский мир. О нем писали в России по-разному, но особенно точно писали некрасовцы. Они про него писали, что, мол, невежество вооружилось против умного и честного человека, обвинило его в злонамеренных покушениях на православную веру, на монархическую власть царя, на спокойствие народа; ему поставили в вину и то, что он был иноземец, хотя он горячо восставал против этого определения, и уделом его стала ссылка. Задаром пропали все его стремления и ревнивое желание дать силу и славу народу, которому он не был даже своим. А доминиканцы посчитали своего сербскохорватского сводного брата изменником делу ордена и подвергли унижению недоверием. И там измордовали, и здесь. Обидно ведь. Из теплых краев тайком, обманув братьев, бежал в Россию, славянскую мать, а там его в ссылку упекли. Вернулся чудом, а его в монастырь заточили. Каково? Сюжет шекспировский, милостивый государь, шекспировский. Нашим что не понравилось? Отчего царь Алексей оскорбился? Оттого, что Крижанич против теории «третьего Рима» выступил. А ведь правильно выступил. Пророк-то Даниил предсказывал разрушение римского государства, а потому тот, кто мечтает наречь Москву «третьим Римом», тот погибел ее желает. Москва – она и есть Москва, и того хватит, слава богу! А

доминиканцы его мордовали потому, что он их за схоластику и догматизм поносил, не считал нужным молчать, когда был не согласен. Вот и разберись: можно ли служить двум идеям? Или это прямехонький путь на голгофу? Разбираюсь.

– И как?

– Не печатают меня. Ни те, ни эти не печатают. «Те» – я имею в виду загребских католиков, «эти» – белградских православных. И те и эти требуют точности: либо он католик и хорват, так вознеси его и восславь, и докажи, что в Московию он ездил затем лишь, чтобы обратить заблудших славян в лоно ватиканской истины; либо он истинный серб и надел тогу католика, чтобы служить славянскому делу, которое было, есть и будет православным. А вот чтобы напечатать про **человека** Крижанича во всей его мятущейся разности, нет, не хотят. Не требуется разность, однолинейность потребна. Не наука пошла нынче и не искусство, а сплошная внешняя политика.

– Много уже написали?

– Два шкафа.

– Домой оправить не хотите?

– Боюсь, что наши наивные атеисты посчитают мою работу апологетикой церкви.

– А вы не бойтесь.

– Эмиграция приучает всего бояться, господин Штирлиц. А пуще всего самого себя.

Она комплексы порождает, эмиграция-то. Страшные, доложу я вам, комплексы.

– Вы замечаете, что говорите по-немецки так, как говорят русские, давно покинувшие родину?

– Мне рекомендовано продолжать говорить именно таким образом.

«Готовят к передислокации в Германию, – понял Штирлиц. – Видно, не зря и наши так интересуются русской эмиграцией».

– Про Крижанича интересно. Обидно, если ваш материал останется втуне.

– Сделанное не пропадает.

– Как сказать. Написанное слово обязано быть напечатанным. Ничто так не стареет, как слово или мысль, не отданная людям, Василий Платонович.

– Вы кто по образованию?

– Физик.

– Ого! И где обучались?

– В Германии. Ладно. Исповеди мы отнесем на свободное время. Итак, вы остановите Везича...

– Если я остановлю Везича...

– Без «если», – отрезал Штирлиц, чувствуя, что говорит сейчас так, как говорят немцы. – Вы дождетесь его, даже если он приедет в восемь вечера, и остановите его, и откроетесь ему.

– Что?!

– Вы скажете, что связаны с русскими. И объясните, что готовы оказать ему поддержку, если он согласится дать мне письменное согласие на сотрудничество с РСХА. Обговорите детали с вашей здешней цепью. Везич может потребовать доказательств, не моя ли вы «подставка». Если хотите, пригласите кого-нибудь из своих здешних друзей.

Штирлиц, начав игру, уже сообщил Шелленбергу о согласии Везича на сотрудничество, но он знал, что бюрократический аппарат требует фактического подтверждения, дабы занести полковника в свою картотеку под соответствующим номером и псевдонимом.

Не получи Штирлиц письменного согласия Везича – оно может быть написано в любой форме, но обязано быть адресованным ему, – в Берлине будут крупные неприятности: теперь в игру включен и Веезенмайер.

«Центр.

Настойчиво рекомендую найти возможность для ознакомления итальянцев с работой группы Веезенмайера в Загребе. Это – я убежден – вызовет серьезные трения между Берлином и Римом.

Юстас».

«Из Белграда. Принято по телефону от собкора А. Потапенко в 21.40 (ТАСС).

Английские и американские газеты, пришедшие сегодня в столицу Югославии, как всегда, пестрят броскими заголовками, однако на этот раз жирным шрифтом набраны не британские или немецкие, а сербские и хорватские имена, названия боснийских и далматинских городов. Главная тема, обсуждаемая «китами» западной прессы, формулируется коротко и ясно: «Будет война между Югославией и Германией или нет?» Единой точки зрения нет. «Ньюс кроникл» и «Санди таймс» пророчествуют, что война начнется в ближайшие недели, в то время как осмотрительная «Файнэншл таймс» склонна считать, что Германия ограничится демонстрацией силы на югославских границах и, таким образом, добьется тех результатов, в которых заинтересован Берлин. На все лады дискутируется вопрос о позиции «Кремля в создавшейся ситуации». Корреспондент «Ивнинг стандарт» Дэйвид Кайнд в беседе со мной утверждал, что Москва «не рискнет занять твердую позицию, поскольку Югославия не имеет с Россией общих границ и удалена от Украины значительно более, чем, например, Болгария, куда введены танки Гитлера, не говоря уже о Румынии и Словакии». Однако корреспондент «Вашингтон пост» Джордж Робертс судит иначе: «Трудно поверить, что Кремль относится к ситуации на Балканах с тем же олимпийским спокойствием, с каким советская пресса печатает сводки «последних известий». Наркоминдел немедленно реагировал на акции Гитлера в Болгарии и Румынии, направив ноты, беспрецедентные по своей резкости. То, что Кремль хранит молчание в эти дни, свидетельствует о том, что Сталин сидит за «счетами», «калькулируя» степень риска и предел терпения. По той позиции, какую займет Москва в югославском кризисе, западные демократии смогут выстроить относительно реальные прогнозы на ближайшее будущее. Если Сталин промолчит на этот раз, то, следовательно, Гитлер одержал серьезную дипломатическую победу над Кремлем. Если же Москва займет твердую позицию в связи с югославским кризисом, то следует считать, что русский медведь поднимается на задние лапы. Трудно судить, насколько это испугает экспансивного германского диктатора, однако Лондон такую акцию будет, бесспорно, приветствовать. Вашингтон тоже».

Корреспондент «Нью-Йорк таймс» прямо заявляет, что по той позиции, которую займет Москва, «можно судить о том, возможен ли вообще диалог между Кремлем и западными демократиями не только сейчас, но и в будущем. Не в Белграде, Берлине и Лондоне решается вопрос будущего. Будущее сейчас решается в Кремле, и весь мир с нетерпением ждет этого решения. Если Москва займет нейтральную позицию или – хуже того – закроет глаза на происходящее, то, значит, факт тайного сговора между Советским Союзом и Германией станет очевидным для всего мира».

Обзор югославской и германской прессы, в которой позиция Москвы никак не дискутируется, прилагаю.

Потапенко.

Позвоните ко мне домой, пусть мама пришлет килек и черного хлеба».

Белград оглушил Везича. Здесь все было иначе, чем в Загребе. И толпы оживленных людей на площадях, и армия, патрулировавшая главные улицы, правительственные учреждения и посольства, и тон газет, продававшихся в киосках, – все это было иным,

тревожным, но именно эта тревожность, соединенная с ощущением освобождения от чего-то такого, что изнутри тяготило народ, вселила в Везича надежду.

Он знал, по какому адресу ему надо идти. Он помнил этот адрес. Член компартии адвокат Славко Губар доставил в свое время много забот Везичу своими выступлениями в университете. Он был самым левым и непримиримым из коммунистов, с которыми Везичу приходилось сталкиваться.

Губар не сразу вспомнил его, а вспомнив, не смог сдержать себя. Лицо его сделалось презрительно-насмешливым, и он распахнул перед Везичем дверь в большой кабинет, обставленный мебелью старинного красного дерева.

– Чем обязан визиту полицейского офицера? – спросил Губар. – Надеюсь, теперь у властей нет ко мне никаких претензий?

– Полицейский офицер пришел к вам не как представитель власти. Я, скорее, пришел к представителю будущей власти.

– Продолжаем игру в провокации?

– Любая талантливая провокация требует времени, – ответил Везич, – а времени у нас нет.

– У «нас»? У кого это у «нас»?

– У югославов.

– У югославов есть время, а вот ваш час пробил, это действительно правда.

– Хватит вам, – поморщился Везич. – Я хочу, чтобы вы меня выслушали и сразу же предприняли какие-то шаги. Но с соблюдением осторожности; если вас посадят, то меня расстреляют.

– Поменьше патетики, полковник. Все эти ваши штучки давным-давно известны.

– Слушайте, Губар, у меня ведь тоже есть нервы. Я пришел к вам как к человеку, представляющему партию. Ту партию, которая сейчас может стать ферментом порядка во всеобщем бедламе! Я специально приехал из Загреба. Понимаете? Мне не к кому больше идти. Кругом неразбериха и паника. А в Хорватии сепаратисты ждут момента, чтобы ударить в спину Югославии! Там уже нет центральной власти! Там живут по своим законам!

– Чего вы от меня хотите? Чтобы я открыл вам адрес подпольного ЦК? К счастью, мне этот адрес неизвестен. Я разошелся во взглядах с руководством и не поддерживаю с ними контакта. Достаточно вам? Могу я теперь чувствовать себя спокойно?

– Вы не верите мне, – убежденно и устало сказал Везич. – Я боялся этого больше всего. И самое страшное заключается в том, что я не вправе винить вас. Ну, хорошо, ладно, хорошо, тогда я попрошу вас об ином: устройте мне встречу с вашими товарищами. Давайте поедем к ним вместе. Или пойдите за ними, а я стану ждать вас здесь.

– Ну зачем эти наивные разговоры? – снисходительно хмыкнул Губар. – Вы же понимаете нереальность ваших предложений, полковник...

– Слушайте, Губар, ваш пророк, Сталин, подписал договор с Гитлером. Считайте меня Гитлером, подпишите со мной договор, он вам более выгоден, чем мне. Я рискую всем, Губар. Вы рискуете малым: пусть проследят ваши люди, они убедятся, что вас не «водит» полиция.

Какое-то мгновение Губар смотрел на Везича серьезно и изучающе.

«В общем-то, если он не врет, – подумал Губар, – у меня есть очевидный повод помириться с организацией. «Помириться», – усмехнулся он своей мысли, – какое доброе, детское слово. И снова начнется прежняя жизнь, когда не принадлежишь себе, когда не знаешь, что тебя ждет завтра. Пусть лучше они сами говорят с ним. В конце концов их обвинения в «левом робеспьеризме» может терпеть только тот, кто способен отстаивать свою точку зрения лишь с помощью и при посредстве партии. Я это умею делать и сам».

– Оставьте ваш белградский телефон, – сказал наконец Губар, – я подумаю, как быть с вашим предложением.

– У меня нет телефона, – ответил Везич, – я приехал в Белград на два часа. Вот, почитайте это. – Он достал из кармана материалы к статье Иво Илича, увидел страх, промелькнувший в глазах Губара, и не ошибся в своем мгновенном предположении, отчего этот страх появился в глазах адвоката.

– Уберите! – сказал Губар. – Не надо провокаций! Я ничего не хочу читать! Спрячьте это обратно, слышите?

Везич поднялся, сожалеюще посмотрел на Губара и молча вышел из его кабинета.

В редакции, где работал университетский друг Везича, обозреватель Зденко Гаврич, было тихо, все сотрудники ушли на обед.

Зденко прочитал материалы, которые Везич приготовил для Иво Илича, закурил, молча поднялся и начал стремительно выхаживать из угла в угол. За окнами звенела весна, день был солнечный; вчерашний молчаливый холод сменился многоголосым воробьиным гомоном, весенне врывающимся в перезвон трамваев и быстрые автомобильные гудки.

– Ты хочешь, чтобы мы это напечатали? – спросил наконец Зденко. – Петар, дорогой, это сейчас нигде и никто не напечатает. Мы получили директиву: категорически не касаться Германии, Италии, России и национальной проблемы. Будто бы всего этого нет. Будто нет усташей, и будто люди Мачека не лизут задницу немцам, и будто наши фанатичные сербы не убили хорватских лидеров в Скупщине, и будто усташа не кричат об отмщении, о том, что надо вырезать всех сербов в Хорватии. Все должно быть тихо, понимаешь? Если в газетах ничего не пишут о национальной проблеме, то, значит, ее нет. Понятна логика? Или непонятна?

– Понятна. А что прикажешь делать мне? Что мне делать? Вы **здесь**, вы хоть можете жить иллюзиями, а я живу **там**, а **там** иллюзии кончились, **там** открытое предательство!

– Петар, ты думаешь, нам здесь легче? Ты думаешь, жить в состоянии иллюзий лучше, чем лицом к лицу с правдой? Мы тешим себя каждое утро тем, что произойдет **некто**, и придет **некто**, и все изменится, и все станет на свои места, но никто не приходит, и ничто не меняется.

...Везич оставил машину возле Скадарлии. Сегодня днем здесь было так желюдно, как обычно бывает по вечерам в этом стариннейшем районе Белграда, расположенном недалеко от крепости Калемегдан. Особенно в мае, когда гремит музыка и заполнены столики в «Двух оленях» и «Трех шляпах» – самых древних кабаках столицы, а на помостах посредине улицы сидят оркестранты в национальных костюмах, и, несмотря на прохладу, веющую от Дуная, так душно, что кажется, сейчас не весна, а знойный август, и юноши держат девушек за руки, и они раскачиваются в такт музыке, робко прижимаясь друг к другу, и царит повсюду бесшабашный дух молодости, и забываются страх, горе, смятение, и кажется, что ты по-прежнему юн, и ничего еще не ушло в жизни, и то главное, что суждено тебе сделать, впереди и сделано будет непременно.

Везич спросил себе кувшин далматинского вина и вспомнил слова Ивана Симича, рыбака из Далмации: «У нас нет плохого вина и старых жен». Вино, впрочем, оказалось плохим, видимо, хранилось в новых бочках, едко отдавало дубом – в Белграде больше пьют ракию, а это некогда игристое густо-красное вино было сейчас кисловатым, и казалось, что первозданный цвет его убит временем: так случается с картиной, попавшей в руки неумелого хранителя, который повесил ее на солнечной стене комнаты.

...Адвокат Трипко Жучич, известный своими тесными связями с нынешним премьером, обрадовался, услышав в телефонной трубке голос Везича.

– Петар, милый, где ты?

– В Скадарлии. Пью вино и пирамидон, – ответил Везич. – Я гнал всю ночь из Загреба и часа через два должен возвращаться обратно.

– Почему такая спешка? Оставайся до завтра.

– Причин для спешки много. Ты подскочишь в «Три шляпы», или я приеду к тебе?

– Будет лучше, если ты приедешь ко мне, Петар.

– Хорошо, я буду через двадцать минут.

Везич спустился по старинной булыжной мостовой вниз, к площади, где он бросил машину, и поехал к Жучичу. Через час Жучич вместе с ним был в кабинете помощника премьера – одного из истинных организаторов путча – генерала Мирковича. Они застали его на пороге кабинета: генерал ехал на прием в перуанское посольство, который отчего-то был слишком ранним, видимо, перуанцы подстраивались к православным сербам, готовившимся к празднику пасхи, к светлому Христову воскресенью, к шестому апреля. На улицах поэтому было особенно многолюдно, и возле магазинов возникали очереди – женщины покупали яйца и муку для куличей.

– Может быть, поговорим завтра? – спросил Миркович. – Или что-нибудь очень срочное?

– Очень срочное, Боривое, – сказал Жучич. – Это полковник Везич из Загреба.

– Если у вас так тяжело со временем, ваше превосходительство, я готов подождать, пока вы вернетесь с приема, – сказал Везич.

– Кто же с приемов возвращается на работу? – усмехнулся Миркович. – После приема надо ехать домой, да и рабочее время к тому моменту кончится – три часа как-никак. Это ведь единственное, что свято соблюдается в Югославии: окончание рабочего дня.

– Даже сейчас? – спросил Везич.

– А чем «сейчас» отличается от «вчера»? Чем оно будет отличаться от «завтра»?

– Ваше превосходительство, – сказал Везич, – в Загребе необходимо ввести чрезвычайное положение. В Загребе измена. Там сидит группа полковника СС Веезенмайера, которая ведет сепаратные переговоры с Мачеком и усташами.

– Не надо драматизировать положение...

– Господин генерал, – настойчиво повторил Везич, – ситуация в Загребе отличается от той, которую вы наблюдаете здесь. Там все иначе. Там зреет тотальная измена. Человек из группы Веезенмайера предложил мне работать на немцев, дав понять, что наши дни сочтены. Он дал понять мне, что усташаи ждут сигнала к началу путча.

Миркович посмотрел на Везича с сожалением и, как показалось Жучичу, с какой-то странной жалостью.

– Боривое, это все серьезно, – заметил Жучич. – Петар только что рассказал мне подробно о ситуации в Хорватии. Ты напрасно так скептически относишься к его словам.

– Я очень хорошо отношусь к Везичу, – ответил Миркович. – Если бы я плохо относился к нему, я бы приказал его арестовать, потому что от Шубашича на него поступил сигнал. Да, да, мой милый и честный Везич. Вас обвиняют в связях с немецкими агентами. Но все это суэта. Шестого апреля, вероятно рано утром, когда люди только-только возвратятся с заутрени и станут разговляться, Гитлер выступит против нас. И мы будем разбиты. И мы будем оккупированы, и после этого мы начнем борьбу для того, чтобы победить...

Везич даже зажмурился – не почудилось ли ему все это.

– И ты говоришь об этом спокойно?! – воскликнул Жучич. – Ты говоришь нам спокойно о том, что грядет крах?!

– Не Симовичу ведь говорить об этом. На шестое апреля он назначил свадьбу своей дочери. Он никому и ничему не верит теперь. Он успел забыть, что это мы привели его к власти. Он успел возомнить себя новым Наполеоном. Увы, он даже не Мюрат. Ему очень нравится произносить речи; он следит за тем, чтобы стенографисты успевали записать все то,

что он вещает. Он боится **мер**. Он думает, что спокойствие и выдержка могут заменить **действие**. Он путает очередность поступков. Сначала надо действовать, а потом демонстрировать спокойствие и выдержку. А он ничего не делает, ничего. Валить Симовича? Это нетрудно, но это будет очень смешно со стороны – оперетта, а не государство. Валить его можно, если появится новая программа, а ее нет. Понятно? Не коммунистов же призывать к власти... Я говорю с вами открыто потому, что верю вам, и еще потому, что обречен погибнуть одним из первых, когда начнется война. Я хочу, чтобы вы сохранили в памяти то, что я вам сказал сейчас... И как бы ни было нам всем горько, в конце-то концов мы совершили то, что зачтется нам после. Мы восстали против диктатора, мы щелкнули по носу Гитлера, мы не позволили ему прошагать по Балканам, как по Унтер ден Линден.

– Надо же что-то предпринимать, – сказал Жучич, – надо делать что-нибудь, Боривое!

– Надо, – согласился тот. – Ты совершенно прав. Надо сохранять лицо. Или хотя бы стараться сохранить его. Наша последняя надежда на пакт с Кремлем. Может быть, только это остановит Гитлера. Англичане нам помогли двадцать седьмого марта, но они бессильны помочь шестого апреля. Остается надежда на Сталина, но я не думаю, чтобы он решился подписать с нами договор.

– Кто сообщил о начале войны, ваше превосходительство? – спросил Везич. – Простите, что я так бесцеремонно ставлю вопрос, но это может быть дезинформация.

– Сообщил об этом военный атташе в Берлине Ваухник, а он не ошибается в своих донесениях.

– Надо же делать что-то, – повторил Жучич, заметив, как генерал взглянул на часы. – Боривое, отчего ты так спокоен?

– Ты думаешь? Ты убежден, что я спокоен? Значит, я еще могу владеть собой. Что делать? У тебя есть предложения? Если да, я завтра же подпишу приказ о твоём назначении помощником министра внутренних дел. Тогда ты хоть сможешь докладывать мне донесения Везича – сейчас бы их спрятали под сукно. Господа, я прошу простить меня: опаздывать больше чем на пять минут неприлично, это могут неверно понять, особенно если я приеду после премьеры. – Миркович снова усмехнулся. – В американских газетах уже появились сообщения о том, что не Симович пришел к власти, а я и мои друзья насильно привели его к ней. В Москве, говорят, родилась шутка: «Мы любим нового короля Петра за то, что он серб и молод». Поменяйте последние согласные – и вы услышите марксистское: «Серп и молот». Остроумно, не правда ли? Честь имею, господа.

И пока Везич гнал в Загреб, мечтая увидеть на дороге хотя бы один полк, зенитную батарею, наряд полиции, хотя бы одну танковую колонну, он все время повторял про себя: «Они кончают работу в три часа, боже ты мой! Они свято соблюдают время окончания **службы**! Они в три часа кончают работу, скажите на милость, они работу кончают по звонку, как это было всегда заведено!»

При въезде в предместье Загреба дорогу машине Везича преградил велосипедист. Полковник яростно нажимал на клаксон, чтобы человек сошел с дороги, но тот стоял, не двигаясь, то и дело поправляя левой рукой дужки маленького пенсне на переносице, а правой намертво вцепившись в руль своего старого велосипеда.

Людей на дороге не было. Прежде чем затормозить, Везич какое-то мгновение высчитывал: не специально ли его хотят задержать здесь, не работа ли это немцев и Ковалича, не арестуют ли его, наверняка ведь знают, что ездил в Белград, и понимают отчетливо, зачем он туда ездил. А потом он вспомнил женщину с перерезанным горлом, репортера Иво в луже крови, желтые пятнышки младенца, которые неподвижно торчали из корытца, и подумал, что с ним здесь могут поступить так же, а человек в пенсне наверняка дешевый агент, несмотря на свою интеллигентскую жалкость, а в кустах сидят мускулистые тупорылые мальчишки из жандармерии или из «селячковой стражи» Мачека, или из второго

отдела, подчиненного Владимиру Шошичу, – мало ли служб, которые могут сделать все, лишь бы приказали сверху. Они могут это сделать сейчас, могут вечером; могут здесь, могут и в центре города – они все могут.

Везич убрал ногу с педали тормоза и хотел было нажать на акселератор, чтобы прибавить газ и чтобы его мощный «линкольн» набрал еще больше скорости, и даже услышал тупой удар по человеческому телу, и представилось ему, как беспомощно валяется на булыжнике треснувшее пенсне этого человека с велосипедом, которого, видимо, силой принудили служить полиции. Везич зажмурился и нажал на педаль тормоза, машину занесло к кювету, и, лишь когда она остановилась, Везич понял, что оружия у него с собой нет. Только начинающие полицейские таскают пистолет; те, которые отдали работе в секретном политическом сыске много лет, привыкли ощущать свою власть и силу не в пистолете, а в листке бумаги, на котором выведено: «Согласен на вас работать...»

– Спасибо, – сказал Родыгин, подойдя к машине. – Я уж думал, что вы хотите меня задавить.

– Я очень хотел вас задавить, – устало ответил Везич, ожидая, когда из кювета вылезут молодчики, лица которых он с такой явственной ненавистью и тяжелым презрением представлял себе.

– Я один здесь, – словно поняв его, сказал Родыгин. – Я ждал вас четыре часа. А задержу минут на пять, не больше.

– Ну, что? – спросил Везич. – Только не финтите. Давайте сразу и без обиняков: что вам от меня надо?

– Я бы иначе сформулировал. Я бы на вашем месте начал с вопроса: «Кто вы?» Так вот, я работаю на советскую разведку, Везич.

– Вы русский?

– Это можно легко определить по моему акценту.

– Вы русский? – настойчиво повторил Везич. – Русский или нет?

– Русский.

– Бросьте свой велосипед и садитесь ко мне, по дороге договорим.

– А как я потом возьму велосипед? – удивился Родыгин. – На чем мне ездить? Его же украдут.

– Купите новый. Садитесь.

– Господин Везич, у меня нет денег на новый велосипед, и осталось мне сказать вам всего несколько фраз. Во-первых, мы знаем о предложении, которое вам сделал Штирлиц.

Везич усмехнулся, и страх, который жил в нем, медленно растворился в тепле, которое пришло в пальцы рук и ног на смену отсутствующему, пустому холоду.

«Ясно, – подумал он. – От немцев. От Штирлица. Этот убивать просто так не будет, не того калибра личность».

Везич вышел из машины, широко развел руки, в плечах сильно хрустнуло, и он только сейчас ощутил ту разрушающую усталость, которую испытывал все то время, пока гнал в Белград, говорил там с Губаром, Зденко, Трипко, с Мирковичем и возвращался назад, вспоминая слова генерала о том, что работу надо кончать в три часа, по звонку, как раньше, как было всегда заведено, как должно быть в дни мира, как должно быть в стране, которая тщится доказать противнику, что ситуация контролируется правительством. Этим доказывается то же самое и союзникам, а сие, видимо, самое важное, даже важнее, чем доказательство силы и спокойствия, предъявленное врагу.

– А во-вторых? – спросил Везич.

– Во-вторых, у меня к вам просьба от югославских товарищей. Она не имеет отношения к первой. В полиции заключены Аджия, Прица, Кершовани, Рихтман, Крайский. Где-то в другом месте держат Цесарца. Это цвет партии, господин Везич, эти люди всегда были

непримиримы к гитлеризму. Вы можете и вы должны снести с Белградом и требовать их немедленного освобождения.

– Вы думаете? – спросил Везич. – А профессор Мандич не арестован?

– Нет.

– Это точно?

– Да.

– Арестов, связанных с ним, с его друзьями, не было?

– Нет.

– Кто арестовал Прицу и его товарищей?

– А вы не знаете?

– Я вас спрашиваю, вам известно?

– Их брала «селячка стража» Мачека. Их арестовывали для того, чтобы удобнее было играть с Веезенмайером. Их арестом Гитлеру косвенно демонстрировалась лояльность Загреба. Их арестом Мачек предлагал Гитлеру сговориться без помощи Павелича. Их арестом Мачек и Шубашич уверяли державы оси, что они тоже самостоятельны и беспощадны, когда речь идет об их интересах...

– Эту просьбу я понимаю, – задумчиво ответил Везич, – но при чем здесь Штирлиц?

– При том, что, согласись вы «дружить» со Штирлицем, вам будет легче помогать нам.

– Вам? Советской разведке?

– Нам. Советской разведке.

– Вы с ума сошли, милейший?

Родыгин поправил указательным пальцем дужку пенсне, которое то и дело съезжало с переносья, и вдруг – неожиданно для самого себя – закричал тонким голосом:

– Дурак! Игрок! Опереточная примадонна! А кто, по-вашему, будет по-настоящему драться с Гитлером?! Кто?!

Этот отчаянный крик оказал на Везича странное действие. Он улыбнулся вдруг, ощутив в себе спокойствие, и подумал, что жизнь его могла сложиться иначе, если б тогда, давно, когда он выбирал свой путь, кто-нибудь вот так, как этот хлипкий потный человек, истошно заорал на него и он бы почувствовал в этом крике боль, и беспомощность, и страх; и за всем этим увидел искренность; именно увидел искренность, а не почувствовал ее. Если бы только почувствовал, долго размышлял бы, прежде чем говорить с Родыгиным открыто, потому что за годы службы в политической полиции Везич научился проводить четкую грань между чувствованием и видением.

– Откуда вы знаете о предложении, которое мне сделал Штирлиц?

– Мы знаем их код, – соврал Родыгин так ловко и неожиданно для себя самого, что в нем родилась уверенность, горделивая и по-мальчишески радостная! «Все сейчас будет так, как планировал Штирлиц, все будет именно так, как задумывал этот красивый, жестковатый и, по-видимому, очень одинокий немец, работающий на нас».

– Где доказательства, что вы представитель русских?

– Таких доказательств я вам не представлю.

– А что, если вы человек Штирлица?

– Я понимаю вас, – сказал Родыгин. – Я все прекрасно понимаю, но вам лучше все-таки поверить мне. Вам предстоит драка, и вам в этой драке надо опираться на кого-то. На кого? Видимо, кроме как на нас, не на кого. Если вы скажете мне, какая вам нужна помощь, я сразу передам это в Центр.

– Какая помощь? – вздохнул Везич. – Какая помощь, если шестого утром немцы перейдут нашу границу.

– От кого вы получили эти данные?

– Эти данные получил не я, а правительство, и переданы они нашим военным атташе в Берлине.

– Меня интересует фамилия.
– Вас? Почему она должна вас интересовать? Фамилией должен интересоваться ваш
Центр. Фамилия – Ваухник. Фамилия военного атташе – полковник Ваухник. Ваши знают его
так же, как мы знаем всех ваших атташе. Когда взяли Аджию и Кершовани?
– Три дня назад.
– Это точно?
– Да.
– Почему вас интересует Штирлиц?
– Меня он не интересует. Им интересуется Центр. Центр заинтересован в том, чтобы вы
согласились с его предложением. Проинформируйте ваше руководство в Белграде, если в
этом есть необходимость.
– Вы живете в Загребе нелегально?
Родыгин снова поправил дужку пенсне, какое-то мгновение колебался, а потом молча
достал из кармана свой паспорт и протянул полковнику.
Тот пролистал зеленые страницы и спросил:
– Работаете где-нибудь?
– В университетской библиотеке. В зале периодики.
– Давно?
– Четыре года.
– У вас есть свой план освобождения Цесарца и его коллег?
– У меня лично нет. Что касается моих товарищей, то я не уполномочен говорить за
них. Я не могу, естественно, говорить и за югославских коммунистов.
– Я могу увидеться с вашим руководителем?
– Если согласитесь принять наши предложения, да.
– Когда может состояться встреча?
– Хоть сегодня.
– Где и когда?
– Назначайте место и час.
– Завтра в десять вечера возле кафе «Два ловца».
– Это на Тушканце?
– Верно.
– Хорошо. В кафе или возле него?
– Я вас найду.
– Я не могу рисковать жизнью моего товарища.
– А моей жизнью вы можете рисковать?
– Хорошо, – согласился Родыгин, – мы будем ждать вас там в десять.
– Телефон, по которому я могу найти Штирлица, вам известен?
– Да. 84-51.
– Это в «Эспланаде»?
– Да.
– У них есть конспиративная квартира на Опатичкой улице. Тамошний телефон вам
неизвестен?
– У них нет квартиры в Верхнем городе. У них есть вилла в районе Максимира. Но там,
по-моему, нет телефона.
– Вы считаете, что Штирлиц может быть полезен нам больше, чем мы ему?
– Нам? – спросил Родыгин. – Кого вы имеете в виду?
Везич, закурив, ответил:
– К сожалению, я имею в виду хорватов и сербов, но я не могу говорить при этом о
вашей стране. Договора у нас нет, так что мы – это мы, а вы – это вы.

– Думаю, что на все ваши вопросы ответит мой руководитель. Но вы должны будете проинформировать его о вашей встрече со Штирлицем. Меня просили передать, что вам необходимо принять его условия. Это все, что я могу вам сказать. Вопрос об арестованных коммунистах к Штирлицу отношения не имеет. Это, скорее, моя инициатива. Я хорошо знал Кершовани, он часто работал у меня в зале.

– Только лишь? Я думал, вы его завербовали...

– Людей его идеи не вербуют, – отрезал Родыгин. – И он и я делали общее дело, но в разных, как говорится, ипостасях.

– Вербуют людей моей идеи, вы это хотели сказать?

– Я хотел сказать именно это.

– Не бойтесь, что обижусь?

– Если бы не теперешняя ситуация, боялся бы.

– До встречи, – сказал Везич, сев в машину. – В десять. Помощь ваша мне потребуется, вероятно, завтра же.

...Лада распахнула дверь и, охнув, отошла к стене, прижав к груди руки. Лицо ее было распухшим и заплаканным, Везич впервые видел ее такой.

– Господи, – тихо сказала она, – Петар, родной мой, а я уж тебя похоронила...

Он обнял ее, почувствовав в горле горячий комок. За то время, что они были вместе, она ни разу не говорила с ним так. Ему казалось порой, что Лада лишь позволяет любить себя, казалось, что он нужен ей как отдых, как передышка в ее постоянном поиске самой себя, в том, что она определила в их первый вечер: «Хочу плыть по реке, и смотреть на облака, и не думать ни о чем, и не желать ничего – все придет само по себе».

– Ты плакала?

– Твой друг из газеты, этот жирный Взик, – сволочь и баба.

– Почему ты решила, что меня надо хоронить?

– Я раньше думала, что плакать из-за мужчины глупо; вообще плакать из-за любви – это для фильмов и для романов прошлого века, а теперь я поняла, что раньше никогда никого не любила, и что я без тебя не могу жить на земле, и что если ты еще не раздумал и я не противна тебе с распухшим носом и непричесанная, то давай сейчас же пойдем в церковь и обвенчаемся.

– Ты православная, а я католик, нас никто не будет венчать.

– Господи, да я перекрещусь хоть в мусульманку, хоть в иудейку, какая разница! Бог в человеке, Петар, и для человека, зачем же из бога делать чудовище? Я могу соврать попу, скажу ему, что я старая католичка, и папа мой католик, и прабабушка!

Он засмеялся, обнял ее и поцеловал опухшие круглые глаза.

– Спасибо тебе, – сказал он.

– За что?

– Тот мой приятель, который оказался бабой, часто говорил, что его жена, если он задерживается по делам и домой возвращается под утро, тоже плачет, но при этом скандалит оттого, что **она волновалась**. Понимаешь? Она не за него волновалась. Она плачет потому, что себя жалеет, а ты не себя жалела, а меня. Вот за это тебе спасибо. Одевайся, и пойдем в собор, и пусть нас обвенчают.

– Нужны шаферы.

– Будут, – ответил Везич. – Сейчас я вернусь. Сейчас, Ладица...

Он не хотел звонить в германское консульство отсюда. Этот телефон наверняка прослушивают. Он позвонит в консульство из кафе. И попросит Штирлица. И скажет ему, что приглашает немецкого «коммерсанта» быть шафером на его бракосочетании. Трипка Жучич прав: надо что-то делать, хоть что-то, но делать, иначе можно сойти с ума от собственного бессилия.

В консульстве Везичу ответили, что господин Штирлиц выехал из Загреба и когда вернется, неизвестно. Везич долго и недоуменно смотрел на трубку, а потом в сердцах швырнул ее на рычаг и бегом поднялся в комнату Лады.

Он поразился перемене в ней за те десять минут, пока он спускался вниз, меняя динар на мелочь для автомата, покупал «лаки-страйк», зажигал спичку, прикуривая сигарету, набирал номер Штирлица, ждал ответа, перезванивал в консульство, понимая, что без этой встречи со Штирлицем и завтрашней – с Родыгиным – ему нечего делать в городе после ареста, странного освобождения, которое наверняка было продиктовано Коваличу немцами; после того, что обо всем этом уже знают в управлении полиции, и в жандармерии, и в «селячковой страже» и что, безусловно, в той или иной мере карательные органы Мачека уже сейчас, до начала войны, начали исподволь служить новому режиму.

За те десять минут, пока Везич, слушая телефонные гудки, просматривал, словно бы отмотав назад, ленту своей жизни за последние несколько дней, Лада успела стать прежней Ладой – бронзоволосой, отчаянно красивой, но круглые глаза ее были другими, они словно бы наполнились особым светом, и хотя она их подкрасила и напудрилась, и не были заметны следы недавних слез, и глаза ее снова были синими и прозрачными, в них сохранилось то, что Везич увидел в первый момент, когда вернулся из Белграда, и чего раньше в глазах ее никогда не видел, как ни мечтал об этом и как в них ни вглядывался.

В соборе, когда служитель сказал, что сейчас обряд бракосочетания невозможен, потому что следовало договориться хотя бы накануне, Лада сказала:

– Мы уезжаем сегодня вечером. Мы рождены здесь. Мы не можем, мы не хотим венчаться в другой стране.

Когда священник ушел, Везич посмотрел на Ладу и подмигнул ей.

– Я не знал, что ты умеешь так лихо сочинять на ходу, – шепнул он, и его шепот казался гулким и громким в огромном пустом храме.

– Я сказала правду, – таким же гулким шепотом ответила Лада. – Мы обвенчаемся и уедем. Мы здесь лишние, Петар. Ты здесь никому, кроме меня, не нужен, и я никому, кроме тебя, не нужна. Пусть будут прокляты все эти путчи, войны, революции и заговоры. Есть только ты и я, и мы с тобой любим друг друга, и нам нельзя быть поврозь.

– Я не могу уехать, Лада.

– Я знаю, – ответила она. – Я знаю, Петар. Это так всегда кажется, потому что мы сами придумываем себе колесо, в котором вертимся, как прирученные белки. А кому нужно это колесо? Каким зрителям? Да и есть ли они, зрители, Петар? И если вовремя из этого колеса не выскочить, голову закружит – человек не белка, – и ты упадешь и разобьешься, и это будет нелепо и смешно: погибать, как белка, в чужом колесе, на потеху неизвестным зрителям, а еще хуже – без зрителей, одному.

– Мы уедем завтра. Или послезавтра. Мы уедем, когда я сделаю то, без чего мне будет стыдно смотреть тебе в глаза.

– А мне будет стыдно смотреть в глаза себе, если твои глаза окажутся закрытыми и не я их буду закрывать – холодными пальцами теплые еще веки. Я чувствую, Петар, я чувствую что-то, поэтому только и говорю. Женщина ведь чувствует; она не думает, она думать не может, потому что она собой живет, но если она любит, тогда она становится тем, кого любит.

– Тише, поп идет.

– Ты останешься со мной?

– Я вернусь к тебе сегодня ночью.

– Нет.

– Тише, Лада.

– Нет! Тогда не надо венчаться. Я не хочу быть вдовой сегодня!

Священник остановился возле них и сказал:

– Пойдемте к алтарю.

Лада не двигалась.

– Хорошо, – сказал Везич и взял ее за руку, и она пошла за ним, поняв, что ответил он сейчас ей, а не этому сероглазому молодому священнику с нездорово отечным лицом и добрыми, чуть навывкате, как у всех страдающих базедовой болезнью, глазами.

Лада сжала ледяными пальцами сильную руку Петара, поднесла ее к губам и прижалась к ней на мгновение, и он в это же мгновение почувствовал ее всю, и вместе с этим ощущением **своего** счастья он увидел лица Мирковича, Родыгина, Ковалича, Штирлица, Взика, и лица их мелькали перед ним, как застывшие маски, а Лада шла рядом, и от ее бронзовых волос пахло можжевелевым лесом, который растет на острове Муртер, что возле Шибеника, и осыпан странными фиолетовыми почками в самом начале мая...

16. НЕГОДОВАНИЕ СОЗДАЕТ ПОЭЗИЮ

Миле Будак, которому доставили в больницу статьи арестованных коммунистов, удивленно спросил Евгена Граца:

– Зачем эти игры? Горбатых могила исправляет, а не острог.

– Вам ли так говорить? – деланно удивился Грац. – Спаси бог, кто еще подумает, что ревнуете литературных коллег, завидуете их успеху. Вам ли, господин Будак, великому писателю нашей крестьянской правды, не проявить доброты?

– А они ко мне хоть когда-нибудь доброту проявляли? Они пинали меня ногами, эти несостоявшиеся бумагомаратели!

– Разве Август Цесарец – плохой писатель?

– О чем он пишет?! Что он знает, этот интеллигентишка?! Он и в деревне-то не жил! Он запаха свежее испеченного хлеба не знает! Он коровой детей пугает: «Забодает!» Ему не народ наш дорог, а чужестранные идеи! Ему не хорватская боль сердце рвет, а московская!

– Но ведь я не сказал вам, **зачем** принесли эти статьи именно вам, господин Будак.

– Так скажите, – раздраженно заметил Будак и стал раскуривать маленькую трубку-носогрейку, такие обычно сосут рыбаки на Паче.

– Разве вы не испытаете высокого чувства национальной радости, если Кершовани, Аджия и Цесарец, особенно Цесарец, признают нашу правоту? Разве этим они не перечеркнут всего того, что писали вообще и против ваших романов в частности? Разве этим они не воздвигнут памятника вам, борцу за хорватскую идею? Разве их отречение не будет понято хорватским крестьянином как гимн гражданскому мужеству, когда вы один наперекор всем отстаивали нашу точку зрения? Уничтожить врага – это половина победы; обратить врага на свою сторону – вот истинная победа.

– Это все эмпирии, – по-прежнему раздраженно сказал Будак. – Чего вы от меня хотите, в толк не возьму.

– Я хочу, чтобы вы помогли нам **победить**. Просмотрите их рукописи, подскажите мне, на что следует жать, что забыть, что похвалить, что выгодно обыграть в беседах с ними...

– В беседах, – хмуро усмехнулся Будак, и его лицо, обычно добродушное, ожесточилось. – Они бы с вами не беседовали. С ними не беседовать надо, их надо скрутить в бараний рог.

– Что для вас страшнее: физическая пытка или отречение от идей? Ну-ка, ответьте. Вы же лгать не умеете.

– Давайте, – сказал Будак, протянув лопатистую ладонь, – и сядьте у окна, покурите. Я сделаю отметки на полях.

Грац осторожно положил на его сухую ладонь листки бумаги, так же осторожно поднялся и отошел к окну.

«А еще про идею бормочет, сволочь, – подумал Грац. – Конкуренты они ему – дальше этого он не видит. Зависть и есть зависть. У них, у писателей, особенно. Как скорпионы в

банке, право слово. Одно дело делаем, о нем и надо думать, так он ведь *инаше* дело на одного себя примеряет. Ни черта путного не подскажет, только брюзжать будет: если, мол, меня ругали, значит, ничего у них умного нет и быть не может».

Однако Грац ошибся. Быстро пролистав страницы, сделав пометки. Миле Будаку брезгливо протянул ему рукописи и сказал:

– Красным карандашом я отметил то, что надо выжигать из умов хорватов каленым железом. Кершовани и Цесарец с их бандой должны от этого на площади отречься. Синим то подчеркнул, что может не понравиться их ортодоксам, что можно обернуть против них же самих, пристращав критикой со стороны «товарищей».

– Я отойду к окну, чтобы можно было курить, и погляжу ваши заметки. Вы позволите?

– Позволю, – буркнул Будаку, – только в окно дым пускайте, я ненавижу сигареты: не табак, а солома какая-то...

Грац внимательно просмотрел страницы статьи Отокара Кершовани, особенно подчеркнутые Будаком места. Потом пролистал рукопись Аджи.

– Очень интересно, – сказал Грац, пряча рукописи в карман, – я, честно говоря, не думал, что вы так все схватите за пять минут.

– Я это, милый, двадцать лет глотал и схватывал, двадцать лет, а не пять минут.

– Тогда посмотрите и это вот. – Грац протянул Миле Будаку тонкую, чуть не папиросную бумагу, на которой через копирку были напечатаны выдержки из дневника Августа Цесарца, того, что он вел летом тридцать девятого года. – По-моему, это самое интересное. Кто ж писателя поймет, как не писатель? На что здесь стоит жать, как вам кажется?

Миле Будаку снова надел большие, тяжелые, в черепаховой оправе очки и, быстро вымарывая глазами строки, заскользил по тексту.

«Историческая неделя началась во вторник 22 августа. «Утренняя газета»: соглашение России и Германии! Риббентроп вылетел в Москву подписывать пакт о ненападении! Англо-французская военная миссия покинула Москву! Мой ответ – большая доза сомнения в этих известиях: значит, Россия не хочет одна вступать в войну, а вмешается в нее после! Быстро выхожу в город, в библиотеку. Иду читать рукописи Кватерника. Подумал: это успокоит нервы. Но читать не могу, мешают тревожные мысли. Что это? Тотальный перелом русской внешней политики? Не верю! Тенденциозные сенсации из Берлина, чтобы в войне нервов создать еще большую напряженность? Страх Москвы, что Англия поедет в Мюнхен – без ее ведома и согласия, как это уже было, – и поэтому спешка, чтобы не быть обманутой вторично? Сохранение мира, чтобы лучше подготовиться к войне?»

«23 августа, среда. Нетерпеливо жду газет. Риббентроп летит в Москву. Многие растеряны, осуждают Советы за то, что они заключили пакт с Германией, а так долго вели переговоры с Англией и Францией. Другие, наоборот, часовщик Ф. и адвокат Р., сразу понимают, одобряют. Я думаю, думаю, одобряю, но все же растерян».

«29, вторник. Ситуация все еще напряженная, неясная, как и раньше. Атмосфера очень гнетущая, чувствуется агония. Агония континента, агония глобуса, агония мира. Человек чувствует себя так, как будто весь мир стоит на грани самоубийства и колеблется, совершать его или нет. А все мы частицы этого мира!»

«1 сентября, пятница. Около половины десятого – телефонный звонок. На проводе Данциг. Гитлер будет в 10 часов говорить по радио. Пошел слушать. В пути вспоминал начало войны 1914 года, как мы его все пережили. Подумал о маме. Бедная старушка боится, что всех нас заберут в армию. Гитлер говорил немного. На какую страшную войну он решился, свидетельствует то, что он сказал: «Что касается меня, то со мной в этой борьбе что-то случится», – и назначил своих

преемников: первый – Геринг; если и с ним что-либо случится – Гесс, если и с ним – то самый храбрый. Нашел Варшаву. Марши. И в Гамбурге марши. Парады последних лет в конечном итоге закончились этим. Парадом, который может завершиться пятьюдесятью миллионами мертвых и еще больше покалеченных. Не важно, где, кто и почему. Началась война, началась катастрофа, самая большая, какую знала история. Как человек мало к этому готов! И как справедлива истина, что катастрофа возможна только из-за суетности и грубого эгоизма. Но морализировать смешно. Противоречия между двумя империалистическими системами должны были привести к этому, важно, чтобы из всего этого смог извлечь выгоды мировой пролетариат.

Какая прекрасная погода, ни осенняя, ни летняя. В кронах деревьев кое-где уже видны желтые пятна. Ясно, солнечно, голубое небо, подернутое легкой дымкой. Зреет виноград, играют дети, все тихо, мирно, будто это самый обычный день в истории. А где-то там уже гремят пушки, падают бомбы, строчат пулеметы, льется кровь. Первое сентября, когда-то начало занятий в школе, теперь день начала страшной войны для всего человечества».

«11 сентября. Гитлер под Варшавой. Видимо, он хочет воодушевить войска своим присутствием. Старые романтические трюки. Вероятно, он войдет в Варшаву. После Вены, Праги еще и этот триумф: он входит в третью столицу. Но это ли верх его успехов? Что может быть после этого? Бухарест, Будапешт, Париж? Но одно ясно: в Москву и Лондон он никогда не войдет, на этом он сломает себе зубы. Нельзя проводить наполеоновские марши без какой-либо известной прогрессивности, какую Наполеон представлял как полководец революционной страны в Европе. Но и он закончил Святой Еленой. Здесь скорее всего закончится самоубийством».

«12, вторник. Вечером в первый раз слушал немецкую «Арейхейтссендер» – подпольную немецкую радиостанцию. Выразительная полемика с речью Геринга: о немецкой чести, замаранной национал-социализмом, об Австрии, о гитлеровской молодежи, о необходимости того, чтобы немецкие солдаты братались, дезертировали, саботировали войну; сделать все, чтобы сломить режим Гитлера и образовать свободную, счастливую, демократическую Германию. Передача закончилась словами: «До следующей передачи вопреки гестапо».

«14 и 15, четверг, пятница. Закончил статью о московских переговорах. Много из того, что я хотел сказать, я не мог сказать отчасти из-за недостатка места, отчасти из-за цензуры».

«17, воскресенье, и 18. Вчера, в воскресенье, в 4 часа утра в Польшу вошли советские войска. Весь день я слушал радио. Из Москвы и Киева речи, музыка, песни, поздравления. Выступил с речью Молотов. В Польше уже нет полномочного правительства, оно распалось, поэтому потеряли силу все прежние договоры, сказал он. Поскольку Польша стала почвой для всякого рода случайностей, советское правительство считает своим долгом прийти на помощь своим братьям в Западной Украине и Белоруссии. «Быстрее, чем я ожидал» – было моей первой мыслью. Красная Армия вошла в Польшу из-за украинцев и белорусов. Некоторые, кто недостаточно глубоко разбирается в подобных сложных вещах, осуждают этот акт России, считая эти земли частью Польши, разделяющей фашизм и большевизм. СССР не может не быть заинтересован в свободе Польши. Этим готовится почва для дальнейшего – рано или поздно – революционного проникновения».

«20.9, среда. Гитлер вчера говорил в Данциге. Говорил о «сотрудничестве» с Россией, не с СССР, а именно с Россией. О том, что Германия на западе и юге стабилизировала границы. Но не о том, что то же самое сделано и на востоке, хотя он и отрицал, что Германия хочет завоевать Украину. А слова в «Майн кампф» о расширении Германии за счет России?»

Вернув Грацу дневник Цесарца, Миле Будак какое-то мгновение лежал на высоких подушках недвижно, и было видно, как под тяжелыми его веками ворочались бугристые желтоватые глазные яблоки.

– Вы вот что, – сказал он наконец, – вы с этим сейчас подождите. Вы сначала давите на него. А потом скажите, что опубликуете этот его дневник с небольшой правкой. Подлинник-то у вас есть?

– Будет.

– Скажите ему, что этот дневник только умный поймет. Из его «товарищей», естественно. А ведь среди «товарищей» и дураки есть. А они не поймут, ох, как не поймут! Вы ему это разъясните. Мол, и мы не примем, и те откажутся. Куда ж тогда? Это болтают только, что писатель сам по себе. Писатель всегда с кем-нибудь. Сам по себе – он merde. Да и то неверно: merde – это нечто, его хоть ощутить можно, понюхав, а вот писатель сам по себе – его и не ощутишь, и не заметишь. Вы ему это растолкуйте. И если он согласится выступить за нас, если он согласится сказать нам «спасибо» за нашу борьбу, тогда пусть живет. Иначе не играйте, Грац, с огнем играет: слово – оно и есть слово, сожжет.

...Разворачивая свою деятельность, Веезенмайер исходил из той ситуации, которая сложилась в Югославии.

Всякого рода политическая непоследовательность и двойственность; попытка правительства говорить сразу на двух языках: с народом – на одном, с дипломатами и руководителями других стран – на ином; попытка затушевать очевидное, делая ставку на «затираание» трещин, вместо того чтобы сначала «расшить» их и озадачить себя вопросом: «Отчего эти трещины возникли?»; попытка одной рукой гладить, а другой – бить не будет оправдана историей.

Политическая двойственность правительства, которая становится очевидной народу, как, например, заверения Гитлера в дружбе (в югославской прессе) в те часы, когда армия, взяв власть, ликующе наблюдала за лозунгами демонстрантов: «Лучше война, чем пакт!», «Долой Гитлера и его прислужников!», «С Советским Союзом – на вечные времена!»; шумливые наскоки бойких газетчиков на Коминтерн и Кремль в то время, когда между Белградом и Москвой начались переговоры; обмен любезностями с хорватским лидером Мачеком, когда ни для кого не секрет, что Мачек – человек западной ориентации и по отношению к новому режиму занимает выжидательную политику; бесконечные подчеркивания единства народов Югославии, в то время как всем известны сепаратистские тенденции загребского руководства, когда люди открыто говорили на улицах и в кафе о том, что Белград потерял контроль над этими провинциями и власть местных руководителей практически неуправляема, – такого рода двойственность подтачивала в народе доверие к правительству.

Всеобщий разброд, неуверенность и ожидание скорых перемен возникают тогда, когда лидер думает не о том, как **победить**, а о том лишь, как бы ему **удержаться**.

Желание во что бы то ни стало удержаться придало особую форму всем практическим шагам новой власти. Веезенмайер, проанализировав обстановку, свою практическую работу подчинил именно этому угаданному им **первичному импульсу** нового режима. Если бы Веезенмайер не знал, что шестого апреля танки Гитлера перейдут трехтысячекилометровую границу и разрежут стальными клиньями землю Югославии, он был бы обязан допустить возможность рождения нового импульса, который по своей сути и методам руководства положил бы конец половинчатости, объявил военное положение, выдворил из страны все нежелательные элементы, а не «козлов отпущения» – нескольких наиболее резвых журналистов из «Фелькишер беобахтер» и «Шварце кор»; и, наконец, интернировал самого Веезенмайера и членов его группы. Однако нынешнее правительство делало вид, что не замечает его, Веезенмайера, надеясь, возможно, что он вдруг окажется политическим

посланцем мира, а никак не вестником грядущей войны. Когда политик выдает желаемое за действительное, отворачивается от фактов, когда он находит хитроумные формулировки для того, чтобы белое представить черным, тогда, считал Веезенмайер, действовать надо решительно и смело.

Единственная политическая сила – компартия, – которая в данной ситуации могла провести всенародное объединение, до сих пор находилась в глубоком подполье, а за Тито денно и нощно охотились полицейские агенты.

Единственная реальная «единица» общегосударственной власти в Загребе – югославская армия – не имела директив из Белграда, как вести себя в сложившейся ситуации; высшие офицеры уже отчаялись получить точный приказ министра и лишь пытались изучать политические тенденции, особенно развитие отношений между Мачеком, представлявшим интересы Хорватии, и группой премьера Симовича.

Веезенмайер был убежден, что в такой пик истории, каким были конец марта и начало апреля, победу в Югославии может одержать либо общенациональная идея, если она будет открыто и жестко высказана, либо армия, если она выполнит ясные и недвусмысленные приказы главного командования.

Общенациональная идея не могла быть обращена к массам – расклеиваемые по ночам листовки коммунистов днем сдирали с заборов полиция, а королевская армия получила лишь один приказ: ни во что не вмешиваться и сохранять порядок самим фактом своего присутствия на улицах и площадях городов.

Бановины, полиция, общественные организации в такого рода моменты имеют подчиненное значение, и победителем окажется тот, у кого большее количество своих людей на тех или иных узловых постах; чем ниже уровень работников, чем они незаметней, тем большую пользу они могут принести ему, Веезенмайеру, ибо вся деловая жизнь королевства сейчас отдана на откуп им, этим маленьким чиновникам, служащим в больших ведомствах; все крупные руководители замерли, ожидая решений «наверху». Чем выше руководитель, тем тяжелее бремя ответственности за принятые им решения, а кто хочет это бремя на себя взваливать? Никто конечно же не хочет – за решения ведь отвечать придется, победи там, **наверху**, кто-то новый, никому доньше не известный. Придется принятое тобой решение не по душе этому новому главному, не угадаешь, куда он клонит, и погонят тебя, с треском погонят. А ты кто? Был бы ты врачом или физиком, куда ни шло, прокормишься. А если просто заместитель министра? Или начальник управления полиции? Или муниципальный советник? Что тогда? Не наниматься же, право, на маленькую, унижительную службу или лопатой махать на стройке?! Так что лучше в сложные моменты истории, когда что-то **там** «происходит», а **что** именно, никому не ясно; когда неизвестно, какая сила победит, а их всегда несколько, этих самых проклятых сил, самое разумное выждать, промолчать, сделать вид, что не заметил, пропустить мимо себя, сказаться больным, передать на рассмотрение другому. Обосновать это легко – обосновать это можно **доверием** к своим помощникам; они живчики, эти помощники, им ведь хочется **стать**, вот пусть они и принимают решения. А потом, когда ситуация определится, это решение можно одобрить или отменить.

Именно поэтому и всплыла теперь фамилия майора Ковалича. Он дождался своего часа. Он понадобился силе, он нужен был Веезенмайеру...

– Хотите кофе? – спросил Ковалич невысокого крепкого человека с сильным лицом, казавшимся тонким, хотя Божидар Аджия не был худым. Это ощущение тонкости и изящества рождалось не физическими его данными, а внутренней спокойной открытостью. – Я сказал, чтобы нам заварили настоящего, крепкого, турецкого кофе. Не против?

– С удовольствием выпью настоящего, крепкого, турецкого кофе. – Аджия осторожно шевельнул плечами: он просидел три дня в подвале, без света, в тесной сырой камере; тело его затекло, и он слышал сейчас, и ему казалось, что майор тоже слышит, как похрустывают

суставы, словно бы кто-то ломал высохшие под знойным летним солнцем сухие еловые ветки.

– Ну, я очень рад, – сказал Ковалич. – Все ваши отказывались пить со мной кофе.

– А кто еще арестован?

– Многие. Огнен Прица, Отокар Кершовани, Иван Рихтман.

– Рихтман, как вам известно, уже не считается нашим...

– Ну, знаете ли, это только для вас важно, левый он или правый. Для нас он коммунист.

Просто коммунист, иудейского к тому же вероисповедания.

– Раньше, сколько я помню, вероисповедание, точнее национальность, вас не интересовало.

– Так то же раньше, – улыбнулся Ковалич. – А старое, по вашей формуле, враг нового.

– Если бы немцы уже вошли в Загреб, меня, вероятно, допрашивал бы гестаповец?

– Почему? – Ковалич закурил. – Арестованных французских коммунистов великодушно допрашивают офицеры маршала Петэна.

– А кто стал нашим Петэном?

– Хочется узнать?

– Очень.

– Вы от природы любопытны, или это качество пришло к вам в тюрьмах?

– Почему вы считаете, что любопытство приобретается в тюрьмах? – удивился Аджия.

– Это понятно почему, – с готовностью ответил Ковалич. – Всякого рода изоляция, оторванность от мира, от живых событий рождает в человеке особые, новые, я бы сказал, качества. У одних развиваются угрюмость, апатия, отрешенность; другие же, подобные в своей душевной структуре вам, становятся любопытными, как дети. Это естественная реакция на тишину, жесткий режим и постоянную неизвестность.

– Значит, тюрьма – благо для человечества, – заметил Аджия. – Любопытство, по моему, первый импульс гениальности. Между словом «любопытно» и понятием «любопытство» – дистанция огромная, согласитесь...

– Соглашаюсь, – улыбнулся Ковалич. – И благодарю за комплимент, поскольку считаю себя причисленным к тем, кто не просто задвигает тюремные засовы, но и приносит этим благо человечеству.

– Я могу взглянуть на ордер о моем аресте?

– Господь с вами, – Ковалич затушил сигарету. – Какой ордер? Эти времена кончились!

То было в прежней Югославии, а в нынешней Хорватии все будет по-иному!

– Как у Гитлера?

– Как у Гитлера или у Муссолини. – Ковалич открыл одну из папок, лежавшую на столе, достал оттуда рукопись и начал неторопливо, с выражением читать:

«Немецкий бюргер, который беспорядочно метался, поскольку не был обеспечен ни в политическом, ни в социалистическом, ни в экономическом отношениях, наконец-то нашел хоть и временное, но все-таки успокоение в гитлеровском движении. Бюргер считает Гитлера чистокровным немцем в расовом и политическом смысле, а прародителями его мнит Фридриха Великого, Вагнера и Ницше.

Из каких слоев черпает рекрутов гитлеровское движение?

Первый источник – бюрократия. Гитлер преднамеренно поставил чиновничество в политическую изоляцию, провозгласив, что чиновник обязан служить только государству и ни в коем случае не должен вмешиваться в партийно-политическую борьбу. Тем самым было вновь реанимировано пресловутое «государство в государстве», являющееся оплотом любой реакции.

Второй источник «живого материала» Гитлер нашел среди кустарей и мелких ремесленников. Это сословие всегда «радикально» настроено, любит воинственные призывы, митинги протеста, обожает внешние атрибуты организации и дисциплины, ему нравятся униформа, конспиративные собрания, на которых чувствуется какая-то тайная и невидимая, но обязательно руководящая рука. Если добавить к этому еще и уверенность в разрешении экономического кризиса, которое им принесет «великое» национальное движение, то вполне понятным становится, почему это движение нашло самых ревностных приверженцев именно среди кустарей и ремесленников.

Третий источник – немецкая деревня, крестьянство, которое переживало необычайно тяжелый кризис.

И, наконец, некоторая часть пролетариата, измученная нищетой и безработицей, нашла в гитлеровском движении возможность хоть как-то прокормиться – пусть даже в качестве наемников, без всяких прав и возможностей идейного и организационного влияния на само движение.

Божидар Аджия».

Аджия отхлебнул кофе из маленькой фарфоровой чашки, запил холодной, пузырящейся изнутри минеральной водой. Эти быстро рождавшиеся пузырьки вызывали странную ассоциацию с уроками преподавателя химии Младена Божковича, который в гимназии поучал: «Проведите точный водораздел между органикой и неорганикой мира, и вам не страшна станет смерть как момент высшего страдания, ибо вы обретете спокойствие, поняв смысл вечного, частью которого являетесь».

– Хорошо писал Аджия, – сказал Ковалич, отложив текст. – Убедительно и смело.

– Действительно неплохо, – согласился Аджия, – я не люблю слушать свои статьи, смущаюсь, знаете ли, написанного, но действительно неплохо звучит. Злободневно и поныне, а?

– В том-то и беда. Я бы мог вывести вас из-под удара; в конце концов, вы пришли в ортодоксальный коммунизм из леворадикальной оппозиции и всегда интересовались национальным вопросом, но статья, согласитесь, одиозна...

– Опасаетесь новых хозяев?

– Новые, старые, все хороши, – поморщился Ковалич. – Вот вы как ведь обличали парламентарный монархизм Югославии?! Куда как зло! А он – по сравнению с тем порядком, который приходит, – либеральный и добрый. Вроде дедушки, который внучат только для испуга страшает. Разве бы вас при королевском-то режиме посмели посадить без ордера на арест, без обвинения и улики? Да ни за что на свете! А сейчас посадили, Аджия. И уничтожат, если вы не примете этот новый режим, уничтожат. Жаль? Бесспорно. Мне всегда жаль талантливых людей. А что прикажете делать? Вы же диалектик; сами учили – или мы вас, или вы нас. Третьего, как вы утверждали, не дано.

– Я не утверждал...

Ковалич вскинул красивые свои карие глаза на Аджию.

Тот, улыбнувшись, закончил:

– Я **утверждаю**.

– Ну что ж... Тоже позиция. Я уважаю позицию. Но постарайтесь понять и нас, Аджия. Югославия предана ее бывшими правителями. Югославия будет стерта с географической карты мира. А вот я и мои друзья, мы не хотим, чтобы вместе с Югославией с карты мира исчезла Хорватия. Давайте говорить начистоту...

Аджия поудобнее уселся в кресле, посмотрел с сожалением на пустую кофейницу.

– Давайте.

– Хотите еще кофе?

– Если начистоту, очень.

Ковалич нажал одну из кнопок на столе и пояснил:

– Это на кухню. У нас есть тюремная спецкухня. Для умных и дальновидных заключенных. Нет, нет, не усмехайтесь вы так, я не собираюсь вас покупать чашкой кофе. Я конечно же ваш противник, но не все ваши противники дураки, Аджия; будь они круглыми дураками, вы бы их допрашивали, а не они вас.

– Я бы не допрашивал.

– О, конечно! Вы бы пописывали свои теоретические статьи, а некто, изучающий эти ваши статьи в кружках политграмоты, допрашивал бы нас. И вы бы никогда не сочли, победы ваши идеи, что тюрьмы необходимы вам точно в такой же мере, как и нам: каждая идея должна быть вооружена, не так ли?

Аджия вздохнул – ему стала надоедать эта пустая болтовня.

– Хорошо, – словно поняв его, быстро сказал Ковалич, – давайте продолжим наш искренний разговор и оставим эти взаимные обвинения...

– Искренний? Или начистоту?

– Это одно и то же.

– Нет. Это разные понятия. Искренность предполагает дружбу. Начистоту говорят противники, которым невыгодно в настоящий момент воевать. «Начистоту» любят говорить следователи прокуратуры и брошенные любовницы.

– Хорошо. Давайте говорить начистоту.

– Давайте, – согласился Аджия.

– Вы думаете, – понизив голос, сказал Ковалич, приблизившись к Аджии, и тот почувствовал, как неудобно, видимо, этому большому майору перегибаться через громоздкий высокий стол, – вы думаете, – еще тише продолжал Ковалич, – я так рад победам Гитлера? Вы думаете, я не читал «Майн кампф»? Вы думаете, мне неизвестна концепция фюрера по поводу славян? А что, если попробовать противопоставить его идейной концепции славянское государство, которое стало бы независимым, хотя формально связанным с Германией узами договора? Но это будет договор о дружбе! О дружбе автора «Майн кампф» со славянским государством! Мы должны навязать себя Гитлеру в друзья, Аджия! Это будет наш горький и трагичный взнос в защиту мирового славянства. Да, мы примем на себя град ударов и оскорблений, да, нас нарекут квислингами и отступниками, да, нас станут презрительно именовать «цепными псами национал-социализма»! Да, да, я все это понимаю, я понимаю все это! Альтернатива: оккупация, умирание культуры, постепенное исчезновение нашего языка, неуклонное онемечивание нации...

– Нации? – быстро переспросил Аджия, с интересом разглядывая лицо Ковалича.

Тот поморщился.

– Ну хорошо, хорошо, народа! «Национальный вопрос», видите ли, есть, но оперируете вы всегда стыдливой категорией «народ».

– Вы сказали, что альтернатива одна: покорность, ассимиляция, постепенное исчезновение хорватского языка и нашей культуры. А если я назову иную альтернативу?

– Пожалуйста. Я с радостью выслушаю вас.

– Борьба, – просто сказал Аджия.

– Борьба, – задумчиво повторил Ковалич. – Это очень заманчиво. Борьба... И я бы в общем-то согласился с вашей альтернативой, будь я при этом молодым и горячим юношей. Борьба – это всегда заманчиво для тех, кто юн и не искушен в практике жизни. Ладно, допустим, я принимаю ваше предложение. Допустим, борьба. Четыре миллиона хорватов начинают борьбу против ста миллионов немцев и итальянцев. Это серьезно, по-вашему? Помоему, это жестоко и нечестно по отношению к нашему народу.

– Сербов вы вообще выводите за скобки в этой возможной борьбе?

– Вывожу. – Ковалич чуточку помедлил. – Если бы я сказал вам, что согласен включить сербов в расклад нашей предполагаемой борьбы, вы перестали бы мне верить, не так ли?

– Перестал.

– А я не хочу, чтобы вы перестали мне верить. Я хочу, чтобы вы приняли меня таким, каков я есть: патриотом Хорватии. На языке вашей фразеологии это звучит как «хорватский националист». Я согласен с этим определением.

– Ну, а если все же приплюсовать к четырем миллионам хорватов восемь миллионов сербов? Двадцать миллионов поляков? Десять миллионов чехов и словаков?

– Прага засыпала цветами немецкие танки, но тем не менее стала протекторатом. Польша загнана в концлагеря. А Словакия продолжает быть самостоятельным государством со своими школами, университетом, театром, издательствами, газетами. То, что вы говорите, несерьезно, Аджия. В нашей борьбе только тогда возникнет какой-то смысл, если мы получим опору. На кого опереться в нашей борьбе против Гитлера? На англичан? Вы же знаете их. Они Греции толком помочь не могут, а из Греции прямой путь к их африканским колониям, прямой путь к Суэцкому каналу, без которого Индия перестает быть британской. Американцы? Так они даже Англии, своей сестрице, помогают лишь на словах! Кто еще?

Ковалич закурил и выжидающе посмотрел на Аджию. Тот хмуро молчал.

– Кто еще? – повторил свой вопрос Ковалич.

– Действительно, кто еще? – спросил Аджия, поняв, куда клонит майор.

– Никого больше, – сказал Ковалич.

– Вроде бы действительно никого, – согласился Аджия, вынуждая Ковалича продолжать свою линию, а ему теперь было совершенно ясно, куда и как поведет ее майор.

– Советский Союз связан с Гитлером договором о дружбе и ненападении, – рассеянно закончил Ковалич, дождавшись, пока солдат из тюремной охраны поставил на столик кофе и вышел из кабинета, – Франция разгромлена. Где силы, на которые можно опереться в борьбе за свободу?

– Знаете что, майор, – быстро выпив свой кофе, сказал Аджия, – я привык в разговоре с людьми вашей профессии четко формулировать вопросы и ответы. Давайте сформулируем ваш вопрос: чего вы от меня хотите?

– Холодные вы люди, – вздохнул Ковалич. – Все вы заражены неверием в души человеческие. Если полицейский, значит, обязательно враг. Человеком, по-вашему, полицейский быть не может?

– Ну что вы! Как можно?! Полицейский такой же человек, как и я, но вы вначале совершенно правильно заметили: либо он, сиречь полицейский Ковалич, меня, либо я, сиречь коммунист Аджия, его.

Ковалич сделал маленький глоток из чашки, которая была еще миниатюрней, чем у Аджии, и спросил:

– А вы свой кофе залпом махнули, боялись не успеть – отберу?

– Вот это вы поняли совершенно точно.

– Я не только это совершенно точно понял. Я многое точно понял, Аджия. Я ведь могу сделать вам плохо. Вы же вышли из левой оппозиции, выпестованы социал-демократией, а этого ваши товарищи о-о-о как не любят.

– Компрометация возможна лишь в том случае, – откинувшись на спинку кресла, отчеканил Аджия громко и отдельно, словно математическую формулу, – если человек, которого скомпрометировали, сломится на этом и подтвердит то, что **за него** сказали. Если же человек не сломлен внутренне, он обязательно заявит протест, когда он сможет сделать это публично. Он посвятит жизнь борьбе с этой ложью, и компрометация обернется бумерангом против тех, кто компрометировал. В том случае, если за человека говорят то, что противоречит его убеждениям, и не дают ему возможности публично подтвердить это, компрометация просто-напросто нецелесообразна и является свидетельством слабости и неумелости карательных органов. Такого рода компрометация будет выгодна вашим противникам, то есть моим товарищам, оставшимся на воле...

– Почему так?

– Вы же прекрасно знаете почему, – ответил Аджия, – и не надо играть в эдакую незаинтересованную рассеянность, господин майор.

– Я не понимаю, почему ваша компрометация будет выгодна «товарищам»...

– Потому что вы научили нас крепко верить друг другу. Потому что вы научили нас держаться друг друга. Потому что вы заставили нас пройти должную школу в ваших тюрьмах, и мы друг друга не продаем ни за чашку кофе, ни за добавочную пайку баланды. А вот когда и если мы начнем продавать друг друга, когда и если мы перестанем друг другу верить, вот тогда можете три дня не выходить на работу и праздновать победу. Словом, членом «национал-коммунистической партии Хорватии» я не стану, господин майор.

– Не станете, – повторил Ковалич. – А название для новой партии придумали весьма любопытное, Аджия. Спасибо за идею. Такая идея стоит еще одной чашки кофе. Не откажетесь?

– Ни в коем случае.

– В камере очень сыро?

– Да, признаться. Это не Адриатика.

– Как раз Адриатика ночью – самое что ни на есть сырое место в Хорватии.

– Насколько я знаком с геополитической доктриной Муссолини и Гитлера, Адриатическое побережье останется хорватским до тех лишь пор, пока существует Югославия.

– Что за чепуха! Хорватия не может жить без выхода к морю, и это отлично понимают в Риме и Берлине.

– Ну-ну...

– А про сырость в камере я не зря спросил, Аджия. Я спросил об этом корыстно.

– Так и я вам небескорыстно ответил.

– Видите ли, в чем дело, – словно бы не слыша последних его слов, продолжал Ковалич, – вместе с вашей группой арестован Август Цесарец. Я не хочу делить лавровые венки, но из всех вас, из интеллектуальной головки партии, он все-таки самый талантливый. Вы согласны?

– Бесспорно.

– Он, Назор и Крлежа – самые блестящие литераторы нашей родины, не так ли?

– Именно так. Надо надеяться, что вы, такой гуманный полицейский, посадите Цесарца в сносную камеру.

– Я хочу, чтобы он вообще вышел из тюрьмы.

– Если вы хотите этого, не предлагайте ему тех условий, которые только что предлагали мне.

– Я хочу, чтобы вы уговорили его выйти из тюрьмы.

– Просто так взять и выйти из тюрьмы? Или предварительно надо постучать в дверь камеры?

– Ему не надо ни поддерживать нас, ни выступать против нас. Ему надо сделать шаг в сторону. Ему надо просто писать пьесы и романы. И не лезть в политическую борьбу. Цесарец нужен Хорватии как великий писатель, а не как обыкновенный коммунист. Я молю бога, чтобы он проявил благоразумие. И вы должны в этом помочь хорватам. Вы, Аджия, больше некому.

Ковалич говорил правду. Он действительно любил писателя Цесарца и преклонялся перед ним. Он действительно пытался сделать все, чтобы сохранить Цесарцу жизнь. Он, впрочем, не был уверен, что ему удастся это, потому что сразу же после ареста Цесарца увезли из Загреба, и где он сейчас находился, не знал никто. Ковалич мог только предполагать, что им занимается лично Евген Дидо Кватерник. Дидо умел ломать террористов, которые не раз смотрели смерти в глаза. Цесарца он, конечно, сломит, но,

сломав его как идеолога, он может уничтожить в нем и тот талант божий, который так дорог Коваличу. Впрочем, не одному ему среди тех, кто преследовал Цесарца всю жизнь.

...Странный это парадокс – любовь палача к жертве.

Ковалич осмотрел ладную фигуру, открытое сильное лицо Огнена Прицы и, прикрыв ладонью рот, чтобы скрыть деланную зевоту, сказал:

– Вот вам перо и бумага, садитесь и пишете своим друзьям, что вы будете жить до тех пор, пока они станут соблюдать лояльность по отношению к нам...

– К вам? К майору Коваличу?

– Я представляю власть.

– Чью?

– Повторяю, вы взяты в качестве заложника. Вы взяты на основании распоряжения бана Шубашича. Вы будете сидеть в тюрьме, и ни один волос не упадет с вашей головы до тех пор, пока коммунисты сохраняют лояльность по отношению к власти. Естественно, если придет другая власть, они обязаны сохранить такую же лояльность и по отношению к ней.

– Вы предлагаете мне подлость только для того, чтобы услышать отказ, так вас надо понимать?

– В общем-то именно так. Еще одно... Вместе с вами арестованы Кершовани, Аджия и Цесарец. Вы не знали об этом? Да, да, они здесь. Они могут быть освобождены, поскольку хорватская власть заинтересована в сохранении национальной интеллигенции. Даже приятно, знаете ли, иметь своих хорватских «анфан терриблей». Их можно освободить. Я говорю вам правду, Прица. Я при этом говорю открыто, что вы, как серб, обречены на заключение. Если только ваши соратники не начнут террора: тогда мы казним вас с оповещением в печати. Так же честно я признаюсь вам в том, что Аджию, Цесарца и Кершовани можно освободить. Я уже беседовал с Кершовани. Поговорите с ним вы. Все-таки живая собака лучше мертвого льва, а? Я устрою вам встречу, не возражаете?

– Не возражаю.

– Вы будете советовать Кершовани выйти из тюрьмы?

– Конечно.

– Вы не спрашиваете меня об условиях, которые я предложил ему?

– Зачем? Подлых он не примет. Разумные я посоветую ему принять. Вы правы, живой лев лучше, чем мертвый пес.

– Что значит «отречение»? – Ковалич пожал плечами. – Что вы повторяете это словно заклинание?! Я не требую от вас отречения! Отнюдь. Не мне учить вас марксизму, этому обучают вас в Москве. Вы, кстати, считаете московский марксизм марксизмом? Я же не веду протокола, отчего вы молчите? Да или нет?

– Да, – ответил Кершовани.

– Слава богу, я услышал ваш голос. Раньше я слушал вас только один на один с диктофоном, когда мне проигрывали записи ваших бесед с друзьями. Так вот, о московском марксизме, Кершовани... Сталин заключил договор о дружбе с Гитлером. Это что, отречение? Или творческое развитие марксизма?

Кершовани внимательно из-под толстых стекол своих круглых очков в жестяной оправе посмотрел на этого сытого, большелицевого, розовощекого человека, и Ковалич не смог уловить, чего больше в этом взгляде: боли или ненависти. Он понял, впрочем, что сейчас, за все время его бесед с арестованными коммунистами, он нанес первый серьезный удар противнику. Обидно, что это случилось с хорватом Кершовани. Лучше бы эту их боль проверить на сербе Прице или евреях Рихтмане или Крайском: те обречены, даже если отрекутся. Но их возможное отречение он обернет против Кершовани и Цесарца с Аджией. Это великолепно, когда в группе один дрогнет – первый шаг по лестнице, ведущей к успеху.

– Я не слышу ответа, – сказал Ковалич, предлагая Кершовани пачку с «требинцем», настоящим герцеговинским табаком, желтым, тонким, пахучим. – Курите, курите, – он подвинул Кершовани листки папиросной бумаги, – чем виноват табак, попавший в руки тюремщика? Диалектика, Кершовани, будьте же диалектиком, право. Нельзя винить объект из-за его принадлежности субъекту. Вы ведь не обвиняете Рембрандта в клерикализме за то, что его патронировал папский двор.

– У вас есть документы, подтверждающие этот патронаж?

«Слава богу, что он не говорит больше о пакте Москвы с Берлином, – подумал Кершовани, – надо увести его от этой темы, потому что нет хуже пытки, чем говорить об этом с врагом. Не объяснять же ему стратегию отступления, необходимость фактора времени, не объяснять же ему тактику большевистской революции, столкнувшейся с национал-социализмом? Хорош бы я был, продолжи он эту беседу! И ответить ничего нельзя, и молчать невозможно. Разве можно молчать, когда режут по живому?»

– А вам знакомы документы, подтверждающие отсутствие такого рода патронажа? – спросил Ковалич.

– Сохранились письма Рембрандта. Если умение держать художника в состоянии постоянной нищеты, лишь изредка подкармливая его, есть форма патронажа, тогда, вы правы, его заботливо патронировали.

– Так ведь власть не ведает, как вести себя с теми, кто отмечен печатью таланта, на сей счет рецептов нет. Можно лишь нащупывать канву, основную линию поведения в процессе взаимного узнавания. Дай иному таланту все блага, и он забросит кисть или перо, и мир потеряет гения.

– А кто определяет меру талантливости?

– Сначала это должен определить купец. Я нарочно огрубляю ответ, Кершовани. Да, да, купец! Тот, кто решится дать молодому, неизвестному творцу деньги под будущую работу. Купец является неким буфером между властью и народом, ибо он знает нужды рынка и рискует больше других, вкладывая деньги в новое и непризнанное. Таким образом, создав художника – предоставив ли ему бумагу, наборщиков, линотипы или же обеспечив мастерской, красками, кистями, холстом, мрамором, выставочным залом, – он отдает его в руки общества. Общество же – явление аморфное, оно становится обществом тогда лишь, когда происходит разделение на ячейки, на края и районы, когда страсти сдерживаются жандармерией и тюрьмами, когда споры решаются в судах, третьими людьми; когда отношения с другими общественными образованиями устанавливают умные землепроходцы, именуемые послами, которые отчитываются в проделанной работе перед королем, премьером, диктатором, парламентом, и те уже в зависимости от той или иной меры целесообразности приводят в действие армии, ввергая общество в войну, или же, используя мощь своих армий, вступают в блоки с другими армиями, для того чтобы, объединившись, сохранить мир.

– А при чем здесь купцы? – рассмеялся Кершовани, подумав о том, как, верно, мучался этот майор над учебниками обществоведения, как кричал на жену, когда она приставала к нему с вопросами о завтрашнем ужине, как чванился среди **своих** тем, что осилил такую премудрость, и как привык, видимо, к постоянному интересу со стороны тех, кому он служил, поскольку среднее руководящее звено чиновничества в фашистских и полуфашистских государствах отличается четкой исполнительностью, которой интеллектуализм только вредит, а потому неуютен, хоть и занятен – что-то вроде диковинного зоологического экспоната. Подумав об этом, Кершовани пожалел Ковалича: у него порой бывали странные приступы острой жалости к тем, кто его мучал. Однажды он испугался, не мазохизм ли это, не развился ли в нем за десять лет каторги некий комплекс, но по размышлению здравом пришел к выводу, что никакой это не комплекс и что сострадание к палачу – естественное, пожалуй, состояние у такого узника, который принял свой крест

добровольно, ибо верит в победу своей идеи и считает тех, кто его идее противостоит, людьми жалкими, слепыми и несчастными. Он вспомнил, как четыре года назад его, закованного в кандалы, перевезли из тюрьмы в Сремской Митровице в каторжный централ Лепоглаву за то, что он был инициатором забастовки протеста против жестокого режима, и бросили в одиночку, приковав к полу, словно зверя, стальной цепью. В этот же день привели туда студентов и профессоров Загребского университета, которые штудировали семинар по вопросам «тюремной юриспруденции». Сначала студенты смотрели на него, избитого и продрогшего, сквозь глазок, а потом железную скрипучую дверь камеры распахнули (кожа у него покрывалась цепкими, шершавыми «цыпками», когда эта дверь визжала, такими же цыпками покрывалась кожа, когда он в детстве ходил босиком по ковру), и студенты вместе с профессорами смотрели на него и молчали, и было слышно их дыхание, и он заставил себя улыбнуться, и ему хотелось помахать им рукой, но руки были прикованы к полу, и он испугался, что улыбка его может показаться жалкой, и тишина, которая была такой густой и слышной, что он даже мог различить, кто как дышит, стала невыносимой.

Вопрос профессора Лавринича прозвучал словно спасение:

«Вы же интеллигент, Кершовани, а не фанатик. Вашу публицистику знают в Европе. Как вы можете служить идее, которая никогда не победит?»

Кершовани тогда мысленно поблагодарил профессора Лавринича, и ощутил спокойствие в себе, и не испытывал чувства стыда за свое бессилие, на которое **смотрели**, как в цирке, и он ответил:

«Я служу моей идее именно потому, что я интеллигент, а не фанатик».

Свернув «требинец» в тонкую длинную сигарку, Ковалич задумчиво повторил вопрос Кершовани:

– При чем здесь купцы? А купцы здесь при том, что они осознают свою принадлежность **данному** обществу. Они живут в мире реальном, а не выдуманном, и пользу хотят приносить конкретности, а не утопии.

– Может быть, человечество творчеством своим, мыслью, устремленностью все же приближает эту самую утопию, делая с ее помощью хотя бы несколько более сносным существующее?

– Человечеству предлагают утопии. Пожалуйста, я с этим согласен, работайте над своей утопией, пытайтесь приблизить ее к хорватам, старайтесь сделать их жизнь более сносной.

– Утопия – это когда есть идея, а нет факта. Я же знаком с фактом, когда утопия превратилась в реальность.

– Царство труда и свободы в России, – съязвил Ковалич.

– Именно.

– Значит, вы намерены служить только той реальности? Судьба хорватов, ваших кровных братьев, вам неинтересна?

– Я понимаю вашу заинтересованность ролью купцов в системе мирового прогресса, – вздохнул Кершовани, – вы ставите свои вопросы конкретно и четко, как купец. Вы не правы, майор. Судьба хорватов и сербов меня волнует, очень волнует; как же меня может не тревожить их судьба, если я сам хорват, рожденный в Италии и поэтому лучше вас знающий, что такое быть чужаком!

– Именно этих слов я от вас и добивался, Кершовани. Я не требую отречения от ваших идеалов – я достаточно хорошо знаю вашу биографию, чтобы требовать невозможного. Служите своей идее, но только помните, что по крови вы хорват.

– Благодарю за совет.

– Все. Вы свободны, господин Кершовани.

– Не понимаю...

– Вы свободны, – повторил Ковалич. – Вы только напишете маленькую декларацию: «Я, Отокар Кершовани, хорватский коммунист, озабочен судьбой моей хорватской родины и в эти тревожные дни хочу быть вместе с моим народом, чтобы разделить с ним все тяготы и радости».

– Два вопроса, майор.

– Пожалуйста.

– Первое. В декларации, которую вы изволили мне зачесть, сказано, что я хорватский коммунист. Это ошибка. Я югославский коммунист, майор. Второе: значит ли, что девять членов компартии Югославии, среди которых не все хорваты, арестованные вместе со мной, будут освобождены после подписания такого рода декларации?

– Судьбой сербов и евреев, принадлежащих к вашей партии, будет заниматься Белград. Я уполномочен заниматься только хорватами.

– А что, Хорватия уже отделилась от Югославии?

Ковалич долго смотрел на Кершовани, осторожно пуская табачный дым к потолку. Он вспоминал донесения службы наружного наблюдения, которые сообщали о поведении Кершовани на воле, когда он был освобожден из тюрьмы – всего несколько месяцев назад – после десяти лет каторги. Перед освобождением сокамерники подарили ему костюм – тот, в котором его арестовали, сгнил от хранения на тюремном складе. Следить поэтому за Кершовани было легко – костюм, который ему подарили, оказался велик, и человек, известный Европе теоретик, владевший умами молодежи в бурные двадцатые годы, шел по улицам Загреба как бродяга: рукава пиджака болтались, закрывая пальцы, брюки трепались по мостовой, и он то и дело подтягивал их, явно смущаясь этого своего вынужденного, чисто тюремного жеста. Полицейские, которые «вели» Кершовани по Загребу, удивились, когда он долго стоял около светофора, не решаясь перейти улицу, а потом вдруг повернулся и побрел домой, то и дело испуганно озираясь. Данные телефонного прослушивания все объяснили: Кершовани позвонил своему другу адвокату Ивану Сеничу и сказал, что он не смог прийти, потому что его пугают шум улицы, скорость машин и обилие людей, которые куда-то торопятся, громко говорят, не опасаясь окрика надзирателя, обнимаются, пьют вино в кафе и смотрят на него странно изучающе. Но через неделю Кершовани снова включился в работу, начал издавать газету «Хрватска наклада» и журнал «Израз». Его и взяли-то в типографии на Франкопанской улице, в маленькой тесной каморке, где он вычитывал корректуру перевода «Материализм и эмпириокритицизм», который Прица и Пьяде сделали на каторге...

«А ведь зря затеяли мы с ним все это, – подумал вдруг Ковалич. – Зря. Он издевается надо мной, ставя свои вопросы. Он слепой фанатик, и нечего строить иллюзии».

– Нет, Хорватия не отделена от Югославии, – медленно ответил Ковалич, – просто мне казалось, что в трудные для хорватов времена вам, хорватскому интеллектуалу, надо было бы отказаться от своих утопий и подумать о судьбе народа. Видимо, я ошибся. Вы живете в другом мире и служите чужой идее.

– А чьей идее служите вы?

– Кершовани, вспомните свое детство в Истрии, подвластной Италии. Вспомните, как вас унижали сербы, когда Хорватия была подвластна Белграду. Вспомните вашу жизнь, Кершовани. Вспомните Нану...

...Когда его осудили на десять лет каторги, он написал письмо Нане Шилович, своей жене. Она была самой блистательной балериной Югославии, он – самым известным югославским публицистом. Их лучшие времена совпали: Нане было двадцать лет, и она приехала из Парижа и танцевала Одетту, и Кершовани любил ее. Понятие «принадлежность», сопутствующее понятию «любовь», было кощунственным, когда он думал о Нане, смотрел на нее утром, проснувшись первым, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить ее, когда они сидели за столом и солнце пронизывало синие занавески и играло в ее глазах, и в каплях оливкового масла на тарелке, и в гранях высокого бокала, из которого Нана лениво

потягивала легкое вино. А когда вечером, отложив дела в редакции, он шел в театр и, укрывшись в директорской ложе, любовался ею на сцене, он вспоминал, как она жарила себе на обед толстый кусок мяса и жаловалась, что не смеет есть картофель и хлеб, чтобы не набрать лишних двести граммов, и просила его не резать при ней колбасу. «Не сердись, милый, – говорила она, – я страшная обжора, как все танцовщицы, и я не могу видеть, как ты отрезаешь себе эту прекрасную кровавую деревенскую колбасу – я так чувствую ее чесночный запах, мне так хочется ее попробовать, а этого никак нельзя...»

Он думал о письме Нане все пять месяцев предварительного заключения и все то время, пока шел процесс, и когда председательствующий предоставил ему последнее слово, а Нана сидела во втором ряду, он тоже думал о том, какое напишет ей письмо. На нее все время тарачились прокурор и защитник, а он старался не смотреть на нее, чтобы она не заметила в его глазах боль и любовь, и чтобы не было ей из-за этой его боли и любви горько уходить отсюда, и чтобы она могла возвратиться в театр без раны в сердце, потому что израненное искусство остается великим только какое-то время, а потом оно начинает пожирать само себя, ибо всякая боль – как мир и как человек – автономна, и живет по своим законам, и мстит окружающим и даже тому, в ком она живет.

Кершовани мог в последнем слове своем **отречься**, и он бы вышел из зала суда, и они снова были бы вместе, и он поэтому долго стоял молча, вцепившись холодными пальцами в деревянные перила, которыми ограждены подсудимые.

– Я мог бы все отрицать, – сказал Кершовани в своем последнем слове, – и вы были бы обязаны меня оправдать, потому что улики против меня нет. Но для меня высокая честь защищать перед лицом общественного мнения идеи той организации, к которой я имею счастье принадлежать, – я говорю о Коммунистическом Интернационале, о Коммунистической партии Югославии и о Советском Союзе, ибо три эти понятия неразделимы для меня. Я был пацифистом и разочаровался в этом идейном течении, не способном решить задачу, которую мы, коммунисты, перед собой ставим: создание общества равенства и культуры, общества свободы. Я был приверженцем идеи югославской монархии, присутствуя с делегацией молодежи на коронации монарха Александра, но я разочаровался в идее монархизма. От пацифистских, националистических и монархических иллюзий не осталось и следа. И я счастлив, что стою перед вами вместе с моими товарищами, вместе с теми, кого вы подвергаете гонениям, кого вы предаете остракизму, и я готов принять на себя всю меру ответственности за принадлежность к партии коммунистов...

Когда его осудили, он написал Нане:

«Родная, десять лет каторги – вполне разумная мера правительства в его борьбе против нас. Меня не страшит тюрьма, ибо это лучший университет для революционера. Однако я не хочу, чтобы моя судьба – даже косвенно – заставляла тебя быть нечестной по отношению к самой себе, ибо если нечестность по отношению к другим может быть объяснена, то нечестность к самому себе, особенно если на нее вынуждают художника, преступна. Ты одарена и поэтому не принадлежишь себе, и ты должна жить в полную меру таланта и молодости. Талантливость художника обязана быть увлекающейся и неистовой. Я в тюрьме, и ты лишена защиты, и поэтому, оставаясь моей женой, будешь подвержена травле. Будь я рядом, я бы защитил твою честь, ибо любовь только тогда прекрасна, когда она лишена чувства собственности. Сплетни, необходимость скрывать свое «я» – все это может породить в тебе страх. А страх связан не столько с ложью, поскольку он ее сам и порождает, сколько с жестокостью, ибо жестокими становятся не только те, которые пользуются «инструментом страха», но и те, которые запуганы, которые вынуждены затаиться, уйти в себя, приспособиться к другим, стать «как все». Это губительно для художника, а ты художник, ты замечательный художник, и поэтому, чем честнее ты будешь себя выражать, не страшась и не пачкая себя ложью, тем больше счастья ты принесешь людям, тем больше добра и света отдашь им. Именно поэтому я прошу тебя

дать мне развод. Поверь, я в этом нуждаюсь больше, чем ты. Я буду спокоен, если буду знать, что моя борьба не принесла горя тебе, отняв тебя у людей. Я прошу тебя быть свободной во всех помыслах и поступках. Я прошу тебя верить в то, что чистота любви не имеет никакого отношения к тому, что буржуа называют увлечением, а обыватели изменой. Любовь – это счастье, а не гнет. Я благодарен тебе за месяцы, которые мы были вместе. Ты вольна поступить, как сочтешь нужным, когда и если я выйду с каторги. Высшее счастье для меня – знать, что ты счастлива.

Отокар».

Нана уехала из Югославии. Когда ее отец, доктор Сречко Шилович, по прошествии многих лет пришел к Кершовани в тюрьму и сказал, что у Наны родилась дочь, Отокар задумчиво улыбнулся.

– Если тот, кто ее любит, – сказал он, – не будет возражать, пусть Нана назовет девочку Ириной.

– Почему?

– Потому что я боюсь женских имен, к которым прилагается эпитет «святая». Ирина – свободное имя, новое, не библейское, пусть и живется ей не по-святошески, а как бог на душу положит.

– А как бог на душу кладет? – тихо спросил Шилович, напряженно ожидая ответа.

– Если бы он был, – ответил Кершовани, – он бы разрешил всем жить честно и свободно. И разогнал бы банду святош, которые примазались к нему после его смерти. Или вознесения. Впрочем, это одно и то же... Я, Сречко, боюсь страданий, которые заложены в иных именах. Поскольку страдание рождено желанием, а человек соткан из желаний, рождается и некий силлогизм кругового горя. А я против этого. Желание должно давать счастье, а имя Ирина – «счастливая». Дающий счастье получает его сторицей.

...Кершовани поднялся, когда Ковалич сказал про Нану. Он поднялся резко, оттолкнув стул икрами, которые напряглись, как перед прыжком.

– Я могу идти в камеру? – тихо спросил он.

– Это зависит от вас. Если вы напишете ту декларацию, которую продиктовал вам я, можете сразу же уходить домой.

– Вы знаете мою жизнь лучше меня самого, Ковалич, – сказал Кершовани. – Неужто вы не понимаете, что если я не написал ничего **тогда**, то сейчас я тем более не напишу ничего такого, о чем мечтаете вы...

– Ну и сдохнете! – крикнул Ковалич. – Сдохнете! И вместе с вами уйдут те мысли, которые вы могли бы отдать обществу, о котором так радуете! Вот о чем подумайте! Вам еще многое надо сказать людям! А вы хотите лишить их своего таланта! Вы жалкий трус и эгоист! Вы трус! Трус!

– Лучше пусть люди лишатся моего таланта, – ответил Кершовани, – чем я разрешу вам его использовать. Это страшнее смерти, если вы станете хозяином моего таланта.

Начальник генерального штаба

Гальдер.

«13.00 – 14.00. Совещание у фюрера относительно общего положения в Югославии. (Вместе со мной присутствовал Хойзингер.) Никаких новых моментов. План создания автономной Хорватии.

Генерал Химер получил инструкции. Предложение о создании немецкой комендатуры в Будапеште».

Зонненброк разбудил Штирлица рано утром, через час после того, как тот отправил в Белград Везича.

– Бога ради, извините, – сказал он. – Вы спали?

– Нет, я плясал рио-риту, – пробурчал Штирлиц. – Что там у вас? Пораньше не могли прийти? Тогда б застали меня бодрствующим, я недавно лег.

– Пожалуйста, не свирепейте, никто из наших не знает английского, – ответил Зонненброк, включив приемник; привычка говорить «под музыку» прочно укоренилась в нем.

– Зачем вам понадобился английский?

– Фохт приказал мне заняться возможными контактами англо-американцев с русскими.

– Фохту бы фантастические романы сочинять.

– Он здесь ни при чем, это приказ Берлина.

– Что там у вас, показывайте.

– Вот, – Зонненброк положил перед Штирлицем листок бумаги с английским текстом.

– Откуда это?

– Работать надо, – горделиво произнес Зонненброк. – Копия репортажа Джеймса Колви из «Дэйли мэйл». Такой репортаж, видимо, уходит сразу в два адреса: в редакцию и в Интеллидженс сервис.

Штирлиц просмотрел текст:

«По сведениям из осведомленных источников, здесь стало известно, что Москва горячо приветствовала свержение правительства Цветковича. Когда я встретился в министерстве иностранных дел с ответственным чиновником отдела прессы, он прямо сказал мне, что «вопрос противостояния возможной агрессии увязывается с гарантиями, которые могли бы дать Белграду Даунинг-стрит, Белый дом и Кремль». Видимо, события ближайших дней покажут, справедливы ли надежды Белграда».

– Здесь нет ссылок на имена, – сказал Штирлиц. – «Один чиновник» – это не информация.

– «Один ответственный чиновник», – уточнил Зонненброк. – Причем известно, что он из отдела печати. Мы установим этого человека, начнем работать с его окружением и подчиним его нашим интересам. Этот Колви намекает на возможность сговора американцев и англичан с русскими, так что Берлин не зря запросил нас. Фохт сказал: «Информация, связанная с этой проблемой, приравнена к высшей степени важности».

Решение пришло сразу, словно некто продиктовал ответ на задачу, над которой Штирлиц бился несколько часов кряду. Раньше он проводил мучительные дни и бессонные ночи, стараясь сразу же понять главное. Однако с годами убедился, что нельзя насиловать мозг требованием немедленного ответа. К истине можно идти разными путями, но от того, каким будет путь, во многом зависят ценность и моральность решения.

Материал, который принес Зонненброк, был важен с разных точек зрения. Во-первых, если контакты с англичанами и американцами действительно налаживаются, то, слава богу, это можно только приветствовать: Гитлер верит лишь в силу и ни во что другое. Если таких контактов нет, Центр внимательно изучит, от кого такие сведения поступают – от немцев, организующих тонкую, сложную, через третьих лиц дезинформацию, почему-то им выгодную, или же англичане пускают пробный шар в сложной обстановке сегодняшней Югославии, стараясь понять нашу реакцию. Во-вторых, то, что этот вопрос рассматривался в Берлине как «особо важный», лишний раз подтверждает уверенность Штирлица в подготовке войны против его родины, и если так, то надо найти возможность всячески помочь

налаживанию контактов между Москвой, Лондоном и Вашингтоном. В-третьих, эти данные Зонненброка помогут ему, Штирлицу, в его конкретной работе.

Веезенмайер задал ему трудную задачу с Везичем. Штирлиц, впрочем, сам шел на это. Он проиграл для себя несколько возможностей. Он принял решение, ответ неожиданно подсказал Зонненброк своим разговором с Фохтом о русско-английских контактах.

Штирлиц залез под холодный душ, оделся, выпил стакан апельсинового сока и спустился в пустой ресторан. Теперь, по его замыслу, Везич, возвратясь из Белграда, должен передать ему «особо важные материалы, касающиеся русско-британских контактов». Надо только обговорить детали и подобрать «кандидатов», на которых можно сослаться в рапорте Шелленбергу. Информаторы должны быть людьми серьезными, желательно связанными с дипломатическими кругами или с высшими офицерами генерального штаба. Везич, таким образом, станет особо ценным осведомителем Штирлица. Он будет прикрыт всей мощью аппарата Шелленберга: людей, которые много знают и готовы к сотрудничеству с рейхом, надо уважать и беречь. И, полагал Штирлиц, быть может, это сообщение в какой-то мере насторожит Берлин, ибо война на два фронта – безумие, и на это, как он считал, не рискнет даже такой маньяк, как Гитлер.

Второе соображение, казалось ему, может оказаться значительно важнее, чем история с Везичем. Он ощущал постоянную мучительную беспомощность, не зная, как и чем реально помочь родине, над которой занесен меч.

Штирлиц, естественно, не мог предположить, что его рапорт, отправленный через полтора часа Шелленбергу – с припиской, в которой содержалась просьба указать Веезенмайеру на целесообразность его, Штирлица, работы с югославским агентом, – сыграет роль в судьбе самого близкого Гитлеру человека.

Рудольф Гесс в 1920 году ввел застенчивого ефрейтора Шикльгрубера, ставшего потом Гитлером, «великим фюрером германского народа», в таинственное общество «Туле». Одним из семи создателей этого общества («семь» – мистическая цифра и приносит удачу всём начинаниям) был Дитрих Эскардт. Умирая, он говорил: «Следуйте за Гитлером. Он будет плясать, но я тот, кто написал ему музыку. Не жалейте обо мне. Я окажу большее влияние на судьбу истории, чем любой другой немец. Моя идея не умрет со мной: немцы, ставшие нацией человеческих мутантов, поведут за собой людей к великим целям, которые были известны **посвященным** арийской древности, обитавшим в Тибете».

Гитлер до конца подчинил себе движение национал-социализма после расстрела своих ближайших соратников Рема и Штрассера, когда Эскардт был уже мертв, а все другие основатели «Туле» добровольно умертвили свою память, согласившись считать фюрера тем человеком, каким представляла его пропагандистская машина Геббельса, то есть великим борцом и гениальным мыслителем. Гитлер говорил Раушнингу: «Вы не знаете обо мне ничего. Мои товарищи по партии не имеют ни малейшего представления о целях, которые я преследую, о том грандиозном здании, основа которого по крайней мере будет заложена после моей смерти. На планете произойдет такой переворот, которого вы, **непосвященные**, понять не сможете».

Гесс несколько раз встречался с теми, кто был с Гитлером в начале двадцатых годов. Личный секретарь фюрера вел странные разговоры о том, что Гитлер близок к перерождению, он забывает старых друзей и самое **начало**. Собеседники Гесса доверчиво советовались с «ветераном партии», что сделать, чтобы «помочь Адольфу» вновь обрести самого себя. После таких разговоров эти люди исчезали странным образом и при непонятных обстоятельствах: внезапный сердечный приступ, отравление газом, автомобильная катастрофа.

Лишь профессор Гаусхофер, теоретик «Туле», блестящий японист, профессор санскрита, принявший в Азии таинственный обет «красной свастики», внимательно выслушал Гесса, а потом сказал ему:

– Рудольф, вы погибнете, если я исчезну, как и все те «старые борцы», с которыми вы встречались. И вы, и Гитлер развиваете идеи, которые я и Эскардт подсказывали вам. Вы останетесь голыми, когда придет время рождения новых мыслей. Хотите, я напишу фюреру донос на вас? Хотите, я расскажу, как вы пытались провоцировать меня, говоря о том, что не фюрер создал идею национал-социализма, а я? Вам будет легче спасти мне жизнь, если такой донос ляжет в ваши архивы?

– Вы сошли с ума, Карл.

– За три дня перед тем, как Гитлер стал рейхсканцлером, я был у тибетского ламы Джоржидона. Вы знаете, что он хранит ключи, которые открывают ворота в царство «Агартхи». Он сказал мне тогда: «Придет тот, кто должен прийти. Берет лишь тот, кому дано взять. Забудьте себя во имя его силы, вы останетесь навечно в той памяти, которую создаст он». Я следую этому, Рудольф. «Агартхи» свято для меня, я **посвящен**, и если я уйду, кто укажет вам путь туда?

Слово «Агартхи» было таинственным и священным для фюреров национал-социализма. Они жили двумя правдами и оперировали двумя идеями: первая – для толпы, вторая – для себя, для **избранных**. Мистическая идея сводилась к тому, что в Тибете четыре тысячи лет назад исчезла самая великая цивилизация из тех, что когда-либо были на земле. Тот, кто погиб, погиб, а кто спасся, ушел из Тибета. Первый поток эмигрантов отправился на север Европы, ведомый живым богом, имя которому было Тор. Второй поток осел на Кавказе. После того как Тибет опустел, там возникли два таинственных центра: «путь правой руки» и «путь левой руки». Столица центра «правой руки» – «Агартхи»; храм неприятия этого мира, сокрытый в недрах Гималаев. Центром «левой руки» стала «Шимбала», чьи силы могут повелевать массой и ускорять движение человечества к «полноте всех времен». Маги других народов могут заключать соглашения – с благословения «Агартхи» – с великой «Шимбалой» и, таким образом, становиться проводниками ее воли. Однако соглашение возможно, если **посвященный** будет посредником в этом союзе. Гаусхофер был таким «посвященным». Гитлер в своих поступках руководствовался не анализом исторических побудителей и первопричин, не изучением экономики и политики, а лишь подсказкой «провидения», советом полусумасшедших **посвященных**. «Великий мыслитель и стратег», «теоретик национал-социализма» не имел сколько-нибудь серьезного образования, но он был рожден в местности, которая славилась медиумами и колдунами, разъезжавшими по Европе с сеансами «чудес». Поверив в свое таинственное второе «я», Гитлер решил «рискнуть» и вместо шаманских гастролей по Европе задумал ее покорение.

Уже потом, став канцлером, он сказал Раушнингу: «Я открою вам величайшую тайну. Я создал орден. Человек, получивший из моих рук даже вторую ступень, станет мерилom мира, человеком-богом. Это прекрасный объект бытия – «человеко-бог арийской расы». Он станет центром вселенной, предметом культовых песнопений и всеобщего преклонения. Но существует еще одна ступень ордена, о которой я не могу говорить».

Когда-то он дал обет молчания Эскардту и Гаусхоферу. Один умер, второй признал его, Гитлера, власть над собой. Гитлера это устроило, но только в определенной мере. Разговор, о котором ему сообщил Гесс, успокоил Гитлера лишь наполовину. Слово дают для того, чтобы нарушать его. Гаусхофер должен быть изолирован – почетно и широковещательно. Лучшая изоляция – это ореол секретности, которым должны быть окружены он и его работа. Гиммлеру было поручено создать общество «Амерде». Рейхсфюрер объявил на первом организационном съезде:

– Наша главная цель – вести исследования в местах распространения арийского духа! Нашего духа! (Овация.) Духа германцев! Наша главная цель – исследовать места действий и наследование германской расы! (Овация.) Все пятьдесят институтов, которые находятся в ведении СС, будут проводить эту благородную работу на благо нашей нации, на благо наших

детей и внуков, которым суждено жить в век чудесной и благородной расовой гармонии! (Овация.)

Главой «Амерде» стал профессор Мюнхенского университета Верст; Гаусхофер – научным руководителем. Ему вменялось в обязанность курировать «изыскания таинственного в области оккультной практики». Он также получил личное задание фюрера: привлечь Отто Скорцени для организации экспедиции по похищению «Чашы святого Грааля», в которой собрана кровь Христова и которая, по преданию, приносит успех всем начинаниям ее обладателя.

Вызвав Гаусхофера для беседы, фюрер начал говорить так, как он привык – вещая, слушая лишь самого себя:

– Провидение подсказало мне путь, который обеспечит нам наименьший риск и даст наибольшее благоприятствие на первых шагах. Не отрицая мистического могущества «Чашы Грааля», я слышу Великие Слова о том, что решение главного может прийти к нам только через «Шимбалу», через дух Тибета. Умение отделять главное от второстепенного, громадное от большого, гениальное от мудрого позволит мне и тому народу, который призвал меня, дать миру то, что не в состоянии ему дать ни один человек и ни одна другая доктрина, кроме доктрины национал-социализма. Национальное – всем немцам, социальное – неимущим немцам; остальное – **посвященным** !

И вдруг Гитлер заметил взгляд Гаусхофера. Это был усталый взгляд умного человека, который все помнит и никогда не сможет забыть. Гитлер ощутил в себе гнев и одновременно сладостное ощущение высшей силы, когда он вправе приказать убить учителя и его, Гитлера, ученики сделают это, испытывая счастье оттого, что могут служить ему. Но он сразу же подумал, что этот **посвященный** – последний, кто владеет тайной «Агартхи» и «Шимбалы». И он, этот последний, всюду выступает со словами, которые возвеличивают его, Гитлера, того, который смиренно внимал Гаусхоферу двадцать лет назад, и краснел под его взглядами, и смущался своего яростного красноречия, в котором – он это чувствовал – было много провинциального.

Гитлер – как это часто бывало с ним – увидел себя со стороны, и ему показалось, что самое разумное молча улыбнуться Гаусхоферу, положив ему руку на плечо. Надо только пристально смотреть в глаза – глаза не лгут. Он поступит так, как ему подскажут глаза учителя. И он положил руку на плечо Гаусхофера и ощутил вдруг, как тяжела его рука.

...Нельзя верить глазам побежденных учителей. Нельзя верить тем, считал Гитлер, кто был у твоего начала и видел тебя маленьким и робким. Таких надо уничтожать и устраивать им торжественные похороны. Гитлер ничего не увидел в глазах Гаусхофера, кроме силы. Магическая, ощутимая сила застыла во взгляде профессора. Но так Гитлеру казалось лишь мгновение. Потом он подчинился этой силе и уже не понимал сам, что именно эта чужая сила повелела ему увидеть в глазах Гаусхофера любовь и преданность.

...Именно с этой минуты Гаусхофер стал мстить. Он знал, как армия не любит Гитлера. Он знал, что фюрер окружен преданными ему фанатиками: Гессом, Герингом, Гиммлером, Геббельсом. Именно на Гесса он нацелил свой первый удар. Он лишит фюрера того, кто вместе с ним начинал движение национал-социализма. Потом сделает так, чтобы ушли в тень Геринг и Геббельс. Пусть рядом останется Гиммлер – это ненадолго. И, когда Гитлер будет один, совсем один, вот тогда он снова придет к нему, к Гаусхоферу, придет тайно, тихо и смиренно, как блудный сын приходит к отцу. Библейский отец простил; он, Гаусхофер, не простит. Просто так он простить не сможет.

Именно Гессу он подсказал мысль о том, что Англию перед началом войны на Востоке можно склонить к переговорам и не вовлекать, таким образом, рейх в сражение на два фронта. Он, Гаусхофер, знает, как надо влиять на своих учеников. Он внушит Гессу идею, подчинив его своей воле. Пусть уйдет Гесс – это, пожалуй, единственный человек, готовый отдать за Гитлера жизнь.

И Гесс начал готовиться к переговорам с Лондоном, игнорируя тот факт, что Черчилль, хотя и заявил о своей давней неприязни к большевизму, все же пришел к власти под лозунгом: «Враг номер один – Гитлер. Всякий, кто вступит с ним в борьбу, автоматически станет нашим союзником!»

Сочинив шифровку Шелленбергу о том, что в Белграде, «по сведениям от завербованного мною Везича», имеют место «постоянные русско-английские контакты», Штирлиц попросил санкцию на «продолжение работы с югославским полковником», пользующимся большим авторитетом и имеющим широкие связи на Балканах.

Шифровка эта была немедленно доложена Шелленбергом Гейдриху. Тот за своей, естественно, подписью, без ссылок на фамилию Штирлица, а уж тем более его агента, переслал сообщение Гиммлеру. Рейхсфюрер ознакомил с этим донесением Гесса. Гесс собирал по крупицам все материалы, связанные с русско-английскими отношениями. Он лелеял мечту помирить фюрера с англичанами. Шифровка Штирлица подвигла его на еще более активные действия. Гесс поручил Гейдриху запросить возможно больше подробностей из Югославии. Шелленберг сразу же отправил шифровку Штирлицу. Тот в ответ попросил шефа дать указание Веезенмайеру оказывать ему, Штирлицу, максимальную помощь в этой его работе. Такое указание было передано часом позже.

– Вот что, милый Штирлиц, – сказал Веезенмайер, – пригласите-ка сегодня на ужин господина Везича. Что вы все один да один, надо бы и о своих товарищах помнить.

– Слушаюсь...

– Я не отдаю приказа. Приказ продолжать с ним работу я вам отдал ночью. Сейчас это дружеская просьба.

– Я рад, что вы считаете меня своим другом, штандартенфюрер. Я горжусь этим. Я умею ценить дружбу таких выдающихся людей, как вы... – Он заметил в глазах Веезенмайера искорки смеха и нахмурился. – Я не умею льстить, штандартенфюрер. Наверно, поэтому я до сих пор не получил повышения в звании.

– Получите, – улыбнулся тот своей открытой улыбкой. – Это я вам обещаю, Штирлиц. Дней через десять получите...

– Когда вернемся домой?

– Через десять дней Загреб станет нашим домом, Штирлиц. А может, несколько раньше.

«Центр.

Веезенмайер сообщил, что в течение ближайших десяти дней Загреб «станет немецким».

Юстас».

Штирлиц, однако, не предполагал, что его сообщение о «русско-английских контактах» вызовет еще одну реакцию Шелленберга – неожиданную, странную и столь же молниеносную.

«Штирлицу.

Строго секретно. Вручить лично. По прочтении уничтожить. По нашим сведениям, в Сараево, в отеле «Европа», живет профессор лингвистики Шанхайского университета Чжан Бо-ли. Вам необходимо встретиться с ним и провести беседу. Главные интересующие нас вопросы: согласен ли он с

официальной расовой теорией НСДАП? Готов ли он поддерживать тесные отношения с нашими учеными, работающими в области изучения Азиатского континента вообще и Китая в частности?

Шелленберг».

Генеральный консул Фрейндт смотрел на Штирлица выжидающе: он передавал ему уже третью шифровку, и тот не считал нужным ни словом обмолвиться о содержании указаний, поступивших из Берлина. Штирлиц понимал, что этим своим молчанием он унижает генерального консула и может при определенных обстоятельствах лишиться его поддержки, а помощь такого человека, как Фрейндт, имеет большое значение. Однако Штирлиц понимал и то, что, открой он Фрейндту содержание шифровок, тот – если он человек гестапо – может сразу же сообщить в Берлин о «болтливости сотрудника разведки и неумении хранить государственную тайну».

– Как звонить в Сараево? Отель «Европа»? – спросил Штирлиц, недоуменно пожав плечами после вторичного прочтения шифровки.

– Что-нибудь срочное? – поинтересовался генконсул, отыскивая в справочнике телефон отеля.

– У них там семь пятниц на неделе. Своих дел невпроворот, а тут... В восемь утра – одно, в девять у Везенмайера – второе, в десять у вас – третье.

– Телефон «Европы» 92-56.

– Спасибо.

Штирлиц заказал срочный разговор с Сараево. Связь дали через пять минут.

– Добрый день! Скажите, пожалуйста, – спросил Штирлиц портье, – в каком номере живет господин Чжан Бо-ли?

– Господин Чжан Бо-ли уже не живет здесь.

– Господин Чжан Бо-ли уже не живет здесь, – удовлетворенно повторил Штирлиц, решив, что это достаточный повод, чтобы радировать Шелленбергу о невозможности встречи с китайским ученым из-за ошибочных данных, переданных Берлином.

– Он переехал в более дешевый отель, – продолжал портье. – Номер его телефона 25-41.

«Будь проклят их сервис, – озлился Штирлиц, – кто его тянул за язык? Не живет в «Европе», и слава богу!»

Он взглянул на генконсула и не увидел в его глазах той колючей, хотя и уважительной настороженности, которая была, когда тот передавал оберштурмбанфюреру СС шифровку из Берлина. Фрейндту стало ясно, что шифровка никак не касается работы его учреждения, и он почувствовал, что Штирлиц неспроста позвонил в Сараево из его кабинета, оказывая ему этим знак истинно товарищеского доверия.

– Я отправлю телеграмму в Берлин, с вашего позволения? – спросил Штирлиц.

– Конечно. Ее немедленно зашифруют.

– Не надо. У меня свой код. А вот молнией пусть передадут, за это истинное спасибо вам.

«Шелленбергу.

Идет активная работа с Везичем по поводу русско-английских контактов. Провожу беседы с русским ученым Родыгиным, который дал согласие сотрудничать с нами. Нельзя ли встретиться с китайцем позже?

Штирлиц».

Штирлиц не знал, да и не мог, безусловно, знать о разговоре, который состоялся двадцать седьмого марта между Гейдрихом и Шелленбергом о возможном столкновении арийцев с азиатами на территории России, где-то за Уралом, после победы над большевиками. В суматохе дел Шелленберг не смог проследить за шифровками, которые он отправил в Лиссабон, Виши и Цюрих. Да и Гейдрих забыл об этом разговоре, потому что фюрер требовал ежедневных отчетов о том, как идет подготовка к югославской «Операции-25» и греческой «Марита». Однако после того, как Гальдер доложил Гитлеру, что передислокация войск практически закончена и что сейчас пошел отсчет на часы, фюрер вновь вернулся к детальному рассмотрению плана «Барбаросса» и в разговоре с Гиммлером поинтересовался, какие новости у специалистов по Дальнему Востоку, которые анализируют возможность и последствия встречи вермахта и желтых полчищ на территории России после блицкрига. Это особенно волновало Гитлера сейчас, поскольку агентура Риббентропа донесла, что министр иностранных дел Японии Мацуока ведет предварительные переговоры с Москвой, а цель этих переговоров, как предполагали эксперты, – заключение пакта о нейтралитете с Кремлем.

Значит, надо думать обо всех силах на Азиатском континенте, которые могут оказаться для Берлина противвесом в его отношениях с Токио.

Учитывая также сообщения о контактах русских и англичан в Белграде, необходимо было выяснить все о ситуации на Дальнем Востоке, и не только сегодняшней, очевидно, но и о той, которая может возникнуть в будущем. Фюрер дал понять Гиммлеру, что оптимальным вариантом было бы противопоставление двум европейским фронтам мощного фронта в Азии – этого Россия не выдержит.

Гиммлер вызвал Гейдриха; тот, в свою очередь, распек Шелленберга; и сразу же после разговора шефа РСХА с начальником политической разведки в разные города мира полетели шифровки с повторными запросами, и в ответах, полученных из двенадцати стран мира, фигурировала фамилия лингвиста Чжан Бо-ли, работавшего ныне в библиотеках Югославии после прохождения трехмесячной практики в Софии. Резидент СД в Виши сообщил, что, по сведениям, полученным от китайской агентуры, из тех, кто учился во французских университетах еще до начала войны, Чжан Бо-ли относится к тому типу ученых, которые занялись наукой, будучи отринутыми от практики политической борьбы, ибо сначала он примыкал к группе левых коммунистов, потом увлекся великоханьской, расистской доктриной, а затем уехал в Европу, чтобы написать монографию по истории китайской лингвистики и ее первородстве в сравнении с японской иероглификой.

«Штирлицу.

Вручить лично. По поводу китайского ученого. Извольте выполнять приказы немедленно и беспрекословно.

Шелленберг».

Штирлиц, чертыхаясь, взял мощный «мерседес», любезно предложенный ему генеральным консулом, потерял полчаса, разыскивая Родыгина, и только потом выехал из Загреба. Он несся по узкой горной дороге на максимальной скорости и через шесть часов был в Сараево. Город поразил его мощью мечети Бегова джамия, протяжными криками муэдзинов, возвещавших время намаза; паранджами на лицах женщин, и ему даже показалось, что каким-то чудом он оказался в Константинополе, а не в сердце Боснии, близ подножия Черных гор – очага славянской культуры на Балканах.

Штирлиц позвонил к Чжан Бо-ли и договорился о встрече. Они увиделись в маленьком кафе на узенькой, чисто мусульманской улочке Куянджилук. Штирлиц рассчитывал, что разговор будет коротким и конкретным. Однако Чжан Бо-ли, великолепно говоривший по-

английски и с большим трудом по-немецки, не торопился начинать серьезную беседу, рассуждая о погоде, ценах на антиквариат и обилии невест откуда понаехавших цыган. Поначалу Штирлиц думал лишь о том, как бы скорее избавиться от него, о том, как прошла встреча Родыгина с Везичем, но потом разговор принял столь неожиданный оборот, что, закончив его, он сел в машину и не сразу поехал в Загреб, а сначала составил запись беседы в двух вариантах: краткую, из пяти абзацев, для Шелленберга и развернутую – для Москвы.

«После обязательной вводной части, когда собеседник и я «пристреливались» друг к другу, мною был поставлен вопрос: возможно ли в будущем столкновение – имеется в виду отнюдь не военное, но лишь географическое – рейха и Китая, арийской и великокитайской доктрины?

– Рейх связан с Россией договором о дружбе, – ответил Чжан Бо-ли.

Я сказал ему, что рейх воюет с Англией и разгром Англии будет означать начало немецкого проникновения в Индию, которая имеет двухтысячекилометровую границу с Китаем.

– Великокитайская доктрина, – заметил мой собеседник, – по своему внутреннему механизму ничем не отличается от любой другой концепции национальной исключительности. Зороастр, или же в европейской записи Заратустра, говорил о богоизбранности персов. В ветхом завете заложена идея «исключительности» иудеев. Германские философы обосновывали богоизбранничество немцев, историк Соловьев – русских.

Я сказал, что во всякого рода исключительности два аспекта, ибо происходит смыкание индивидуального и общего: либо доктрину выдвигает личность, либо личность лишь оформляет то, что угодно массе.

– Исключительность нации рождена историей человечества в дни его младенчества, когда всякий «чужак» приравнялся к врагу.

Я согласился с китайским профессором, заметив, что восемьсот лет назад англичанин никогда не говорил о французе «француз»; он определял его только одним понятием – френч дог¹⁶. Видимо, добавил я, осознание национальной общности, от которой всего лишь один шаг до теории национальной исключительности, происходит в тот момент, когда можно отделить «нас» от «них».

Чжан Бо-ли не оспаривал этой точки зрения, подчеркнув, что китайцам не приходило в голову, что они желтые, до тех пор, пока к ним не пришли белые.

– В общем-то, – добавил он, – возвращаясь к вашему первому вопросу, надо сказать, что встреча рас всегда конфликтна. Обратная сторона познания **других** таит в себе зародыш чувства собственной исключительности, которое на первых порах всегда рычаг противостояния другой расе, однако меня интересует более локальный вопрос: чем и как, с вашей точки зрения, объясним внутрирасовый национализм?

– В прошлом, – ответил я, – любой мекленбуржец был братом другого мекленбуржца и всегда становился на его защиту потому, что оба противостояли саксонцу или баварцу. Если национальная группа находится в окружении других национальных групп, тогда этнический момент оказывается сильнее момента социального. Национальное сознание народов Югославии (многого здесь можно было избежать) диктовалось тем, что в метриках учитывалось, кто ты: черногорец, хорват, мусульманин или словенец. Постоянное подчеркивание национальной принадлежности неминуемо отпечатается в сознании поколений. И порой получается так, что национальный антагонизм оказывается следствием национальной самозащиты: способ сохранения национального духа рождает внутрирасовые конфликты.

16 Французская собака (англ.).

Чжан Бо-ли попросил проиллюстрировать это утверждение фактами из истории. Я привел пример не европейский, но азиатский, желая заставить собеседника активнее включиться в разговор, с тем чтобы точнее понять его «открытые», «болевые» места. Я привел в качестве примера традиционную подозрительность вьетнамцев к Китаю, поскольку в течение почти тысячи лет «северная угроза» – единственная и наиболее жестокая для Ханоя.

Реакция собеседника была мгновенной и плохо скрываемой. Желая перевести разговор в другую сферу, Чжан Бо-ли спросил:

– А кто, по-вашему, рождает эмбрион «национального духа»? Интеллигент или производитель материальных ценностей? Масса, говоря иначе, или дух?

– Мы вернулись к началу разговора, – заметил я.

– Азия не боится возврата к началу, – ответил Чжан Бо-ли, – ибо именно начало – в той или иной форме – определяет последующее развитие.

Я ответил, что, с моей точки зрения, «эмбрион» национального духа – масса, поскольку для толпы понятие «китаец» или «вьетнамец», «славянин» или «француз» нерасчлениваемо на индивидуальность. Для них это «чужаки». Но очень скоро эта тенденция становится орудием политической элиты, рычагом противостояния другой национальной общности или же лозунгом для завоевания ее и уничтожения, как это было, например, с Маньчжурией, Монголией и Вьетнамом, когда Китай вел против них захватнические войны.

– Я приветствую утверждение европейца Гитлера, – сказал мой собеседник, – который считает, что лошадь когда-то была крайне необходима человеку, но было это до тех пор, пока моторы не стали пересчитывать на мощности «лошадиных сил». Теперь лошадь должна исчезнуть, поскольку она выполнила свою историческую миссию. То же и с нациями. Исчезнут все те национальные группы, которые выполнили свою историческую роль по освоению тех или иных пространств. Останутся избранные.

Я задал вопрос:

– Как вы относитесь к утверждению арийского – по отношению ко всей Азии – первородства японской расы?

– Тезис о том, что именно японцы – азиатские арийцы, не что иное, как политическая акция. Ведь и Муссолини сказал об итальянских евреях, что они итальянцы, не аргументируя этого утверждения. На самом же деле истинные арийцы Азии – китайцы, а никак не японцы.

– Не уподобляетесь ли вы Муссолини? Где аргументация?

– Она очевидна. Все арийцы вышли из Китая. Не просто из Тибета, страны «Шимбаль» и «Агартхи», но вообще из Китая. Климатические условия севера, куда были вынуждены эмигрировать наши арийские предки, наложили отпечаток на физиологию, и кожа европейских арийцев стала белой. Во время недавних раскопок в Китае обнаружены древние женские храмы. Ступени храмов плоские, и, что крайне важно, они стерты так же, как ступени в женских монастырях Баварии. Следовательно, ступни у китайок и немки идентичны. В память об ушедших на север сестрах китайки до сих пор красят лицо белилами, и не желтый цвет любимый у нас, а белый. Можно – с большими, правда, оговорками – допустить и вторую версию: во время великого китайского исхода Тибет покинула белая элита, и наши женщины хранят память о ней и поэтому белят лицо. Подражание эталону типично для истории Китая. Вы знаете, что во время маньчжурской династии китайцы носили косы. Почему? Да потому, что у маньчжур тотемным животным была лошадь и все мечтали быть похожими на коней: иметь продолговатые лица и волосы, собранные в косу, как у породистого скакуна. Не будучи маньчжурами, мы подражали им, поскольку те в определенный период были политическим эталоном для Китая.

– Может быть, китайский исход ограничился границами Монголии, соседствовавшей с Россией? – спросил я.

– Россию следует рассматривать – во всяком случае, до Урала – как часть Китая, – категорически отверг Чжан Бо-ли. – Оттуда начался исход китайцев к северным морям, к царству острова «Тор», поскольку земли Сибири невозможны для обработки и китайцы не считали нужным возделывать их, ограничиваясь районами, прилегающими к южным морям.

– Но исторически на Россию претендовала Орда. Китайцы никогда не претендовали на русскую территорию.

– Это ошибка. Китай, правда, не вмешивался в политическую акцию Орды, но ведь никакого ига вообще не было. Это выдумка русских историков. Войска Батые прошли по главным дорогам России и вернулись к нашим границам, как возвращаются солдаты, выполнившие приказ. После этого пробного рейда отношения Орды и славян уподобились отношениям суверена и вассала. Русь вносила ясак, и это был символ – курица в год. В обмен на этот ясак Русь была защищена от набегов поляков и половцев. Орда выполняла нашу волю. Она должна была исчезнуть, подготовив путь для главной силы, которая всегда оказывается поначалу незаметной. Иго – легенда для панславистов, которые оправдывали им дикость России, пытаясь налаживать связи с западом. Иго началось после странной победы дикарей над историей: я имею в виду Куликовское сражение. Тогда Орда, предав Китай, перешла на службу к русским: Юсуповы оказались славянскими аристократами наравне с Ямщиковыми и Ясаковыми. Управленческая элита Орды, оторванная от нашего влияния, утонула в России, растворилась в ней, заразившись ленью, деспотизмом и жадной личной наживой. Потомки Орды деградировали, они могут стать лишь инструментом в руках нашей идеи, но никогда не будут допущены к телу идеи. Именно в связи с этой проблемой я поселился в Сараево – здесь виден процесс растворения мусульманства в славянстве, его подчинение чужой духовной доктрине, именно поэтому здесь я изучаю «внутринациональную проблему». А что касается глобального вопроса о встрече арийских рас, что вам сказать? Встреча европейских арийцев, германцев, с азиатскими арийцами, китайцами, целесообразна; конечно же не в Индии, а на Урале.

– Китай – союзник тех, кто воюет с рейхом или же собирается с ним воевать, – сказал я. – Китай находится в состоянии войны с Японией, которая член Тройственного пакта.

– Это все может оказаться явлением временным, – ответил собеседник. – Вопрос в том, насколько прочен германо-русский пакт. Учение господина Гитлера импонирует мне своей дальней устремленностью. Что же касается Японии, это маленькая островная держава, а нам судьба дарует возможность прочертить границу, поделив Евразию, к которой примыкают и Африка и Индонезия.

Я спросил, сколь популярна его точка зрения в Китае.

Чжан Бо-ли ответил:

– Это не есть точка зрения. То, что я говорил вам, квинтэссенция будущего наступления Китая: нельзя держать полмиллиарда людей в прачках и рикшах. На этом в равной мере играют все нынешние политики в Нанкине и Шанхае. Сейчас моя идея эфемерна. Она обретет, видимо, новые формы, будет одета и обута в то платье, которое не смешит европейцев, но и не очень пугает их. Не очень, заметьте себе. В принципе Россия с ее желанием остаться Россией обречена. Либо она подчинится логике китайского духа, либо станет частью Европы. Но если предположить какой-то иной выход, если предположить, что Европа явится некоей общностью мощных разностей, объединенных прогрессом середины двадцатого века, тогда возможны большие неожиданности, очень большие. И тогда, перефразируя римлян, «погибнут те, кто раньше нас сказал то, что говорим мы». Тогда я обязан буду исчезнуть. Остаются сильные. Я лишен практической силы, я – это я.

На мое предложение посетить Берлин для встречи с функционерами НСДАП Чжан Бо-ли ответил согласием, что свидетельствует либо о его высоком ранге в соответствующей службе, либо действительно о полной оторванности от

государственных институтов и поиске тех сил, которые окажут ему всяческую поддержку.

Юстас».

Начальник генерального штаба

Гальдер.

«Главкомандующий сообщил о результатах совещания у фюрера, состоявшегося вечером 4.4:

а) Положение в Венгрии. Фюрер, по-видимому, идет на уступки Хорти и находится под впечатлением самоубийства Телеки. Венгрия не желает выступать немедленно, а считает необходимым подождать, пока хорваты не создадут своего самостоятельного государства. Тогда больше не будет государства, с которым Венгрия заключила пакт о дружбе.

Общая картина. Таким образом, оперативное руководство вновь оказывается на буксире политики, а точнее, политических требований текущего момента. В результате этого ясность и целеустремленность плана операции теряются; она грозит превратиться в ряд не связанных между собой частных ударов. Постоянно одна и та же картина. Только одно противоядие – хорошие нервы!»

17. ВДВОЙНЕ ДЕЛАЕТ ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ БЫСТРО

«Из Белграда. Принято по телефону от собкора Потапенко стенографисткой М. В. Тюриной (ТАСС).

Англо-американские корреспонденты в кулуарах Скупщины обсуждают вопрос о том, почему д-р Мачек до сих пор не появился в Белграде. «Если бы он по-настоящему, а не формально вошел в правительство Симовича, то наверняка в Загребе было бы опубликовано заявление исполкома его крестьянской партии. Однако до сих пор не опубликовано ни заявления исполкома партии, ни заявления д-ра Мачека, видимо, какие-то силы оказывают давление на хорватского лидера». Высказывается множество предположений, как, например: «Связи Мачека с Лондоном, завязанные в 1939 году, никоим образом нельзя считать прерванными. Вполне вероятно, что Мачек ведет консультации с Даунинг-стрит, обсуждая вопросы, связанные с гарантией «хорватской автономии»; другие утверждают, что Мачек «имеет непосредственный контакт с Муссолини», который якобы готов «взять на себя миссию посредника в конфликте между Берлином и Белградом»; третьи, опровергая эту точку зрения, считают, что Мачек не может иметь контакта с Муссолини, ибо тот опекает Анте Павелича, который традиционно ориентируется на Рим в борьбе за отделение Хорватии от Югославии, и что «если контакты Мачека и возможны, то лишь с Берлином, который в своей пропаганде ни разу не выступил против Хорватии и Мачека, в то время как страницы германских газет полны нападок против Сербии и Симовича». Так или иначе, но, по мнению журналистов Англии и Америки, аккредитованных при югославском МИДе, «ситуация, сложившаяся в правительстве, когда первый заместитель премьера не посетил ни одного заседания кабинета, свидетельствует о серьезном кризисе руководства, которым не преминут воспользоваться противники нынешней белградской внешнеполитической ориентации». Передайте маме, что лекарство от радикулита для дяди Вани я достал и выслал с Сапрыкиным.

Потапенко».

«Центр.

Везенмайер имеет контакты с Мачеком. Эти контакты тщательно скрываются от Рима. При этом Везенмайер имел встречи с представителями

усташей – главными конкурентами Мачека. Беседуя с итальянским пресс-атташе Касмини, я понял, что итальянская дипломатическая и секретная службы крайне озабочены ситуацией в Загребе, поскольку – по словам Касмини – она «становится бесконтрольной со стороны держав оси». Касмини сказал о бесконтрольности, явно желая прощупать мою реакцию на его замечание. Я мог бы поставить его в известность о факте переговоров Веезенмайера, однако до вашего указания воздержался.

Юстас».

Это короткое донесение Штирлица породило сложную цепную реакцию, результатом которой оказались события огромного значения. Вступили в силу законы политической игры, которая на самом-то деле никакая не игра, а серьезная наука, отличающаяся тем, что лишена права на эксперимент и, соответственно, ошибку.

«Центр – Юстасу.

От дальнейших встреч с Касмини воздержитесь. По имеющимся у нас данным, он связан с Фохтом. Его «пробный шар» в разговоре может быть попыткой скомпрометировать вас. Поставьте Фохта в известность о факте встречи с Касмини – обязательно в письменной форме.

Центр».

«Центр – Абдулле.

Доведите до сведения Мачека, что Веезенмайер имеет в Загребе постоянные контакты с усташами, ставя его, таким образом, в положение «запасной карты». Сообщите ему также, что полковник Везич ездил в Белград.

Центр».

«Центр.

Довел до сведения Мачека факт контактов Веезенмайера с усташами. Представлены доказательства. Сообщено о поездке Везича в Белград. Сразу же после этого Мачек собрал исполком партии и поставил вопрос о двурушничестве Берлина, который «имеет контакты с усташами». (Фамилия Веезенмайера при этом не упоминалась, и о встречах с ним не было ни слова.) Был вызван для беседы представитель Розенберга Малетке. Д-р Мачек задал ему вопрос, какой окажется судьба крестьянской партии, если дело дойдет до конфликта между Берлином и Белградом, имея в виду военное столкновение. Определенного ответа Малетке не дал. После этого Мачек, впервые с 27.III.41, лично позвонил в Белград и имел беседу с Душаном Симовичем, сообщив ему о дате своего выезда из Загреба для участия в заседании кабинета.

Абдулла».

«Центр – Эрнесто.

Найдите возможность довести до сведения итальянского консула в Сплите Мамелли данные о переговорах Веезенмайера с Мачеком. Сообщите ему, что Веезенмайер, личный посланник Риббентропа, и сотрудник Розенберга доктор Малетке ведут в Загребе работу против усташей, считая тех прямыми ставленниками Муссолини.

Центр».

«Центр.

Консул Мамелли сегодня получил от меня информацию о переговорах Мачека – Веезенмайера в Загребе.

Эрнесто».

«Рим. МИД.

Лично министру Чиано.

Господин министр!

По сведениям, полученным от вполне надежных источников в Загребе, там активно работают люди Веезенмайера, дипломатического советника Риббентропа, причем, видимо, главным направлением их деятельности следует считать обработку лидера крестьянской партии Мачека, имея в виду использование этого политического деятеля в будущем, а отнюдь не патриотов усташей.

Считал бы целесообразным предпринять демарш перед Вильгельмштрассе, чтобы раз и навсегда утвердить нашу заинтересованность в будущей судьбе Хорватии, исторически и географически тяготеющей к Италии значительно больше, чем к Германии.

Сплит. 3.4.41. 19.45

Мамелли».

Чиано усмехнулся и – с картинно-драматическими, актерскими интонациями – еще раз прочитал помощнику:

– «...Хорватии, исторически и географически тяготеющей к Италии...» Быть патриотом хорошо, но зачем же закрывать глаза на факты истории? Хорваты всегда тяготели к славянскому миру, и не их вина, что им приходилось «тяготеть» к Австрии. А уж то, что в будущем Хорватия должна принадлежать Италии, в этом заслуга дуче, а никак не географии.

«Берлин. МИД.

Господину фон Риббентропу.

Мой дорогой господин министр!

Поскольку наши отношения сложились таким образом, что мы говорим открыто друг другу обо всем, порой и нелюбезно, я хотел бы, следуя этой традиции, поделиться кое-какими соображениями, тревожащими меня. В моих силах предпринять такие шаги, которые внесут искомый баланс в отношения между нами, однако по размышлении здравом я решил, что будет значительно более разумным, если необходимые действия предпримете вы, ибо «ступивший первым найдет место и для второго шага».

По моим данным, группа ваших экспертов ведет активную работу в Югославии – в свете предстоящих событий. Однако, как нам стало известно, наиболее серьезная работа проводится вашими людьми в Хорватии, которая в результате переговоров дуче и фюрера должна быть сферой итальянских интересов. К сожалению, о работе ваших советников я узнал не от германского посла в Риме, а от моих информаторов в Загребе.

Я убежден, что если вы предложите кому-либо из ваших заместителей объяснить экспертам, работающим в Загребе, все то, что обязано произойти в Хорватии в ближайшем будущем, то их работа с Мачеком принесла бы еще больше пользы, ибо она учитывала бы интересы не только Германии, но и Италии, то есть тех двух стран, традиционная дружба между которыми является основополагающим фундаментом новой Европы.

С совершенным уважением

ваш *Чиано».*

...Риббентроп вышел из-за стола и гневно взглянул на своего заместителя Вейцекера.

– Каково, а?! Этот макаронник, войска которого лупили албанцы, греки и абиссинцы, смеет писать об «основополагающем фундаменте»! Только ранимая доброта фюрера заставляет меня придерживаться рамок приличия, когда я говорю с этим красавчиком! Наверняка это итальяшки, разузнав о Веезенмайере, распустили языки о нашей работе в Хорватии, и Мачек вместо того, чтобы сидеть и ждать, в испуге ринулся в Белград! Не хватает еще, если Симович заставит его выдворить наших из Загреба и освободить из тюрем красных! Боже, спаси меня от друзей и союзников, а от врагов я уж как-нибудь сам избавлюсь!

Стоя у окна, Риббентроп прижался выпуклым лбом к стеклу («Интересно, какой у меня нос, когда я прижимаюсь им к твердой поверхности? – подумал вдруг он. – Мечта американских фоторепортеров получить такой снимок»), потом повернулся к столу и уже спокойно сказал:

– Приготовьте ответ, пожалуйста. По возможности вежливый. Я подпишу вечером.

Когда Вейцекер ушел, Риббентроп неожиданно понял, что, как это ни странно, письмо Чиано может оказаться козырем в его руках против Розенберга, который предлагал главную ставку на Мачека. Пусть человек Розенберга («Как его зовут? Какая-то странная фамилия со славянским или, скорее, судетским привкусом... Малетке? Да, Малетке») попрыгает в Загребе, а вместе с ним и Розенберг, когда фюрер будет отчитывать его за неуклюжие действия, которые могут помешать «искренней и традиционной германо-итальянской дружбе».

«Веезенмайеру.

Прекратите всяческие контакты с Мачеком – он тряпка, а не политик. Прекратите контакты и с усташами. Сосредоточьте внимание на контактах с теми членами партии Мачека, которые связаны с усташами и в будущем, если предположить примат Павелича, окажутся истинными союзниками, способными проводить на практике нашу линию, даже если эта линия будет входить в частичное противоречие с линией дуче. Не мешайте другим экспертам, присланным из рейха, проводить контакты с теми, кто их интересуется. Ваша группа должна следовать новой установке: подбор кадров для «вживания» в руководящее ядро новой Хорватии.

Хайль Гитлер!

Риббентроп».

За несколько часов до получения этой шифровки Веезенмайер изучил донесение группы Янка Зеппа и его помощников из Герцеговины и Боснии. Фохт передал Веезенмайеру все то, что его люди успели обобщить в Загребе. Рапорты Дица и Зонненброка проясняли картину еще больше, если сопоставить все эти данные с тем, что ежечасно поступало в генеральное консульство Фрейндта.

Веезенмайер еще до телеграммы Риббентропа понял, что Мачек будет оттягивать время, ожидая момента, когда ситуация до конца определится. Следовательно, ставка на Мачека, о которой говорил Розенберг, и миссия Малетке, направленного для контактов с хорватским лидером непосредственно внешнеполитическим отделом НСДАП, оказалась битой картой. Веезенмайер понял это, когда узнал о поездке Мачека в Белград, через час после беседы с Малетке.

Будь Малетке человеком Гейдриха, а он, Веезенмайер, представлял бы только МИД, штандартенфюрер долго бы еще размышлял, как ему поступить в создавшейся ситуации. Однако, поскольку Розенберг, приглашая его на беседу, ставку на усташей не отвергал категорически, решение пришло к Веезенмайеру сразу же. Шифровка Риббентропа развязала

ему руки для активных действий. С Мачеком его постигла неудача. Пусть эта неудача будет виной Малетке. Надо вовремя умыть руки. Важно, чтобы ему, Веезенмайеру, потом, по прошествии недель, месяцев, лет, не припомнили Мачека: факта встречи с хорватским лидером не скроешь, как не скроешь и его отъезда в Белград.

...Веезенмайер встретился с Малетке, пригласив его на обед.

– Я хочу проинформировать вас о новостях, – сказал он. – Со мной здесь работает несколько человек, а вы один, и только поэтому, мне кажется, данные, которыми я располагаю, в чем-то объемнее ваших.

– Дорогой Веезенмайер, это очень любезно с вашей стороны.

– Те данные, которые пришли ко мне, позволяют предположить, что только резкий нажим на Мачека может дать результаты.

– Боюсь, что вы ошибаетесь. Особенно теперь, когда он решился ехать в Белград. Мне кажется, он войдет в правительство Симовича де-факто. Он едет не для переговоров, а для сделки.

– Не убежден.

– Моя информация достаточно надежна – в этом вопросе, по крайней мере.

– Не убежден, – повторил Веезенмайер. – Думаю, он еще до конца не потерян. Проявите настойчивость. Ударьте кулаком по столу.

– А он укажет мне рукой на дверь. Нет, по-моему, надо, пока не поздно, переориентироваться на усташей.

«Ключнул, – понял Веезенмайер. – Он ключнул на Павелича. Теперь надо поточнее и подороже продать идею. Только тогда он поверит. А поверив, попрет на рожон. Давай, Малетке, загоняй меня в угол. Я буду финтить, а ты не плошай...»

– Дорогой Малетке, усташей нам не отдаст Муссолини. Я не думаю, чтобы фюрер пошел на конфликт с дуче из-за сферы влияния в Хорватии. Я имел в свое время кое-какие контакты с усташами. Павелич во все глаза смотрит на Рим. Какую помощь я или мои сотрудники можем оказать вам?

– Не знаю, как мне благодарить вас, Веезенмайер.

– Может, кто-нибудь из наших – оберштурмбанфюрер Диц, например – подготовит для вас компрометирующий материал на Мачека?

– Вряд ли это разумно, – задумчиво произнес Малетке. – Может взвиться. Все-таки он здесь пока хозяин.

– Надолго ли?

– Не важно. Во всяком случае, сейчас он может поднять шум.

– У меня есть возможности локализовать любой шум. «Бей в барабан и не бойся» – хорошо, если бы эти слова написал не Гейне, а Шиллер, но историю не исправишь. Рассчитывайте на меня во всем и приходите ко мне в любое время дня и ночи.

«Пусть продолжает биться лбом в ворота мачековского дома, – думал Веезенмайер, наблюдая за тем, как официант ставит перед Малетке вазу с мороженым «ассорти». Здесь имели привычку забывать фруктовый сорт, считая, что самое главное – это шоколадный и ванильный. – Если он провалится по всем направлениям, у меня максимальный выигрыш. Штирлиц прав, надо внедрять как можно больше наших людей с тем, чтобы при формальном господстве любого здешнего политика реальными хозяевами положения были мы».

– Мои сотрудники также в вашем распоряжении, – добавил Веезенмайер.

– Наверное, только национал-социализм отличается таким искренним товариществом, – сказал Малетке, доедая мороженое.

– Вы правы. Только поэтому мы идем от победы к победе. Еще мороженого?

– Нет, благодарю.

– Рейхслейтер ориентировал вас на борьбу за Мачека до конца? – спросил Веезенмайер.

– Да.
– Вы решили начать работу с усташами, исходя из той ситуации, которая здесь сложилась сейчас?
– Да, – ответил Малетке. – Это моя инициатива.
– Рискованно. Я опасаясь за вас. Это могут неверно понять в Берлине.
– В конце концов любая работа лучше бездействия. Но теперь, когда вы будете помогать мне, я конечно же продолжу атаку на Мачека. А ваша задача здесь?
– Общий комплекс. МИД интересуется ситуация в целом.
– Их не интересуют усташи? – рассеянно спросил Малетке.
«Клюнул, – снова отметил Веезенмайер. – У него есть свои информаторы, он знал о моих связях с Грацем. Он клюнул на усташей».
– Усташи, конечно, тоже. Если хотите, я сведу вас с их представителями.
– Такой просьбой я не вправе затруднять вас. Это я смогу в крайнем случае организовать и сам.
– Ну, какая ерунда! Я попрошу моего сотрудника Штирлица свести вас с надежными людьми.

Малетке ждал чего угодно, но только не этого. Он понимал, что в Хорватии есть две силы, на которые рейх мог бы опереться: Мачек, согласись он пойти за Берлином, и усташи, если Мачек откажется пойти за Берлином бескомпромиссно и слепо. То, что Веезенмайер настойчиво советовал продолжать работу с Мачеком, было понятно Малетке – тот ставил под удар конкурента. Но то, что Веезенмайер согласен отдать ему и вторую возможную силу, этого Малетке не ожидал и поэтому за кофе, которое подали после мороженого, смотрел на Веезенмайера потеплевшими глазами, только сейчас заметив, какое открытое и благородное лицо у его товарища по совместной борьбе за идеалы национал-социализма.

– Где Штирлиц? – спросил Веезенмайер Фохта, проводив Малетке. – Он мне срочно нужен.
– На встрече. По-моему, вне Загреба.
– Кто разрешил ему покидать Загреб?
– Указание из Берлина.
– От кого?
– От Гейдриха.
– У него есть высокий покровитель, у этого Штирлица, не правда ли, Фохт? Сразу же, как вернется, ко мне! И не один, а с полковником Везичем. Хорошо, если Штирлиц будет у меня к пяти часам, а не к ужину, как мы уговаривались.

...Выжимая максимум мощности из мотора консульского «мерседеса», Штирлиц гнал из Сараево в Загреб, понимая, что на встречу с Везичем он опоздал и что в городе за время его отсутствия могло случиться такое, к чему он не был готов. И надо будет начинать все сызнова, и это **новое** будет развиваться по законам иного темпа, в иных параметрах; словом, это будет уже совсем другое, и к нему предстоит подстраиваться, а не подгонять его, как девять часов назад в Загребе, под свой ритм и замысел.

Не отрываясь взглядом от крутого серпантина дороги, Штирлиц думал о том, что всякого рода пересеченность взаимосвязанных случайностей влияет на человеческие судьбы, а порой и на судьбы государств таким образом, что нет-нет да и появляется вновь гипотеза о заданной изначальности земного бытия, о существовании некоего фатума, говоря иначе, рока, определяющего все и вся на планете, включая тайну рождения личности и закономерность гибели ее в то или иное мгновение, угодное некоей раз и навсегда составленной программе.

Если принять эту гипотезу безоговорочно, то, видимо, страдания **личностей** могли быть уменьшены, а то и вовсе сведены к минимуму: вопрос здесь во времени, ибо если

воспитатели человечества взяли бы гипотезу за истину и посвятили пару столетий ее канонизации, тогда всякая боль, обида, гнев, ревность, несправедливость, бедность, смерть друга, голод детей принимались бы людьми как необходимость, сопутствующая развитию, противиться которой, а уж тем более бороться с ней – занятие пустое и смехотворное.

История человеческих верований, к счастью, оказалась неподвластной развитию религий, материализованных как в личностях святых, которые несли свой крест, так и в именах отцов церкви, считавших страдание проявлением божественного начала в человеке и посему с легкостью отправлявших на костры и в темницы всех тех, кто мыслил инако, кто хотел считать **мир** своей собственностью, а **знание** той счастливой отличительной особенностью, которая позволила человеку приручить коня и добыть огонь.

Наивно утверждать абсолютный примат добра или зла, существующих на земле, считал Штирлиц. Развитие – это постоянная борьба двух этих начал, будь то старое или новое, доброе или злое, умное или глупое: дурак не поумнеет, старик не сделается юношей, а кроткий ангел не превратится в палача.

Видимо, лишь точное определение человеком своего истинного места в этом постоянном противоборстве может – в конечном итоге – объяснить и оправдать смысл его существования.

Если отказаться от заманчивой, успокоительной и расслабляющей гипотезы, позволяющей считать прогресс запрограммированной системой взаимодействия случайностей, и остановиться на том, что развитие – есть форма борьбы противоположностей, тогда поступки человека, направленные на защиту идей, служению которым он себя посвятил, обретают совершенно иной смысл и даже частный проигрыш так или иначе обернется конечным выигрышем, поскольку суммарное значение **поступков добра** рано или поздно обретет смысл **качественного** абсолюта в извечном сражении с **поступками зла**.

Выбирая свой путь, Штирлиц – тогда и не Штирлиц вовсе, и не Исаев, и не Юстас, а Всеволод Владимиров – определил своим главным врагом венценосную дикость и жандармское варварство. Он не закрывал глаза на то негативное, с чем столкнулся, отдав себя делу революции. Он холодел от гнева, когда узнавал, что красногвардейцы спалили библиотеку или вырезали на портянки холсты из рамы (а это был Серов). Но он допрашивал тихих, аккуратно отвечавших прокуроров и шумливых, истеричных, готовых на все финансистов, он вслушивался в их разумные слова о жестокостях, которые чинят сейчас красные, и готов был во многом согласиться с доводами арестованных. Но он вспоминал подобных им, он помнил их слова и деяния пять, восемь, десять, сорок лет тому назад, когда они выводили на улицы погромщиков из союза Михаила Архангела, когда они – или с их открытого согласия, что в общем-то одно и то же – «во имя отца и сына» вкупе со святым духом гноили в рavelинах Чернышевского, вешали Перовскую и Кибальчича, ссылали на каторгу Фрунзе, расстреливали лейтенанта Шмидта, убивали Баумана, травили Толстого, держали в камере Горького, глумились над Засулич, лгали народу, уверяя, что в его горестях и тяготах виноваты лишь «социалисты, студенты и жидаы», когда они штыками охраняли ценз общественного неравенства, опасаясь потерять хоть самую малость из того, что принадлежало им, когда они спокойно мирились с вопиющими несправедливостями, потому что эти несправедливости не затрагивали их самих и членов их клана. Тогда Всеволод Владимиров находил объяснение яростному гневу мужика и, не собираясь амнистировать жестокость, ощущал вину нынешних его врагов куда как более страшной, а потому и не было в нем изнуряющего постоянного двузначия, когда человек днем служит делу, а ночью подвергает правоту этой своей службы мучительному сомнению.

Он был убежден, что после победы над контрреволюцией в стране должна восторжествовать **культура**; он считал, что жестокость должна исчезнуть сразу же, как

только культура придет в новое общество. Не в обличье прекрасной дамы, но в образе справедливого Высокого судии, не прощающего варварства – по вечному закону, по закону Добра.

Штирлиц получал все новые и новые вопросы из Центра: «Военный потенциал Гитлера?», «Попытки контактов с Лондоном против Москвы?», «Новые виды вооружения?», «Нацистская агентура, забрасываемая в СССР?». Как никто другой, он видел постоянную и тщательную работу, которая проводилась национал-социалистами против его родины; он ощущал постоянную атмосферу ненависти, которую питали к его стране в рейхе, он ощущал ее и до августа тридцать девятого года, и позже, когда Молотов улыбался фоторепортерам, галантно поддерживая под руку Риббентропа.

Из массы информации, которую Штирлиц ежедневно и ежечасно получал, он, находясь в средоточии событий кардинально разностных, считал своим долгом обнажать главное существо проблемы. Оно, это главное, заключалось в том, чтобы любыми доступными ему способами помогать крушению гитлеризма, оставаясь при этом человеком в черной форме с эмблемой СС на рукаве и на кокарде фуражки. Он знал о гитлеризме все, и не снаружи, а изнутри, как функционер, посвященный в практику ежедневной работы громадной машины подавления личности во имя нации и подавления нации во имя торжества «арийской идеи».

Однако это его абсолютное знание «предмета» играло с ним злую шутку: он приносил делу революции, которому посвятил себя, сугубо ограниченную, номинальную, как он считал, пользу. Штирлиц часто вспоминал великую истину, открытую ему в Шанхае его добрым другом учителем седьмой гимназии Чжу Го. Тот говорил, что высший смысл философии в том, чтобы человек верно познал предметы, окружающие его, ибо только в случае верного познания предмета он сможет организовать эти разрозненные сведения в единое знание. Если знание широко и разносторонне, тогда оно превращается в истину. Приближение к истине позволяет человеку найти верное поведение в жизни. Бумеранг, запущенный человеком, совершает в своем полете некий эллипс: через познание к знанию, от знания – к истине, от истины – к совершенству; и лишь потом возвращается обратно, возмещая сторицей напряжение, затраченное на его запуск.

Познав «истину» национал-социализма, Штирлиц терзался мыслью, что шифровки, которые он отправлял домой в ответ на запросы Центра, лишь малая толика того, что он мог дать. Он не ждал вопросов, он настаивал, просил, требовал, взывал к постоянной готовности.

Но когда он писал в Центр, что англичане ищут контактов с Москвой не для того лишь, чтобы столкнуть лбами Кремль с Берлином (хотя и такая возможность не исключена), когда он сообщал, что сорок первый год будет годом войны Гитлера против Советского Союза, когда он не просто говорил, а доказывал, не просто доказывал, а кричал, и крик его был (втиснутый в таблички с отрешенно спокойными строчками кода) о том, что эта весна должна стать порой налаживания надежных контактов со всеми, кто уже борется против Гитлера, и когда он не получал ответа на свои шифровки, отчаяние овладевало им, и много сил приходилось тратить на то, чтобы утром появляться на Принцальбрехтштрассе таким, каким он уходил вчера – ироничным и спокойным.

Сейчас здесь, в Югославии, когда он услышал на аэродроме в Загребе славянскую речь, когда ему сказали «извольте», протягивая билет, и когда к нему обратились «молим вас», а официант, поставив перед ним кофе, пожелал «приятно!» и он вынужден был **сделать** непонимающее лицо, хотя отлично, до горькой радости понял давний, кирилло-мефодиевский смысл этих слов, и когда он сидел в кафе и в холле отеля и понимал окружавших его людей, говоривших на одном с ним языке – на славянском, – он ощущал в себе новую силу и новую решимость: он боролся сейчас за частицу того мира, культура которого воспитала его. И хотя он считал, что развитие человеческой истории имеет не столько географическую, сколько социальную направленность и принадлежит всему миру, тем не менее история планеты прежде всего проявляется в истории тех или иных народов.

Только потому история и смогла остаться наукой, ибо предмет исследования был конкретно обозначен. А история его народа была дорога ему особенно, и винить он себя в этом не мог, и казнить за национализм не имел оснований, ибо главная его идея отвергала примат национальной принадлежности, выдвинув на первый план примат принадлежности социальной, то есть классовой...

Сейчас, находясь в Югославии, Штирлиц явственно увидел реальное начало борьбы братского народа против Гитлера, поэтому был он особенно собран и постоянно ощущал продольные мышцы спины, которые напряжены, как при драке. Это ощущение собранности было радостным, и он знал: как бы трудно и сложно ему ни пришлось, он обязан выстоять. Вот поэтому-то Штирлиц и возвращался в Загреб так спокойно, хотя и выжимал максимальную скорость из «мерседеса», и машину свистяще заносило на крутых поворотах, и ждал его в «Эспланаде» Веезенмайер, и пропустил он все сроки для встреч с Родыгиным и Везичем. Тем не менее он не испытывал страха или неуверенности, наоборот, он поджался, как боксер перед ударом, он верил в свою победу, ибо ощущал себя частицей Добра в его тяжелой и долгой схватке со Злом...

Видимо, уверенное желание победы Добра над Злом есть импульс особого рода, непознанный и необъяснимый до сих пор наукой. Начатая политическая акция, импульсом которой была шифровка Штирлица о противоречиях между рейхом и Римом, развивалась в неожиданных и странных параметрах. В данном случае категория случайного выполняла функции обязательного. Именно так получилось в те часы, когда Штирлиц гнал консульский «мерседес» через вечернее Яйце и засыпавшую Баня-Луку в Загреб. И, что самое парадоксальное, невольными союзниками сил Добра оказались две главные силы Зла, существовавшие в тот конкретный исторический момент в мире, – Гитлер и Муссолини.

«Фюрер!

Чиано сообщил мне, что его обращение к рейхсминистру иностранных дел по поводу ситуации, сложившейся ныне в Хорватии, осталось, по существу, незамеченным Риббентропом. Тот ответ, который он прислал Чиано, весьма расплывчат и подобен тем меморандумам, которые он отправляет третьим странам. По-моему, наша с Вами договоренность о разграничении сфер влияния была абсолютно определена: Сербия становится территорией, оккупированной рейхом, районы Любляны и Марибора, как исконные немецкие земли, присоединяются к рейху, в то время как Далмация, являясь традиционно итальянской территорией, становится частью державы, воссоединяясь со своей родиной, а Хорватское независимое государство образуется как некий буферный национальный инструмент, позволяющий осуществлять с его помощью контроль как за Сербией, так и за территориями, прилегающими к Боснии и Герцеговине.

Однако, по моим сведениям, группа штандартенфюрера СС Веезенмайера, работающая в Загребе, проводит политику, прямо противоположную нашей с Вами договоренности. Веезенмайер и его группа не только не консультируют свою деятельность с нашими представителями, но, наоборот, всячески подчеркивают, что работа в Хорватии является прерогативой германской стороны и никоим образом не касается итальянского союзника. Я вспоминаю великого Гельвеция: «Всякий дружеский союз, если он не основан на соображениях приличия, на любви, покровительстве, скупости, честолюбии или другом подобном побуждении, предполагает всегда у двух людей какое-нибудь сродство идей или чувств, а это именно создало пословицу: «Скажи мне, с кем ты близок, и я скажу, кто ты!» Я готов сказать – в кругу друзей или под пыткой палача, – что идеи фюрера близки мне и сродни моим идеям. Я убежден в том, что и Вы, фюрер, можете с полным правом повторить те же слова обо мне и движении, которым я имею высокую честь руководить. Я понимаю, что людьми типа Веезенмайера движет не корысть и не

жажда славы, а лишь гипертрофированное желание не просто выполнить долг, но «перевыполнить» его. Я отдаю себе отчет в том, что человек Вашего масштаба не может держать в памяти все те узлы, из которых будет соткано платье для Новой Европы. Я хотел бы, чтобы Вы объяснили Риббентропу, к которому я отношусь с истинным уважением, как к смелому и честному политику, что – обращаясь к мудрому Гвиччардини – «исполнение долга дает человеку славу, польза от которой больше, чем вред от возможного врага». Я прошу Вас дать указание соответствующим службам рейха, проинформировать Чиано о принятых решениях.

С истинным уважением
Бенито Муссолини,
дуче Италии, вождь фашизма».

«Дуче !

Я сел за это письмо поздно ночью, после того, как аппарат канцелярии приготовил для меня документы, основываясь на которых я могу ответить Вам с той обстоятельностью и предельной искренностью, которая отличала и, я убежден, будет всегда отличать отношения между нами.

Я пишу это письмо, слушая тревожную ночную тишину. Я не знаю, кто кого вводит в заблуждение. Тяжкий удел вождей – доверять людям, их окружающим, но у меня сложилось впечатление, что в данном случае вводят в заблуждение Вас, поскольку миссия Веезенмайера в Загребе имеет одну лишь задачу – всеми силами способствовать созданию Хорватского государства, которое бы осуществляло, как Вы верно заметили, роль «буферного национального инструмента», сориентированного во внешней и во внутренней политике наподобие наших режимов, построенных на безусловном примате личности. В этом смысле я полностью согласен с Вами, что лидером Хорватии, ее вождем должен быть провозглашен Анте Павелич, а его усташи должны создать формирования, подобные гвардии «черных рубашек» у Вас и охранных отрядов партии, иначе говоря СС, у нас.

Поверьте, мой дорогой дуче, речь не шла и не идет о том, чтобы проводить в Хорватии особую, «немецкую» линию; речь идет о том, чтобы возможно мобильней и оперативней решить все вопросы, которые могут возникнуть перед началом «Операции-25». Речь идет о том, чтобы обеспечить вражеский тыл надежными людьми, нашей «пятой колонной», которая встретит армии Германии (они войдут в свои словенские земли и оккупируют сербские земли) и Италии (они присоединят по праву принадлежащие им земли Далмации) цветами, а не очередями из автоматов. Только в этом смысл и задача деятельности третьеразрядного чиновника министерства иностранных дел Веезенмайера, только в этом и ни в чем другом. Ни о каких попытках создать в Хорватии движение, отвечающее германским интересам, движение, которое игнорировало бы роль Италии в южнославянском вопросе, не могло и не может быть речи.

Однако, по словам моих сотрудников, если сейчас начать координацию деятельности Веезенмайера с Вашими соответствующими службами, мы можем потерять самое драгоценное и невозполнимое в дни, предшествующие кампании, – время. Поэтому прошу Вас поверить мне, что все, скрепленное нашими подписями, свято для меня. Поэтому у Вас не должно быть ни грана беспокойства по поводу интересов Вашей великой нации и Вашего великого общенационального движения фашизма. Я хочу закончить мое письмо словами китайского мудреца Конфуция. Он утверждал, что «полезных друзей три и вредных три. Полезные друзья – это друг прямой, друг искренний и друг, много слышавший. Вредные друзья – это друг лицемерный, друг льстивый и друг болтливый». Провидение оградило нас от последних трех «друзей». Мы были и будем вместе. Наши задачи едины.

Я шлю Вам самые горячие приветия.
Искренне Ваш
Адольф Гитлер,

Разнос, который получил рейхсминистр иностранных дел от фюрера за неумение конспирировать работу, за головотяпство и отсутствие должной бдительности, был в еще более резкой форме обрушен Риббентропом на Веезенмайера. В своей новой шифровке он отвергал самого себя. Он приказал прервать все отношения как с мачековцами, так и с усташами Павелича. Он приказал сосредоточить работу на военных аспектах проблемы. «Не лезьте в сферу высокой политики. Знайте свое место. Я не Юпитер, но вы тем не менее играете роль быка. Впредь я приказываю вам выполнять лишь то, что предписано!» Риббентроп потребовал от Веезенмайера немедленного контакта с итальянским консулом в Загребе для личного объяснения и налаживания обмена информацией.

Проклиная все и вся, Веезенмайер отправился в итальянское консульство, но там ему сказали, что сеньор Гобби выехал на границу и должен ночевать в Фиуме, принимая паром с теми итальянскими гражданами, которые сегодня покинули Югославию.

Веезенмайер приказал приготовить ему машину, чтобы срочно выехать в Фиуме, договорившись предварительно с ведомством бана Шубашича о беспрепятственном пересечении границы в ту и другую сторону.

Таким образом, ужин с Везичем, которого он ждал, встреча с Евгеном Грацем и с доктором Нусичем, беседа с Марианом Доланским, которого Веезенмайер мнил будущим начальником генштаба хорватской армии, не интересовали его более.

Уже спускаясь в автомобиль, он сказал Фохту:

– Все наши наиболее явные контакты порвите; компрометирующие изолируйте.

В машине, прежде чем сказать шоферу, по какой дороге ехать к итальянской границе, Веезенмайер в мгновенном озарении увидел себя и свою роль в «хорватском вопросе», и злость, которая охватила его после того, как он прочитал последнюю шифровку Риббентропа, сменилась страхом: на него теперь можно свалить ответственность за все, что бы здесь ни случилось. А случиться может всякое: славяне ведь, с ними черт должен в прятки играть, а не ариец с его логикой.

Нет, он не имеет права обижаться на Риббентропа, который не захотел принять Хорватию из его, Веезенмайера, рук. В политике вообще нельзя обижаться, это чревато гибелью или позором. Политика – это спорт, состязание, схватка. Только если победившего бегуна или тяжеловеса награждают медалью, а проигравшего перестают замечать, то в политике проигравший обязан исчезнуть, целесообразнее причем его полное, физическое исчезновение. А он не хочет исчезать! Он не хочет отвечать за ошибки других! Он хочет жить и ощущать свое «я»! И он должен сражаться за это до конца, до победы!

– Поезжайте в Надбискупский двор¹⁷, – внезапно приказал Веезенмайер. – И подождите меня где-нибудь неподалеку. Поднимитесь вверх по Каптолу и сверните потом на Опатичку. Я вас там найду. На площади не стойте, не надо.

Хотя Мачек дал гарантию, что группа Веезенмайера будет работать в полной безопасности и никаких инцидентов здесь – в отличие от Белграда – быть не может, тем не менее Веезенмайер всегда и всюду следовал правилу: «Не надо искушать судьбу даже в мелочах, **ибо главное** предопределено роком и против этого **главного** нет смысла восставать. Дипломат и разведчик может быть повергнут, но даже при этом он не имеет права быть смешным, если мечтает вновь подняться».

Веезенмайер дождался, пока «майбах» скрылся за стеной, окружавшей скромную обитель загребского архиепископа Алойза Степинаца, и нажал массивную кованую ручку.

¹⁷ Резиденция загребского архиепископа.

Дверь подалась легко и без скрипа, хотя он ждал, что раздастся тяжелый длинный металлический визг, как это обычно бывало в фильмах, посвященных средневековью.

Навстречу ему шагнул невысокий юноша в черном.

– Добрый вечер, – сказал Веезенмайер, – мне бы хотелось увидеть отца Алойза.

– Отец Алойз не сможет принять вас в такое позднее время. Если вам нужно исповедаться, я готов пройти с вами в собор...

– Благодарю вас, но я так много грешил, что исповедь моя займет всю ночь. А я должен быть через четыре часа в Фиуме. Пожалуйста, доложите отцу Алойзу, что об аудиенции просит Веезенмайер, советник министра иностранных дел Германии.

Юноша внимательно осмотрел ладную фигуру Веезенмайера, его сильное красивое лицо и, чуть склонив голову, сказал:

– Хорошо. Я доложу. Прошу вас, присядьте.

Юноша ушел неслышно; Веезенмайер сел на жесткий диван и ощутил сладкий запах ладана, давно забытый им торжественный и прекрасный запах первого причастия. Он закрыл глаза и вспомнил мать, которая после того, как он вступил в нацистскую партию, смотрела на него отчужденно и горестно.

«Вся наша семья была верна церкви, – говорила она, – а ты примкнул к тем, кто поверил в нового «бога», отверг бога истинного. Я бы простила Гитлеру его дурной немецкий язык, его невоспитанность и напыщенный истеризм, Эдмунд, но я не могу простить ему арестов тех служителей Христа, которые отказались стать пророками Адольфа».

Веезенмайер пытался объяснять матери, что это все временно и преходяще; он говорил, что это издержки молодого движения, которое, несмотря на аресты священников, не отринут Ватиканом; он пытался убедить ее, что высказывания нацистов против Христа необходимы, чтобы сплотить нацию вокруг нового мессии, вокруг великого фюрера, думающего не обо всех землянах, но лишь о несчастных немцах.

«Так нельзя, – ответила тогда мать, – нельзя желать блага одним за счет страданий других, Эдмунд. Это никому и никогда не принесет успеха. Ты стал на путь порока и зла, и я не даю тебе моего материнского благословения...»

– Отец Алойз приглашает вас, – тихо сказал юноша, и Веезенмайер вздрогнул, услышав его голос, потому что молодой священник вошел неслышно и стоял в дверях – в черной своей сутане – как знамение давно ушедшего детства и невозвратимой юности, когда не было для него большего счастья, чем пойти с «мутти» в храм рано утром и сладостно внимать органу, и слушать гулкие слова в торжественно высоком зале, стены которого так надежно защищают от всех мирских обид и страхов...

– Здравствуйте, отец Алойз, – сказал Веезенмайер, – я благодарен вам за то, что вы...

– Садитесь, – перебил Степинац. – Нет, нет, в это кресло, оно для гостей и не так жестко, как остальные.

Лицо Степинаца было продолговатым, моложавым, аскетичным, и его серые глаза казались на этом лице чужими, так они были живы и быстры, несмотря на их кажущуюся холодность.

Степинац по складу характера был мирянином, поначалу сан тяготил его, в детстве он мечтал о карьере военного. В Ватикане о нем чаще говорили как о политике и дипломате, считая надбискупа человеком – по своей духовной структуре – светским. Полемист, актер, оратор, он рвался к активной деятельности, и его умение подстраиваться к собеседнику, а если он имел дело с человеком непонятным ему, навязывать свою манеру общения казалось Ватикану недостатком, принижавшим дух мирской суетой.

– Отец Алойз, я пришел к вам, движимый одним лишь желаньем...

– Так не бывает, – снова перебил его Степинац. – Единичность желания – удел апостолов и святых; вы человек мира, вам свойственны неохватность и множественность: в желаниях, помыслах, проектах.

– Моя мать хотела, чтобы я стал служителем церкви.

– Вы бы преуспели на ниве служения господу.

– Да? Почему? – удивился Веезенмайер столь уверенному ответу.

– Вы настойчивы и умеете служить тому, во что веруете.

– Святая церковь ведет досье на тех, кто служит в миру?

– Иначе бы светский мир давным-давно подавил мир церковный.

– Вряд ли. Светский мир не может справиться со страстями человеческими, которые пагубны, мелки и изменны. Страсти человеческие смиряет лишь святая церковь, и с этим нельзя спорить.

– Значит, церковь вас интересует как инструмент смирения? Вы отводите ей роль духовного жандарма?

– А вас разве не интересует мощь светской власти, которая своим могуществом ограждает храмы от безбожников?

– Кого вы имеете в виду?

– Я имею в виду Россию, которая открыто провозгласила борьбу против святой церкви.

– Но ведь и Берлин выступает против догматов моей веры и против ее служителей.

– Это не совсем так, отец Алойз. Это не совсем так. Берлин выступает против тех, кто не скрывал своей враждебности идеям фюрера, то есть, – быстро, словно опасаясь, что Степинац снова перебьет его, продолжал Веезенмайер, – идеям, которые овладели сейчас всей нацией германцев.

– Как вы понимаете, меня интересует судьба моей нации. А моя нация свято следует вере Христа и его земного помазанника папы римского.

– Вы имеете в виду хорватов?

– Почему же? Я имею в виду всех людей, населяющих несчастную Югославию. Многие из них вынуждены были принять православие, и это не столько вина сербов, сколько их трагедия.

– Вот видите, – сказал Веезенмайер, сразу же поняв дальнюю мысль епископа, – значит, вам потребуется сильная светская власть, которая гарантирует возвращение блудных сынов, вынужденных принять православие, в лоно святого католицизма.

– Времена Лойолы, увы, прошли, да и сам этот гений так страстно подвергался мирскому остракизму, что практика его бесед не в моде ныне. Поэтому давайте говорить конкретно, поскольку препозиции сторон предельно ясны.

– Меня устраивает ваше предложение. Я готов говорить конкретно, – согласился Веезенмайер.

– Какие гарантии вы можете дать, что моих соратников не постигнет та же участь, что и наших братьев в Германии?

– Тиссо.

– Что?

– Фамилия епископа Тиссо вам знакома?

– Я не сразу понял вас, вы слишком резко ломаете логику беседы. Я хорошо знаю Тиссо. Я встречался с ним в Ватикане.

– Я помог Тиссо стать главой его нации, отец Алойз. Снесите с ним, и вы получите исчерпывающую информацию. То, что происходит в рейхе, наше внутреннее дело, и никому не дано судить нас: третейский суд – изобретение иудеев, распявших Христа. Однако вне рейха мы готовы не просто сотрудничать, но и поддерживать тех отцов церкви, которые прежде всего думают о судьбе своей нации, о судьбе своей паствы...

– Ваши предложения?

Веезенмайер достал портсигар и тут же – несколько даже испуганно – спрятал его в карман. Степинац заметил этот испуг в глазах Веезенмайера, и лицо его смягчилось.

– Вы ставите вопросы как политик, отец Алойз.

– Но я же говорю с политиком.

– Вы говорите с дипломатом. Дипломаты взрыхляют почву, а уж семена бросают политики.

– Мне казалось, что почву взрыхляют разведчики, семена бросают дипломаты, а плоды пожинают политики.

– Отец Алойз, смени вы служение делу господу на служение делам мирским, вы стали бы лидером будущей Хорватии.

– Разве можно сравнить меры значимости светской и духовной?

– Можно, – уверенно ответил Веезенмайер, – можно, отец Алойз. В наше время светское лидерство хочет быть – и сплошь и рядом становится – единственным владыкой не только над телами, но и над душами подданных. И это может случиться здесь. В Загребе. В самое ближайшее время.

– Война начнется шестого?

Чуть поколебавшись, Веезенмайер ответил:

– Да.

– Кто же станет светским лидером новой Хорватии? Павелич?

– Может быть.

– Павелич, – повторил Степинац. – Больше никому. И потом этот пост ему уже сулил дуче.

«Вот почему Риббентроп бьется задом об асфальт, – понял Веезенмайер. – Поп получил информацию из Италии, в этом разгадка ярости Риббентропа. Те пронюхали о моей миссии».

– Вот видите, – продолжил Веезенмайер, давая понять, что ему известен не только сам факт, но и подробности, – вот видите, отец Алойз. А Павелич – не тот человек, который захочет делить лидерство с кем бы то ни было.

– «Разделяй и властвуй»? – задумчиво произнес Степинац. – Вы решили следовать заповеди нашего духовного отца? Что ж, если у меня возникнут какие-то сложности, я не премину обратиться к вам за дружеским советом.

– Я не вправе давать вам какие бы то ни было советы, отец Алойз. Давайте уговоримся, если у вас возникнут любые трудности, самые, казалось бы, пустяковые, вы потребуете от нас помощи. И помощь будет оказана вам немедленная и всесторонняя.

– Вы вправе заключить со мной такой договор?

– Да.

– Кто вас уполномочил на это?

– Фюрер.

Веезенмайер лгал, но он понял, что иначе ответить нельзя. Он чувствовал, он ощущал всем существом своим, что сейчас может завоевать победу, оборачивая поражение Риббентропа своим, Веезенмайера, триумфом. Фюрера не интересуют мелочи, связанные с возней дипломатов и разведчиков. Его интересует главный вопрос: как в Хорватии встретят армию? Армию встретит Степинац. Он благословит приход тех, кто гарантирует возвращение в лоно католичества всех заблудших сынов Христовых, проданных в православную дикость.

– Ну что ж, – сказал Степинац, – я рад, что имел возможность поговорить с вами. Меня, впрочем, удивляло то, что вы, уделяя так много часов беседам с Мачеком, Шубашичем и людьми Анте, не нашли возможным повидаться со мной. Я понимаю, почему вы пришли сейчас.

– В таком случае позвольте договорить всю правду.

- Пожалуйста.
- Я бы очень хотел, чтобы лично вы приветствовали молебном вход германских войск в Загреб.
- Этот акт не вызовет трений между Берлином и Римом?
- Если бы этого акта не было, тогда, бесспорно, я могу допустить возможность определенного рода трений. Я могу допустить также возможность нажима со стороны новой светской власти на епископство. Однако, если с самого начала будут поставлены точки над «і», Риму придется принять случившееся, ибо за вами, отец Алойз, будут две силы: Ватикан и Берлин. Две силы всегда лучше, чем одна, не так ли?
- Ваши войска будут стоять в Хорватии?
- В той или иной форме – да.
- Ваши войска смогут гарантировать безопасность отцов церкви от злодейства сербских фанатиков?
- Мы окажем вам любую помощь, отец Алойз.
- У вас есть еще какие-нибудь вопросы?
- Я хочу поблагодарить вас за любезное согласие принять ме...
- Спокойной ночи, – и Степинац первым поднялся с жесткого кресла, – желаю вам доброго пути и всяческих благ.

Вернувшись в генеральное консульство, Веезенмайер, не ответив на недоуменный взгляд Фрейндта, быстро, чуть не бегом, поднялся к шифровальщикам и продиктовал телеграмму в Берлин.

*«Рейхсканцелярия.
Экономическому советнику фюрера
Вильгельму Кепнеру.
Строго секретно.
Вручить лично.
Обергруппенфюрер!*

Я рад сообщить Вам, что мои переговоры с архиепископом Хорватии Алойзом Степинацем закончились нашей полной победой. Степинац, будучи информирован папским двором о переписке, которая имела место между фюрером и дуче, зная, видимо, что фюрер признал Хорватию сферой итальянских интересов, согласился в своей повседневной деятельности ориентироваться на нас, став, таким образом, второй силой Хорватии, а по влиянию традиционного католицизма первой силой нации, неподвластной Муссолини. Я бы просил Вас доложить об этой победе германской стратегии великому фюреру германской нации, поскольку уже после завершения переговоров со Степинацем, который дал согласие лично встретить немецкие войска в Загребе, подчеркнув, таким образом, роль истинных победителей в предстоящей кампании, я получил телеграмму от рейхсминистра, в которой содержится требование прервать все мои контакты в Хорватии, учитывая договоренность между фюрером и дуче. Я думаю, однако, что Вы найдете в лице рейхслейтера Розенберга и обергруппенфюрера Гейдриха союзников, которые также будут проинформированы мною о проделанной работе. Я бы мечтал о том, чтобы фюрер поддержал мою деятельность и защитил меня перед рейхсминистром, который – опасаясь – может быть раздосадован фактом этих несанкционированных им переговоров. Зная Вашу постоянную ко мне доброту, ощущая Вашу постоянную, невидимую, но могучую поддержку, я бы просил почтительного разрешения и впредь верить, что вся моя работа, отданная идеям великого фюрера, будет находить Ваше понимание и поддержку.

*Хайль Гитлер!
Искренне Ваш*

Отправив две короткие шифровки Гейдриху и Розенбергу, Веезенмайер уехал наконец в Фиуме исполнять предписание МИДа, понимая, что главную партию он выиграл неожиданно быстро и что все его прежние кажущиеся победы и поражения на самом-то деле были лишь подступами к главному триумфу.

«Чем глубже прыжок в зеленую жуть морской пучины, – думал Веезенмайер, удобнее устраиваясь в углу большого «майбаха», – тем сладостнее миг, когда ты поднялся к небу, и вдохнул полной грудью воздух, и увидел солнце в синих и вечных небесах. Сейчас я увидел солнце. Сейчас можно закрыть глаза и вздремнуть, и пусть мне во сне приснится матушка, добрая моя и нежная мамми».

18. МАЛОДУШИЕ ЛЕЖАТЬ, КОГДА МОЖЕШЬ ПОДНЯТЬСЯ

Наутро Везич пообещал Ладе купить билеты на самолет в Швейцарию. Он дал ей слово, что не предпримет ни одного шага, который бы грозил не ему уже теперь, а им двоим. Однако он не мог до конца честно выполнить своего обещания и послать к черту этот бедлам, который именовался королевской Югославией, забыть ужас, который пришлось ему пережить в эти дни (а что может быть страшнее ужаса бессилия для натуры деятельной, способной четко и быстро мыслить). Желание уехать с Ладой существовало в нем неразделимо с желанием сделать то, что он мог и обязан был сделать перед лицом своей совести.

Он понимал, что, не сделай он того, что предписывал ему долг, счастьем их будет постоянно грозить душевное терзание: «Ты мог, и ты не стал, и этим своим «не стал» обрел на мучительную гибель десятки, а то и сотни людей». Любовь, возросшая на смерти; счастье, построенное на предательстве; искренность, рожденная на измене, невозможны, как невозможно солнце в ночи.

Бросив машину на Власке, под Каптолом, Везич прошел через шумный, безмятежный, веселый, песенный Долаз, где женщины в бело-красном и мужчины в красно-черном крикливо продавали поделки из дерева, гусли, шерстяные расшитые наплечные чабанские сумки, старые ботинки, запонки, брюки, ручной работы сербские опанки – кожаные туфельки с резко загнутыми носами, серебряные кольца, позолоченные браслеты, привезенные из Далмации, толстые вязаные носки из Любляны; салат, макароны, фасоль, живую рыбу на льду; и оказался в темной маленькой улочке. Тишина этой некогда оживленной торговой улицы испугала его: в витринах было пусто, двери магазинов открыты, на полу шелестели бумаги, видимо, дома были брошены владельцами сегодняшней ночью.

Здесь, в центре старого Загреба, среди ссудных контор, дорогих ателье и ювелирных магазинов чудом затесалась парикмахерская Янко Вайсфельда. Везич любил приходить к нему стричься. Он слушал болтовню старика, исподволь советуясь с ним, не впрямую, естественно, а лишь задавая вопросы, ответы на которые помогали ему по-своему думать о замысленных им делах.

Он и сейчас хотел посидеть у Вайсфельда и попросить старика причесать его как можно тщательнее, сделать массаж, чтобы выглядел он ухоженным, и пока старик, хищно поигрывая золингенской бритвой, будет скоблить его щеки, он соберется, расслабившись поначалу, а потом появится среди своих коллег таким, каким его обычно привыкли видеть. Он не мог теперь не появиться в управлении, поскольку Родыгин сказал ему о Кершовани и Цесарце, которых арестовали. В былые времена он гордился этими своими противниками, учился у них методу мышления, и сейчас – он твердо был убежден в этом – место им в газетах, на митингах, в университете, но никак не в темнице.

«В газетах, – усмехнулся он, вспомнив «Утрени лист», «Хорватский дневник» и «Обзор». – Газеты печатают слащавые романы с продолжением о «чистой любви», сообщают о выставке новых мод из Виши, передают сплетни о том, что сейчас носят американские миллионеры, и ни слова о том, что нас ждет, ни слова...»

Шагая по пустой, тихой, узкой – раскинь руки, упрешься в стены противостоящих друг другу домов – улочке, Везич думал, что зря он пришел сюда, что Янка Вайсфельда тоже, наверное, уже нет, как и всех почти его соплеменников, но он ошибся: старик стоял на пороге парикмахерской и сосредоточенно курил сигарету, внимательно наблюдая за тем, как огонь медленно, сжимающимся черно-красным ободком пожирал бумагу и табак, превращая их в серый пепел.

– Шолом! – сказал Везич.

– Хайль Гитлер, – отозвался тот.

– Побреемся?

– Первый клиент за два дня. Извольте садиться, господин полковник.

Везич сел в кресло; Янко, взмахнув голубоватой простыней над его головой, ловко укрыл его полковника, заметив:

– Все парикмахеры пользуются белыми простынками, а мне белый цвет напоминает саван, и поэтому я прошу Фиру подсинять простыни.

– Что у вас тут случилось?

– Исход, – пожал плечами Вайсфельд. – Разве не ясно?

– А в чем дело?

– Не надо мне делать глазами, полковник. Не надо. Я старый еврей с головой на плечах. Уж кому как не вам должно быть известно, что шестого апреля сюда прыгнут парашютисты Адольфа.

– Это точные сведения? – улыбнулся Везич.

– Это точные сведения. Иначе бы евреев никто не заставил давиться в сплитском порту, чтобы бежать в Испанию или Америку.

– А почему вы не в сплитском порту?

Вайсфельд быстро намылил мягким указательным пальцем левой руки щеки Везича и ответил:

– Потому что уехали те, которым было на что уезжать. А на что уезжать мне? Из обстриженных волос денег не сделаешь, даже если их продавать на щетину в магазин щеток Младена Рухимовича.

– Кто сказал, что шестого будет десант?

– Верные люди. Просто так банкиры не убегают.

– Ну и что будет?

– Это вы меня спрашиваете? – мелко засмеялся Янко. – Это он меня спрашивает, что будет! Люди рождаются людьми, просто людьми, полковник, и только папы и мамы делают их католиками, иудеями или православными! В наследство от родителей люди получают горе или радость. Только не думайте, что Адольф даст радость хорватским католикам за то, что они католики, а ему временами приходится целовать папу в зад, чтобы тот не проклял его на площади святого Петра! Адольф – главный покровитель невежества, и если папа скажет об этом вслух, всем станет ясно, что он самый жестокий враг людей, потому что тот, кто создал варваров и невежд, кто опекает их и говорит им, что они всегда и во всем правы, тот хуже Ирода и хуже Иуды. Вы думаете, что невежды Гитлера будут гладить по головке хорватских католиков? Так нет. Хоть вы и католики, но говорите не по-немецки и песни ваши очень похожи на русские. Моя бабушка из Гомеля, так она мне пела русские песни. Они такие же грустные, как ваши. Массаж будем делать?

– Да. Собираетесь остаться здесь?

– У вас есть другое предложение?

– Идите в Сплит пешком.

– Спасибо. С дедом, которому девяносто три года, и с внучкой, которой два месяца.

Спасибо. А в Сплите кричать капитану: «Возьмите меня, я вас буду бесплатно стричь!» И чем я буду кормить жену, деда, трех дочек, убудка зятя и двух внучек, пока мы станем тащиться в Сплит? Показывать фокусы? Глотать огонь я не умею. Я умею стричь и брить, полковник... А... Что это мы говорим на такую грустную тему? Вайсфельд и есть Вайсфельд. Туда ему и дорога! Лучше поговорим о вас. Я думаю, вы не оставите бедного Вайсфельда, когда здесь будет новая власть. Как вы нужны новой власти, так и я нужен вам.

– Вайсфельд, и все-таки вам лучше уйти. Продайте свое кольцо, продайте парикмахерскую и уходите. Хотя в Италию – дуче итальянских евреев не считает евреями.

– Так ведь я не итальянский еврей, а славянский! Зачем же дуче давать мне карточку на маргарин?! Слушайте, полковник, лучше поговорим о вас! Обо мне и думать тошно, не то что говорить. Наши древние считали, что после смерти темнота и пустота и мечтать надо только о наградах и счастье в этой жизни. Ну так будет темнота! Как будто сейчас у меня очень много света! Все нормальные люди открывают свои парикмахерские в шесть часов, а Вайсфельд открывает в пять. Почему? Потому что, конечно же, этот старик хочет побольше нагрэбастать денег. А Вайсфельд спит со своей старухой на двухэтажных нарах, и снизу на него пускает газ дед, а на кушетке дочка и убудок зять, и я должен то и дело закрывать внучек одеялками, потому что они беспокойные во сне... А здесь я царь! Здесь мое кресло! Здесь есть окно с нарисованным красавцем. Я отдыхаю здесь. Человек – странное существо, полковник. Он ищет страдание. Наверное, он думает, что страдание угодно богу, потому что тот никогда не улыбался. Вы же видели его фотографии – он всегда серьезен или чуть не плачет от любви к нам. Ну так и я пострадаю. Пострадаю на свете, а успокоюсь в темноте. Бриллиантин положим?

– Положим.

Везич достал из кармана ключ от ателье, где жила Лада. Ателье завтра останется пустым. Сейчас, перед тем как пройти в управление, он поедет за билетами в Швейцарию. А в ателье пусть живет Вайсфельд. Пусть проживет в нем столько, сколько ему отпущено прожить.

– Держите, – сказал Везич, протягивая ключ. – Запомните адрес: Пантовчакова улица, семь. Третий этаж. Там только одна дверь. Документы на квартиру вы найдете на столе. Приходите завтра утром. Можете жить там, Янко.

– Полковник решил сказать «адье» славянской родине?

– Молчи, – грустно усмехнулся Везич, погладив Вайсфельда по старческой, собранной добрыми морщинками щеке. – Руки целовать должен, а еще гадости бормочет.

– Спасибо за ключи, полковник. Спасибо. Только не надо их мне оставлять. Так я просто несчастный еврей, а если я поселюсь в вашем доме, я стану евреем, которого надо обязательно растоптать. Лучше я не буду нервировать новую власть. Лучше я буду спать на двухэтажных нарах. Оттуда спокойнее уходить в темноту, чем из вашей квартиры, где я надеюсь, есть и сортир и зад не обмораживается зимой, когда ветер продувает сквозь доски.

В управление Везич вошел именно так, как и хотел войти: рассеянно-небрежно, с легкой улыбкой на лице. Он шел по коридорам, опасаясь увидеть тот **особый взгляд** сослуживцев, которым отмечен обреченный, но по коридорам быстро пробежали офицеры, мельком кивали ему, и никто не обращал на него внимания.

Везич вошел в свой кабинет, постоял мгновение, не двигаясь, словно бы приходя в себя после изнурительной погони, и только потом обвел медленным взглядом стол, шкафы, кресла и увидел, что сейф взломан, а стальная дверь с набором секретных замков безжизненно и криво висит на одной створке, словно символизируя бессилие брони перед силой слабых человеческих рук.

И снова страх холодно сдавил сердце.

«Зачем я пришел сюда? – подумал Везич. – Они ведь могут взять меня прямо здесь и бросить в подвал. Или отвезти в Керестинец. Или передать Коваличу. Или вызвать «селячку стражу». Реши я остаться в Югославии, я должен был бы прийти сюда, явиться к генералу, доложить ему о случившемся и попросить санкцию на продолжение работы против немцев. А я бегу. Зачем я здесь?»

Он подошел к телефону и набрал номер Штирлица. По-прежнему никто не отвечал.

«Послушайте теперь мой разговор с консульством, – зло подумал Везич. – Это заставит вас поразмыслить, прежде чем решиться забрать меня».

– Простите, что господин Штирлиц, еще не вернулся?

– Кто его просит?

– Полковник Везич.

– Мы ждем его, господин полковник, – ответили на другом конце провода заискивающим голосом. – Он скоро вернется.

– Я перезвоню, – сказал Везич, – оставьте Штирлицу мой телефон; если он вернется скоро, я буду у себя в кабинете: 12-62.

(О звонке Везича было немедленно доложено генеральному консулу Фрейндту и оберштурмбанфюреру Фохту. Они переглянулись, одновременно вспомнив слова Везенмайера: «Все наши наиболее явные контакты порвите; компрометирующие изолируйте».)

А затем Везич поступил так, как должен был и мог поступить человек отчаянной храбрости, – он пошел в картотеку «политических», в сектор, занимавшийся коммунистами, и рассеянно, закулив сигарету, попросил:

– Дайте-ка мне материал на наших «москвичей». Адреса, конспиративные квартиры, запасные явки...

– Господин полковник, – ответил старый, преисполненный к нему уважения капитан Драгович, – все эти материалы затребовал подполковник Шошич. Еще вчера утром.

...Шошич встретил Везича радостно, усадил в кресло и сразу же предложил выпить:

– Мне сегодня привезли далматинскую ракию из смоковницы, просто прелесть.

– Спасибо, с удовольствием выпью.

– Что это вас не видно в наших палестинах?

– Я был в Белграде.

– Ну и как? Помогло? – спросил Шошич. – Или, наоборот, все испортило?

– И помогло и испортило.

– Разве так бывает?

– Только так и бывает. Все двуедино в нашем мире, все двуедино.

– Еще рюмку?

– С удовольствием.

– Какие-нибудь новости из Белграда привезли?

– Привез. Только рассказывать о них погожу. Дня три-четыре.

– Ах, вот как...

– Именно так. Кто у меня сейф, кстати, разворотил?

– Мы.

– Почему?

– Потому что вы исчезли, а генерал приказал всю секретную документацию сконцентрировать в одном месте. Не у вас одного взломали сейф. У майора Пришича нам пришлось провести точно такую же операцию.

– Мне нужны материалы на коминтерновцев. В картотеке сказали, что они у вас.

– Они у генерала. Я же объяснил. Они все сконцентрированы в одном месте.

Везич спросил:

– Чтобы сподручнее было передать?

– Кому? – поинтересовался Шошич.

– Представителям власти.

– Какой?

– Разве власть имеет определение? Власть – это власть, дорогой Шошич. Или нет?

– Власть – это власть, – повторил тот задумчиво и неожиданно спросил: – Вы сговорились?

– С кем?

– Сговариваются, как правило, с другой стороной. С контрагентом.

– У меня много контрагентов. С каким именно? Вообще-то я умею сговариваться. Так уж у меня выходит, что я в конце концов сговариваюсь, особенно если обстоятельства сильнее меня.

– Напишите рапорт генералу, объясните, чем вызвана необходимость срочного знакомства с картотекой на коминтерновцев, и, я думаю, он даст указание...

«Хотят передать немцам или усташам документы в полном порядке, чтобы сразу начали действовать, – понял Везич. – И этим получают гарантии для себя».

– Как вы понимаете, судьбой коминтерновцев, которых взяли, и тех, кого должны взять, интересуюсь не только один я, – сказал Везич.

– Верно. Их судьбой мы интересуемся в такой же мере, как и вы. Только те, которые уже взяты, прошли мимо нас. Это делает нынешняя власть.

– Через «градску стражу»?

– Да. И через «селячку», и через «градску»...

– Но, значит, это выгоднее усташам, чем нам с вами. Вы же знаете, что в «селячковой страже» мало интеллигентных людей.

– Знаю. Но, повторяю, это случилось вне и помимо нас.

– Я хочу, чтобы вы меня верно поняли: арестованные интеллектуалы из Коминтерна должны представлять объект игры, а не пыток. Боюсь, что наши конкуренты из «селячковой стражи» не смогут понять разницы между этими – столь диаметрально – аспектами проблемы.

Шошич слушал Везича с напряженным вниманием. Он знал, что из тюрьмы, из кабинета Ковалича, полковника вытащили немцы. Значит, считал он, Везич торговался с ними. Значит, разговоры о том, что сюда придут усташа, – пустые разговоры, значит, как он и предполагал, хозяевами положения окажутся немцы, на них и надо ориентироваться. Иван Шох не звонит и не появляется, а Мачек неожиданно уехал в Белград. Однако, по наведенным справкам, Шох вместе с ним в столицу не отправился. Видимо, Шох сейчас не та фигура, которая может быть нужна ему, Шошичу, в ближайшие дни. Либо Шох переметнется к немцам (о давних его связях с Фрейндтом подполковник не знал), но тем, считал он, Шох неинтересен вне и без Мачека; немцам куда как интереснее полковник Везич.

– Я вас прекрасно понимаю, – сказал Шошич, – и совершенно с вами согласен. К сожалению, лично я не могу решить вопрос. Но я готов доложить ваш рапорт генералу немедленно.

– Я думаю, что арестованных коминтерновцев надо немедленно забрать к нам. Сюда. Это так же целесообразно, как и концентрация в одном месте всех картотек и архивов.

– Шубашич их не отдаст.

– С ним уже был разговор об этом?

– Нет. Но мне так кажется.

– Если кажется, перекрестись, говорят православные, тогда не будет казаться.

– Единственный, кто мог бы приказать «селячковой страже» передать их нам, – задумчиво сказал Шошич, – это вице-губернатор Ивкович. Оппозиция всегда готова подставить

подножку парламентскому большинству. И потом Ивкович связан с Белградом. – Шошич налил ракию себе и Везичу. – Пока что, во всяком случае. Попробуйте через него, а?

Профессора Мандича дома не было. Горничная сказала Везичу, что «господин профессор сейчас работают в университетской библиотеке». Везич нашел профессора в маленьком зале для преподавателей. Тот сначала недоумевающе поглядел на полковника, потом недоумение сменилось детским, неожиданным на его лице интересом, а потом Везич прочитал на лице историка ужас.

Профессор сидел в пустом зале, совершенно один, обложенный горою книг, и Везичу казалось, что он чувствует себя неприступным и сильным, когда отделен от мира такой баррикадой фолиантов.

– Немедленно уходите отсюда, – шепотом сказал Везич. – Немедленно. И скажите всем вашим друзьям, чтобы они тоже уходили. В ближайшие два-три дня начнутся массовые аресты. Я Везич, редактор Взык говорил вам обо мне. Это я звонил вам. Цесарец в тюрьме. Вам надо исчезнуть. Эмигрировать. Затаиться.

– Эмигрировать и затаиться, – так же шепотом повторил Мандич. – А драться будет кто? Кто будет драться?

– Тише вы...

– Здесь нет шпиков!

– Есть. Здесь всегда было очень много шпиков. В библиотеках и университетах нельзя жить без шпиков, профессор. Словом, времени у вас нет. Скажите друзьям, что все картотеки на коммунистов будут переданы немцам. И сразу же пойдут аресты. Повальные. Вторжение намечено послезавтра. В Белграде празднуют пасху; люди будут пьяны и беззаботны – самое время начинать против них войну.

– А если я истолкую ваши слова как полицейскую провокацию? – спросил Мандич. – Что, если вы просто-напросто запугиваете? Может, вы хотите, чтобы мы эмигрировали? Может, вы хотите расчистить поле для себя, чтобы вам никто не мешал творить ваше зло?! Так может быть?

– Может быть и так.

– Ну а почему в таком случае я должен вам верить?

– Слушайте, вы никогда не были функционером, и слава богу, иначе бы вы сразу завалили организацию – при вашем-то темпераменте. Сообщите мои слова своим товарищам. Они оценят эти слова правильно. Только сделайте это сейчас же. Немедленно, профессор!

«...Он мне не поверил, – понял Везич, останавливая машину около дома Ивана Кречмера, работавшего в «Интерконтиненталь турист-биро». – Он мне не поверил, и его можно понять. Я не так говорил. С ними надо говорить по-иному. Я должен был сказать, что для продолжения борьбы сейчас надо затаиться и уйти в подполье. Тогда бы он поверил. А я говорил с ним как с самим собой. Чем больше добра мы хотим сделать другому, тем больше мы стараемся отдавать ему свои мысли и этим приносим зло, ибо каждый человек живет по-своему».

Из «Интерконтиненталь турист-биро» Везич поехал к Ладе.

– Вот, – сказал он, положив на стол билеты, – в три часа ночи мы улетаем. Собирай чемоданы. Только самое необходимое. Я съезжу к приятелю и вернусь.

– У тебя нет приятелей, – сказала Лада. – У тебя никого нет, Петар. Не езд.

Он посадил ее рядом с собой.

– Давай поскандалим, а? Мы теперь муж и жена, и нам необходимо периодически скандалить. Иначе будет какая-то чертовщина, а не жизнь. Давай, Ладица?

Она улыбнулась, и круглые глаза ее показались ему огромными, потому что в них стояли слезы.

– Нет, – сказала она. – Я не стану скандалить, не научилась этому. Дура. Надо было учиться. Тогда бы ты остался. Мама говорила, что мужчина благодарен женщине, если она может настоять на своем. А я не умею. Такая уж я дура. В Швейцарии я с тобой разведусь. И снова нам станет прекрасно и свободно...

– Чтобы нам всегда было прекрасно, я должен иметь право смотреть тебе в глаза, Лада. Я не смогу смотреть тебе в глаза, если не встречу с человеком, который меня ждет. Эта встреча нужна не только ему, хотя и ему она очень нужна. Эта встреча нужна мне. Я не могу уехать, если в доме пожар, а люди заперты в комнате на последнем этаже и нет лестницы, чтобы спуститься. Понимаешь?

– Я поеду с тобой, можно?

– Нет. Тогда я ничего не смогу сделать. Вернее, тогда не состоится встреча. Я должен был бы оговорить заранее, что буду не один. Люди моей профессии пугливы, Лада.

– Если бы ты был пугливый, ты бы не поехал.

– Если бы я не был пугливым, – медленно ответил Везич, – я бы уговорил тебя остаться здесь, а не поддался тебе. А я с радостью поддался тебе. Я испугался, Лада. Я вернулся из Белграда испуганным. Я теперь никому не верю, кроме тебя, – иначе я бы остался здесь. Понимаешь? Если драться против кого-то, надо верить тем, вместе с кем ты решил драться. А я не могу, я не умею верить людям. Полиция учит многому: она учит осмотрительности, хитрости, анализу, умению расчленять человека на составные части, выделяя в отдельные папочки зло в нем, добро, увлечения, слабости. Она многому учит, а научив, убивает веру. Я только одному человеку на свете верю – тебе. Поэтому я и ухожу с тобой. Убегаю... С тобой... Понимаешь?

...Рядом с Родыгиным сидел невысокого роста, очень дорого одетый человек, и сразу было видно, что он привык так одеваться, и привык к тому, чтобы вокруг него вились официанты, и привык встречать в таких дорогих загородных ресторанах своих гостей – сдержанным кивком головы и молчаливым предложением занять место за столом.

– Господин Абдулла, господин Везич, – познакомил их Родыгин.

Везич и Абдулла цепко приглядывались друг к другу.

– На каком языке вы предпочитаете говорить? – спросил Родыгин. – Господин Абдулла – мусульманин, он не знает сербскохорватского.

– Сербскохорватского, – усмехнувшись, повторил Везич, – я бы на вашем месте – в Загребе, во всяком случае – не обозначал таким образом наш язык... Или бы поменял местами... Я готов говорить на немецком или английском.

– Французский вас не устроит? – с явным сербским акцентом спросил Абдулла. – Немецкий и английский несколько сковывают меня. Моя стихия – латинские языки. Но, впрочем, я готов беседовать с вами на английском.

– Времени у меня в обрез, – сказал Везич. – Я уезжаю, – пояснил он, заметив вопросительный взгляд Родыгина. – Да, да, бегу. Но я обещал прийти и пришел. Что касается ваших единомышленников, их взяла «селячка стража», это акция Мачека и Шубашича, которые таким образом готовятся к встрече с новыми хозяевами. Мне кажется, этот их шаг продиктован желанием доказать Берлину, что они не дадут спуску вашим друзьям и что незачем для этого тащить в Загреб Павелича. Арестованные люди – карта в игре за власть.

– Вы убеждены, что эту карту будут разыгрывать только Мачек и Шубашич?

– Не убежден.

– Я тоже, – согласился Абдулла. – Я далеко не убежден в этом. Что можно предпринять для их спасения?

– Мне стало известно, что вице-губернатор Ивкович готов к обсуждению вопроса и может помочь вам.

– С Ивковичем уже говорили. Он занял верную позицию; он встречался с Шубашичем, но губернатор отказался освободить Кершовани, Прицу и Цесарца с Аджией. От кого вы, кстати, узнали имя Ивковича?

– От Шошича. Вам это ничего не скажет.

– Почему же, – усмехнулся Абдулла, – имя Владимира Шошича мне кое о чем говорит.

– Я пытался предупредить через Мандича, что картотека на коммунистов подготовлена к передаче новой власти. Вашим надо уходить.

– Речь идет только о функционерах или о сочувствующих тоже? – спросил Абдулла.

– По-моему, речь идет обо всех тех, кто когда-либо разделял идеологию большевизма. Обо всех поголовно.

– Почему вы решили уйти, Везич? Почему бы вам не остаться? Не все капитулируют, поверьте мне.

– В Белграде был я, а не вы. С помощником премьера в Белграде говорил я, а не вы...

– Верно, – согласился Абдулла, – я с помощником премьера не говорил, я говорю с самим премьером. Не в нем ведь дело, в конце концов. В Югославии есть иные силы. Эти силы будут вести борьбу.

– Но я боролся против **этих** сил. Я боролся против тех сил, о которых вы говорите, – заметил Везич. – Думаете, об этом не знают все **ваши**? Думаете, это легко забывается? Чувствовать себя ренегатом, причем двойным ренегатом, – можно ли в таком состоянии драться? Я пробовал говорить с **вашими** в Белграде. Меня отвергли, мне не поверили. Если я потребуюсь и меня позовут и если я увижу толк в том **деле**, которое призовет меня, я приду.

– Как это понять?

– Это просто понять. Оставьте адрес, по которому я могу снестись с вами. Я напишу. Только пусть случится то, что должно случиться, и пусть я увижу то, что должно случиться после случившегося. Я хочу увидеть борьбу, настоящую борьбу, понимаете?

– Вы еще не встречали Штирлица?

– Его нет. Я звонил по всем телефонам.

– Не надо больше звонить, – попросил Абдулла.

– Вы перестали им интересоваться?

– Перестал. Но я очень интересуюсь вами. И, чтобы я мог дать вам номер своего почтового ящика в Мадриде или Лиссабоне, мне нужна гарантия. Вам этот адрес больше нужен, чем мне, полковник. Вы, по-моему, человек честный, и в полицию вас занесло не из корысти, а по соображениям иного, более серьезного порядка. Но мой адрес вам понадобится. Когда здесь начнется то, что должно начаться, вы не сможете спокойно и честно смотреть в глаза Ладе...

Везич задержал бокал с «Веселым Юраем» на половине пути.

– Вы серьезно работаете, – сказал он.

– Иначе не стоит, – жестко ответил Родыгин, и Везич заметил, как дрогнули в снисходительной улыбке губы Абдуллы.

– Если бы вы решили остаться в Загребе, никакой гарантии от вас мне не нужно, – продолжал Абдулла. – Но поскольку вы уезжаете, гарантия должна быть дана в письменной форме.

– Так я не умею, – сказал Везич. – Так я работал с проворовавшимися клерками, которых внедрял в марксистские кружки. Я не смел так говорить с серьезными людьми...

– Повторяю, – словно не обратив внимания на его слова, продолжал Абдулла, – мне нужно, чтобы вы написали на имя оберштурмбанфюрера Штирлица коротенькую записку следующего содержания, которое вас ни к чему – в конечном счете – не обязывает: «Я взвесил ваше предложение и считаю целесообразным принять его в создавшейся ситуации». Подпишите любым именем. Это все, что мне от вас нужно.

– Вы должны объяснить мне, зачем вам это, господин Абдулла.

– Мне это нужно для того, чтобы, оставаясь здесь, продолжать работу против нацистов.

– Что вам даст мое письмо?

– Оно даст мне Штирлица. Он сделал на вас ставку, и вас по его требованию освободили из-под ареста. Если бы не он, с вами бы закончили. В этом был заинтересован Мачек, в этом были заинтересованы усташи, которые очень не любят Мачека, и в этом были заинтересованы наци, которые в равной мере играют и с Мачеком, и с усташами.

– Таким образом, я передаю вам, русскому резиденту, мое согласие на сотрудничество с нацистами?

– Да.

– Напишите мне, в таком случае, следующее: «Я, Абдулла, представляющий интересы СССР, получил от полковника Везича расписку на согласие фиктивно работать со Штирлицем в интересах рейха. Это согласие считаю целесообразным».

– Хорошо. Только я внесу коррективы, – согласился Абдулла и, достав из кармана «монблан» с золотым пером, быстро написал на листочке, вырванном из блокнота: «Я получил расписку на ваше согласие работать в пользу рейха, считая эту фиктивную работу необходимой в настоящее время – в тактических целях. 71». – Такая редакция вас устроит?

Везич прочитал листок, протянутый ему Абдуллой, спрятал его в карман и попросил:

– Дайте блокнот.

– Пожалуйста.

– Я вырву два листа. На одном я напишу ваш адрес, на другом – письмо Штирлицу.

– Адрес записывать не надо. Адрес лучше запомнить. Мадрид. Главный почтамт. Почтовый ящик 2713, сеньору Серхио-Эммануэль-Мария Ласалье. О вашем письме я узнаю через три дня, где бы ни находился.

Везич быстро написал свое письмо Штирлицу и еще раз повторил вслух:

– Сеньор дон Серхио-Эммануэль-Мария Ласалье, 2713.

– Верно. Пишите мне лучше по-немецки. О погоде на Адриатике. О живописи Сезанна. Главное – письмо от вас. Это значит – вы готовы драться. Еще один вопрос...

– Пожалуйста. – И Везич взглянул на часы.

– У вас же вылет в три, – сказал Абдулла, – еще масса времени.

– Профессор Мандич уже ушел на конспиративную квартиру? – спросил Везич, поняв, что его весь день «водили» по городу люди этого маленького, надменно спокойного человека.

– Я не зря спросил вас о сочувствующих. Нет, он еще не ушел. Теперь мы знаем, что он тоже под ударом, и скроем его... Вы сообщили моему другу о данных полковника Ваухника. Кто вам сказал о них?

– Генерал Миркович.

– Их два, Мирковича. Который именно? Боривое?

– Да.

– В связи с чем он сказал вам об этом?

– Он понял мое отчаяние.

– А вы не допускаете мысль, что он проверял вас? Может быть, он хотел понять вашу реакцию? Вы ему больше вопросов не задавали?

– Мы с вами в разведке, видимо, лет по десять служим, а?

Абдулла улыбнулся доброй, открытой улыбкой, и Везич заметил, какие красивые у него зубы, словно у американского киноактера Хэмфри Богарта.

– Это я как-то упустил, – тоже улыбаясь, согласился он.

– Я сейчас вернусь, – полувопросительно сказал Родыгин, поднимаясь.

– Да-да, – согласился Абдулла, – я жду вас.

– Куда он? – спросил Везич.

– Проверить, не смотрят ли за вами. На улице наши люди, они наблюдают за теми, кто появляется здесь. Загород, сразу ведь чужих заметишь...

- Вы остаетесь? – спросил Везич.
- Не понял: вы имеете в виду этот кабак или Загреб?
- Я имею в виду Югославию.
- Да, мы здесь остаемся, – ответил Абдулла.
- Идеализм – не ваша религия.
- Именно потому и остаемся здесь, полковник. Мы готовы к войне.
- И если бы я решил остаться...
- Мы бы помогли вам, – ответил Абдулла, – мы умеем помогать друзьям.

Абдулла нарушил правила конспирации. Он не имел права встречаться с Везичем. Но по своим каналам он узнал о той операции, которую проводил Штирлиц. Абдулла понимал, как важно сейчас Штирлицу иметь **подтверждение** удачи в работе с Везичем, и только поэтому пошел на то, чтобы нарушить правила конспирации – он был обязан вывести из-под удара товарища.

(Со Штирлицем он встречался трижды: два раза в Париже и один раз в Бургосе. В Париже Абдулла носил имя Мустафы, а в Бургосе был сеньором Ласалье, который ворочал крупными финансовыми операциями на брюссельской бирже.)

...Той же ночью, выслушав Родыгина, Штирлиц еще раз перечитал записку Везича и спрятал ее в карман.

– Значит, говорите, Ваухник... Вы, надеюсь, еще не послали шифровку с указанием точного дня нападения?

– Шифровка ушла час назад.

– Вам не поверят, – сказал Штирлиц, – и зря вы поторопились.

У него были основания говорить так. Он знал, что Шелленберг лично завербовал Ваухника, словив его с помощью женщин («Что бы делала разведка без баб? – смеялся потом Шелленберг. – Без баб разведка превратилась бы в регистрационное бюро министерства иностранных дел»). Ваухник узнавал высшие военные секреты рейха. Работал он блистательно, через третьих и четвертых лиц, и засекли его случайно, получив ключ к коду югославского посольства. У Гейдриха глаза полезли на лоб, когда он читал шифровки Ваухника. Он даже не решился доложить их Гиммлеру, сообщив в общих лишь чертах, что в Берлине существует канал, по которому уходит секретная информация. На то, чтобы открыть все связи Ваухника, было потрачено три месяца. Занимался этим лично Шелленберг. Он взял Ваухника с поличным и – в обычной своей стремительной манере – поставил его перед выбором: или сотрудничество с РСХА, или расстрел. Ваухник согласился работать с Шелленбергом и передал ему все свои контакты с французами и англичанами.

И вот теперь, по словам Везича, этот человек сообщил Белграду, что шестого апреля, именно шестого, рано утром, танки Гитлера пересекут границу Югославии.

«Значит, игра? – думал Штирлиц. – Значит, Гитлер хочет оказать давление на Белград «операцией страха»? Значит, ни о каком военном решении конфликта не может быть и речи? Или, наоборот, чтобы усилить еще больше панику и нервозность, Шелленберг пошел на то, чтобы открыть Ваухнику дату нападения? А может, Ваухник нужен Шелленбергу в будущем и ему дана секретная информация, чтобы поднять акции полковника? В конце концов, за два дня к войне не подготовишься. А человек, который сообщил – до часа точно – дату нападения, становится особо ценным осведомителем, в мире таких раз-два – и обчелся. Причем, видимо, Шелленберг рассчитывал, и, судя по всему, рассчитывал верно, что этой информацией будут интересоваться и англичане и американцы. Подготовка Ваухника к внедрению к англичанам? Смысл? Бесспорно, смысл есть, и причем немалый. У Шелленберга в Британии были маленькие агенты, а мечтал он о серьезном человеке, который мог бы иметь прямые контакты с серьезными политиками на высоком уровне. Фигура военного атташе Югославии для такой роли подходит вполне».

На продумывание и решение вопроса о сообщении Ваухника ушло мгновение: когда математик отдает годы труда подступам к проблеме, на заключительном этапе он рассчитывает колонки цифр легко и просто. Разведчик сродни математику. Если Ваухник действительно дал Белграду точную дату удара, тогда гипотеза Штирлица правильна. А если Ваухник играет на дипломатии силы? Если Гитлер пугает Белград? Если он не начнет драку, а приведет к власти сепаратистов Мачека или Шубашича, Павелича, которые из честолюбивых, личных интересов готовы растоптать национальное достоинство своего народа?! Тогда как?

– Хорошо, – сказал Штирлиц, – давайте будем принимать ответственность вдвоем. Передайте мою шифровку тоже. Я подтверждаю дату. Если уж ошибаться, то лучше ошибаться вместе, чем одному оказаться доверчивым дураком, а другому мудрым прозорливцем. Только надо добавить, что наши данные основаны на сигнале Ваухника. Дома поймут, что мы имеем в виду. И очень жаль, что ушел Везич.

– Не он ушел, а его оттолкнули, – сказал Родыгин. – Он был в Белграде у одного человека... А тот стал отчитывать его и оскорблять. Везич не знал, что этот человек отошел от партии. Я бы отнесся к Везичу с подозрением, согласись он и после этого работать с нами. Но он вернется. Я в это почему-то верю.

– Ладно, Василий Платонович... Я пойду к «своим», – вздохнул Штирлиц. – «Мои» волнуются, как я съездил в Сараево. А вам завтра надо двинуть в Белград и выступить в Русском доме с рефератом о родстве германской и белогвардейской доктрин в национальном вопросе. Постарайтесь поближе сойтись с Билимовичем, он в прошлом был профессором университета святого Владимира.

– Сейчас он в Любляне.

– Именно. «Богоискатели, евразийцы и возрождение России». Такую его работу помните?

– Как же, как же, – в тон Штирлицу ответил Родыгин. – Его брат – умница поразительная, бывший ректор Новороссийского университета. Математик первой величины. Я в свое время пытался дать философский анализ его работы «Об уравнении механики по отношению к главным осям» – поразительное, знаете ли, сочинение. А братец в политику лезет?

– Лезет. И это хорошо. Вы его сведите потесней с генералом Скородумовым и Штейфоном – есть у меня к вам такая просьба.

– Неужели все-таки собираются на нас лезть? – спросил Родыгин, и Штирлиц понял, что он имел в виду.

– Собираются, – твердо сказал он. – И, по-моему, очень скоро.

– Сколько ж крови прольется, господи, – тихо сказал Родыгин, – сколько же крови русской прольется...

Лада сидела возле открытой двери и уже не прислушивалась больше к внезапному скрипу тормозов и к шагам редких прохожих на улице. Она сидела на чемодане и смотрела в одну точку перед собой, и лицо ее было осунувшимся, и она не плакала, хотя понимала теперь отчетливо, что осталась одна и что вольна она плыть по реке и смотреть на облака, и видеть уходящие мимо берега. Часы пробили три, и Петара не было, и никогда больше не будет, и случилось это все потому, что она всегда хотела плыть и не научилась за себя стоять, а побеждают только те, что шумливо и яростно, до драки, **стоят**, и стоят они не за Петаров или Иванов, а за себя лишь или за детей, если они появились, а Лада хотела, чтобы все было так, как есть, и не умела **стоять**, и Петара нет, и плыть ей больше некуда, да и незачем – скучно...

Она поднялась с чемодана («Сверху лежал мой серый костюм, наверное, измялся вконец, – машинально отметила она, – и летнее пальто тоже измялось, оно лежит сразу же под костюмом, в Швейцарии же холоднее, чем здесь, обязательно надо иметь наготове пальто»), прошла по комнате, остановилась возле зеркала и долго рассматривала свое лицо, и увидела морщинки возле глаз и у рта, и, странно подмигнув своему изображению, тихо сказала:

– Скорее бы, господи, только б скорей все кончилось.

А потом она легла на тахту и закурила, и вспомнила тот осенний день и вкус того мороженого, и ощутила на своем плече осторожную руку Петара, и услышала, как барабанил тогда дождь за окном, и подумала, что люди всю жизнь обманывают самих себя и понимать это начинают только тогда, когда все кончается и вернуть прошлое невозможно. Да и не нужно, в общем-то...

19. МИР НЕ ЕСТЬ ОТСУТСТВИЕ ВОЙНЫ, НО ДОБРОДЕТЕЛЬ, ПРОИСТЕКАЮЩАЯ ИЗ ТВЕРДОСТИ ДУХА

Получив сообщения разведки о том, что завтра утром армии Гитлера вторгнутся в Югославию, Сталин долго смотрел на большие деревянные часы, стоявшие в углу кабинета. Он еще раз внимательно пролистал шифровки из Берна, Загреба, Берлина и Стокгольма.

«В конце концов, всех скопом купить невозможно, – подумал он, – и потом ввали бы умнее, по-разному бы ввали. Видимо, в данном случае не врут».

Он поднялся из-за стола и отошел к окну. В весенней синей ночи малиново светились кремлевские звезды.

«Если Гитлер застрянет в Югославии на два-три месяца, если Симович сможет организовать оборону, если, как говорил их военный атташе, они будут стоять насмерть, мы сможем крепко помочь им, да и себе, получив выигрыш во времени...»

Сталин отдавал себе отчет в том, что многое еще в экономике не сделано. Со времени революции прошло двадцать четыре года, опыт управления огромным хозяйством только накапливался, традиции промышленного производства тоже.

Заключив пакт с Германией, Сталин вскоре почувствовал главную трудность: он не мог отделять государственную политику от идеологии, он не мог пойти на то, чтобы позволить прессе открыто сказать о государственной тактике и партийной стратегии, он обязан был во всем проводить однозначную линию. Он не мог открыто объяснять народу, что жесткие законы сорокового года вызваны необходимостью подготовки к войне. Сталин знал статьи из английских газет о том, что Гитлер готовит удар по России. Но сам он не мог прийти к определенному выводу, играет Черчилль или же искренне предупреждает его о возможности вторжения. Гитлер говорил в «Майн кампф» о том, что только Англия может быть союзницей Германии в Европе. Черчилль не скрывал своей ненависти к большевизму. Сталин хотел верить объективным данным: ему нужен был хотя бы год, чтобы укрепить новую границу, модернизировать танковый парк и оружейный арсенал, построить сеть новых аэродромов, рассчитанных на возросшие мощности самолетов. А все это надо было согласовывать, увязывать, координировать, утверждать.

В марте Гитлер ввел войска в Болгарию. На заседании Политбюро Сталин молча и хмуро оглядел лица присутствующих, как бы приглашая их высказаться. За отдельным маленьким столом среди участников заседания сидел Нарком обороны Тимошенко, он докладывал перед этим кадровый вопрос. В частности, он сказал, что возрастной ценз высшего командного состава сейчас подобен возрастному цензу времен гражданской войны: до тридцати лет.

– Это хорошо или плохо? – спросил Сталин, остановившись перед маршалом.

– С одной стороны, это очень хорошо, товарищ Сталин, – молодость, как и храбрость, города берет. Только вот опыт...

– Опыт – вещь наживная, Тимошенко. Повоюют – наберутся опыта.

Он повернулся к Тимошенко спиной, и как раз в это время Поскребышев принес сообщение из Софии...

– Ну так что? – подтвердил свой молчаливый вопрос Сталин. – Как будем поступать?

Ворошилов предложил провести маневры на южной границе.

– Попугать никогда не вредно, – добавил он.

Сталин неторопливо закурил и сказал, обращаясь к Молотову:

– Нота должна быть вежливой до такой степени, чтобы не унизить достоинство страны.

На месте Гитлера я бы искал любой повод для разрыва. На месте Сталина я бы повода не давал. Пусть Наркоминдел подумает над текстом. Пусть Вышинский внимательно поработает над формулировками – он это умеет... Война – это не кино и не митинг Осоавиахима; война – это война. А нынешняя война будет войной техники, и победит в ней тот, кто лучше знает приборную доску самолета и рычаги управления танком. Если других мнений нет, – неожиданно торопливо, словно оборвав себя, сказал Сталин, – перейдем к следующему вопросу.

...И вот теперь, всего через месяц после введения германских войск в Болгарию, он получил донесение, что завтра Гитлер нападет на Югославию.

...К вопросам протокола Сталин относился двояко.

Он понимал, что форма лишь обнимала состоявшееся содержание, но отдавал себе отчет в том, что протокол важен не сам по себе, а лишь как инструмент, акцентирующий особое внимание на той или иной частности. Частность, считал он, есть составное, определяющее общее, то есть главное, и уж если он, Сталин, может играть роль в создании этого главного, то, видимо, протокол следует обернуть на пользу дела и подчиняться ему, подшучивая над этой закостенелостью лишь в кругу близких друзей. **Главное** – чем дальше, тем больше – решалось на международной арене, а там протокол был испытанным способом расставить все точки над «и»: политики говорят на своем языке кратких терминов – время дорого, его экономить надо, а протокол – он большой эконом, большой и проверенный многократно на деле.

...В одиннадцать часов в Кремль вернулся Молотов. Он принимал в Наркоминделе германского посла фон Шуленбурга. Первая встреча с германским послом состоялась вчерашней ночью.

– По нашим сведениям, – сказал фон Шуленбург, – вы ведете переговоры с Югославией.

– Мы ведем переговоры с Югославией, которые не направлены против какой-либо третьей державы, – ответил Молотов, – мы движимы лишь одним желанием: сохранить мир на Балканах. Насколько мы можем судить, руководители рейха также не устают подчеркивать свое желание сохранить мир в этом районе.

– Я думаю, – ответил фон Шуленбург, – что советское правительство выбрало не совсем удачный момент для дружеских переговоров с югославскими путчистами...

– С путчистами? А что, Берлин отказался признать новое югославское правительство?

– Ну, в такой плоскости вопрос пока не стоит, – медленно ответил фон Шуленбург, – называя белградское правительство путчистским, я высказал собственную точку зрения.

– Тем более всего неделю назад Риббентроп подписал Протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту. Следовательно, Советское правительство ведет переговоры с союзником Германии, – добавил Молотов.

– Господин министр, я думаю, что эти переговоры с Югославией произведут неблагоприятное впечатление.

– Где?

– Во всем мире.

– Обо всем мире рано судить, господин посол. Я имею возможность вызвать британского и американского послов, чтобы выяснить точку зрения их правительств...

– Во всяком случае, в Германии это вызовет досаду, господин министр.

– Это ваша личная точка зрения? – спросил Молотов, протирая пенсне. – Или мнение вашего правительства?

– Это мнение правительства, которое я имею честь представлять.

Сегодня Молотов еще раз беседовал с Шуленбургом, стараясь более точно понять германского посла и в шелухе протокольных формулировок угадать те новости, которые могли прийти к нему из Берлина. Посол повторил еще раз:

– Мне будет довольно трудно объяснить рейхсминистру Риббентропу, чем вызваны столь срочные переговоры с Югославией. Я думаю, что министерство иностранных дел Германии вправе задать вопрос в связи с последовательной антигерманской позицией советской стороны в балканском вопросе: нота советского правительства по поводу введения германских войск в Болгарию; гарантии, данные вами Турции; и, наконец, переговоры с Югославией – все это может создать впечатление, что советское руководство решило проводить новую линию...

– Ну что ж, – сказал Сталин, выслушав Молотова, – если они говорят о новой линии советского руководства, надо подтвердить эту их убежденность. Я за то, чтобы сейчас же вызвать Гавриловича и подписать с югославами договор о дружбе.

Сталин изучающе глянул на Молотова, стараясь понять, какое впечатление произвело на наркома это его решение, с точки зрения канонической дипломатии, безрассудное.

– Гаврилович настаивает, чтобы договор подписывал не он один, а военные, прилетевшие из Белграда.

– Что ж... Его можно понять – он хочет этим подчеркнуть **особый** смысл в отношениях между нашими странами.

– Вышинский отказал ему в этом.

– А вы поправьте Вышинского, поправьте его...

Молотов посмотрел на часы – была полночь.

– Гаврилович, вероятно, спит.

– А вы его разбудите... Думаю, надо пригласить побольше фотографов на церемонию подписания договора. Думаю, что мое присутствие не помешает факту подписания договора. Как вы считаете, Молотов? Пусть югославы знают, что Сталин был на подписании договора с их страной – думаю, это не помешает им в ближайшие дни, если действительно Гитлер начинает войну.

Фельдмаршал Лист облетал на маленьком «фокке-вульфе», дребезжащем, как графин на стеклянном подносе, соединения обеих его группировок, расположенных юго-западнее Софии. На рассвете танки Клейста перейдут границу и ударят по Белграду всей мощью семи дивизий, собранных в один стальной кулак. Вторая группа дивизий ударит по Скопле. С севера – армия Вейхса, дислоцированная в Австрии и Венгрии, и ее запыленные танки встретят солдат Листа на Дунае, в поверженной югославской столице. Удар будет нанесен в один и тот же миг на рассвете, когда еще прохладно, и пение птиц в лесу приглушено плотным облаком тумана, и роса еще тяжелая, темно-серая, без того холодного, отрешенного, сине-белого высверка, которое приносит со своими первыми лучами великий бог древних – солнце.

Фельдмаршал смотрел на точные ромбы танковых строев, застывшие вдоль болгарских проселков, – белые полотенца, брошенные на синюю траву; сверху танки казались маленькими игрушками, которыми забавляются его внуки. Лист даже услышал, как страшно рычат мальчугашки, подражая реву танковых моторов, и как напрягаются тоненькие мышцы

их слабых ручонков, когда они передвигают свои пластмассовые танки, сосредоточивая их для удара по «врагу».

Лист вдруг подумал, что в детстве он не знал, что такое танк и пластмасса, и мечталось ему о лихой кавалерийской атаке улан в высоких киверах с синими султанами, развевающимися по ветру, и еще он подумал, что война его детства была все же более жестокой, ибо удар сабли означал зримую гибель противника, а сейчас снаряд, загнанный в ствол пушки, поражает невидимого врага, и, нажимая кнопку, танкист не видит смертельной боли в глазах такого же, как и он, юноши и не должен, испытывая радость победы, постоянно представлять себе смерть такой близкой, кроваво-дымной и явственной – протяни руку и пальцы ощутят что-то липкое, пульсирующе-горячее. Раньше, продолжал размышлять Лист, солдату было труднее, ибо он давал клятву на крови. Теперь, в век техники, солдат не видит моментального результата его **поступка**. Он лишь нажал курок, и в километре от него начал корчиться в судорогах и кричать **длинным**, последним, а потому детским криком такой же человек, одетый в такую же зеленую форму, с той лишь разницей, что на плечах его другие погоны, а на пилотке иная кокарда, но он, немецкий солдат, не видит и не слышит этого, ибо техника, поставленная на службу войны, победила барьер расстояний.

Летчик, обернувшись, протянул фельдмаршалу маленький листок бумаги, на котором радист записал скачущим почерком: «Командующий авиацией генерал Дикс приглашает сделать посадку возле его штаба – обещает охоту на вальдшнепов и ужин».

Лист посмотрел на часы. Было около семи. В десять обещали звонить из ставки фюрера. В конце концов, разговор можно перевести на штаб Дикса: вчера сюда провели кабель прямой связи.

Лист тронул указательным пальцем спину радиста, которая показалась ему безжизненной из-за того, что мягкая кожаная куртка промерзла на ветру; тот обернулся, и фельдмаршал кивнул ему головой.

Дикс обосновался в загородной даче известного софийского врача, который эмигрировал в Англию сразу же после ввода германских войск: в стране пошли разговоры о скорой войне.

Особнячок стоял в дубовой роще на склоне горы. В саду пахло прелыми листьями, и в небе, где угадывался узкий серп молодой луны, трепещуще стыл жаворонок.

Лист долго любовался птицей, чувствуя за спиной почтительное молчание Дикса и его свиты.

– Сколько нежности и незащитности в этой божьей твари, – тихо сказал фельдмаршал и закрыл глаза. – Когда я слушаю жаворонок, мне всегда видится спелая рожь, пыльная дорога, в которой тонет золотое солнце, и повозка на мягких высоких рессорах, когда отец возвращался с перепелиной охоты...

– Позавчера я взлетал с нашего здешнего аэродрома, – негромко сказал Дикс, – и почувствовал сильный удар по фюзеляжу, когда набирал высоту. Я ударил птицу. Разность скоростей сообщила маленькому комочку мяса непомерную ударную силу.

– Как ужасно вы сказали, – заметил Лист, – «маленькому комочку мяса».

– Но это правда, фельдмаршал.

– Спаси бог моих внуков от такой жестокой правды. – Лист обернулся к Диксу и мгновение рассматривал сухое лицо генерала так, словно впервые увидел его. – Как у вас с подготовкой?

– Летчики в состоянии боевой готовности на аэродромах, господин фельдмаршал.

– Им есть где отдохнуть?

– Возле взлетных полос оборудованы палатки, подвезены кухни, саперы приготовили в лесу столы и скамейки из молодых березок.

– Почему вы не дали отдохнуть людям в домах?

– Дороги здесь истинно славянские, господин фельдмаршал, узкие, все в выбоинах, а с утра пойдут танки. Я прогадал бы во времени. Летчики значительно лучше отдохнут в палатках.

– Какой ужин им приготовят?

– Получено много шоколада; охотники настреляли дичь – вальдшнепов, зайцев и косуль...

– Косуль? Сейчас? Они же рожают в это время...

– Так или иначе, здесь будет фронт, господин фельдмаршал.

– Здесь? – удивился Лист. – Здесь не будет фронта. Там будет фронт. – Он кивнул головой на юго-запад, сразу же сориентировавшись по солнцу, которое опустилось к лесу. – Мы успеем на тягу?

– Если вы решите меня инспектировать, то наверняка опоздаем, – почтительно пошутил Дикс.

– В другой раз не зовите в гости. Будете впредь знать, как приглашать командующего...

Дикс отвез Листа в низину; там, где маленький ручеек бормотал что-то невообразимо веселое и быстрое, сходились три просеки.

– Вдоль по этому ельнику начинают тянуть, как только заходит солнце, – пояснил Дикс.

– Тише, – попросил Лист шепотом, – я с детства приучен отцом говорить шепотом на охоте.

– Простите... Справа, пересекая поляну, – продолжал Дикс хрипло (как и все военные, он привык говорить громко), – вальдшнепы тянут, когда начинает смеркаться, видимо, они присматривают ночлег в том, дальнем ольшанике.

– Там, где две ели?

– Чуть левее.

– Хорошо. Спасибо. Где станете вы?

– Если позволите, рядом.

– Почему? Разве нет других мест?

– Мне бы хотелось лично отвечать за вашу безопасность...

– Не говорите глупостей, генерал. Кому я здесь нужен?

– Все-таки славяне.

– Ну, перестаньте. Идите в другое место, я люблю одиночество на охоте.

Небо стало серым, тишина окрест была прозрачной, и бормотание ручейка, когда Лист прислушался, напомнило ему слова детской песенки: «Мы поехали в Дармштадт, восемь маленьких ребят!»

«Когда же оно было, это детство? – горько подумалось ему. – И было ли оно вообще когда-нибудь? Вот если бы человеческая жизнь начиналась со старости и шла к детству... Хотя нет, тогда смерть была бы еще более кощунственной. И чем ближе вечное спокойствие, тем чаще в мыслях мы возвращаемся к детству, словно к спасательному кругу, брошенному в волны бесстрастной и холодной Леты».

Шершавые дубовые листья, перезимовавшие на голых сучьях, металлически скрежетали, когда ветер срывал их, ударяя о голые стволы деревьев.

Фельдмаршал замер, потому что услышал далекое хорканье – где-то летел вальдшнеп. Лист чуть пригнулся, стараясь не делать резких движений; отец приучил его к тому, что зверь и птица замечают не фигуру человека (они могут принять ее за сучковатое маленькое дерево), а движение. Он увидел птицу, которая летела вдоль по просеке, торжественно возглашая любовь и прислушиваясь, когда отзовется подруга, забившаяся в чащу.

Лист вскинул ружье, ощутил свою слитность с прикладом и с двумя стволами, отдававшими малиновым отливом, с быстрой птицей и нажал курок. Вальдшнеп упал к его ногам, перевернувшись в воздухе. Лист поднял птицу, ощутив тепло ее тельца, и, заметив кровь на пальцах, понюхал ее.

«Такой же запах, – отметил он. – Человеческая кровь пахнет так же. Но, когда я убил человека во время битвы на Сомме, меня мучили потом кошмары, я плакал по ночам, а сейчас я испытываю радость и представляю себе, как повар приготовит эту маленькую птицу и как мы будем рассказывать друг другу о каждом выстреле горделиво и радостно...»

Во время ужина, который Дикс организовал великолепно – седло косули, вальдшнепы с кислым брусничным вареньем, а на десерт, совсем как в Париже, несколько сортов здешних сыров, – офицер из свиты играл на рояле при свечах.

– Какая прелесть, – сказал Лист, – я будто перенесся в детство. Мой старший брат также играл на старом рояле в гостиной, мама разливала чай в толстые чашки, а папа рассказывал про охоту.

– Я рад, что смог доставить вам маленькую радость, – сказал Дикс.

– Вы предупредили, чтобы звонок из Берлина перевели на ваш номер?

– Да, господин фельдмаршал.

– Видимо, будет звонить фюрер...

– Позвольте наполнить бокалы, чтоб все смогли выпить за нашего фюрера, – сказал Дикс.

– Конечно, – Лист снова внимательно оглядел его.

«Неужели он искренне хочет выпить за этого неврапата? Впрочем, наш неврапат делает нужное дело. Он реализует план Шлиффена. Когда он сделает свое дело, мы должны убрать его; во имя Германии можно какое-то время потерпеть этого истерика, этого «ефрейтора по политическому воспитанию войск». Так, кажется, его именовали семнадцать лет назад... Досадно, конечно, что организатором идей новой армии стал ефрейтор, но это лучше, чем ничто».

Перед тем как из подвала принесли две бутылки вина. Лист попросил штабного офицера, сидевшего у рояля, сыграть Шуберта. Он слушал музыку, откинувшись на высокую спинку кресла, закрыв глаза и расслабив мышцы рук. Он вспоминал брата, который играл длинными зимними вечерами, когда снег заметал все дороги к имению, и завывающе, страшно гудел в водосточных трубах ветер, и казалось, что где-то совсем рядом на голубом снегу замерли волки с длинными желтыми клыками, поджидая добычу – маленькую девочку в деревянных башмаках с загнутыми носками. Как же он хотел тогда спасти эту девочку, с огромными голубыми глазами, льняными волосами, в красном фартучке, надетом поверх голубой – в оборках – юбочки.

...Ночью, после разговора с Гитлером, фельдмаршал попросил Дикса отвезти его на ближайший аэродром, чтобы лично убедиться в том, как отдыхают летчики.

Они проехали километров двенадцать по дороге, которая белела в ночи, словно припущенная первым октябрьским снегом, и оказались у взлетной полосы.

– Здесь штурмовики полковника люфтваффе фон Усманна, – пояснил Дикс.

– Почему не спят? – спросил Лист, услышав голоса в большой палатке, разбитой под двумя огромными соснами.

– Видно, нервы, – ответил Дикс, – у меня тут много новеньких, только вчера прибыли из училища.

Увидев фельдмаршала, вошедшего в палатку, летчики вскочили с беленьких березовых табуреток, расставленных вокруг такого же веселого березового столика.

– Ай-яй-яй, – покачал головой Лист, – проказники еще не спят? А завтра предстоит такой трудный день. Ну-ка, в кровати, озорники, немедленно в кровати!..

Он оглядел молодых офицеров. Пламя свечей делало их лица похожими на старую живопись, и он испытал горделивое чувство радости за своих солдат – таких высоких и статных.

– Как вас зовут? – спросил Лист молоденького веснушчатого летчика, совсем еще юношу, – он стоял к нему ближе, чем все остальные.

– Фриц Тротт, господин фельдмаршал!

– Откуда вы родом?

– Из Кенигсберга, господин фельдмаршал!

– Семья военная?

– Нет, господин фельдмаршал! Мой отец – преподаватель литературы в гимназии.

– Почему сын изменил делу отца?

– Он пишет стихи, господин фельдмаршал, – пояснил полковник фон Усманн. –

Сочиняет прекрасные стихи.

– Ну-ка, почитайте, – попросил Лист.

– Он смущается, господин фельдмаршал, – улыбнулся фон Усманн. – Смущается, как девушка...

– Ничего, ничего, мне он прочитает свои стихи. Не правда ли, Фриц Тротт?

– Хорошо, господин фельдмаршал, – ответил летчик, – только мне кажется, что они далеки от совершенства.

– Ну, степень совершенства будем определять мы, то есть слушатели...

Фриц Тротт закрыл глаза и начал читать:

*Ночь затаилась в шорохах листьев,
Как гуляка, возвращающийся в дом матери после пирушки...
Ночь полна неги и ожидания утра.
Все мы живем в ночи, потому что ночь –*

*Это страна мечтателей, и поэтов, и женщин.
Каким бы ни было утро, оно приходит как данность,
Как начало работы, как крик тормозов и рев паровозов,
Которые увезут нас из мечты в вагонах третьего класса*

*По узкоколейной дороге к вырубкам на лесных гарях,
Где нам предстоит стать солдатами дня.
Скорее бы ночь затаилась.
Скорей бы вернуться в страну наших грез...*

– Вы настоящий поэт, – сказал Лист задумчиво. – Желаю вам быть настоящим солдатом – это тоже почетная должность...

– Спасибо, господин фельдмаршал! Я выполню свой долг перед фюрером!

– Германия не забудет своих солдат, – торжественно произнес Лист. – Имена германских солдат-победителей будут занесены на скрижали! Желаю вам победы! Она придет к вам, если каждый честно и мужественно выполнит свой долг – ничего больше!

Именно в это время в Кремле был заключен «Договор о дружбе и ненападении между Советским Союзом и Королевством Югославии».

– Я передаю эти сообщения из Белграда под завывание сирен воздушной тревоги, – кричал в телефонную трубку Андрей Потапенко, – уже второй день в городе рвутся бомбы, горят дома, гибнут дети! Вы успеваете записывать?

– Успеваю, – ответила стенографистка Мария Васильевна, – только говорите погромче, много помех.

– Хорошо. Так лучше?

– Лучше.

– Продолжаю. Абзац. Заключение советско-югославского договора встречено здесь с ликованием. Корреспондент «Нью-Йорк таймс» считает, что этот договор «может стать поворотным пунктом в войне, поскольку он ставит Советский Союз непосредственно в оппозицию к Гитлеру». «Нойе цюрихер Цайтунг» передает, что «заключение русско-югославского договора вызвало в Германии сенсацию, ибо при существующих обстоятельствах договор имеет ярко выраженный демонстративный характер».

– Громче, пожалуйста!

– Хорошо. С абзаца. Политический обозреватель Каммингс из «Ньюс кроникл» ночью сказал мне, что «СССР до сих пор не давал повода считать, что он готов таскать для Англии каштаны из огня, провоцируя Германию на выступление против него самого. Тем не менее Москва приняла твердое решение. Проницательные политические советники Сталина, по-видимому, достаточно знают Гитлера, чтобы сделать вывод: если фюрер одержит быструю победу на Балканах, то нападение на Украину будет лишь вопросом времени и удобного случая». Корреспондент «Файнэншл таймс» заявил мне, что «после посещения Молотовым Берлина в славянских и балканских государствах выразалось беспокойство по поводу того, не договорились ли Германия и Советский Союз о разделе Юго-Восточной Европы. Эти опасения оказались беспочвенными. Наоборот, стало ясно со всей очевидностью, что Советский Союз стремится, чтобы Балканы сохранили свою независимость». Слышите меня?

– Да, да, только, пожалуйста, громче!

– Американские газетчики сказали мне, что из Вашингтона им передают, будто государственный секретарь Хэлл заявил представителям печати: «Советско-югославский договор делает более ясным тот факт, что по мере расширения агрессии растет число стран, начинающих глубоко осознавать международный характер этого завоевательного движения, имеющего целью установить господство над всеми народами силой оружия».

Несмотря на то, что армии Гитлера ведут сокрушительное наступление по всем фронтам, в стране ширится волна сопротивления, возглавляемая коммунистами во главе с Тито, которых здесь все рассматривают как единственную мощную общенациональную силу, способную поднять весь народ на борьбу против агрессора. Воззвание ЦК КПЮ стало программой действий для народов Югославии. Далее. С абза...

Потапенко не успел закончить фразу – высверкнуло тугим черно-красным пламенем, дом рухнул: летчик Фриц Тротт, тот самый, сочинявший стихи, бомбил Белград прицельно, с высоты двухсот метров...

Он же бросил бомбу на дом, где жила маленькая художница Анка. Услыхав грохот над головой, мать в ужасе подумала, что на чердаке сложены все рисунки дочери, но она даже не успела закричать, потому что балки потолка хрустнули, как куриные кости, и настала черная тишина, зиявшая над глубокой воронкой, от которой несло жирной гарью.

Степана и Мирко, которые прямо со свадьбы и новоселья попали в солдаты, убил Дикс: он возглавил эскадрилью бомбардировщиков; самолет шел на большой высоте и бомбы сбросил не прицельно, а по квадрату карты, на которой были нанесены номера югославских воинских частей, поскольку мобилизационный план, пересланный Веезенмайером в Берлин, размножили в тот же день и разослали всем командирам германской армии, принимавшим участие в «Операции-25».

Старика Александра, которого звали «погоревшей сиротой», первый бомбовый удар пощадил, потому что он был вне города – спал на опушке леса.

Его убили усташи Евгена Дидо Кватерника через семь дней, когда в Загребе началась резня, во время которой человека расстреливали только потому, что он крестился тремя перстами и читал святое писание на кириллице.

Когда танки Гитлера следом за эскадрильями люфтваффе перешли границу Югославии, выхлестывая красную, весеннюю, жирную землю из-под белых, стальных, словно бы отточенных гусениц, Веезенмайер получил шифровку от экономического советника фюрера Кепнера. Шифровка была краткой и в отличие от указаний Риббентропа изящно сформулированной: «Армия развязывает руки дипломатам. Покажите Советам, что их ждет летом – не в плане военного поражения, в аспекте краха государства, составленного из разных национальностей. Фюрер санкционировал самые решительные меры. Действуйте!»

Через сорок минут штандартенфюрер был на конспиративной квартире доктора Нусича, где собрались лидеры усташей – полковник Славко Кватерник, писатель Миле Будак, срочно вышедший из больницы, и Грац, связник Евгена Дидо.

Веезенмайер оглядел настороженные, внимательные лица собравшихся; отметил их желтоватую бессонную бледность, лихорадочный блеск глаз – блеск ожидания и тревоги – и неожиданно обернулся к доктору:

– Господин Нусич, а вот если вы сейчас меня угостите вашим деревенским овечьим сыром и чашкой кофе, я буду по-настоящему счастлив.

...Первым прервал молчание Славко Кватерник. Огладив седые усы, он прокашлялся и спросил:

– Ну и что же теперь будет?

– У вас есть перо и бумага? – спросил Веезенмайер.

– У меня есть бумага и перо, – ответил Миле Будак, положив на стол ручку и потрепанный блокнот.

Веезенмайер пролистал блокнот.

– Фрагменты будущих романов?

– Наброски.

– Можно заглянуть в лабораторию писателя? Мы, дипломаты, любопытны.

– Не надо. Набросок – он и есть набросок.

– У нас, между прочим, от друзей нет секретов, – заметил Веезенмайер, передавая блокнот Кватернику. – Вырвите лист и пишите.

– Что? – спросил полковник. – Что писать?

Веезенмайер сделал себе бутерброд с сыром, жадно отхлебнул кофе, сбросил с колен крошки и стал диктовать:

– «Хорватский народ! Иго сербского владычества сброшено! Немецкие войска принесли нам свободу! Час отмщения пробил! Я провозглашаю – волею всего народа – создание Независимого государства Хорватии. Время порабощения нашей страны белградской кликой и сербскими банкирами ушло безвозвратно!» И подпишитесь: полковник Кватерник.

– А где же поглавник? – спросил Миле Будак, побледнев еще больше. – Почему ни слова о вожде усташей? Почему нет имени Павелича?

– Человек творит самого себя, – ответил Веезенмайер. – Если Евген Грац привезет мне письмо от Павелича, в котором поглавник выразит согласие во всем оказывать помощь немецким войскам, которые освободят Хорватию в течение ближайших пяти-шести дней, Кватерник подпишет этот документ от имени Павелича. Искать сейчас защиты у Муссолини бесполезно: наши танки вошли в Югославию и наши солдаты займут Загреб. Сталкивать лбами нас с Муссолини тоже нецелесообразно: мы люди запасливые, у нас есть кому возглавить Хорватию. Простите, что я говорю так резко, но сейчас каждая минута дорога. Если вы согласны с моим предложением, мы с Кватерником сейчас же поедem к Мачеку, и тот

напишет обращение к народу, в котором передаст власть усташам. Если вы отвергнете мое предложение, мне придется покинуть вас, чтобы заняться другими делами в другом месте и с другими людьми.

– Вы думаете, Мачек согласится возглавить Независимое государство Хорватии? – спросил Миле Будак. – Он не согласится.

– Вы неверно формулируете вопрос, господин Будак, – вкрадчиво поправил его Веезенмайер. – Вопрос надо формулировать так: «Решите ли вы предложить Мачеку занять пост вождя Независимой Хорватии?» Смотрите правде в глаза, господа, только правде. Мы хозяева положения, и не надо играть друг с другом в «кошки-мышки».

– Я вернусь с письмом Павелича, – сказал Евгений Грац. – Он напишет такое письмо. Вы правы, вы честно поступаете, называя кошку кошкой. – Он обернулся к Миле Будаку. – Вы станете витать в эмпиреях, когда станете министром просвещения в нашем кабинете – тогда это не будет опасно. Опасно витать в эмпиреях, когда перед тобой дилемма двух сил – какая мощнее? Разных мнений, по-моему, быть не может. И нечего заниматься болтовней. Я поехал.

...Мачек ждал Веезенмайера в своем рабочем кабинете. Он был в торжественно-черном костюме, и седовласую голову его подпирал тугой старомодный целлулоидный воротничок. Он поднялся навстречу штандартенфюреру, но, увидев за его спиной полковника Славко Кватерника, почувствовал в ногах слабость, с лица его сошла улыбка, и он тяжело опустился в кресло.

Веезенмайер поклонился Мачеку, не протянув руки.

– Господин Мачек, вопрос пойдет о том, как будут развиваться события в течение ближайших нескольких дней. Или вы хотите кровопролития, и тогда оно свершится, или вы желаете счастья вашему народу и щадите жизни несчастных хорватов, тогда кровопролитие минует страну. Если вы хотите кровопролития, вы выберете путь молчания; о сопротивлении рейху говорить бесполезно – Белград в руинах, Симович бежал. Если, повторяю, вы хотите счастья хорватам, вы должны передать власть новому правительству, которое, выполняя многовековые чаяния народа, провозгласит создание независимого государства.

Мачек посмотрел на Славко Кватерника, и лицо его стало дряблым, четче обозначились морщинки и тяжелые мешки под глазами.

– Я обдумаю ваше предложение, господин Веезенмайер, – ответил Мачек. – Я соберу исполком партии сразу после встречи с господином Малетке – он только что просил принять его.

Веезенмайер сразу же понял тайный смысл, заложенный в упоминании имени Малетке, – вторая германская сила. Закурив, не спрашивая на то разрешения, он закинул ногу на ногу и рассмеялся:

– Я позвоню Малетке и попрошу его не тревожить вас, господин Мачек. Я пришел к вам не сам по себе; я представляю сейчас интересы фюрера.

– Я должен обсудить ваше предложение с коллегами, – сказал Мачек, чувствуя свою обреченность и испытывая к себе острое, как в детстве перед неминуемым наказанием, чувство жалости.

– Господин Мачек, у меня нет времени ждать, я должен дать ответ наступающим германским армиям незамедлительно. Либо вы обращаетесь к народу с призывом поддерживать во всем новую власть, либо я умываю руки и позволяю армии делать то, что ей пристало делать во время войны.

– Что станет с моей партией?

Кватерник опередил Веезенмайера, ибо он точнее берлинского эмиссара понимал характер своего соплеменника и тот истинный смысл, который был сокрыт в его вопросе.

– Ваша безопасность, – торжественно произнес Кватерник, – и ваше благополучие будут охраняться новым законом. Все детали мы решим позже, за столом переговоров. Вы же хорват, господин Мачек, вы знаете цену слова хорвата.

Мачек откинулся на спинку кресла и прикрыл рукой глаза. Он сидел недвижно, и было видно, как пульсирует тоненькая жилка на его левом виске. Глядя на эту маленькую голубую жилку, Кватерник добавил:

– Мы умеем помнить добро, господин Мачек, даже если добро сдерживалось рамками чужого зла.

Веезенмайер угадал мгновение, когда Мачек сломался окончательно, и сухо предложил:

– Чтобы не мучиться с формулировками, я продиктую ваше обращение к народу.

Мачек нажал кнопку, и в кабинет вошел Иван Шох – не из секретариата, а из той комнаты, где сейчас собрались консультанты хорватского лидера.

Иван Шох увидел Веезенмайера, сидевшего по-прежнему, забросив ногу на ногу, Кватерника, который не мог скрыть торжества, рвавшегося наружу; Мачека, втиснутого в кресло, и странный, душный восторг родился в нем; радость оттого, что неопределенное, зыбкое, неясное кончилось и настала пора точных и крутых решений. И неожиданно для самого себя он выбросил вперед руку:

– Хайль Гитлер!

Мачек горько усмехнулся.

– Я завидую Николе Тесле, – сказал он, – тот хоть вовремя уехал. Диктуйте, мои помощники потом внесут необходимую стилистическую правку...

А теперь он почувствовал во рту сладкую воду. Она была холодная и пузырчатая. Наверно, минеральная с солью. Поэтому пузыри так рвут кожу во рту и в горле и жгут, прямо даже не жгут, а рвут на части живот, и вместо счастья эта вода, этажданная, сладкая, холодная, снежная вода приносит ему новые страдания...

*«Только бы не открыть глаза, – подумал Цесарец, приходя в сознание, – хоть бы еще минуту продолжилось это сладостное мучение, когда пузырьки кажутся раскаленными и горькими, когда они с трудом проходят сквозь гортань, проходят, как сверло, но пусть будет эта боль, пусть она будет еще полминуты, и я напьюсь, и я смогу терпеть дальше и не унижаться перед этим несчастным маленьким стражником, надоедая ему своими бесконечными криками. В чем он виноват, в конце-то концов? Это я виноват, мои товарищи виноваты, что на земле живут такие темные маленькие люди, которые могут служить только силе, а не разуму. Поэтому им приятно смотреть на страдания слабого, ибо никто не объяснил, что слабое рано или поздно становится сильным, а сильное слабеет, и вид мучений не укрепляет силу, а подтачивает ее изнутри, рождая ощущение постоянного страха. Страх вынуждает к действиям; когда человек постоянно боится чего-то, когда он полон видений ужасов, переносимых другими, у него уже нет времени подумать, он спешит забыться, а потом начинает – незаметно для себя самого – спешить **дожить** как-нибудь, иначе говоря, умереть...»*

– Осторожнее лейте, – услышал Цесарец хрипловатый сильный голос, – он же захлебнется так...

Цесарец сделал глоток, закашлялся и понял, что это не видение, а вода, действительно вода льется медленной тяжелой струйкой в рот, и он испуганно вскинул голову и открыл глаза, потому что ощутил под локтем не доску, а проваливающийся, мягкий валик дивана и увидел над собою лицо Евгена Дидо Кватерника, любимца Анте Павелича, внука Йосипа Франка и героя первой хорватской революции, Кватерника, героя его драмы, которую запретили в Загребе после трех представлений...

– Жив, – улыбнулся Дидо. – Я боялся опоздать к тебе, Август. Я боялся, что они замучают тебя.

Он обнял Цесарца за шею, помог ему сесть и, опустившись перед ним на колени, начал медленно и осторожно снимать с него наручники, но они не слезали с распухших желто-синих кистей, и Дидо успокаивал Цесарца, нашептывая ему тихие и ласковые слова.

– Ты, Дидо? – спросил Цесарец, но голоса своего не услышал. Он понял, что слова его рождаются в нем и звучат, но выйти наружу не могут, потому что язык стал таким большим, что, кажется, заполнил собою весь рот.

– Потерпи еще чуть-чуть, – сказал Евген Дидо Кватерник, – сейчас тебе будет больно, но это последняя боль.

Цесарец видел капли пота, которые появились на лбу Дидо.

«Неужели он тратит так много сил, чтобы открыть наручники? – подумал Цесарец. – Или он не привык смотреть на страдания так, как ему приходится смотреть сейчас? Он убил короля Александра и Барту, а потом убил тех, кто убил короля, но он убивал их не своими руками, и он не видел, как Владо-шофер валялся на Ля Каннебьер и как он кричал, когда толпа втоптывала его в землю и когда ему выбили зубы и у него изо рта хлынула кровь, и когда кто-то отбил ему почки длинным ударом в ребра; он же не видел этого, и он не может себе этого представить, значит, он боится видеть страдание, он палач, который задумывает казнь, проверяет ногтем, хорошо ли отточен нож гильотины, но уходит в тот момент, когда казнимый слышит падение тяжелой стальной бритвы и не может крикнуть, потому что ужас перерезает ему горло на мгновение раньше, чем нож отсекает голову. Не казнь ведь страшна – ожидание. Не тот страшен палач, который казнит, а тот, кто дает право на казнь. Ведь казнят не человека – идею. А кто дал право этому потному, красивому, молодому и крепкому Дидо казнить идею?»

– Вот и все, – сказал наконец Евген Дидо Кватерник и стал похожим на молоденького зубного врача, который впервые вырвал коренной во время воспаления надкостницы. – Очень больно?

Цесарец пошевелил пальцами и понял, что это он только в мыслях приказал своим пальцам пошевелиться. Они не двигались, его пальцы, они были как отварные сардельки, а ногти в крови, синие.

«Почему же у меня ногти в крови? – подумал Цесарец. – Ах, это сейчас стала выступать кровь, когда он снял наручники. Кровь перестала идти из-под ногтей, когда они вытащили иголки, потому что сразу же надели наручники и наручники пережали вену, а сейчас она снова работает, а кровь так больно пульсирует в кистях, ищет выход и выходит сквозь те отверстия, которые остались после того, как они загоняли мне иглы и смотрели мне в глаза, как я кричу и как теряю сознание...»

Цесарец разлепил толстые сухие, растрескавшиеся губы, поднял с колен чужие огромные пальцы и прикоснулся ими к лицу Дидо Кватерника. Тот отшатнулся и, схватившись за лоб, на котором осталась кровь, быстро поднялся с колен.

– Что ты? – тихо спросил он. – Ты что?

– Спасибо, – прошептал Цесарец. – Спасибо, Дидо.

– Теперь я Евген, – ответил он, и испуг на его лице исчез. – Это в эмиграции я был Дидо. Теперь я Евген Кватерник, а не Дидо.

Цесарец, продолжая смотреть на него со странной и нежной улыбкой, покачал головой.

– Нет, – прошептал он, и шепот его был низкий, басистый, не его шепот, – ты не Кватерник. Разве палач может быть героем?

– Я вырвал тебя из рук палачей, Август. Я так спешил вырвать тебя из их рук. Я успел.

«Не может быть, чтобы закон наследства имел силу абсолюта, – подумал Цесарец как бы со стороны и поэтому очень точно. – Если он несет в себе черты деда, черты великого своего деда, тогда, значит, я написал не драму-исповедь, а драму-ложь. Я обманул себя, а после этого обманул всех, кто читал мою драму и кто смотрел ее, когда Бранко Гавела сделал спектакль... Нет... Я никого не обманул. Дидо мог прийти сюда только с

Гитлером и с Муссолини. Сам он прийти не смог бы. А мой Кваторник, наш Кваторник, конечно, понял, что приходить в страну можно только самому, не надеясь на Париж или Вену. Надо приходить к народу и знать, что тебя распнут, но нельзя принести свободу, если тебя привели под охраной чужих штыков, и это понял мой Евген и не понял этот Дидо. Палач жалеет врага только для того, чтобы вымолить прощение для продолжения своих палачеств».

– А кто были те? – спросил Цесарец, с трудом ворочая своим непослушным, шершавым, как рашпиль, языком. – Кто меня пытал?

– Сербь, – деловито ответил Дидо и достал из кармана спортивного пиджака массивный золотой портсигар. – Хочешь курить?

Цесарец покачал головой и проводил глазами этот тяжелый и скользкий золотой портсигар, когда Дидо опускал его в карман.

– Значит, они ввали, когда говорили, что работают в «селячкной страже»?

– Это показалось тебе, Август. Это галлюцинации. Так бывает, когда человек измучен, сверх меры измучен.

– Ты скажи им, чтобы они так подолгу не пытали, Дидо. Они так долго мучают, что смерти ждешь как блага. **Предел** ...

– Что? – не понял Дидо.

– **Предел**, – повторил Цесарец. – Надо во всем соблюдать предел.

– Есть хочешь?

– Нет.

– Сейчас придет парикмахер. Тебя побреют. И врача я уже вызвал. Какой костюм тебе принести? Белый? На улице солнечно.

– Ты зачем так говоришь?

– Как?

– А так.

– Ты свободен, Август. Я освободил тебя. Слышишь? Ты выйдешь вместе со мной. Мы пойдем на площадь и станем слушать, как поет и смеется народ. Потом мы пойдем в Каптол. Мы увидим, как люди рады свободе. Как они счастливы услышать слова Анте. Ты услышишь его слова вместе со мной, Август. Мы боролись, и вы боролись. Мы боролись против одного и того же врага – против сербской монархии, против белградской диктатуры. Мы победили, Август. А сейчас мы вместе будем строить новую Хорватию. Тебе есть что делать в новой Хорватии. В конце концов, и вы и мы – с разных сторон и разными методами – сражались за одно и то же: за свободу нации.

Цесарец покачал головой.

– Мы не сражаемся за свободу **нации**, Дидо. Мы сражаемся за свободу Людей.

– Ладно, – улыбнулся Дидо, – доспорим обо всем этом в газетах. Теперь ты волен писать все, что хочешь! Ты теперь живешь в Хорватии, в Независимом государстве Хорватии, Август!

– И я свободен писать все, что захочу?

– Все. Абсолютно все, Август.

– И ты напечатаеть то, что я хочу написать?

– Обещаю тебе, Август.

– Тогда скажи, чтобы сейчас напечатали в вашей газете мою статью, ладно?

– Это будет честь для нас.

– А заголовок, знаешь, какой будет у моей статьи?

– Какой?

– Он будет очень красивым, этот заголовок, Дидо. Он будет замечательно красивым. Я его всю жизнь слагал, этот заголовок. Знаешь, каким он будет? «Да здравствует Советская Хорватия!»

...Когда командир комендантского взвода, выстроенного для проведения казни, предложил Огнену Прице надеть на глаза повязку, тот ответил:

– Вы банда. Обыкновенная банда. А я привык смотреть в глаза бандитам.

После первого залпа Прица и его друзья рухнули возле белой стены, пахнувшей солнцем, теплом и морем. Они падали молча, медленно, и только Отокар Кершовани не упал, как все остальные. Он не был убит – пуля прошла сквозь плечо, – и он почувствовал запах своей крови, которая дымно и размеренно вместе с дыханием выплескивалась на грудь.

– Научитесь сначала стрелять, – сказал Кершовани и медленно пошел на строй усташей, и шаги его были гулкими и тяжелыми, и усташа сухо лязгали затворами, и пятились назад, и смотрели на своего командира, а тот смотрел на них, а потом самый молодой усташ, тот, который охранял Цесарца в подвале, закричав что-то, побежал навстречу Кершовани, и взгляд Отокара не отталкивал, а притягивал его к себе, и он зажмурился, и выбросил вперед руку, и, только чувствуя, как пистолет уперся во что-то мягкое, нажал на курок...

...А Цесарца не расстреляли. По приказу Дидо Кватерника его насмерть забили длинными и тонкими деревянными палками. Дидо впервые в жизни наблюдал казнь, и проводили ее усташа, получившие инструктаж у Зонненброка, но они отказались от методов гестапо и казнили Цесарца так, как им того хотелось, – долго и мучительно, наслаждаясь его мучениями, считая, видимо, что чем отчаяннее страдает враг, тем сильнее они становятся.

...Штирлиц стоял на площади в Загребе и наблюдал, как вооруженные усташа силой загоняли людей в храм на торжественный молебен в честь великого фюрера; звучал Бах, звуки органа вырывались сквозь стрельчатые окна, и огромная скорбь была окрест, потому что музыка, рождающая слезы высокого счастья, сейчас вызывала слезы горя.

Москва – Белград – Загреб
1978